ISSN 0130-6545

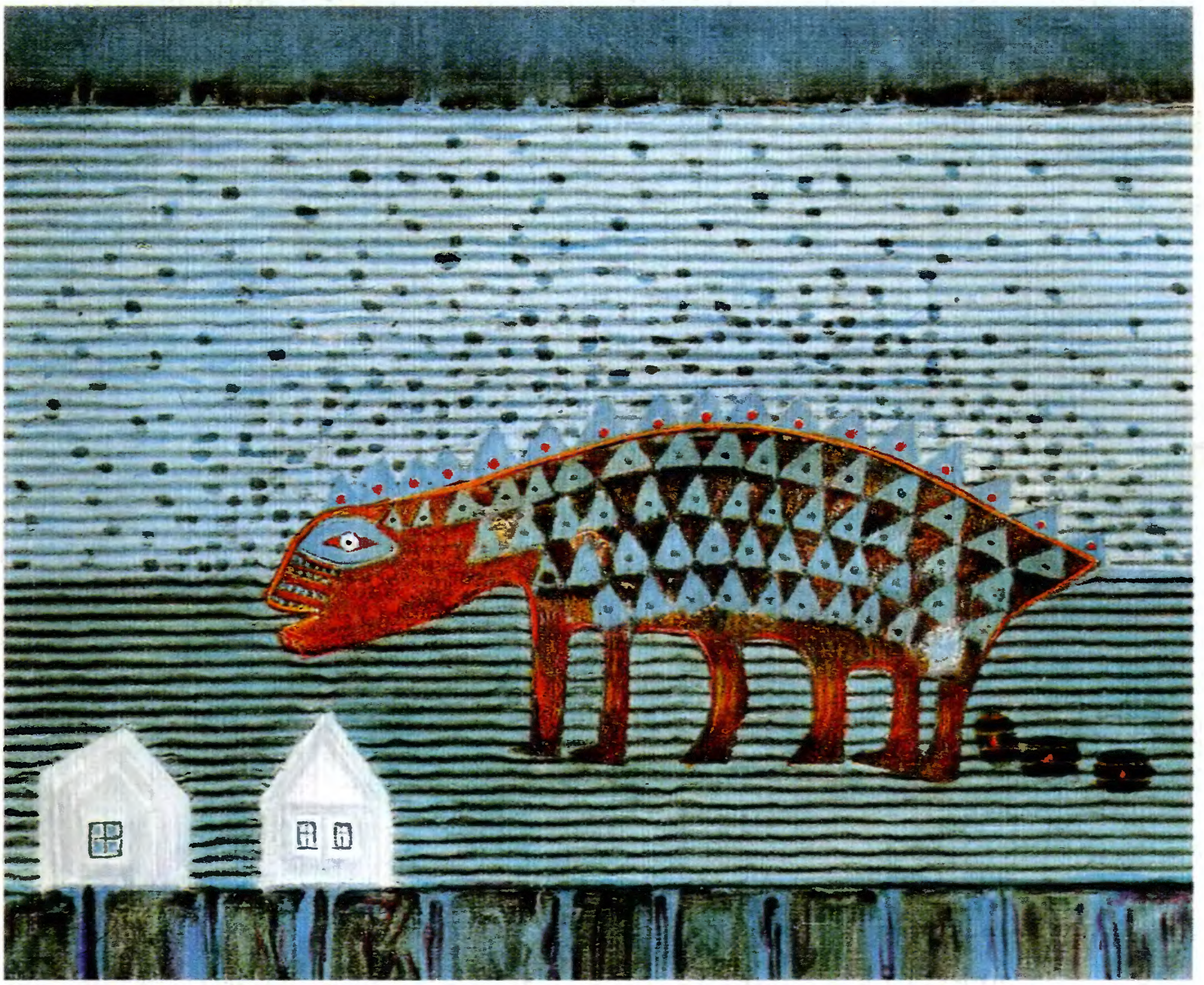
8.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ШАНДОР ТАР
Рассказы

ТИБОР ФИШЕР
Коллекционная вещь



ЛИТературный ГИД ⇨ Слово – бессловесным

МОСКВА

Из общего тиража в 13 000 экземпляров Институт «Открытое общество» ежемесячно выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.

Ежегодные литературные премии журнала спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

8 август 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ШАНДОР ТАР — Рассказы *(Перевод с венгерского Ю. Гусева. Вступление Петера Эстерхази)* 5

ЯНОШ ПИЛИНСКИ — Стихи. Фрагменты интервью *(Переводы с венгерского Н. Горской, Е. Малыхиной. Вступление Е. Малыхиной)* 29

АРУНДАТИ РОЙ — Бог Мелочей *(Роман. Окончание. Перевод с английского Л. Мотылева)* 41

Литературный гид

«СЛОВО — БЕССЛОВЕСНЫМ»

ЖАК РУБО — Осел *(Стихотворение. Перевод с французского Михаила Яснова)* 99

ИГОРЬ КЛЕХ — Нисхождение автора 100

ШАРЛЬ НОДЬЕ — Записки Жирафы из зоологического сада. *Письмо к возлюбленному в пустыню (Перевод с французского и вступление Веры Мильчиной)* 104

ТИБОР ФИШЕР — Коллекционная вещь *(Роман. Перевод с английского А. Ливерганта)* 112

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН — Кукла *(Стихотворение. Перевод с польского А. Гелескула)* 218

КЭНДЗИ МАРУЯМА — В небе снова радуга *(Рассказ. Перевод с японского Григория Чхартишвили)* 220

АРТУРО КОРКУЭРА — Стихи *(Перевод с испанского П. Грушко)* 236

Анкета «ИЛ»

Мировая литература: круг мнений. На вопросы анкеты отвечает ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ 238

У книжной витрины 248

Курьер «ИЛ» 251

Авторы этого номера 254

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Роман лауреата Нобелевской премии 1998 года португальского писателя **Жозе Сарамаго** «КАМЕННЫЙ ПЛОТ». Сюжетную канву этого лирико-фантастического произведения составляет превращение Пиренейского полуострова — после геологической катастрофы — в остров, дрейфующий в сторону Америки.

«БЕК И ЩЕДРОТЫ ШВЕДОВ» — ироничный рассказ американца **Джона Апдайка,** постоянный герой которого, американский писатель Генри Бек, осенью 1999 года получает... Нобелевскую премию.

Литературный гид «БОРХЕС, или ИСТОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ» посвящен великому аргентинцу, ставшему одним из классиков XX века; этой публикацией журнал отмечает столетний юбилей писателя.

В рубрике *«Документальная проза»* — фрагменты автобиографической книги известной американской писательницы **Лиллиан Хеллман** «СЫРОЙ МАТЕРИАЛ», где она вспоминает о своих поездках в Советский Союз.

Эзра Паунд — модернист, сторонник фашизма, строитель культурной утопии — в эссе **Александра Гениса** «БЕЗ ЯЗЫКА».

Цветные иллюстрации номера — работы венгерского художника ЯНОША ОРОСА (род. в 1932 г.):

На 1-й стр. обложки — «Новое средневековье V»
На 2-й стр. обложки — «Чаровница»
На 3-й стр. обложки — «Мечтательница»
На 4-й стр. обложки — «Одурманенный»

На шмуцтитуле «Литературного гида» иллюстрация Антонио Грамши (род. в 1965 г.)

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

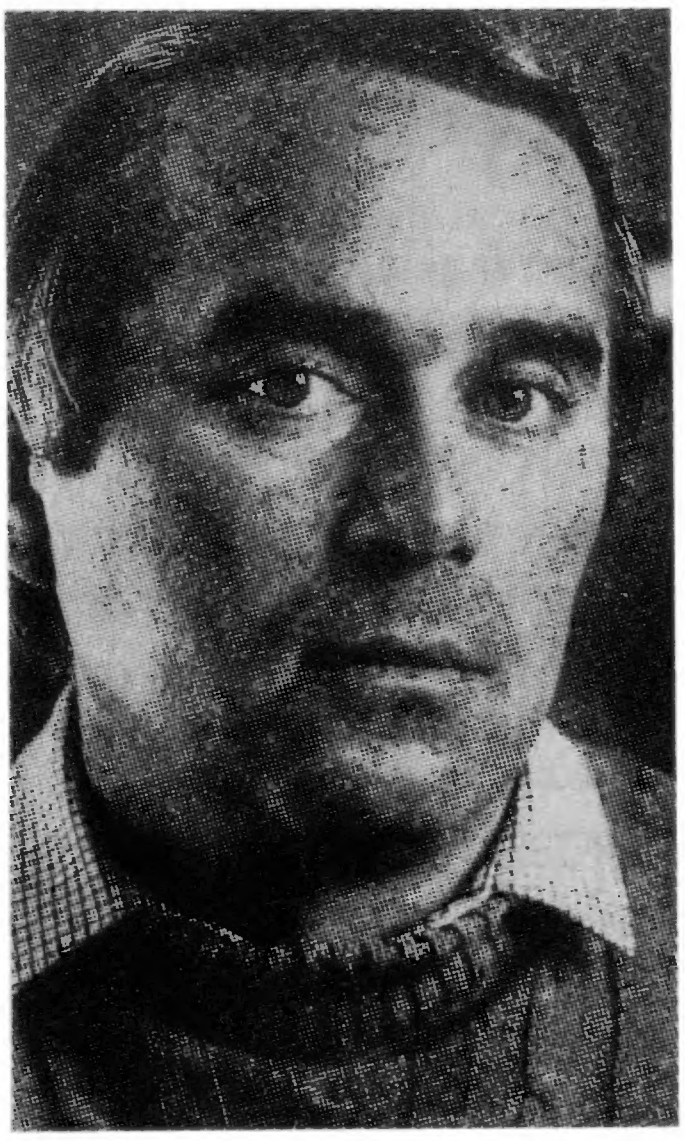
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 28.07.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,21. Заказ №4394.

Тираж 13 000 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ШАНДОР ТАР

Рассказы

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

Несколько слов о Шандоре Таре

Сначала — о Шандоре Таре как человеке. Мне почему-то кажется, он быстро сошелся бы с Венечкой Ерофеевым. То есть, пожалуй, не с ним самим: для этого — я думаю — он недостаточно пьет. Но факт, что общих знакомых у них было бы *очень много.* Да что было бы: у них и сейчас — *очень много* общих знакомых.

Теперь — о форме. Шандор Тар — новеллист. Новелла — это не то, что модная нынче малая проза. Малая проза — это, во-первых, нечто короткое, а во-вторых, нечто неопределенное, что угодно. Новелла же — это, во-первых, нечто короткое, а во-вторых, это Чехов. Если бы подобная фраза имела смысл — а смысла она почти не имеет, — то я бы сказал: в Венгрии сегодня лучший новеллист — Шандор Тар (ну, и еще один наш коллега, Адам Бодор).

Теперь — о его героях. Шандор Тар много пишет о так называемых (как раньше часто — не от великого ума — выражались) «маленьких людях», о рабочих, о работягах. Если бы он к тому же умел врать, то легко стал бы знаменитым социалистическим реалистом. Но врать Шандор Тар не умеет. Как любой настоящий писатель, Шандор Тар пишет о тебе и обо мне.

Теперь — о душе. Венгерская душа не так широка, как русская. Вообще-то я понятия не имею, какая у них ширина. Про русскую душу говорят, что она ужас как широка, она — самая широкая в мире, шире самого мира, она — balshaja (это слово, как и эти скобки, я написал по-русски); а насчет венгерской — не знаю.

У нас 250 километров считается много; я живу в Будапеште, Шандор Тар — в Дебрецене, значит, мы живем далеко друг от друга. Но иной раз представишь себе: сидит в далекой дебреценской комнате человек и пишет новеллу... о тебе и обо мне.

Есть люди, которые не умеют рассказывать о себе. Поэтому за них должен говорить тот, кто умеет.

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ

© Tar Sándor, 1998
© Esterházy Péter, 1999
© Ю. Гусев. Перевод, 1999

Медленный товарняк

Папа, мы бедняки?

Можно и так сказать, сынок. Не самые что ни на есть, но, в общем, бедняки.

А почему?

Почему — я и сам не знаю.

Потому что другие воруют?

Что воруют?

Не знаю... Тиби Карас говорит: вы, говорит, голытьба, вы такие нищие, что у вас мыши с голоду дохнут.

Дурень он, твой Тиби Карас.

И что я до того тощий, что, если моргну, у меня с пениса кожа слезет.

Скажи Тиби Карасу, что я его поймаю и задницу ему надеру. И по морде отхлещу. Чтобы он, паскуда, думал, что говорит.

Отхлещешь? По морде?

Отхлещу. Таких подонков истреблять надо, чтобы от них и запаха не оставалось. А ты с ним разговоры не заводи!

Я не завожу. Он сам заводит.

А ты отойди.

Так он вдогонку кричит.

Не слушай. И вообще в его сторону не смотри.

Если ты по морде его отхлещешь, это здорово. Только чтобы другие тоже видели, ладно?

Ладно.

А когда ты его отхлещешь?

Там посмотрим. Давай пока не будем об этом.

Давай не будем.

Мы, конечно, не богачи, но кусок хлеба у нас всегда есть. И одежда у тебя не хуже, чем у других. И в школу ты ходишь, верно?

Верно.

Я никого не грабил, не воровал, как другие. Твой отец все честным трудом заработал. Квартира у нас тоже есть. У иных людей и этого нет. Верно?

Верно.

А ты совсем не тощий. Как и я. Просто комплекция у нас такая. И знай, у тебя будет все, что надо, даже если мне ради этого подохнуть придется. Вот увидишь... Про меня он — ничего не говорил?

Н-нет.

Я ведь не виноват, что калекой стал, ты сам знаешь. И все равно я не хуже других. И тебя могу обеспечить. Вот ты скажи, тебе приходится голодать?

Нет.

Ну вот.

Не плачь, папа.

Да не плачу я. Просто вывел меня из себя этот подонок.

Нервы у тебя ни к черту, да?

Да, ни к черту.

А что такое — пенис?

Ничего. Глупости. Не слушай, что это трепло, эта свинья жирная говорит. А главное — не повторяй.

На мальчике было коричневое поношенное взрослое зимнее пальто; расстегнутое спереди, оно сползало с плеч и висело почти до земли, закрывая штаны. Ковыряя грязным черным ботинком песок, он ел мороженое. Отец, прислонившись к стене, держал, опустив себе на ногу, аккордеон. Другая его рука была в кармане синей телогрейки, на шее — клетчатый шарф, на голове — шапка с небольшим козырьком. Они стояли на маленькой обшарпанной станции, ждали поезда. Отец поворачивал туда-сюда худое небритое лицо и шумно втягивал сквозь зубы холодный воздух. Он умел это делать по-раз-

ному: чаще всего он как будто произносил: чи-из, а иногда: чекк или цапп; все эти звуки мальчик давно изучил; после еды отец ковырял в зубах спичкой, время от времени произносил: чапп, и что-то проглатывал. Еще он говорил иногда: чам-чам, но это — в шутку, когда хотел рассмешить сына. Он и сам при этом хихикал тоненько: хи-хи-хи; но это не был настоящий смех, это он просто так. В школе ребята про него говорили, что он не идет, а гребет, потому что отец при ходьбе действительно широко загребал руками. И еще говорили, что он тунеядец.

Пошли, поезд подходит.

Дай мороженое-то доесть!

Брось его, я тебе другое потом куплю. Брось, чтобы люди не видели!

А что тут такого?

Я тебе говорил уже! Надо показывать, что мы бедные. Не очень показывать, а так, чтобы заметно было. Если спросят, то мы — бедные. Да поправь волосы… Не так, постой! Ну вот.

Тиби Карас еще говорил, что я — такое чучело, что у меня воробей не станет конское дерьмо из руки клевать.

Плевать нам на Тиби Караса. И не вспоминай мне его, а то я не знаю, что сделаю.

А еще он…

И не говори нехорошие слова.

Но это он сказал, что…

Я что тебе говорю? Перестань, не понимаешь, что ли? Да брось ты это чертово мороженое, сколько раз говорить! И когда в поезд сядем, помалкивай!

Хорошо, если ты ему по морде надаешь. И пни его посильней, ладно?

Ступай вперед.

Был желтоватый осенний день, дело шло к вечеру. За облупленной станционной постройкой шелестело сухими листьями кукурузное поле, дальше виднелось несколько домиков, к ним вела широкая, поросшая травой грунтовая дорога, на ней, привязанная на длинной веревке, паслась корова. Народу на поезд садилось мало. Пассажиры, видя мужчину-инвалида, с ребенком, да еще с аккордеоном на шее, хотели пропустить их вперед, но отец отмахивался: идите, идите, мол, я потом. Когда все сели, он подсадил мальчика, сказал, иди, и вскарабкался на подножку последним, неловко вывернув увечную ногу. Одна женщина хотела было помочь ему, но он опять отмахнулся: что вы, не надо, я сам, я уже в этом деле мастер. Знаете, сказал он уже в тамбуре, тут мне лучше не помогать, потому как я тогда наверняка не то сделаю и уж точно грохнусь. Так что уж извините. Женщина промолчала; поставив между ног сумку, она смотрела в окно. Мальчик направился было в вагон, но отец взял его за плечо. Вы не проходите, спросил он женщину; нет, ответила та, мне на следующей сходить. Тоже жмется: даст один форинт — и с голоду помрет, бурчал отец, войдя в дверь.

У тебя глаза мокрые, папа.

Это иней.

Нету же сейчас инея.

Иди вперед.

Слюнями, что ли, намазал?

Ш-ш-ш-ш… тихо, ты. Ступай, говорю.

Иней утром был, когда мы сюда ехали…

В вагоне стоял густой табачный дым, хотя народу было мало. Отец закрыл за собой дверь, остановился, снял шапку и громко, внятно сказал: здравствуйте, люди добрые. Я Иштван Балог, позвольте, я вам сыграю. Он повернул аккордеон к себе, пальцы его побежали по клавишам. У костра июльской ночью звездной, затянул он немного неверным голосом, я сижу, пишу тебе письмо, это было уже чуть лучше. Мальчик стоял рядом, одной рукой слегка поддерживая его, петь с отцом ему сейчас не хотелось, потом успеется. Отец тоже ему говорил, все время петь не обязательно, если настроения нет.

А зачем мне вообще-то петь, папа?

Не надо — вообще. Только если настроение есть.
А если нет?
Тогда не пой.
А если настроения никогда не будет?
Чего вдруг? Видишь, я же пою.
У тебя тоже нет настроения. Ты ведь только что плакал.
Это дело другое.
Если я петь не буду, тогда все к чертям собачьим?
Это что еще за выражения?
Тот, бородатый, сказал, когда мы в эту сторону ехали. Который сотню дал.
Не дал, только вид сделал, будто хочет дать.
Не надо было петь, да, папа?
Мы не для него, мы всем пели.
В душу ведь им не залезешь, да?
Чего-чего?
Ты сам говорил, в душу им не залезешь: что там у них.
Ну да, конечно, не залезешь…

Сейчас ему петь не хотелось совсем — раз в душу людям все равно не залезешь. Он стоял рядом с отцом, и ему казалось, волосы у него стоят дыбом. Не то чтобы ему больно было — просто так казалось. Отец каждый вечер, смочив сыну голову, накручивал его волосы на палочки, карандаши, и он должен был спать в платке, будто баба. Видел бы это Тиби Карас!.. Тиби этого, конечно, не видел, но все равно знает; он все видит, что ему надо. Может, он и сейчас его видит. Отец играл на аккордеоне и пел, голос у него вибрировал, как у настоящих певцов; спев песню, он кланялся, ни на кого не глядя, только вверх, на багажные полки, и иногда локтем толкал его в плечо: мол, ты не глазей зря, ты присматривайся. А чего присматриваться-то? Вокруг никого почти. Старик у окна протирал стекло и смотрел наружу; тот, который напротив, тоже. В такое время они все в окно смотрят, говорил иногда, кривя губы, отец, будто мы к ним с церковной кружкой; как только шею себе не свернут. Девушка с длинными волосами не отрывала взгляда от книги, с другой стороны прохода двое парней, сидя против друг друга, пересмеивались, а больше никого и не видно было. Здесь отец долго петь не будет, сейчас закончит, скажет: премного благодарен, люди добрые, что послушали мое пение, не окажете ли содействие, не поможете ли парой форинтов? А он пойдет со шляпой и подойдет к каждому. Подолгу не стой перед ними, сказал в свое время отец. Если не подают, иди дальше.

Ладно.
Но если видишь, в кармане человек шарит, тогда задержись немного.
Сколько — немного?
Пока деньги не вытащит и в шапку не бросит.
Утром вон — платок вытащил.
Не все такие.
Я буду до десяти считать, и если…
Это много.
Ну, до пяти.
Ладно. Но можно и дольше… если видишь, что человек вроде как за пазухой себе чешет.
Что чешет?..

Подала только девушка. Деньги уже зажаты были у нее в кулаке, и она сразу бросила их в шапку. Мальчик поблагодарил и подошел к парням, но те ничего не дали. Старики тоже. Почти у самого выхода сидела женщина, на руках у нее спал ребенок, она смотрела только на него, больше никуда, рядом стояла корзина, полная яблок, но она даже яблоко не дала; другие дают обычно. Двадцать форинтов, ничего, для начала неплохо, весело сказал отец. Не замерз?

Нет.

Дальше будет получше. Народу прибавится. Бабы поедут на рынок.
Может, и нам лучше на рынок? Там вон сколько народу.
Это дело другое. Там нищие побираются.
А мы — не нищие разве?
Мы не нищие. Мы — артисты.
Бродячие музыканты?
Вот-вот. Но ты уж теперь подтягивай, ладно?
Ладно.
Если настроение будет.
Понял.
А я буду играть то, что и ты любишь.
Ладно.
Людям нравится, когда дети поют.
А у меня голос хороший?
Хороший. Вон и тот господин сказал, а он человек серьезный.
Который жвачку дал?
Да.

Жвачку господин дал какую-то особенную, которую можно было глотать, она была круглая, как конфета, мальчик не сказал отцу, что проглотил ее, сказал только потом, когда Тиби Карас стал кричать, мол, теперь у тебя рот с жопой склеится, операцию будут делать, и тогда ты помрешь. Отец дал ему выпить рюмку палинки, и ничего не склеилось.

Балога на железной дороге, где он раньше работал сцепщиком, стали звать — после того как ногу ему искорежило между вагонами — Хромой Балог. Ногу надо было ампутировать, да он не дался, сказал, тогда ампутируйте лучше голову, вот отсюда. И показал откуда. Человек он был веселый, и до того, и после, хотя нога срослась совсем плохо, несколько операций ему сделали, пока не стало немного похоже на ногу, но работать он уже не мог, да и ходил еле-еле. Надо было еще раза два оперировать, чтобы ступня хоть как-то выровнялась, но у него уже всякая охота пропала к этому. Он и так после каждой операции неделями подушку грыз от боли, а тут сказал: все. Нога все равно нормальной не будет. К этому времени он и шутить разучился; повернуться в постели — было чистое мучение. Потом понемножку научился ходить — если можно это назвать ходьбой: чтобы шаг сделать, сначала надо дернуть плечом, потом, загребая рукой и кусая до крови губы, качнуться вперед, извиваясь всем телом, и перетащить увечную ногу. Зато — без всяких костылей, сказал он, счастливый, жене, на что та горько разрыдалась. Потому ему дали и группу, но радости от этого было мало, в сорокалетнем-то возрасте — кому инвалидность в радость? Со временем ходьба у него пошла лучше, вот только ступня, да и вся нога горела как на огне, и уставал он быстро. И все-таки придумал зарабатывать на жизнь гармошкой, потому что дома просто умирал от тоски. Но была и другая причина. Тебе что, противно со мной, спросил он однажды жену, а та сказала, да нет, что ты, и вообще она тут ни при чем, это же у него не получилось.

Ты все ж таки не такая, как раньше.

Господи боже мой, да как же я могу быть такой же? Или, по-твоему, совсем не изменилось ничего?

Как человек, как мужчина — я тот же самый.

Чего ты от меня хочешь?

Ничего. Просто… если хочешь уйти, я должен знать. Держать не буду, ты еще молодая.

А ребенок?

Ага. Ребенок. Значит, только ребенок тебя и держит?

Не обижайся, ну не могу, не могу я! Калек я смолоду не выносила… Что мне делать, если нет мочи? Мне тебя так жалко — и все равно… о господи! Ну как мне себя пересилить, когда я с тобой ложусь, как? Не понимаешь ты этого! Я уж по-всякому старалась — и все равно…

Ну хорошо…

Все-таки мы ведь живем как-то, верно? Может, я привыкну со временем, ну, напьюсь или бог знает что еще сделаю. Я уж и у врача была, вдруг что подскажет.

И что врач сказал?

Что он ничего тут сделать не может. Или, говорит, привыкнете, или нет.

А если я просто сижу, тогда тебе не так противно?

Не так. Только если идешь или вообще двигаешься.

И что, очень?

Ужасно.

Ладно.

Что ладно?

Ничего. Просто подумал я: лучше будет, если ты уйдешь.

Куда?

Не притворяйся, будто не понимаешь.

Потом она все же ушла. Они условились, что разводиться не станут, сына она не заберет и душу другим изливать не будет. Сделаем вид, будто ты уехала куда-нибудь погостить, понятно? Когда захочешь, вернешься, это ты знаешь. Так и сыну скажем, а остальное — потом когда-нибудь. Когда подрастет он, тоже пусть едет к тебе когда захочет. Ничего больше придумать я не могу, и ты тоже. Знаю, это большое свинство, но иногда покупай ему что-нибудь, чтобы он знал, что у него есть мать. Деньги я тебе верну. А ему скажу, ты к родственникам уехала, ухаживать за больным.

Узнает ведь он от кого-нибудь.

Тогда придумаем еще что-нибудь.

Пока я, наверно, долго не буду приезжать.

И не надо.

Люди подумают, я тебя в беде бросила.

Ну и что?

Ты-то что скажешь?

Я? Ничего...

И вот они стояли вдвоем в грохочущем, темном переходе между вагонами; тут было холодно, железная пластина под ногами ходила ходуном, мальчик съежился, обхватив себя руками: он совсем продрог. Отдохнем тут немного, сказал отец; прижав к себе сына, он растирал ему спину, плечи. Только здесь и можно было перевести дух; везде был народ, люди с узлами, сумками, канистрами стояли и в тамбуре — ближе к Дебрецену поезд заполнился до отказа. Ну, пошли, спустя некоторое время сказал Балог, немного уже осталось.

В буфете шумела кучка пенсионеров, они успели заложить за воротник, иные пытались петь. Балог подошел, стал подыгрывать на аккордеоне; радости не было предела. Потом, в самую середину песни, ворвался отцов голос: кого я так любил, навеки тем оставлен. Все замолчали; стой, крикнул грузный, с шумным дыханием старикан, стой, давай сначала! Песня была длинная, грустная, потом и мальчик подхватил — отец все подталкивал локтем: когда-нибудь мы свидимся опять. Господи, повидать бы дом еще раз! Откуда ты эти старые песни знаешь, спрашивали у Балога, он только улыбался, потом ответил: долгая история. Давай, давай, мы не торопимся, галдели пенсионеры.

Балогу принесли кружку пива, и он стал рассказывать, что его отец тоже был на фронте, там его ранили, комиссовали, и с тех пор он ходил с аккордеоном по поездам, а сам он, тогда еще мальчишка, повсюду его провожал. Правда, на сей раз отец рассказывал с такими подробностями, которых раньше не было, да и сама история, мальчик это хорошо помнил, была немного другая. Ишь ты, удивленно качали головами слушатели, когда он закончил, а теперь, значит, ты ходишь, и тоже с сыном! А с ногой-то что у тебя, коли не секрет, спросил толстяк. С ногой-то, вздохнул Балог, эх, нога — к этому еще можно привыкнуть. Мальчик дергал его за руку, мол, пойдем: очень он не любил то, что следовало за этим, хотя знал, что все бесполезно, отца не увести. Тот пускался в долгие, путаные объяснения — особенно если его угощали, — дескать, нога то, нога это, и ни капельки правды в этом не было. Что дело произошло на железной дороге, он почему-то

вообще не говорил; в такие моменты мальчик старался куда-нибудь деться, уйти подальше. Видите, говорил отец, глядя вслед ему, бедняга до сих пор слышать не может этого, он тогда так переживал, так переживал, еле спасли его: представляете, повеситься, горемычный, хотел! Такой маленький-то, потрясенно охали слушатели, и всерьез повеситься? То-то, что всерьез... на материном чулке. Он уж так ее любил, так любил, пока она жива была! А она что, умерла, спрашивал кто-то, только сейчас прислушавшись к рассказу, но Балог лишь рукой махал, пойду за ним, говорил он, а то опять еще сотворит с собой что-нибудь. А иногда он поднимал рубаху и показывал шрамы на животе: мальчишка-то на моей почке живет, вот тут ее и вынули! Я тогда сказал докторам: если сыну надо, берите у меня сердце, берите глаз, мозг, все, что потребуется!.. Это он уже произносил сквозь слезы, и женщины вокруг плакали; плакал и мальчик, когда отец его находил где-нибудь в тамбуре или в туалете, где никого не было. Зачем ты такое говоришь, кричал он на отца, зачем врешь? Я и не болел никогда! И не потому у тебя нога такая, что кость мне понадобилась! И мама не умерла, неправда все это! Ты все время врешь! Уходи от меня!.. Бывало, кто-нибудь шел за ними, чтобы утешить или денег дать для несчастного мальчугана, но отец в таких случаях говорил: не надо нам ничего, мы не нищие. Просто хочется иногда с людьми поделиться. И в самом деле не брал ничего, только глаза себе вытирал да лицо мальчика и вздыхал тяжело, ну, ну, ладно, повторял он сам себе, чтобы успокоиться.

Сейчас он вышел из буфета веселый, мальчик, стоя в пустом тамбуре, издали слышал его шаркающие, аритмичные шаги, думал, ишь, за все ногой цепляется, и горько вздыхал. Ты здесь, сынок, крикнул, справившись с раздвижной дверью, отец, нам в другую сторону надо, в этих вагонах мы были уже! Мальчик не ответил, молча двинýлся обратно, в тамбуре на другом конце вагона остановился, подождал, пока пройдет отец, и лишь тогда отпустил дверь. Вот, шоколадку тебе послали, держи. Слышишь? Мальчик остановился. Подождем чуть-чуть, ладно? Отдохнем. Съешь пока шоколадку-то. На свадьбу нас звали, сказал он немного погодя, пойдем? Сердишься на меня, что ли?

Нет.

Что-что?

Не сержусь.

А чего насупился?

Устал.

После буфета еще есть вагон, там тоже много народу бывает.

А потом сойдем?

Сойдем.

И домой?

Конечно. Печку протопим и спать завалимся.

И больше никуда не пойдем?

Никуда. Если хочешь, можешь идти поиграть.

Не хочу я играть.

Не хочешь — не надо.

В следующем вагоне стоял гвалт, там было полным-полно ребятишек, видно, целый класс ехал куда-то на экскурсию; они еле протиснулись между ними. Мальчик держал отца за руку и не смотрел ни вправо, ни влево. Но тут отец не стал ни играть, ни петь, к счастью, потому что их наверняка высмеяли бы, и Тиби Карас, конечно, узнал бы об этом. И наверняка узнал бы, что на ногах у мальчика были разношенные башмаки, а не кроссовки, как у всех. А уж пальто! Дома у него тоже есть нормальная куртка, но сейчас он должен ходить в этом балахоне, потому что сейчас они — бедные. А может, Тиби Карас тоже здесь, и сейчас откуда-нибудь донесется его голос: эй, побирушка! Ты чего такой, будто тебя обоссали и на ветку сушить повесили?.. Мальчик шел торопливо, глядя себе под ноги, но все равно чувствовал, как вокруг шепчутся, толкают друг друга локтями и давятся смехом его сверстники, а когда они выйдут, поднимется такой хохот... Две мартышки, крикнет кто-нибудь; во пугало, добавит другой. Мальчик так торопился, что отец за ним едва поспевал; постой, сказал он уже в тамбуре, не беги так, я весь взмок.

Но на следующей станции они так и не слезли. Давай еще хоть вагон пройдем, ну один, упрашивал отец; в вагоне было довольно много народу, в основном женщины, а женщины всегда больше подают. Тут они пели: моя матушка, добрая женщина, и люди тоже стали их расспрашивать, но мальчик ушел вперед и не слышал, как отец говорит: поглядите на сынишку, он ведь весь из меня сшит, в чистом виде! А от меня вот что осталось, ну, и он еще. Не удалось выйти и на очередной станции: в следующем вагоне их уже ждали, кто-то там уже рассказал о них, Балогу даже петь не пришлось, сразу заставили показывать шрамы. Вот, смотрите, смотрите, на моем сердце он жил два дня, здесь была трубка выведена, и оба мы были к ней подсоединены... В следующем отец показывал спину: он уж и не дышал, бедненький, посинел весь, вот тут провели от него трубку ко мне в легкие, чтобы, значит, не задохнулся. И наконец, высовывал вперед колено: хотите верьте, хотите нет, у него моя коленная чашечка, он и не знает об этом, я подпись дал, что никогда ему не скажу.

Должно быть, они уже были где-то в самом начале поезда, слышен был шум паровоза, Балог сказал, на следующей сойдем, с меня тоже достаточно. В переходе сильно дуло, кое-как они выбрались в тамбур, здесь теплей, давай постоим, сказал отец и осторожно опустил на пол аккордеон. Потом вынул из кармана вязаную шапку, надел ее сыну на голову. Папа, сказал немного погодя мальчик, там лежит кто-то. Где, стал озираться отец. Вон там, ноги только видно. Балог шагнул в сторону и тоже увидел. Это был молодой парень, он лежал в самом начале прохода, что вел в вагон, стукнули его, видимо, у самой двери, голова, лицо были в крови, на нем были джинсы, короткая куртка, рубашка разорвана. Пошли-ка отсюда, сынок, быстро сказал отец, не смотри туда. Куда пошли, спросил мальчик, мы же сходить собираемся. Обратно, в тот вагон, где были, там и сойдем, пошли. Открывай дверь! Мальчик не мог оторвать глаз от лежащего, тот шевельнулся, а может, дернулся, и тут вдруг с шумом открылась дверь уборной и из нее вышли двое мужчин. Ай-яй-яй, сразу сказал один из них, вы что́ это тут делаете? У него были черные курчавые волосы и длинные бакенбарды, которые спускались к самым губам. Ты посмотри, заговорил другой, как эти ребята жмурика обработали. Второй тоже был смуглый, но не настолько, во рту у него блестели металлические фиксы; он приблизил лицо к Балогу и крикнул: «У!» Они громко расхохотались; ну, двигай в вагон, сказал кучерявый, там потолкуем об этом. Прошу прощения, заговорил Балог, мы никого не трогали, я бродячий музыкант, мы с сыном как раз сойти собирались. Не трогали, угрожающим тоном переспросил фиксатый. Нет, конечно, где уж мне его трогать, посмотрите на меня, на мою ногу... Какой же бес сопатый тогда его припечатал-то, а? Может, громом с неба ударило? Они вдвоем притиснули Балога в угол, мальчик стоял в стороне, тараща на них большие испуганные глаза. Может, это я сделал, заорал фиксатый, а? Ну! Чего молчишь? Спокойно можешь сказать, что это я сделал, потому что это как раз я и сделал! Он бросил взгляд на второго и опять захохотал, потом хлопнул Балога по плечу, ладно, сказал он, в штаны поди наложил. Ну ничего, со временем очухаешься. Эй, крикнул он лежащему на полу парню, подъем! И пнул его ноги. Брось, сказал кучерявый, пускай дрыхнет, идем! Так ты, говоришь, музыкант? Так точно, ответил Балог, немного приходя в себя от испуга, по вагонам вот мы ходим с сыном. Ага, сказал фиксатый, показывая на аккордеон, а на этом ты что можешь? Все, гордо выпалил Балог, почти все. Двое мужчин переглянулись и опять засмеялись, тогда пошли, сказал кучерявый, покажи свое искусство!

Как только не вертелся Балог, чтобы не идти с ними; он и на сына показывал, мол, маленький он, слабый, болеет часто, у него и сейчас температура, а иной раз вообще бредит; это ничего, ответил фиксатый, пускай бредит сколько душе угодно, мы-то, думаешь, что делаем, когда нас в кутузку загребают? Балог говорил, что устал, показывал свои шрамы, и увечную ногу тоже показывал; вот и хорошо, похвалил ногу кучерявый, с такой ногой вприсядку здорово получится, двигай, двигай давай. Мальчик растерянно смотрел то на одного, то на другого, тем временем их втолкнули в вагон, в самую середину. Воздух в вагоне был сизый от густого табачного дыма, за гвалтом не слышно было стука колес. Пришедших встретили овацией; видно было, что тут одна компания, мужчины,

женщины толпились, кричали вокруг большой сумки, на которой рассыпаны были карты и деньги. Я тут вам музыканта привел, объявил кучерявый, он вам что-то хочет сказать, заткнитесь-ка ненадолго! Ничего я не хочу сказать, стал было отнекиваться Балог, прижав к себе сына и жалостливо улыбаясь, но потом подумал, что лучше, пожалуй, уступить. Ладно, если позволите, я песню спою, сказал он, чувствуя, что взгляды и голоса становятся угрожающими, только одну песню, а то у нас сил никаких уже нету. Ему сунули в руки бутылку, чтобы выпил, мальчику тоже дали отпить, как он ни отказывался; потом кто-то поднял его и закинул на багажную полку. Есть хочешь, спросил у него кто-то с густо накрашенными губами, будешь банан? На! Ему бы одежду нормальную, хохотали другие, а то чистое чучело! Ты почему сына нормально не одеваешь? Балог что-то лепетал, мол, есть у него и нормальная, да в поезд зачем, помнется только, заносится; потом поднял аккордеон и заиграл; громче, кричали ему, не слыхать ни черта! Цыц, вы там! На какое-то время стало тихо, потом лысый, с бычьей шеей человек остановил его, нет, так не пойдет, не на похороны едем. Повеселей чего-нибудь нет? Дайте ему еще выпить, чтоб не грустил!

Играть Балог, собственно, не умел, знал только то, чему у отца научился, новых песен и мелодий не разучивал, да и нужды в этом до сих пор не было. Сейчас на него жалко было смотреть: он пытался хотя бы из ритма не выбиться, пока остальные пели, но дело шло плохо, и пение мало-помалу затихло; слабак ты, мужик, сказали ему. Проваливай отсюда, ни на что ты не годишься. Халтурщик ты, сказал ему и кучерявый, а никакой не музыкант. Ладно, дайте ему сколько-нибудь, пусть не говорит, что мы скупердяи. Да что вы, что вы, отмахивался Балог, не сумел я вас развлечь, значит, ничего не положено. Все равно, вставил фиксатый, время на нас потратил, а время тоже дорого стоит, верно, ребята? С тыщи сдачу найдешь, спросил кто-то, и все заржали. А чего ты жеваный-то такой, спросил тощий, похожий на чахоточного, человечек, что с тобой приключилось? Почему нормально не ходишь? Разве не легче нормально-то? Легче ведь, попробуй! Окружающие захохотали опять; не слишком тяжел у тебя эспандер, спросил кто-то; у Балога сняли с шеи аккордеон, стали растягивать, словно это и вправду была пружина, соревновались, кто больше растянет, держали и над головой, и за спиной, потом кто-то хлопнул себя по лбу ладонью: братцы, да он на клавиши-то почему жмет? Потому что так легче растягивается! Окружающие опять заржали; и еще деньги просит за это, ну и жулик! На, вот твои деньги, проваливай! А мальчишка где? Куда вы его дели?

Мальчика сняли с полки; ух ты, какие у него зубы ровные, белые, сказал кто-то. Все тридцать два? Все, ответил он. А мускулы, а! Лысый с бычьей шеей ощупывал ему плечи, руки, смеялся: вот это да! А гибкие-то какие! И зубы, говоришь, все? Мальчик, улыбаясь, кивал, большие, сильные люди передавали его друг другу, потом кто-то взял на руки, сказал, я понесу, только чтоб меня не описал, слышь? Мальчик смеялся, на отца он не смотрел, сейчас ему было хорошо, очень хорошо, человек с бычьей шеей сказал, смотри там крепче держись за мою шевелюру, а у самого на голове ни волосинки, тогда мальчик прижался щекой к его лысине, обнял за шею — и смеялся, смеялся. Эй, хватит, крикнул кучерявый, хватит! Отпустите их! Гармошку захвати, Дюри, да проводи гостя к выходу, чтобы он, не дай бог, не вернулся! Выпьешь еще? Нет? Вот и ладно… Первым несли мальчика, потом тащили отца, двое держали его под мышки, так что ему и ноги не надо было передвигать, третий нес за ними аккордеон. Тот, который шел впереди, в тамбуре снял мальчика со своей шеи, ну вот, сказал он, и добрались. Давай лапу, и протянул свою огромную, как лопата, ладонь. Мальчик с размаху хлопнул по ней; вот так! Молоток парень! Потом лысый открыл дверь вагона, мальчик ощутил слабый толчок, услышал оп-ля, и полетел. За ним — отец. Немного погодя — и аккордеон. Поезд шел дальше.

Счастье еще, сказал отец, подняв голову, что мы такие маленькие и худые. И что бурьяна тут много. Ты не ушибся? Нет, сказал мальчик; он уже давно поднялся, словно ничего и не произошло, стоял, пиная ногой травяную кочку, и улыбался. Отец кое-как, тяжело дыша, сел. Мать их так, сквозь зубы произнес он и, все больше распаляясь, долго ругался, что это за вшивый, вонючий, гнусный народ, как они с нами обошлись. Разве

это люди? Нет, чтоб такое!.. Это так оставить нельзя. Твари поганые! Чтоб калеку и ребенка!.. А ты что смеешься?

Так.

Что тебе смешно? Или ты надо мной?

Вышвырнули нас, как котят, которые в углу напачкали.

Не над чем тут смеяться. Мы бы и шею могли сломать. Иди сюда, я посмотрю, все ли с тобой в порядке.

Все со мной в порядке.

Говорю, иди сюда! Бывают и внутренние повреждения.

Где?

Надо ощупать. Если больно, скажи.

Ладно.

И брось мне ухмыляться.

Мальчик громко рассмеялся, передние зубы его влажно поблескивали, в углу губ белела капля слюны. Щекотно, сказал он, когда щупаешь, но это была неправда, просто было смешно вспоминать, как лысый вышвырнул их из поезда. Может, они за ними вернутся, то-то будет смеху, все будут смеяться, и кучерявый, и фиксатый, а лысый снова посадит его на плечи и крикнет, держись за волосы, а у самого волос-то и нет. Мошенник ты, сказал отец, и в самом деле стал его щекотать, потом, все еще сидя, взял сына на руки, как маленького ребенка, и задумчиво произнес, да-а, дешево мы отделались. Наконец он поднялся на ноги, огляделся, ага, так я и думал, где-то недалеко станция. Тут товарные поезда ходят, еле ползут, на какой-нибудь вскарабкаемся, ладно? Ладно, спросил он еще раз, потому что сын не отвечал, лишь смотрел куда-то перед собой, и на лице у него медленно таяла улыбка. Ладно, ответил наконец мальчик. Доедем на товарняке, как в прошлый раз, продолжал отец. Но — только если очень медленно будет идти. Я тебе скажу, на какой садиться. Спустя некоторое время он сходил за аккордеоном и вернулся совсем унылым, с этим беда, ремонтировать надо. И меха порвались. Он повертел инструмент, растянул пару раз, потом со вздохом отложил в сторону.

Какое-то время они молчали; мальчик встал, подошел к рельсам, посмотрел в одну сторону, в другую, но ничего не было. Потом промчался, споро стуча на стыках, пассажирский, и снова надолго установилась тишина. Потом прошел и товарный, но тоже слишком быстро. Сядь, сиди спокойно, сказал отец, не шастай там, по путям, придет он, не бойся, я этот участок знаю, бывает, иной раз маневровый паровоз аж сюда оттаскивает платформы.

Я сильный, папа?

Ну конечно.

Они сказали, у меня мускулы есть. Это и значит: сильный?

Ну да.

Тогда я могу сесть на поезд. Даже если он идет быстро.

Если быстро, никто не может сесть. Руки оторвет.

И ты не можешь?

Не могу.

Потому что ты — слабый, как… былинка?

Это тоже тебе в поезде сказали?

И еще, что ты… халтурщик.

Ты и слова-то этого не знаешь.

Лысый — он очень сильный. Да?

Да.

А ты — слабый.

И что из этого?

Мальчик не ответил. Лицо его стало грустным, он сел в высохшую траву. Прошел еще поезд, но в другую сторону, потом еще два, и опять вокруг воцарилась тишина.

Папа.

Что?

А ты ведь не сможешь отхлестать Тиби Караса по морде!

Почему это не смогу?

Потому что ты слабый.

Брось!

Ну да. Он тебя по стенке размажет.

Это он сказал?

Он. А ты только и будешь скалиться, как заяц на кислое яблоко.

Иди-ка сюда.

Не пойду.

Да не трону я тебя! Просто хочу, чтобы ты мне сказал, чему ты там научился, в вагоне. Вот мать-то порадовалась бы за тебя, если бы слышала... А про нее Тиби Карас тоже что-нибудь говорил?

Говорил.

Что?..

Издали донесся низкий тягучий гул: видимо, приближался еще поезд. Балог встал, мальчик тоже; медленно идет, сказал отец, по звуку чувствую. Этот, пожалуй, подойдет. Давай-ка приготовимся! Балог схватил сына, прижал его к себе, но тот вырвался у него из рук. Поезд идет, закричал он с воодушевлением; погоди, крикнул отец, не торопись только! Если слишком быстро, лучше еще подождем, слышишь? Ладно, ответил мальчик, но видно было, что он весь сосредоточен на поезде. Порожняк, сказал Балог, когда состав подъехал, может, сгодится. Только не подходи слишком близко! Подожди, пока совсем ход сбавит!..

Он смотрел, как мальчик проворно взбирается по засыпанной щебнем насыпи. Будто ящерка! Задыхаясь, нелепо дергаясь, он едва поспевал за ним, подожди, кричал он вслед сыну. Но мальчик уже ухватился за подножку, ай! мгновение повисел — и вскарабкался наверх. Я сейчас, кричал отец, оставайся там! Сядь! Ему тоже удалось схватиться за подножку на другом конце вагона, ну вот и порядок, думал он, теперь, раз ухватился, не отпущу. Поезд волочил его по земле, но все это было ничего, сын уже бежал по платформе, направляясь к нему, сядь, крикнул отец, я сейчас! И вдруг ощутил страшный удар по лицу. Удар башмаком. Потом еще. Два белых взрыва... Он отпустил железную подножку, сил больше не было. Да и смысла тоже не было никакого.

Самая холодная ночь

Хорошо тому, кто встречает праздник в интимной гармонии семейного гнездышка; тепло тоже не последнее дело: Енё много месяцев живет в гараже, а гараж — это три бетонные стены, да крыша, да ворота железные, так что Енё очень даже мог оценить любое помещение, в котором температура выше, чем под открытым небом. Вообще, отвлеченные понятия он не очень любил; например, что это такое — интимная гармония? Потвоему, это что, спросил он в корчме под названием «Мушиная радость» у Оскара, а тот чуть всерьез не обиделся: вопрос застал его врасплох. Короче, Оскар не знал. Не знали и остальные, те, кто торчал возле стойки или у длинной полки, укрепленной на стене; а Медард, общий пес, зевал возле двери и ни во что не вмешивался. Интимная гармония, задумался корчмарь, это, как бы тебе сказать… только не думай, что это такое уж счастье. Я бы тебе порассказал... Однако рассказывать он ничего не стал. После закрытия ему ведь домой идти, и для него это тоже не ахти какая радость. Жена у него бабенка крепкая, круглая, платье на ней чуть не лопается, а он домой вваливается такой усталый, сил хватает, только чтобы рот закрытым держать, и открывать он его больше ни за что не согласен. В общем, супруга его уже не раз пользовалась этими словами, интимная гармония, и корчмарю запомнилось, что они ему всегда как-то действовали на нервы.

Шаллаи сказал, интимная гармония — это значит: согласие и взаимопонимание, а

если так, то они здесь, в корчме, уже много лет пьют вино и пиво в интимной гармонии, так чего вам еще надо? Это — дружба, заявил маленький человечек, которого тут звали не иначе как Буродыр, мне можете поверить. А возчик Леваи, у которого одно на уме, бабы, понимал интимную гармонию так: это когда сидит с тобой рядом щель и одной рукой подливает тебе палинки, а другой — в штанах у тебя копается. Для Леваи любая женщина была просто щель, или — дыра, с ним особо никто и разговаривать не хотел из-за этого. Настроение у всех было кислое: когда-то какой-то идиот придумал, что в сочельник питейные заведения надо закрывать ранним вечером, и ему, тому идиоту, конечно, и в голову не пришло, куда деваться всем тем, кто не особо набожный и кому, главное, идти некуда? Вот, например, здесь, в квартале, трое таких: один беженец из Румынии да двое разведенных; да и другие есть, только они не смеют сегодня сбежать в корчму, потому что не развелись еще. Румын, тот обычно в корчме, в кладовке ночует, куда его корчмарь пускает из жалости, но сегодня нельзя: случись какая проверка, неприятностей не оберешься. Енё же до утра в гараже, возле электроплитки будет зубами стучать; в нормальные дни ему надо вытерпеть от закрытия пивной до утра, до открытия, это не так уж страшно. Оскар, он приборист, ему открыть дверь любого подъезда — раз плюнуть, а там он, как барин, выспится себе где-нибудь под лестницей. Коли уж ты развелся, другого не жди. Сколько веревочка ни вейся, а конец все равно — вот он, как говаривал Буродыр; уж он-то знает, он второй раз разводится.

Енё сегодня пил немного, с утра — полстопки всего, чтоб оттаять, да еще полстопки — вместо завтрака, но от этого у него вдруг аппетит появился, он что-то такое поел, а от еды, как известно, в сон клонит, так что он выгнал румына из кладовки и покемарил немного. Румын этот все равно наглеть начал, даже днем в кладовке болтается, среди ящиков с пивом да канистр с палинкой, и, хотя клянется, что ничего не трогал, к полудню обычно совсем косой. Это — от запаха, объясняет он всем, и, может, это в самом деле так, потому что в кладовке все вроде на месте; в общем, все только руками разводят. К обеду Енё проснулся от шума: в пивном зале гвалт, ругань, вроде даже до драки дошло; он, Енё, чего ни под каким видом не выносит, так это ссор, а потому вышел он из кладовки через черный ход и побрел мерзнуть к себе в гараж, чтобы потом, когда в корчме снова будет тихо, вернуться, перечитать газеты, какие найдутся, выпить кофе — ничего больше, — а там вскорости можно и отправляться.

Сколько он в свое время вкалывал, чтобы был наконец у них этот гараж! Сутками известь, краску глотал, ацетоном дышал, чтобы денег собрать — на квартиру, на мебель, на гараж этот, а теперь и гараж уже не его, бывшая жена разрешила, правда, на время там приютиться, пока найдется какое-нибудь жилье. С тех пор прошел почти год. Как дурной, страшный, нескончаемый сон. Сначала Енё вообще поверить не мог, что жена всерьез хочет разводиться, ладно, измена — штука суровая; нет, конечно, это не он изменял, у него ни времени не нашлось бы, ни сил; у жены был какой-то старый дружок, у которого и одежда всегда была чистой, не в краске, как у него, и который не таскался вечно с ведрами, кистями, стремянкой, расхристанный, грязный, как черт из трубы. И все же Енё не на жену был сердит. Сердит он был на весь мир, потому что нет правды нигде, даже на небе, о Боге уж и говорить нечего…

Ворота гаража открывались с трудом, бетон перед ними льдом приподняло, в прошлый раз, как открывал он их, одна створка упала с петель прямо на Енё, а соседи смотрят и ржут, чтоб им пусто было. Енё только с Мики дружил, соседом по гаражу; Мики же на сегодняшний вечер одолжил ему брюки и куртку; ботинки, правда, у него свои есть, есть и одежда чистая, но она не в таком виде, чтобы праздник в ней встречать, потому что на ночь он всю одежду на себя натягивает и на пол стелет, чтобы продержаться до утра. Из квартиры он взял один только холодильник и то потому, что тот не нужен жене: Габор Дери, нынешний муж, купил ей новый, хороший, с морозильной камерой. Странно выглядел Енё в гараже с холодильником, особенно когда зима наступила, да ведь дурачье это, конечно, понятия не имеет, что спинка у холодильника, когда он работает, теплая; и вообще, Енё было наплевать на других: пускай на него смотрят как на чокнутого, ведь в конце

концов половина квартиры принадлежит ему, часть мебели тоже, но он заявил, что ему ничего не надо. Пускай пропадает. Половину квартиры он записал на сына, а сам в гараж переехал — с инструментом, кое-какой одежонкой да палкой, иногда поясница у него болела, и он только с палкой мог ходить. А потом в гараже мало-помалу накопилось окурков, хлебных корок, пустых бутылок и всякого прочего мусора, который откуда-то набирается даже в самом отчаянном убожестве и одиночестве.

Когда его спрашивали, зачем он ушел из дома, Енё только хмурился и молчал. Шаллаи объяснял так: Енё, дескать, обиделся и думает, что жена его пожалеет и все вернется обратно; только зря он так думает. Из окна квартиры, где она теперь с Габором и с сынишкой живет, виден и гараж, и Енё, конечно. Леваи же сказал: Енё — он все равно что кошка, разве что от него воняет сильнее; словом, кошка, та тоже к одному месту привыкает; а вообще без корчмы мы все равно покойники, так что от этого и подохнем. Это, конечно, так, рассудил Буродыр, но Енё подохнет не от этого: он у себя в гараже замерзнет, от гордости. И то и другое, наверно, правильно, как правильно и то, что Енё в самом деле считал себя не совсем таким, как другие; впрочем, так о себе думали все завсегдатаи «Мушиной радости», это он и сам знал — но он насчет себя все правильно понимал. В свое время он даже в гимназии поучился, недолго, правда, потому что как раз отец у него умер и Енё пришлось идти работать; а все-таки можно заметить: он и говорит по-другому, культурно, особенно если следит за собой — только в последнее время следит он за собой все реже. Но не потому он не такой, как все это отребье, что культурный, а потому, что уверен: все равно жена вернется к нему с ребенком, она его любит, только сейчас она не в себе немного, но это пройдет. Не может иначе быть, ведь и он ее любит, и сына любит, которому он дал имя; он его первым в руки взял, прямо такого, в крови, в слизи, и расцеловал всего, и ерунда, что акушерки и нянечки орали на него там, в холодной родильной палате. Он им в благодарность все побелил бесплатно, любо-дорого было смотреть, но и малыш такой рос красавец, веселый, здоровенький — все, кто видел, ахали от восторга, ну кукла, а не ребенок.

Теперь сыну уже двенадцать, но он и сейчас — красивый, проворный, складный такой мальчуган; жена Енё пообещала, что к вечеру отпустят сына к нему ненадолго, поговорить, только чтобы Енё в корчму его не водил. Вот для чего нужны ему чистые штаны и куртка; сосед Мики даже ключи дал от машины — вдруг куда-нибудь захотят поехать; Мики — парень добрый, да ведь и он, Енё, добрый, кухню ему побелил бесплатно… В гараже Енё сегодня навел порядок какой-никакой: пол подмел старой кистью, пожитки свои затолкал в холодильник, а что не вошло, повесил на гвозди; вот только — холод. У Енё никого не было в городе, даже приятелей мало — одна только эта, глубоко зарытая в сердце, сумасшедшая любовь; да еще ожидание. Так хорошо это — ждать; он перевернул два пустых ведра из-под краски, на них они будут сидеть, на доску он поставит бутылку с пепси, положит подарок, он и маленькую елку получил от одного клиента, не елку даже, а ветку, но всю ее увешал конфетами в ярких бумажках. Конфеты тоже ему дали так, бесплатно, Енё — маляр хороший, у клиентов нарасхват; когда трезвым его заставали, он много не запрашивал, и больше едой, питьем, одеждой, теперь вот — конфетами; но самое главное — подарок для Балажа.

В полдень Енё пошел в корчму, прочитал газеты; там уже было спокойно, он красовался в праздничной одежде, штаны и куртка Мики были ему почти впору, Енё даже побрился; народ над ним подсмеивался: чего это ты при параде-то, повеситься собрался, что ли? Но Енё на них внимания не обращал: сидел себе за чашкой кофе и ждал. Потом все же не выдержал, попросил полстопки водки, потому — рот от волнения пересох и вообще. После этого взял бутылку колы с собой, обозвал всех, как обычно, дураками и двинулся в путь. Уговор был такой: он позвонит с улицы в домофон, они выглянут и, если увидят, что он в норме, отпустят к нему мальчика. Что верно, то верно, иной раз Енё выглядел так, что даже Медард, пёс из «Мушиной радости», принимался скулить и куда-нибудь прятался от него; но сейчас он и вправду был в норме, целый день почти не пил, и даже рука у него не дрожала, когда он на кнопку жал, только сердце билось чуть-чуть с

перебоями, но это — дело не новое: у Енё, если он волнуется, всегда появляются эти сбои, ничего, выдержать можно.

Аранке, бывшей жене, он тоже купил подарок, какие-то дорогие духи, но вот чего он не думал, так это что жена сама спустится к нему с сыном с третьего этажа; но, в общем, он рад был, даже чуть не обнял ее, так был растроган, но она не позволила. Зайди, пожалуйста, сказала она Енё, держа мальчика за руку; тот улыбался, но как-то криво; хочу сказать тебе кое-что, продолжала жена. Видно было, что она нервничает. Енё подумал было, она в квартиру его пригласит, но нет, ничего подобного, они остановились на лестничной площадке. Красивая она была все же, и в целом, и все по отдельности: лицо, глаза, взгляд и эти мягко вьющиеся волосы на затылке; у сына на головке они вились так же мягко, и вообще он на нее был похож, и формой носа, и темными цыганскими тенями у глаз. Жена немного помолчала, словно чего-то ждала, глядя на Енё, потом заговорила.

Сердце, бывает, и у здорового человека иной раз пропустит один такт, зато потом застучит сильнее; вот и у Енё — так ахнуло после паузы, что у него даже голова мотнулась. Не может этого быть, сказал он без уверенности, чувствуя, что сейчас хорошо бы сознание потерять или чтобы случился инфаркт и он бы очнулся в больнице — или совсем не очнулся бы, никогда. Аранка, с трудом подбирая слова, сообщила ему, что Балаж — вовсе не его сын, а Габора, потому она и вышла за него. Так что насчет квартиры надо все заново обсудить; в конце концов, если Енё не отец Балажу, тот не может быть его наследником. С Габором они все обдумали, лучше, если ребенок тоже об этом узнает. Половина квартиры принадлежит Енё, это так, но они ему выплатят деньгами. За эту сумму он сможет купить жилье поменьше, где-нибудь в другом месте; а гараж ты освободи, и, пожалуйста, поскорей. И ребенку лучше, если оставишь его в покое... Енё смотрел на мальчика; тот отвернул голову, но все равно смотрел на него широко раскрытыми глазами, словно боялся его. Енё вдруг заметил, что жена плачет; он никак не мог сообразить, давно ли она ему объясняет, что она — всего лишь раз, один-единственный раз, потому и не хотела иметь больше детей, но никак не могла собраться с силами во всем признаться ему. Габор же ее все настойчивее уговаривал, особенно после того, как ребенок появился, ну что она могла поделать? Что? И этот засранец тебя прислал со мной говорить, у самого-то что, не хватило духу прийти, и... Енё ухватился за радиатор, голова у него шла кругом, и жарко было невыносимо, и впервые за долгое время он ясно почувствовал, что все видит и понимает. Все.

Вот полоса масляной краской, в нижней части лестницы, это он красил, и перила тоже, тут покраску уже обновлять пора. Корчму тоже пора вообще-то уже ремонтировать, стены — грязные, вонью от них несет, двери, окна освежить надо, в таких местах ремонт надо делать чаще, свежая покраска — она и дезинфицирует, и народ какое-то время бережнее относится к помещению, не хватается за все грязными руками, не плюет на пол. Енё заказал полстопки и пиво, рюмку выпил сразу, взял еще одну, выпил и ее, потом, с третьей рюмкой и с пивом, сел за столик возле двери в уборную, там не так сквозит. Он тянул пиво, слушал радио — и не сразу обратил внимание, что вокруг стоит тишина. Что на него смотрят. Все. Не то чтобы откровенно глазеют, но явно косятся. Что случилось, спросил он, нарисовано на мне что-нибудь, а? Что это с ними, спросил он корчмаря, но тот только плечами пожал, он уже посуду складывал, скоро пора закрывать, и тогда каждый может идти на все четыре стороны. Если хочешь, можешь спать сегодня в кладовке, сказал он Енё чуть позже, ночью мороз будет. Радио говорит, очень холодная будет ночь. Знаешь что, сказал он через некоторое время, в руке у него была бутылка шампанского, а в глазах — печаль, знаешь что, все уже знают. Понимаешь? Все, кто тут сидит. Мы и раньше знали. Все, кроме тебя. А теперь давай выпьем шампанского, на нас-то чего сердиться?

Голова Енё упала на стол, будто его ударили или будто он наклонился поднять что-то, да так и остался. Он не видел уже, что и Шаллаи, и Леваи, и остальные — все подходят к нему, вот только говорить ничего не говорят, чего с ними, в общем-то, не бывает, только уж если очень-очень расстроены. Долго они стояли, поглядывая друг на друга: что

теперь делать? Корчмарь махнул на них и прошептал: тише, не мешайте ему, уснул он. А если помер, спросил Буродыр, вон не шевелится даже! Иди ты, зашипел на него Леваи, пиво же перед ним, как он помрет, ишь выдумал! Это он сильно сказанул, но все равно никто не засмеялся, тишина повисла в корчме, словно дурное предчувствие; потом они помогли хозяину поднять стулья на столики, румын быстро пол вымыл. Пора было закрывать, но они сидели еще полчаса, выпивали, потом корчмарь выгнал Медарда за дверь и сказал: Енё пускай остается. Лучше, если он тут поспит. Ночью сильный мороз будет, звезды вон на небе мерзнут... Остальные кивали, и вправду холодно. А тут еще... Спит, бедолага, и сны видит, неожиданно сказал румын, там ему наверняка лучше. Медард тоже, видно, озяб: оставшись один в темноте, он тихо, жалобно заскулил.

Ринальдо

Ишшь ты, кокетливо воскликнула Борика Таллаи и, обворожительно улыбаясь, оглядела дочь с головы до ног; негромкое восклицание это в ее устах могло выражать что угодно: одобрение, радость, страстный восторг — или просто удовлетворение тем, что ей удалось так хорошо расправить на дочери платье, которое, правда, перед этим было тщательно, до блеска выглажено утюгом, но ведь каждому ясно, что когда его надеваешь, то все равно надо по фигуре подправить, чтоб не топорщилось, не морщилось, волнами не шло, нигде не висело — а такие мелочи замечаешь, только если стоять совсем близко, скажем, в двух шагах. Отец мой в таких случаях говорил: ну что ж, дочка, можешь отправляться на бал, но чтоб к двенадцати была дома, соска тебя ждать будет! Эшшь ты, сказала она еще раз с кислым видом, потому что дочь и на сей раз не засмеялась, ладно, ступай.

Борика Таллаи не относилась к тем матерям, которые трясутся над дочерьми, оберегая их от всего на свете, а пуще всего — от парней; наоборот, она скорей подбадривала девушку, ставшую после того несчастного случая равнодушной и молчаливой, то и дело посылала ее, иди, развлекайся, веселись! Живи, пока живется! Легко ей было посылать: эта бледная, с жесткими волосами — хотя не скажешь, что некрасивая, — девушка, которую когда-то окрестили Бертой, не дочерью приходилась ей, а племянницей, и то не вполне родной, ну, вы же понимаете, объясняла она в свое время на галерее, сестренка в то время не с мужем жила. А с кем, это оставалось тайной. Как тайной оставалось и то, почему девочку, после внезапной смерти родителей, родственники только и норовили сбыть друг другу, все равно ведь она замуж выйдет когда-нибудь, Борика Таллаи же благодаря ей получила эту квартиру, одна комната с холлом, как опекунша, но это никого не касается.

Ишшь ты, какие шикарные апартаменты, восторженно всплескивала она тогда руками, ишшь ты! Берте, собственно, в наследство досталось целых полдома, вторую половину которого унес, вместе с газовым баллоном, взрыв, и Борике немалых трудов стоило превратить то жуткое наследство в скромную, но исключительно уютную квартирку в этом романтическом, как она говорила, старомодном доме. Темные плотные шторы они раздвигали редко: все равно развесистое уксусное дерево перед окном загораживало улицу, да и мебель так выгорала меньше; чтобы проветрить, они распахивали все двери, и запах выходил на галерею, потому что на улицу окно открывать не было никакого смысла, с улицы несло в комнату шум, пыль, бензиновую гарь, летом из мясной лавки, что на первом этаже, летели крупные зеленые мухи, поднимался запах крови и смрад. Мясник на рассвете колол свинью прямо на улице, кровь спускал через уличную решетку в канализацию, да ведь нынче все дозволено. А с другой стороны виден был голый двор, где чаще всего околачивался Яношка, сын дворника, парень высокий, складный, всегда веселый, но со слабым умом; ишшь ты, видя его, говорила завороженно Борика, какой мужчина! Это был для нее вроде как второй канал! А первый — окно на улицу; телевизора у них не было.

Жильцы в доме часто захаживали друг к другу, по делу или так, все тут хорошо знали друг друга, почти все работали поблизости, на мебельной фабрике; только дворник при-

был сюда из другого микрорайона, он был оператором плоскочулочной машины и, шептались люди, доверенный человек. Да еще вот — Таллаи с Бертой. Эти две женщины. Появились они здесь, видно, ночью; однажды утром дворник, который под предлогом уборки заглядывал в окна кухонь, заглянул — а они уже там. Вдова Таллаи, гордо представилась дворнику женщина; с остальными она просто здоровалась, а иной раз и того не делала; а это моя дочь, представила она немного погодя Берту. Дворник взглянул на Берту, потом на Таллаи: да ну, вырвалось у него, а не внучка? Эшшь ты, с лукавой улыбкой проворковала толстая женщина и кокетливо вскинула брови. Мы бы с ней подружками могли быть! Дворник не нашел, что на это сказать, лишь языком что-то выковырял из-под протеза, потом кивнул и ушел по своим делам. И эта тоже какая-то ненормальная, рассказывал он потом жене. Все время говорит: эшшь ты. Так и говорит? Ну да. Тогда и вправду подозрительно, удовлетворенно заключила дворничиха. Яношка, их взрослый сын, во дворе собирал на лопату мусор, бросал его в грязный помятый контейнер, при этом смеялся и, по всему судя, был вполне доволен собой; потом поддел лопатой валявшийся в стороне камень и подбросил его высоко в воздух. Он тут же забыл про него и отвернулся, почесывая себе зад, и тогда камень упал ему на плечо. А дочь что, спросила, с надеждой глядя на дворника, жена, но ответа не получила.

Ступай куда-нибудь, повеселись, потанцуй, каждый второй день уговаривала Борика девушку, за мной в твоем возрасте полгорода бегало! В такие моменты мысли Борики иногда улетали куда-то, она поднимала глаза к потолку, долго смотрела на люстру и — видимо, под грузом воспоминаний — ничего не говорила. Свои более или менее уцелевшие платья, костюмы она вывешивала на дверцу шифоньера, чтобы Берта сама выбрала, какое ей сегодня надеть; девушке, правда, никакое надевать не хотелось, она бы с радостью сидела дома, да и дома не выходила бы из ванной или уборной — там можно было закрыться и побыть одной. Ничего необычного она там не делала, просто смотрела в зеркало на себя, особенно же внимательно разглядывала кожу — на руках, на лице, потом на всем теле, до пальцев ног, не вскочило ли там что-нибудь, прыщик или бородавка, и если, когда она себя оглаживала, пальцы встречали какую-нибудь шероховатость, она принималась это место мазать и натирать всякими лосьонами, кремами; в уборной можно было пользоваться только слюнями, но — ладно хоть так. Когда с кожей было покончено, она принималась за волоски, которые нужно было выдергивать, по одному, отовсюду, а чуточная боль была даже приятна, от нее по всему телу шла сладкая дрожь, иногда даже слезы на глазах выступали. Берта знала, что парни — существа грязные и вонючие, от них исходят какие-то испарения, которые называются — мужской запах, у них даже дыхание другое, а от их слюны и пота легко можно забеременеть. Берте было двадцать три года, и ни со слюной, ни с потом мужским она еще ни разу близко не сталкивалась; однажды, в гостях у кого-то из родственников, ее пригласили танцевать, и там она точно чувствовала какой-то запах, от которого у нее даже голова разболелась; так чего ради ей идти на какой-то бал? Ей и так было хорошо; в последнее время, когда Борика посылала ее веселиться, она не спорила, уходила в ближний сквер, находила себе скамью, садилась и несколько часов терпеливо скучала.

Сейчас, стоя у окна в кухне и брошью скалывая на себе юбку миди, которую дала ей Борика, она смотрела во двор, на Яношку; тот сидел в огромном зеленом котле и пел, крышки на котле не было, Берта, тихо улыбаясь, представила, что в котле под Яношкой кипит вода и булькает жир, а сверху на его пыльную, драную солдатскую униформу кто-нибудь сыплет соль и приправы; Яношка все время ходил в этой униформе, и, хотя он был совсем не худощав, она на нем висела свободно; правда, в армии он никогда не был, дворник, когда его спрашивали, отвечал, пускай мальчик окрепнет немного. Однажды Берта видела Яношку совсем близко, и ей показалось, что под носом у него сыро, да и в углах глаз словно бы засох гной, а кожа… какая у него кожа, она не помнила. Яношка тогда поднимался из подвала, а она шла в лавку и очень старалась, чтобы он ее не заметил, а тот все-таки прошел мимо так, что задел ее боком, Берта даже вскрикнула от испуга, ты чего, ты зачем?.. Яношка, раскрыв рот, благоговейно смотрел на нее, Берта могла

бы поклясться, что зубы он никогда не чистит, но думать об этом у нее не было времени, потому что Яношка вдруг встал перед ней и развел руки, она не знала, что и делать, и чуть не завопила от ужаса, а он сделал вид, будто хочет обнять ее, но не обнял, а засмеялся и ушел.

Берта сразу рассказала об этом Борике, та долго хохотала, словно все это ей невероятно нравилось, эшшь ты, громко восклицала она, видишь, какое ты впечатление произвела на молодого человека, так что — вперед! И показала, как в таких случаях надо улыбаться — наивно, а еще лучше застенчиво, — и так странно пригнула голову, Берта даже испугалась, что у тети голова закружится, но ничего, все обошлось. Берта свою тетю не ненавидела, хотя, правда, и не любила, она только ждала, чтобы та умерла, и уж тогда-то она повыдергивает у себя даже брови, не говоря о ресницах, а из квартиры больше ни на минуту не выйдет. И пока Борика Таллаи самозабвенно расписывала, какое у молодых людей, у мужчин демонически прекрасное тело, Берта вдруг с испугом вспомнила, что кожа у Яношки — великолепная, гладкая, и это ей показалось какой-то несправедливостью или обманом, потому что Яношке больше подошли бы гнойные нарывы на лице, чирьи, прыщи или хотя бы сыпь, а не свежесть и розовость, как у младенца, словно у него ни единого волоска не было на лице, а ведь у парней в его возрасте усы растут, борода, не говоря уж обо всем остальном. В мыслях Берта попробовала представить, какая кожа у Яношки под одеждой, там, где ее не видно: на груди, под мышками; но если ты никогда не видела вблизи ничего даже похожего, воображение тут не поможет. Ее не оставляло возбужденное любопытство; ну нет, ни о чем таком она не думала, просто представила, что будет, если они снова встретятся и он покажет ей и шею и грудь; о нет, нет, думала она в ужасе.

А сегодня ей снова надо было идти в сквер или бродить по ближнему рынку, где в такое время почти никого уже нет, только странный, непостижимый запах, запах страха, в котором как-то держится глухая память об утренней суете, о шуме, память, застрявшая в тесном пространстве меж облупленных стен и массивных бетонных прилавков; в такое время на рынке кто-то метет, другие роются в отбросах, прыгают воробьи, что-то ищут в мусоре, в щелях каменной мостовой; в прошлый раз Берта видела там двух собак друг на друге, кучка мальчишек злобно вопила и кривлялась на ступеньках, потом собаки оказались уже хвостами друг к другу, но все-таки вместе, и в глазах у них были боль, страх и недоумение; Берта тогда поняла, что это и есть любовь, из-за которой все с ума сходят, нет уж, спасибо, не надо ей этого, обойдемся... Дверь во двор всегда открывалась трудно, и сейчас она, увидев Яношку, поскорей отступила в сторону: если он так спешит, пускай себе, она даже отвернулась, задержала дыхание и, чувствуя, как у нее вдруг сильно заколотилось сердце, опустила глаза; так ее учила Борика и вообще...

Только Яношка снова всем телом загородил ей дорогу и дохнул на нее из своей широкой груди, счастье еще, что она ничего не почувствовала и почему-то совсем не боялась, и ей даже было весело почему-то, в доме все говорили, что Яношка, правда, немного чокнутый, но не такой, чтобы его опасаться, он безобидный, хотя вон какой представительный, бравый парень, объяснял дворник; а встанет да плечи расправит, так ровно на шесть сантиметров выше, чем тот волейболист, что ходит к Малике на четвертый этаж. Яношке тоже стукнуло уже лет двадцать пять, а сейчас у него и в мыслях не было расправлять плечи, наоборот, он еще больше пригнулся, лицом прямо к лицу Берты, и сказал, не ходи никуда, дождь на улице. Слышишь? Слышу, сказала Берта, не глядя в его сторону, и все думала, как бы проскользнуть мимо него и идти по своим делам, и никак у нее не получалось. Говорю тебе, дождь идет, услышала она снова, и слова эти прозвучали словно бы ей прямо в рот, и к тому же это была неправда, чумазая солдатская форма на нем вовсе не была мокрой, но Берта подумала, что до этого ей никакого дела, ее дело — уйти и провести где-нибудь по крайней мере два часа, а потом она придумает что-нибудь насчет того, где была, танцевала, гуляла, развлекалась, и не одна, конечно, а каждый раз с другим парнем, хотя иногда надо было говорить, что с тем же самым, и на бесстыдные вопросы Борики надо было кивать, да, мол, и это было, например,

что парень ее целовал, и лез ей под платье, и в любви признавался, вот только, к сожалению, она не могла повторить слово в слово, что ей говорил этот балаболка, и неприличные слова не могла повторить, потому что Борика никогда ничего о таких вещах не рассказывала, так что Берта старалась краснеть и соглашалась со всем, что Борика за нее выдумывала. Он сказал, любит? Да. И обожает — тоже? Тоже. А чтобы ты к нему домой пошла, не сказал? Не сказал. Но если Борика спрашивала, мол, звал ли он тебя к себе, Берта отвечала: звал. А ты не пошла? Не пошла. Борика в таких случаях вздыхала, ах, эти нынешние — до того робкие, думала она, в мое время было совсем по-другому. И что они вообще делают на этих танцах? А потом? Эшшь ты! Ты рот приоткрой, язык чуть-чуть высунь, учила она Берту — речь зашла о поцелуях, — попробуй ухо ему покусать, мочку, там сама увидишь, сообразишь, как ему приятнее. Поняла? Поняла. Черта с два она поняла. Она даже не понимала, что Яношка сказал ей там, в дверях, — просто пошла, когда он ее поманил за собой: пойдем, комнату мою посмотришь. И они стали спускаться в подвал.

Берта еще ни разу не была в подвале или, может, была когда-то, только забыла; вдоль коридора под потолком тянулись какие-то толстые трубы, это отопление, объяснял Яношка, это холодная вода, это горячая, если я захочу, могу их все перекрыть, и тогда никакого тебе купанья, и все будут гадить куда попало, потому что воду в уборной тоже будет нельзя спустить. Берта слушала и кивала, но это все не очень пугало ее, главное, чтобы время шло, а там, глядишь, случится, может, что-нибудь такое, о чем можно будет рассказать Борике. Опасений у нее не было, все ведь говорят, что Яношка еще чистое дитя, совсем недавно еще, вы не поверите, с матерью спал и с куклами, объясняла жена дворника, душа у мальчика чистая, просто как у ангелочка, иной раз так и хочется на руки его взять и баюкать, жаль, что он такой здоровенный. Что да, то да, вот и Берте из-за спины у него почти ничего не было видно, да еще это слабое освещение; в подвале было тепло, и стоял запах, немного затхлый, и что-то то ли шипело, то ли свистело; у одной двери парень остановился. Знаешь, как мое имя, спросил он, повернувшись к ней. Яношь, ответила Берта; что она могла еще сказать? А вот и нет, засмеялся Яношка и, наклонившись к ней, сказал таинственно: Ринальдо Ринальдини. Но об этом никто не знает, и ты смотри не проболтайся никому. Ладно, ответила девушка, мне-то что, добавила она уже про себя, он и вправду немного чокнутый, ну что ж, тут ничего не поделаешь. А теперь заходи в мою комнату, продолжал Яношка, но об этом — тоже никому ни слова! Ты теперь можешь сюда приходить, когда я здесь, и тебе не придется на улице околачиваться, чтоб над тобой смеялись, или на скамейке сидеть, когда тетка из дому тебя отсылает.

В крохотной комнатенке было грязно и пыльно, под потолком и тут тянулись трубы, на них — какие-то массивные колеса, стержни, и еще тут стояло большое кресло, когда-то, видимо, цвета бордо; на свободном кусочке бетонной стены висела фотография космического корабля, рядом — изображение собаки. Вообще же всю стену закрывали полки, а на них —железяки разной формы; Борика бы сказала: мура всякая. И — игрушки. Медведи, собаки, куклы с волосами и без волос, замызганные, разодранные, из плюша, холстины, пластмассы; и еще что-то брезжило в полумраке. Потом Берта разглядела сломанные игрушечные паровозики, машинки, трактор, маленький велосипед. Была тут и бутылочка с соской, и крохотные детские туфельки. Шарики. Игрушечное ружье. Яношка плюхнулся в кресло, Берта стояла рядом; никто меня из дому не отсылает, сказала она немного погодя, когда все оглядела, стараясь ничего не касаться; Яношка только смеялся: иди ты. Все же видят. А знаешь, зачем тетка тебя отсылает? Почему ты говоришь: тетка, спросила Берта, словно ее ничего больше не интересовало. Да потому, что тетка, разве нет? Яношка поднял к ней веселое розовое лицо, хлопнул себя по коленям: садись. Садись сюда. Ну вот что, слушай меня, когда Берта уселась и он слегка подправил ей зад, чтобы было удобней, ты меня слушай сейчас. Слушаешь, спросил он; девушка кивнула; вот и правильно, сказал Яношка, всегда делай так, как я говорю, тогда будешь со мной в дружбе. Тетка твоя, Таллаи, тебя потому отсылает, что к ней в это время приходит Хеллер, возчик, которого даже Малика выгнала, а Малика — она известная курва. Малика, переспросила Берта, потому что надо

же было ей что-то спросить, она ничего не могла понять, ну совсем ничего. При чем тут Борика? И еще — Хеллер? Пока ты по улице бродишь, продолжал Яношка, они там тыкаются, все это знают. Но ты не горюй, теперь у тебя хорошая жизнь начнется, я тебя сюда возьму, к себе, а может, и женюсь на тебе, ты ведь тоже тронутая; отец с матерью говорили, что ты да я — два сапога пара. Яношка что-то жевал, изо рта у него шел сильный запах мяты, который заглушал все прочие запахи.

Не реви, сказал он немного спустя, хотя Берта и не плакала вовсе, чему она и сама удивилась; более того, в ней разлилось какое-то непонятное спокойствие, и все словно онемело; еще бы, сегодня ей уже не придется идти на улицу, а потом что-то придумывать, врать, потому что вот он, тут, рядом, Яношка, он на ней женится, и все. Ты на меня смотри, прозвучал новый приказ, и она послушно повернула к нему голову, теперь ты моя жена, услышала она; голос звучал где-то на уровне ее носа, она же тем временем рассматривала шею Яношки, рассматривала теперь совсем открыто его чертовски гладкую кожу, которую, как учила ее Борика, надо покрыть мелкими частыми поцелуями; на шее торчал хитрый маленький волосок; Берта не удержалась и выдернула его. Рука Яношки приподняла ей подбородок, эй, ты что, мне же больно; но лицо его смеялось. Ух, как здорово, сказал он, когда она выдернула еще один. Вечером можешь у нас остаться, спать будешь со мной, воскликнул он с воодушевлением, и выдергивай все, что хочешь. Я к стене лягу, голышом, а ты рядом, на месте матери, потому что она меня обманула, пусть теперь жалеет. Берта не очень понимала, что он говорит, и вообще не знала, как же ей быть сейчас с этим улыбчивым, непричесанным, немытым парнем, который к тому же мужчина с демоническим телом и который обнимает ее за талию, наверно, чтобы она не упала, но теперь ей все не важно, важно только новое чувство, надежда, что больше не надо ходить в сквер. Никогда. Она подняла голову, чтобы рот ее был на одном уровне с его ртом, как объясняла ей Борика: ты голову немного в сторону наклони, чтобы носы не сломать друг другу, вспоминала она теткины наставления и приоткрыла рот, чуть-чуть высунула язык, зажмурилась — и стала ждать. В трубах что-то пощелкивало и сипело, в желтоватом воздухе висела серая, мышиного цвета пыль, и ничего больше не происходило. Ты сейчас и правда как чокнутая, услышала она смех Яношки, и сильными своими пальцами он стал расчесывать ей волосы, ото лба к затылку, будто кукле, и двигал ее руки, немного больно было, но в общем ничего; потом вынул что-то у себя изо рта и положил Берте на язык. Это была мягкая, мокрая, разжеванная с хлебом, теплая жевательная резинка. Можешь пожевать, сказал он, потягиваясь и громко сопя, только потом отдай обратно. Жвачка тут же прилипла Берте к зубам, но это не было неприятно, она заглянула Яношке под френч, на грудь, которую тоже надо будет покрывать поцелуями, в нос ей ударили теплые испарения, пряный аромат дьявольской плоти, как сказала бы Борика, там тоже виднелись мягкие волоски, почти пушок, ишшь ты! Яношка, словно угадав, о чем она думает, вдруг встал и стянул через голову френч; Берта, не успев встать на ноги, упала; была минута, когда у нее появилось чувство, что теперь ей конец. Ее охватила дрожь; чувство было приятное.

Бледная Истома

Когда бригада садилась завтракать, Дюла устраивался на кончике скамейки, на самом краешке, сидел, можно сказать, половинкой задницы, но ему было в самый раз. Он всегда так сидел; уже, наверно, лет десять. А то и двадцать. Другие приходили и уходили, шумели, суетились, сидели то там, то здесь, потом вообще нигде уже не сидели, потому что увольнялись, или были уволены, или, такое тоже было, умирали. Скамью тоже несколько раз передвигали с места на место, сейчас она стояла возле стены; не самое удачное место: окно, что за ней, не откроешь полностью, кто-нибудь обязательно долбанется головой о раму, а не откроешь — дышать невозможно от вони и от жары. Ну и черт с ним, отмахнулся мастер, когда ему сказали об этом, вам что, хочется, чтобы и неудобств

никаких не было? Потерпите — небось вам тут не «Хилтон». Да, тут был не «Хилтон», это уж точно.

Стол же, который поставлен был давным-давно, оказался короче, чем скамья, так что Дюла, например, ел с колен, но ему и так было нормально — то, что он с собой из дому приносил, вполне там умещалось: баночка с печеночным паштетом, кусок хлеба или два рогалика да пол-литра молока; молоко он выливал в глиняный горшок, который ставил возле ног, на бетонный пол. Банку с паштетом Дюла вскрывал на шлифовальном станке и клал паштет в рот чайной ложкой. Другим места требовалось больше: из сумок появлялись на свет божий куски мяса, завернутые в промасленную бумагу, яичница между двумя ломтями хлеба, маринованные огурцы или салат, молоко, чай, остатки вчерашнего гуляша в кастрюльке, ну и все в таком роде. Такач, тот иногда и вино приносил в покрашенной в белый цвет бутылке, но никого не угощал. Под столом — металлические стержни, ящики, всякий хлам, каждый отпихивал его подальше, чтоб было куда ноги поставить, другие обратно отпихивали, так время и проходило. А рядом, в нескольких шагах от стола, ревели, тряслись автоматические станки, числом двадцать штук, меж ними плавала масляная гарь, поднималась, крутясь, к почерневшим маленьким окнам. В утренние часы станки работают в нормальном режиме, почти тихо, а потом все меняется: бешено визжат приводы, резцы торопливо вгрызаются в толстые цилиндрические стержни, и лезет из-под струи масла обожженной до синевы спиралью дымящаяся стружка.

Сегодня как-то так получилось, что у бригады с утра было хорошее настроение; еще стоя за станками, люди перекрикивались друг с другом, а когда прогудела сирена на перерыв, все словно с цепи сорвались: бегом, толкаясь, крича, бросились к желобу с умывальниками; прямо дети, думал Дюла, пока втирал в кожу рук очищающий гель, а потом, когда дошла до него очередь, смывал подсохшую серую массу под краном. Потом появились сумки, пакеты, даже одна-две газеты, Секей салфетку свою расстелил, на которую Арпи Киш тут же поставил масленый локоть, Тоот воткнул ножик в доску стола, загремели ложки, но треп не затих ни на минуту. Дюла обычно слушал вполуха, о чем там они говорят, и так известно: бабы, или футбол, или правительство кроют. Ни одна из этих тем его не интересовала особенно: мысли его были сегодня совсем в другом месте. И стоило ему подумать о том, где были его мысли, как сердце в груди у него принималось бешено колотиться. А треп шел своим чередом, и Дюла только после особенно громкого взрыва хохота стал прислушиваться, что там говорит Мате; вот клянусь, не видать мне мать родную, то и дело повторял Мате с набитым ртом, и маленькие глазки-пуговицы едва были видны на его черной смеющейся физиономии, голова у меня вот такая была, и он руками показывал после каждой третьей фразы, какая у него была голова, а остальные благодарно ржали: хорошо, когда находится какая-нибудь история, за которой незаметно идет время.

Хорошо — даже если шум вокруг такой, что говорящему приходится орать и помогать себе жестами; вообще здесь постепенно все отвыкают от разговора; у него, у Дюлы, скажем, уже много лет никакой охоты надрывать глотку, он лучше помолчит. Правда, сейчас он помалкивает по иной причине — чтобы не спугнуть то, чего, может, на самом деле и нету. Мате у них в мастерской недавно, а новички всегда больше других суетятся, место ищут себе в бригаде, к тому же сегодня и у Мате отменное настроение. Сейчас он объясняет, как ехал он в детский сад за детишками на своей машине, которая сейчас в самом расцвете отрочества: всего четырнадцать годков ей, — ехал, а у самого глаза закрывались, хоть пальцами их держи. С похмелья. Голова — вот такая, показывал он, даже еще чуть-чуть больше; просто чудо, что я детский сад нашел... Слушатели вставляли иногда реплики, но Мате не давал себя сбить; ну, стало быть, забрал я своих двух разбойников, продолжал он еще громче, вроде все у них на месте, говорю им, домой, шагом марш!.. Из репродуктора на стене затрещал усиленный звонок телефона, под ним еще и красная лампочка замигала, чтобы увидели, если никто не услышит; на секунду все подняли взгляд, но потом продолжили, кто чем занимался: тут если звонят, так только мастеру. Иду я, держусь за их ручонки, чтобы, не дай бог, не растянуться, рассказывал Мате, помогая

себе руками, потом, значит, поставил их у задней дверцы, обошел машину кругом, кое-как втиснулся за руль — и пошел! У-ух! В такое время я уж так осторожно еду! Можно сказать, на цыпочках! С чувством; всю душу вкладываю!.. А мозги у меня, те, которые, стало быть, еще остались, вокруг пива крутятся, которое я дома буду глотать одно за другим; ну, кое-как дополз я до дома, даже машину не запер, галопом по лестнице, вваливаюсь в дверь, прямиком к холодильнику, открываю бутылку, морда в пене. И тут жена спрашивает: а дети-то где?

Нет, я бы не смог так здорово рассказать, улыбаясь, под дружное ржанье честно признался себе Дюла; Мате ему нравился, ему все сейчас нравились, но нынче он и простой анекдот не расскажет нормально, чтобы его слушали и смеялись; нет у него ни охоты, ни настроения, а ведь когда-то у него тоже рот не закрывался. Да и было чем поделиться: с ним тоже случалось всякое. Взять хоть бы ту историю, с машиной: тоже ведь оборжешься, если подать как надо; но лучше не пробовать — кончится тем, что его же и высмеют. Да вообще-то не так уж оно и смешно, пожалуй. Покататься просился сынишка, уж с каких пор просил, ну чуть-чуть, папа, ну вот столечко! Дюле в конце концов надоело: ладно, бог с тобой! Подошел он к соседу. Слушай, не сердись, так и так, прямо не знаю, что с мальчишкой делать; ладно, говорит сосед, нет проблем. А потом пришлось эту машину всю дорогу толкать, потому что в ней ни капли бензина не было, она даже не завелась. Мог бы ведь, скотина, сказать, дескать, смотри, парень, бак сухой, куда ты с ней денешься? Так нет. Сынишка внутри сидел, довольный такой, а с него, Дюлы, пот градом. То-то люди, должно быть, хорошо о нем думали; каждый оборачивался, кто мимо шел. Удивлялись, поди, что это за идиот: второй круг делает по двору с этим вшивым «трабантом», открыл дверь и толкает, вот осел! А что тут вообще-то такого? И что он мог поделать? Выгнать ребенка, мол, я передумал? Ничего он тогда не сказал соседу, только поблагодарил вежливо и отдал ключи. Может, тут, в бригаде, и над этой историей посмеялись бы; вот только Тоот без издевки не обошелся бы. А там и другие бы подхватили.

Дюла думал, что в мастерской еще ни о чем не знают; он и не подозревал, что за спиной как только его не зовут. Затопек — это уже давно. И Затопек, и Лесной Пожар, и Летучий Фагоцит, и Бледная Истома. Сначала все просто посмеивались, Такач, тот даже собирался Дюле сказать, мол, ты что, с ума спрыгнул, мужик, что ты творишь-то; но — так и не сказал ничего. Пускай себе; каждый по-своему с ума сходит. Не знал Дюла и о том, что однажды Секей, или кто-то еще, отправился за ним следом, проследить, куда он так торопится, но, дойдя до шлифовочной, вернулся, не решился дальше идти. А Дюле уже было все равно — пусть даже и узнают. Оглядев всех, он смял бумажный пакетик, в котором были рогалики, затолкал его в пустую банку из-под паштета и швырнул под стол. Тошнит его уже от этого печеночного паштета. С тех пор как этот паштет придумали, он только его и ест. Всем жены дают с собой что-нибудь повкуснее, а ему — паштет да паштет, это тоже ведь что-то значит; и он пнул что-то под столом. Все знали, с женой они живут плохо и поправить тут ничего нельзя. Такач тем временем стучал ложечкой по стакану и уже в третий раз спрашивал Мате, чем же дело-то кончилось? Что потом-то? Нашлись детишки? Нашлись, ответил Мате, там, где я их оставил, на тротуаре. Стоят, держатся за руки и орут…

Дел у станка немного: стой да стружку крючком вытаскивай, как-никак шесть шпинделей крутятся одновременно, и если эта дымящаяся гора очень уж вырастет, то станок примется мять стружку, жевать, в конце концов какой-нибудь шпиндель захватит ее, раскрутит — и один бог знает, куда зашвырнет. Так что стружку все время надо убирать, бросать за спину, а когда соберется большая груда, собирать вилами и заталкивать в железные бочки, которые потом увезут в дробильню. Иногда надо измерить какую-нибудь деталь штангенциркулем, но этим в основном хиляк Тоот занимается, он наладчик. Когда подходит к концу заготовка, вставляешь новую, тут побыстрей надо, но от этого еще никто не надорвался. Иной раз случается: вырвет станок трехметровую заготовку из-под кожуха да крутанет ее в воздухе, тут не важно, кто окажется на дороге — все равно от него мало что останется. А то еще отщепит резец чешуйку, с ноготь величиной, или даже

искру одну высечет, и та, словно молния крохотная, метнется и моментально прожжет все, что попадет на пути: одежду, глаз, кожу. Это, как объясняют, дефект материала. Каждый у них в мастерской носит какую-нибудь отметину, Дюла — на лбу и на груди, с левой стороны. Кто ослепнет, тот уже сюда не возвращается. Есть, правда, очки защитные, но никто их не носит: за пару минут заволакивает их жирным масляным паром, ничего через них не видать, так что — зачем они нужны?

А вообще тут, в подвале, место хорошее: зимой тепло, и начальство не очень шастает, за костюмчик боится. Если явятся какие-нибудь высокие посетители, в галстуках, то и они — постоят у входа, над лестницей, поздороваются, повернутся — и нет их. Оттуда, сверху, если что и видно, то только маслянистое облако в желтом полумраке, да нервно дергающиеся, стучащие станки, да грязные, как черти, устало слоняющиеся люди. Оробевшие группы школьников спускаются аж до нижних ступенек, дальше — нет, и там им взрослые что-то объясняют; наверное, что-нибудь в таком роде, мол, вот, дети, так выглядит ад, видите? Один человек обслуживает по два станка, но бывает, что только один, если мало работы, а то и вообще ни одного; тогда мастер половину рабочих отсылает в отпуск, потом еще часть, но двое-трое должны оставаться всегда, даже если работы совсем нет. Поэтому и зарплата становится иногда непонятной, но до сих пор в основном обходилось; сначала были, конечно, всякие споры, шум, но в конце концов все присмирели; нынче ты рад, если у тебя вообще хоть какое-то место есть.

Сейчас работы как раз много, крутишься от гудка до гудка, мечешься от одного станка к другому; они стоят напротив друг друга, а пролетарий — между ними. Дюла помнит, в свое время их мастер, принимая на работу Арпи Киша, спросил, умеет ли тот танцевать вальс. Арпи, маленький, с детским лицом, улыбнулся, да, говорит, умею вроде. А ну покажи, не отстает мастер. Арпи смеется. Показывай, кричит на него мастер, думаешь, я шучу, что ли? Берет его за плечи, и они, прямо в конторке, делают несколько кругов. Ладно, отпускает наконец мастер парня, сойдет, хотя надо еще немного потренироваться. Завтра можешь приходить и вальсировать. С тех пор Арпи и вальсирует между станками, и на шее у него уже есть большой, продолговатый шрам от ожога: поздно заметил ползущую к нему змею стружки. Дюла вальсирует рядом с ним. Друг друга они хорошо понимают; когда одному надо уйти, другой присмотрит и за его станками. С Секеем, другим соседом, они тоже ладят, но с Арпи все-таки чуть-чуть лучше; Секей немного воображает; а может, кто-то когда-то сказал это про него, да так оно к нему и прилипло. Что ж, у каждого какой-нибудь недостаток найдется. Арпи Киш, например, каждой бочке затычка, ни секунды не постоит на месте, все обо всех знает, а так посмотришь — он вроде и не отходит от своих станков. Иной раз хлопнет ладонью по станку Дюлы, поет, насвистывает, хотя ничего не слыхать, конечно, а то во всю глотку орет что-нибудь, новости сообщает, хохочет. С ним и время быстрее идет. С Арпи Кишем еще потому хорошо работать, что он всегда присмотрит, чтобы все было в порядке, пока Дюла бегает к Нелли, в комплектовочную.

Заготовка проходит станок, как правило, минуты за четыре, за пять; если ты так устроишь, что все шесть стержней выйдут из зажимов примерно в одно время, то можно выкроить несколько свободных минут. Дюла в таких случаях посмотрит на Арпи, кивнет, тот в ответ укоризненно качает головой и смеется, что означает: ладно-ладно, ступай, ненормальный. Дюла же идет к уборной, будто ему туда нужно, а сам — шмыг во двор и ноги в руки. Мимо здания, где в подвале их мастерская находится, вбегает в шлифовочную, там вдоль коридора, потом снова во двор, еще и воздух свежий, что тоже очень кстати, потом по горячему цеху, склад, свалка отходов, транспортный цех — и вот она, комплектовочная. По пути бывают, конечно, помехи: где-то грузовик загружается, перегородит дорогу, или знакомый попадется, окликнет, приходится остановиться, да и суровые мастера иной раз рявкнут, эй, ты чего здесь потерял? Чего? Ничего! В штаны уже наложил? Не бойся, за тебя работать не буду!.. Дюла бы с радостью им ответил как полагается, но — не до того ему; он только пробормочет что-нибудь, махнет рукой — и вперед. Не стоит на них внимания обращать, ни на кого не надо обращать внимания, и тогда еще минута —

и вот он стоит перед окошечком, вырезанным в двери, тяжело дыша, весь вспотевший, и смотрит внутрь, пусть даже на это у него одна секунда. А там видит он Неллике среди других женщин, за длинным столом она укладывает в коробку разные приборы. Если ему повезет, она поднимет голову, глянет в ту сторону, где оконце, и улыбнется, и головой укоризненно покачает, как Арпи Киш. Теперь ему везет часто, потому что женщины его уже знают и, как заметят его, кто-нибудь обязательно Неллике скажет. На большее у него времени нет, надо обратно бежать, чтобы успеть к тому моменту, когда заготовки кончатся. Обратно — та же дорога: транспортный цех, свалка, склад, горячий цех, потом через двор, работая локтями, глотая воздух полной грудью, пускай он похож на безумного, ничего, а там снова шлифовальная, и когда он ее минует, то, считай, уже на месте. Шлифовальная — самый трудный этап, там его почти всегда кто-нибудь успевает обругать, цех чистый, а он — как черт, ладно, как-нибудь он врежет первому, кто под руку попадет, и они успокоятся.

Можно, конечно, и все время двором, но очень уж это долго, он раз попробовал, но не поспел назад вовремя, Арпи тогда долго пыхтел, грозился, что остановит станки, если Дюла еще раз исчезнет. Так что пришлось сказать. Сначала Дюла сказал, что в комплектовочной у него есть знакомый, а потом покраснел и признался: не знакомый, а знакомая. Арпи не то чтобы до конца понял, что к чему; даже когда Дюла честно сказал, что он эту женщину — любит. И что у него есть жена, ребенок, и что ему, Дюле, уже сорок три года, но он еще ни разу не был влюблен, даже не знал, что это такое; а сейчас — в первый раз вот... Ну и что, недоуменно спросил Арпи, из-за этого, что ли, с ума сходить? Дюла уж не стал ему объяснять, что, если бы ему нужно было переплыть океан или выпить его до дна и если б на это хватило времени, пока заготовки пройдут обработку, он и тогда бы выпил, или переплыл, или сделал бы и то и другое. И все равно добрался бы до того окошечка, будь оно хоть на крыше, хоть где-нибудь в подземелье, глубоко-глубоко под заводом. И что без этого окошечка он бы не выдержал; и что он как-то так себя чувствует, что с радостью готов бежать хоть целый день и целую ночь, потому что тогда лишь он чувствует, что такое воздух в груди, и ветер, и солнце и что он тоже человек. К вечеру, после смены, уже не то. Ты усталый, голодный, да и куда побежишь-то? И — ради чего?.. И если бы Арпи тогда сказал ему что-нибудь, Дюла, наверно, расплакался бы и не стыдился, что по его широкому, плоскому лицу катятся слезы. Уж такое оно, это дело, любовь... А ты ей хотя бы впорол уже, спросил Арпи, а Дюла ему ничего не ответил. Обиделся. Она не такая, сказал он спустя несколько дней, когда Арпи уже и забыл все.

Каждый день он по три-четыре раза проделывал этот путь, потому что у Неллике два маленьких передних зубика чуть-чуть выдавались вперед, и верхняя губка их едва прикрывала, и от этого на лице у нее все время как бы играла лукавая улыбка. И потому, что кожа у нее на лице, под пышными рыжими волосами, отливала лиловато-розовым цветом, и даже ресницы были какого-то розоватого оттенка и такие густые, что когда она из-под них взглядывала на окошечко в двери, то словно солнце появлялось из-за облака. Когда кто-то еще стоял возле двери, Дюле приходилось пережидать, в окошечке только одна голова умещалась, но скоро он научился в таких случаях говорить, минуточку, я тороплюсь, да видно было и так, по одежде, что он из цеха и времени у него нет. А вечером у него еще одна пробежка была — к автобусу. Ему мыться надо, Неллике же сумку подхватит — и готова. Правда, в комплектовочной на полчаса позже кончают, чем цеха, но все равно успеть трудно. Так что, едва кончается смена, Дюла — бегом в раздевалку, еще на лестнице одежду скинуть, раздеться, под душ, одеться и — старт. На бегу пропуск — в щель, вахтер потом вынет, а утром отдаст, мужик он хороший. Иначе нельзя, автобус приходит как раз в это время, женщины на посадочном островке стоят или уже садятся, а тут он как раз подлетает через мостовую и сразу — в автобус. Женщины Дюлу жалеют, садятся медленно, задерживают автобус, водитель звонит непрерывно, а они — одна нога на ступеньке, другая — на земле, оглядываются: бежит ли, догонит ли? Догонит.

В автобусе уже и поговорить можно, но они больше молчат, зато молчат вместе или держатся за руки и неизвестно чему улыбаются, пока Неллике не приходит время сле-

зать. Дальше — нельзя. Но сегодня — можно. Вчера Неллике спросила, не поможет ли он ей собрать и повесить новую полку? Дюла точно понял, что это значит. Они тогда стояли в автобусе на соединительной площадке, и Дюла несколько минут ни слова не мог сказать, только держал Неллике за руку и смотрел вниз, в маслянисто-грязный пол. А сегодня утром он надел чистое белье и, придя на работу, сказал мастеру, что ему надо уйти на час пораньше. Не хотел бы он как раз сегодня взять и опоздать на автобус. До обеда он четыре раза прибегал к окошечку, на Неллике посмотреть, и та каждый раз улыбалась и кивала ему, он же ни разу не опоздал обратно к своим станкам, летел по заводу, словно орел между горных вершин, на складе перемахивал через бочки, по шлифовальной пролетел, будто вихрь, люди только успевали в его сторону обернуться, и настроение у него было такое, что Арпи Киш лишь головой качал. Под душем Дюла тер себя изо всех сил, потом долго причесывался, времени было навалом, потом выскочил в проходную и гуляючи пошел к остановке. Теперь успеет. Он даже закуривать не стал, чтобы не несло табаком, Неллике это не нравится, вместо этого сосал ментоловый леденец, хотя от ментола его тошнит. Потом появились женщины, за ними и Неллике, и солнышко выглянуло на небе, тут и автобус пришел, Дюла встал к дверям, а потом с островка посадочного назад, на мостовую ступил, чтобы всех пропустить. Среди прочих и Неллике — и тут что-то его ударило… в спину? Или — в бок? Грудная клетка словно вырвалась из-под рубашки, и все-таки не было больно. Он упал на проезжую часть. Хотел повернуться, посмотреть, что это было, но не смог, и тогда услышал что-то вроде хлопка. Больше — ничего. Крики, шум, суета; но ничего больше не было; не было даже тела. Лицо Неллике розовым пузырьком застыло перед ним, превратившись в хрупкую радугу. Он был счастлив. И радость пережила его.

■

ЯНОШ ПИЛИНСКИ

Стихи. Фрагменты интервью

С венгерского

Янош Пилински (1921—1981), быть может, самый немногословный венгерский поэт. Он оставил в литературе не более двухсот стихотворений. Однако ценители поэзии, профессионалы и просто читатели, с полным единодушием отводят ему одно из самых почетных мест. Он прожил на свете шестьдесят лет. Были периоды, когда он писал одно-два стихотворения в год; пять-шесть — по его меркам это было уже много. Но замечен он был буквально с первого своего появления в литературе. И находился еще лишь в середине творческого пути, когда Ласло Немет, классик венгерской литературы и нравственный арбитр ее, сказал о нем: в венгерской поэзии еще не было поэта, который бы столь малым числом произведений по праву вошел в число ее звезд первой величины.

Его поэтика казалась простой, но изысканно простой; во многом традиционной, а в то же время как будто и обманчиво традиционной. На фоне изощренных формалистических исканий середины века его стихи представлялись — по первом прочтении — даже простоватыми, словно бы наивно привязанными к будничным реалиям жизни. Между тем все «вещное» обретало под его пером одухотворенность и явно значило больше самого себя. Предметный образ располагался как бы в двух измерениях, в двух пространствах одновременно, причем второе пространство было отнюдь не символическим, оно было простором Вселенной.

Его душа была так устроена, что с самого раннего детства открывалась чужому страданию, с чутким вниманием устремлялась к людям, оказавшимся на обочине жизни, к «униженным и оскорбленным», по слову глубоко почитаемого им русского писателя. С годами сострадание и добрая человеческая симпатия сменились более пронзительным и активным чувством — со-страданием, совместным страданием, в истоке которого — страсти Христовы. Это чувство особенно укрепилось в нем после потрясения, испытанного в музее Освенцима. Он страстно поверил, что духовный подвиг со-страдания несет в себе облегчение участи даже тех, кто уже сгинул в аду второй мировой войны.

Пилински был глубоко верующим христианином. Его часто называли «католическим поэтом», что, к слову, было одной из важных причин, из-за которых его не издавали в «социалистической» Венгрии. Католический поэт? Пилински недоумевал: «Я поэт и — католик. Собственно говоря, католицизм, по моему мнению, не что иное, как признание того, что человек с неизбежностью существует в пространстве и времени. Не думаю, что меня можно называть «католическим поэтом». По-моему, последним католическим поэтом был Франциск Ассизский. Ибо поэзия скорее исповедь, чем проповедь... Я часто думаю об Иисусе, хотя, как и всякий искренне верующий, я в то же время и еретик. Не еретик — только неверующий. У меня же с Иисусом так: я крепко держусь за 5—6 его заповедей. Остальное для меня пребывает в тумане».

Биография Пилински так же проста на первый взгляд, как и его поэзия. Но, как в поэзии, на каждом шагу его жизненного пути ощущается глубина и сложность внутренней духовной жизни, которая и есть, по его словам, единственно истинная биография человека. Событийная же ее сторона лишь канва, по ней он сам вышивает узор, состоящий из тысячи нитей — мыслей, чувств, понимания жизни, кото-

---

© Pilinsky János, 1976
© Н. Горская. Перевод, 1999
© Е. Малыхина. Перевод, вступление, 1999

рая есть великий дар, но и великая ответственность. Так, выступая по французскому радио в 1977 году, он сказал о вехах своей жизни буквально в трех коротеньких фразах: «Я родился 27 ноября 1921 года в Будапеште. Мой первый сборник стихов вышел в 1946 году, второй в 1958-м, а в 1975-м увидел свет шестой». Уже в следующем абзаце речь шла о глубочайшей проблеме современной литературы:

«По душе я хотел бы принадлежать к арьергарду в смысле, какой вкладывал в это слово Достоевский, — как и все по-настоящему современные художники, которые всегда в той или иной форме являются изгоями в сиюминутной жизни, тогда как другие в лучшем случае — простодушными игрушками дня. Боюсь, что искусство нового времени позавидовало точности естественных наук. С тех пор мы только и делаем, что говорим о стиле: все то, что в науке ведет к безграничной уверенности в себе, в литературе становится лишь искусством стиля. Достоевский был плохим стилистом, его фразы тяжеловесны и падают куда придется. Но в них есть подлинная весомость, и они падают туда, где есть им место».

В поэзии Пилински — даже в этой небольшой подборке, которую видит сейчас перед собою читатель, — сразу бросаются в глаза два ключевых слова. Одно из них — одиночество. Прежде всего оно имеет личностный характер. Вот как увидел душевный мир Яноша Пилински другой замечательный венгерский поэт, Шандор Вереш: «Ужасающее, неизбывное одиночество, непроницаемая замкнутость, ощущение, что тюрьма везде, даже там, где он передвигается свободно, — такова одна сторона его личности; вторая же — обретенная с годами воспитанность светского человека, сознательно желающего, чтобы окружающим было легко в его обществе».

Однако это наблюдение лишь частично показывает, чем было для Пилински одиночество. В стихах его и в различных высказываниях, всегда поразительно откровенных, доверительных, слышится другая антитеза: одиночество — это и потребность, и тяжкая ноша. Одиночество — предназначенный свыше удел человека; но, будучи неотторжимой частью мироздания, он вечно стремится преодолеть его, слиться с окружающим, «стать как все», побрататься, ощутить свое изначальное родство даже с камнем, но при этом ни в коем случае не теряя своей особости, обособленности. Любить для Пилински значит даже больше, чем быть любимым. Дружба в его глазах — самая сильная человеческая связь («В жизни меня спасала дружба»); это не чувство даже, а мироощущение («Я не умею разговаривать с людьми, если не испытываю к ним дружеского расположения»).

Второе ключевое слово — тишина. В многочисленных интервью, бережно собранных и изданных под редакцией Золтана Хафнера издательством «Сепиродалми кёньвкиадо» в 1994 году, собеседники поэта всякий раз настойчиво просили объяснить, в чем для него главная функция этого вновь и вновь звучащего в его стихах мотива — мотива тишины. И еще — чем объясняет он те периоды «тишины», затишья, которые постоянно становятся как бы интервалами в его творческой жизни. Пилински мягко не соглашается с этим суждением. Для него тишина, периоды тишины — не «интервалы», а незримо активное состояние духа, состояние глубокой сосредоточенности, непременное условие и важнейшая часть пути к следующему творческому витку, следующему подъему.

Он вообще философ по своему складу. В каком-то смысле этому способствовало и его католическое воспитание. Не случайно его кумиром, предметом величайшего почитания стала француженка Симона Вайль, удивительно самобытный философ, с чьим творчеством он познакомился впервые в 1963 году, через двадцать лет после ее смерти. И она осталась для него навсегда живой — собеседником, другом, пожалуй даже, компасом.

Пилински много думал и говорил о музыке, он понимал ее глубоко и сильно, одним из ближайших его друзей стал всемирно известный теперь венгерский пианист Золтан Кочиш, являвшийся для него воплощением огромного творческого потенциала...

А теперь — пусть читатель сам познакомится со стихотворениями Яноша Пилински и его мыслями о творчестве и о себе, которыми он делился со своими собеседниками в разные периоды жизни.

Е. МАЛЫХИНА

Самим собой останусь...

Самим собой останусь до конца,
не изменю себе ни в чем.
Вот так, домой вернувшись, узник
сидит недвижно за столом —
безмолвье, тишина, стакан с вином...

К себе

Бесстрашно одиночество неси,
не стоит уповать на звезды —
твоя судьба в тебе самом
созреет рано или поздно.

Она хлестнет тебя бичом,
взре́зая плеч остроуголье,
и возвеличишься ты вдруг —
возвышен нестерпимой болью.

Как зверь, будь первозданно чист,
и с дерзновенностью звериной
проникни в тайники
своей души неповторимой.

И в час ночной — когда-нибудь —
ты вдруг расправишь плечи,
и песней, восходящей ввысь,
в тебе очнется вечность.

Обшарив опустевший дом,
твои друзья уйдут в печали.
И вознесение свое
ты осознаешь сам едва ли.

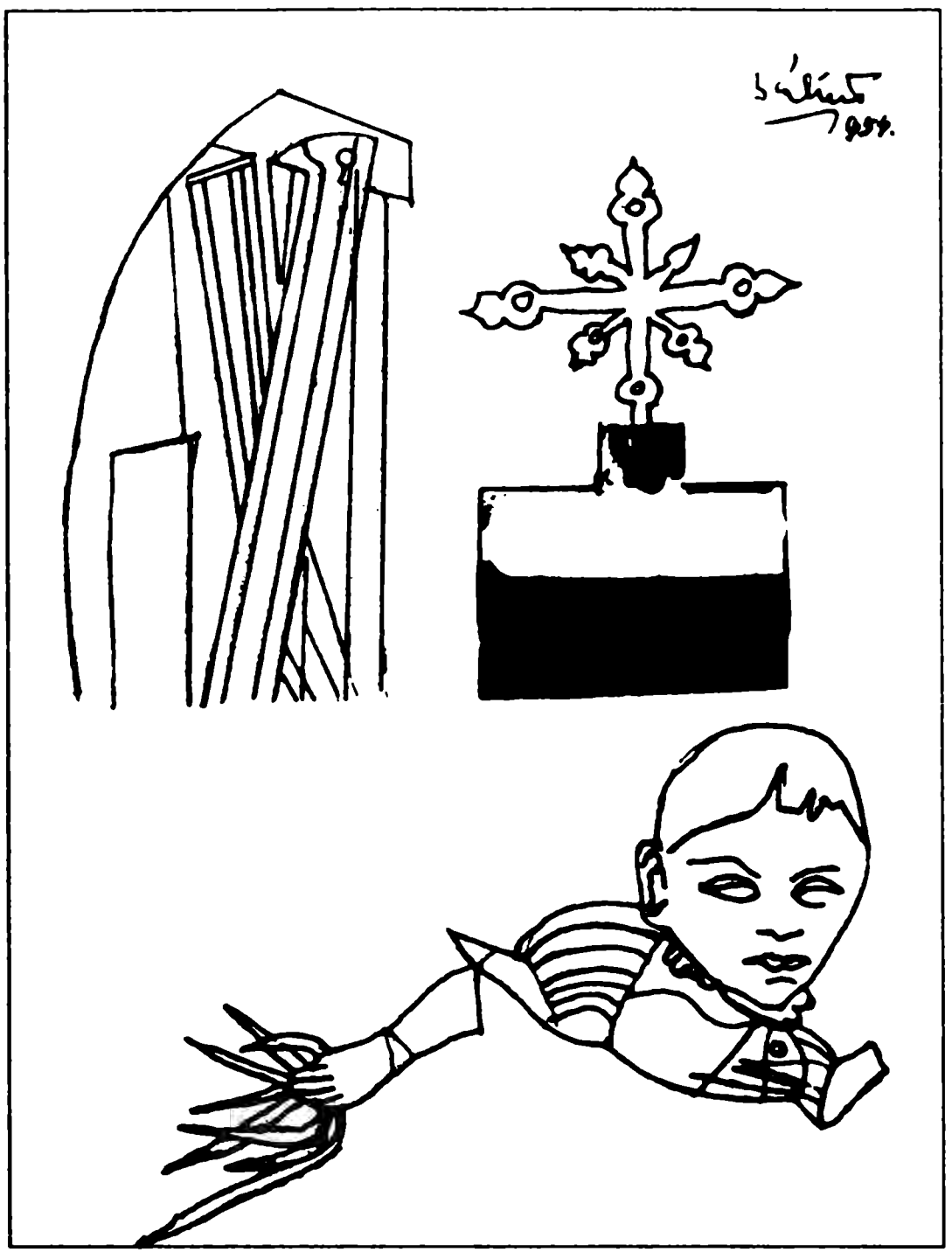
Назидание

Запомни не дыханье — задыханье,
не пышный пир, а подаянье,
знобящий холод, в горле ком,
не сласть прогулки, а метанья
и крик немой под потолком.

Постигни то, чем город дышит,
прислушивайся к мертвым и живым,
пойми наречье башни, крыши
и сделай не свое своим.

Лишь после этого улова
произнести ты сможешь слово,
которое в сердцах оставит след.

Тогда, быть может, летописец,
не зря явился ты на свет.



Эндре Балинт. Рисунок по мотивам стихотворений Я. Пилински

Парафраз

Себя, как некогда Господь,
я миру отдаю —
пусть он поглотит эту плоть,
живую плоть мою.

Живое надобно живым,
безумствует любовь,
и даже тот, кем ты любим,
тебя терзает в кровь.

Вокруг меня голодных рать,
я маюсь по ночам:
кому я сердце дам сожрать,
кому себя отдам...

Франкфурт

Мы летом по утрам свозили мусор
в пустой карьер на берегу реки.
Машина набирала ход, мелькали
зеленые сады, особняки,
потом был мост, горбатый переулок,
забором обнесенный ипподром,
и каждый раз — когда виднелась свалка —
свирепый голод налетал, как гром.

И вот уже в отбросах тонут лица,
вступают в битву спины и зады,
и руки-цензоры терзают мусор
в ожесточенных поисках еды.
О, лакомый кусок на днище бака —
объедок жирный, каменный сухарь!
На четвереньки встав, лютует голод,
урчит и скалит зубы, как дикарь.

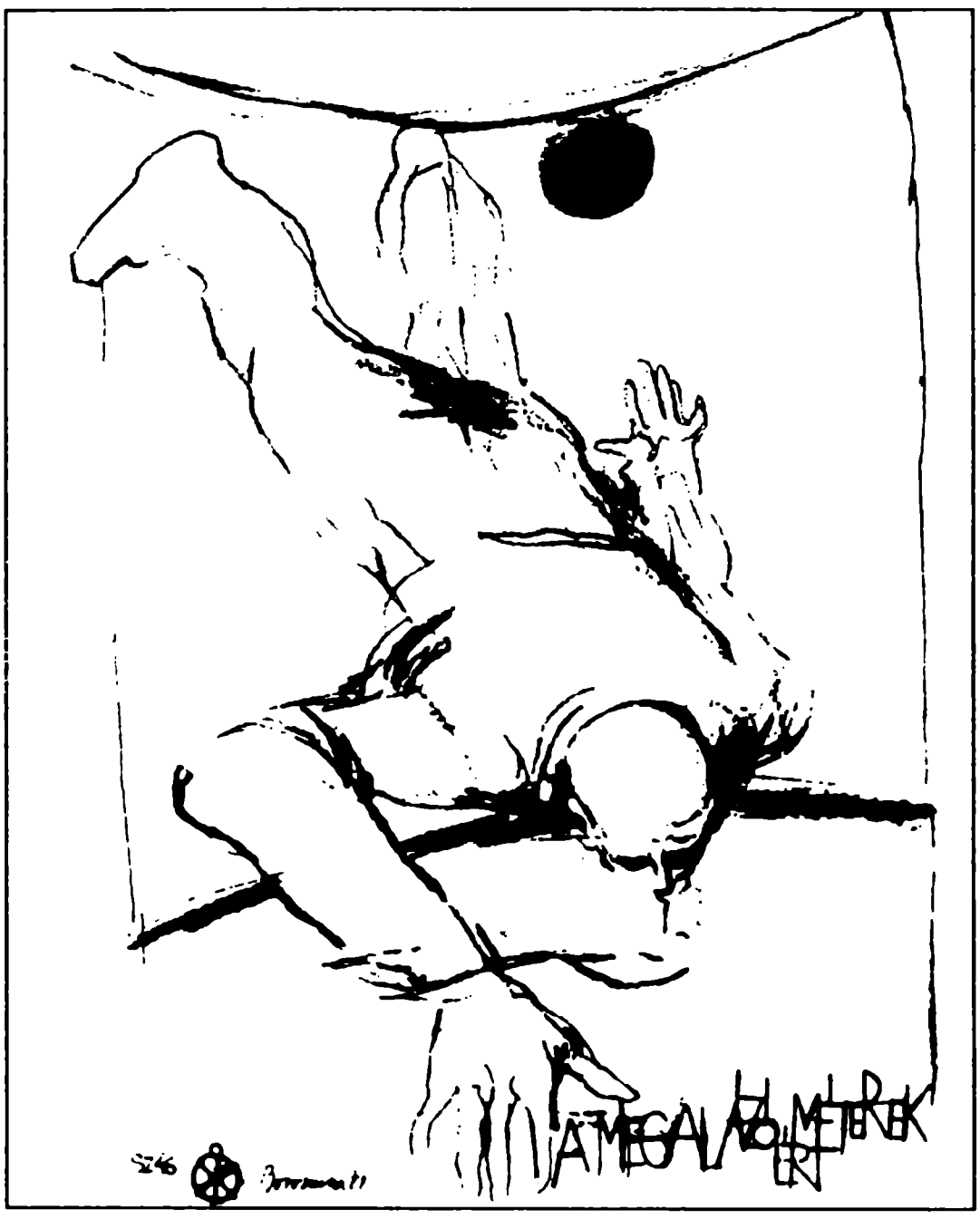
И пыль столбом, и брызги грязи склизкой,
и баков пляска, и машины дрожь...
Душа темнеет, и слабеет разум —
все заплевал помойный смрадный дождь.
Залеплены глаза, забиты ноздри,
и жижа плазмой кажется живой,
нырять, и умирать без кислорода,
и воскресать на дне — вниз головой.

И наконец-то вынырнуть из бездны,
и дрожью изойти, куском давясь,
и проглотить, блаженно замирая,
все то, чего не поглотила грязь.
Но рот, еще набитый до отказа,
вдруг начинает ощущать тоску,
а там и сердце полнится печалью,
примешанной к последнему глотку.

И мы трезвеем вдруг, и прочь отходим,
и от самих себя бежим в кусты,
и словно бы со стороны взираем
на жуткое уродство нищеты.
Блаженство нам бессовестно солгало,
и упоенье тает, как туман.
Сидим и ждем, пока желудок
взбунтуется и выбросит обман.

Куда угодно убежать отсюда,
закрыть глаза и рот сомкнуть плотней,
куда угодно — только прочь от свалки,
чтоб никогда не вспоминать о ней!
Домой! Отбушевала наша буря.

Бела Кондор. Два эскиза к портрету Я. Пилински



Бела Кондор. Иллюстрация к сборнику стихов Я. Пилински «На третий день»

Карьер затих. Синеет гладь реки,
и пароход неторопливо стелет
вонючий дым и длинные гудки.

И вот уже назад машина мчится,
крутой подъем, цветущий луг, холмы,
пылающий бетон, сады и виллы —
в зеленый мир опять нырнули мы!
И снова ипподром, забор дощатый
плюется светом, как щербатый рот,
и вдруг на пыльном повороте где-то
в тиски нас одиночество берет.

И выцветает, блекнет, жухнет зелень,
а боль растет и хлещет через край,
и вянут лица под налетом грязи,
и вместе с ними увядает рай.
За спинами постукивают баки,
сухой листвой деревья шелестят...
Был сорок пятый год. И город Франкфурт,
жестокой кистью вписанный в закат.

Достаточно

Хоть мир и велик,
но теснее хлева.
Деревья. Дом. И кусочек неба.
Беготня. Суета сует.
Но порою приходит кто-то,
и с вещей слетает покров.
Достаточно взгляда, чтоб в стенах
начала пульсировать кровь.

Рукопожатья не надо —
достаточно чьей-то руки,
размешавшей ложечкой кофе,
достаточно, чтобы забыться,
и удушье прогнать,
и в одиночестве ночи
неприемлемое принять.

Пространства

В воображенье нашем ад и рай —
несхожих два пространства. Рай — это высь,
а пекло где-то там, внизу —
подобье гнусного подвала.
Мы смотрим с лестничной площадки вниз,
и взгляд, касаясь темного провала
случайно (иль намеренно?) открытой двери,
высвечивает чрево подземелья.
И каждый видит то, на что смотреть невмочь.
Быть может, кучу грязного тряпья
увижу я. Быть может, лебедя,
которого там продают на килограммы.
Иль вдруг услышу, как назойливо, упрямо —
тысячекратно повторяя,
терзая душу, унижая, —
твердят гнуснейшие слова
тому, кто для меня дороже жизни.

Жолт Боромиса. Иллюстрация к стихам Я. Пилински

Смятение

В несуществующую щель
глядит не зрящая небес химера.
Подглядывает, разрывая звенья
непрочно сцепленных мгновений.
И боль то нарастает,
то отпускает вдруг.
Химеры нет — но все ж она глядит.
Всевидяща, незряча,
и ей незрячести несносна тьма.
Есть только я. И ты. И есть химера.
О Господи, не дай сойти с ума!

Кратер

Встреча. И снова встреча.
То в лавке, то на базаре.
Ты что-то берешь, не берешь чего-то.
Мне бы сбежать, но я, как в бреду,
сигаретой дымя, за тобою иду.

Входишь в автобус. Выходишь.
И я вхожу, выхожу.
Сигарета. Спешка. Не продохнуть.
Иду по пятам. Потом, как убийца,
тебе заступаю путь.

Твой голубиный воркующий голос
изничтожает меня, велит провалиться в тартарары.
Шагаем. И где-то на полпути
вместо лепета —
взрыв вулкана,
и ослепительное презренье —
лавой с горы.

Это бешеное неприятье
убивает меня наповал.
Вместо вулкана заледенелый кратер,
и два глаза мои — два камня —
катятся в белый провал.

Освобождение

Проверила свой шкаф сначала,
на полку заглянула, под кровать —
быть может, что-нибудь упало —
и задержалась на секунду,
поставив на пол чемодан.

Мелькнула мысль —
так что ж она оставит, уходя?

Обед остывший.
Несколько пощечин.
И груду грязного белья.
И скованные цепью руки...

Но вспомнилось ей нежное объятье...
Открыла чемодан
и вышвырнула платья.

Зима и плаха

Кого ведут на казнь? Ответа нет.
За что ведут на казнь? Ответа нет.
Куда ведут — то плаха или бойня? Ответа нет.
И кто кого убьет? Заколет человек быка
иль бык его поднимет на рога? Ответа нет.
Но все же кто-то бездыханным здесь упадет?
А дальше — тишина? Ответа нет.
Глубокий снег, огромные сугробы —
застывший океан. Молчанье Бога.

Безмолвие, зима и плаха. Неведом нам ответ.

Перевод Н. ГОРСКОЙ

Из радиоинтервью с Ференцем Берженем. 17 октября 1965 г.

В начале нынешнего года я побывал в Освенциме. Я увидел там одну фотографию, которая помогла мне заново сформулировать свой взгляд на поэзию. Между двумя беленными дощатыми заборами, напоминающими загон для скота, гонят к бараку смертников старую женщину в платочке. Рядом со старухой плетутся по усыпанной шлаком, бесконечно равнодушной дороге двое-трое детишек. Я стоял перед этой фотографией и мучительно, изо всех сил старался остановить эту трагедию двадцатилетней давности — как остановил ее своим аппаратом фотограф. Но мне хотелось остановить не по видимости, а в действительности! И тогда я понял: ничто не имеет смысла, если мы не можем исправить то, что уже случилось.

Одним словом — оставив в стороне долгую цепочку мыслей, — я верю, что мы можем исправить уже случившееся, и притом именно для тех, с кем это случилось, — для той старухи, в 1942 году с трудом волочившей ноги между двумя побеленными заборами.

Поэзия для меня означает — пусть это и не совсем точное определение — попытку поправить непоправимое. Или, по крайней мере, сделать первый шаг во тьму этого абсурда. Если бы я в это не верил, для меня всякий успех и всякая радость остались бы кошмарной пустыней, и — отвечая на вопрос Камю — я счел бы своим моральным и философским долгом покончить с собой.

К этому я хотел бы добавить. Камю в своем произведении «Миф о Сизифе» удивляется, что Достоевский был первым, кто абсурдность мира определил в выражениях нынешних экзистенциалистов, но при этом написал совсем не роман абсурда, и Алеша в «Братьях Карамазовых», невзирая на очевидную абсурдность мира, утверждает, что мир спасет детская вера. По-моему, вовсе не случайно Достоевский сто лет назад с поразительной

тельной точностью обрисовал проблемы, тревожившие Камю, проблемы середины XX века. Он мог сделать это только потому, что уже тогда заглянул гораздо дальше и вложил в уста Алеши то, что Камю именует «наивным противоречием». Ведь даже Кафка не перерос «шинель» Достоевского, и наше время все еще находится на пути к тому, что разглядел Достоевский.

Не знаю, оптимист я или пессимист, меня и так и эдак называют, по моим произведениям судя. Я знаю только одно: для меня, например, совершенно необходимо исполнить то важнейшее дело в Польше, осенью 1942 года между двумя дощатыми заборами.

Говорят, что я мало пишу, но я этого не чувствую.

Много, мало — как правило, в литературе это ничего не значащие слова. Пространные произведения подчас нам кажутся короткими, а стихотворение в двадцать строчек — пространным. Только качество произведения имеет значение.

Евангелие от святого Иоанна не короче «Войны и мира», а «Война и мир» не длиннее сонета Шекспира.

Точно так же и с этим: пишутся стихи — не пишутся стихи. Эти состояния, по моему суждению, обычно взаимно дополняют друг друга, а вовсе не взаимоисключают. Для меня период молчания, тишины зачастую намного важнее, чем момент писания. Вот одно сравнение: птица прерывисто машет крыльями вверх-вниз, вверх-вниз, а все же летит прямо. И важно не то, как она машет крыльями, а то, что она летит вперед.

Что толку махать крыльями, неподвижно сидя на крыше?

Из радиоинтервью с Яношем Силади. 11 декабря 1978 г.

С. ...Когда читаешь твои стихи, то видишь, что ты, в сущности, немногословен и не стремишься к тому, чтобы слова твои были красочны... Откуда это у тебя?

П. ...Мне уже доводилось писать о том, что воспитывала меня не только мама, но и сестра ее, она была с нами постоянно. В детстве с нею случилось несчастье, и говорила она с великим трудом, ее словарь был совсем скуден, быть может, более скуден, чем словарь ребенка. Сейчас эта бедность представляется мне тем, к чему я, поначалу бессознательно, всю жизнь стремился: ведь те несколько слов, которые она произносила, были исполнены невероятной интенсивности. Такого рода экономия, экономия слова, в сущности, очень аристократична, вспомним Расина... Со мною, да и со многими, думаю, бывает так: я знаю какое-то слово, но по-настоящему оно не открывается, хотя я и пользуюсь им в разговорной речи. Это все равно как знать какую-то истину и вдруг — осознать ее. В течение жизни мы знакомимся с великим множеством истин, подчас и принимаем их, но вот однажды вдруг разглядеть их... Сейчас мой словарь разрастается именно так: то или иное слово оказывается в определенном контексте — для меня исключительно важно, в каком контексте оказывается слово, — и внезапно я вижу его, давно знакомое, как совершенно новое, намного более свежее и первозданное, чем самые экзотические речения. Один французский поэт сказал: нам следует учиться страстно желать того, что мы считаем нашим. А это — бесконечно долгий путь.

С. Ты редко печатаешь свои стихи, это общеизвестно. Но в начале семидесятых стихи вдруг полились рекой — по крайней мере, в сравнении с твоими же другими периодами. Скажи, когда ты пишешь? Вернее, почему не пишешь, когда не пишешь?

П. ...Истинного психологического объяснения я не знаю. Конечно, это правда — что счастлив идущий, но есть и другая возносящая сила, когда человек загоняет себя в матовое положение, то есть когда все известное ему ранее он подвергает сомнению и вот тут-то задает себе вопрос: а что же дальше? И тогда в каком-то смысле он вынужден подняться над самим собой. Однажды я сказал об этом иначе: в то время как ученый стремится познать все больше, писатель снова и снова пытается не знать ничего. Собственно, это и есть тот путь, следуя которым он может заново, первозданно ощутить то, о чем пишет, вновь увидеть мир глазами младенца... Мне кажется, это единственный способ освобо-

диться от всяческой рутины. Вероятно, этим объяснимы и мои периоды молчания. То, что я пишу, — островки, а вокруг них море; я терпеливо жду появления следующего островка, и всякий раз он появлялся, этот новый остров. Быть может, такое ожидание, нисколько не искусственное, позволяет отчетливее увидеть, чего именно мне недостает, по какой причине я загнал себя в матовое положение. Иначе говоря, именно в это время обнаруживаются изъяны, которые я интуитивно уже ощущал в более ранних своих произведениях или периодах.

С. А тогда в чем причина, что в 70—71 годах ты стал вдруг писать больше — то есть это море вдруг перестало быть морем, окружающим остров, оно выглядело всего лишь морским проливом. Так в чем же причина?

П. Внешней причины, я думаю, не было, тому была внутренняя причина. Меня както стало тревожить все, что являет собой искусство и антиискусство. Собственно говоря, эти стихи лишь коротенькие признания — я зондировал себя, зондировал свое подсознание, зондировал среду, где нахожусь, и только записывал. Все это — лишь короткие заметки, определение места, где я обретаюсь.

С. ...Сейчас, насколько я знаю, ты пишешь прозу. Почему?

П. В последних стихотворениях у меня уже возникло ощущение, что мне в них не хватает чего-то... Ведь в поэзии... правда, сейчас иной раз трудно провести границу между поэзией и прозой, и в определенном смысле я очень об этом сожалею, потому что роман — это единственный истинный жанр — как и драма отчасти, — материей которого является время. Ни одно другое искусство не в состоянии удержать его, тогда как для романа это единственный его двигатель. Словом, я сожалею о том, что современный роман, роман двадцатого века, стал сближаться с лирикой. В лирике ощущается некая посланническая, ангельская миссия: вот, ты создал произведение, некое совершенство, и с этих пор можешь смотреть на него как на отвлеченный предмет. Но великие романисты умели умирать от одной фразы до другой, и я чувствую в этом истинную зрелость и красоту. Как бы то ни было, мне не хватало фактора времени — я сейчас не в прустовом смысле говорю это. В стихах ты можешь сделать решительно все, но по-настоящему дать почувствовать время не можешь, время в стихотворении — видимость... как в сонате Бетховена: она длится двадцать минут, да только это не настоящее время, это псевдовремя, но не время самого произведения. А в прозе время способно улавливать такие восхитительные метаморфозы, и притом без всякого «посланничества», безо всякого нарциссизма! Я хочу отвыкнуть от этих вещей. Да и это «я» последнее время очень меня смущает. «Я думаю», «я говорю»... все так, но гораздо охотнее я сказал бы: «этот человек думает так-то», «этот говорит то-то». Эти вещи начинают меня беспокоить. В прозе и «я» теряет ту роль, какую оно играет в лирике... И еще: в прозе поразительным образом — если произведение по-настоящему значительно, — ощущается прикосновение времени... Ты улавливаешь тончайшие изменения, которые способно произвести время, только время. Одним словом, сейчас меня такие вещи ужасно волнуют. Хотя это и не было сознательным намерением, но в определенном смысле мои последние стихи для чего-то подобного подготавливают почву, так что самый процесс кажется мне все же логическим, или органичным...

С. ...Тед Хьюз, английский поэт, переводивший твои стихи, написал в своем предисловии к сборнику, что каждое твое стихотворение есть частица молитвы, обращенной к Богу, которого как будто бы и нет. И я хочу спросить тебя: для тебя Бог есть или его нет?

П. Разумеется, есть, но не могу сказать об этом лучше Симоны Вайль, которой принадлежит изумительная фраза: мир существует, плохой и ирреальный, Бог не существует, хороший и реальный. И еще одну основополагающую фразу я нашел у Рильке: ужасно, говорит он, что из-за фактов мы никогда не увидим действительности. Мы все чувствуем, что живем среди фактов, материальных объектов, которые лишь до некоторой степени отражают действительность. Иначе зачем бы Гойе писать портреты, какой смысл Ван Гогу изображать свои башмаки. Как факты они реальнее, чем их изображение на полотне. Но за этими объектами, фактами художник искал действительность. Словом, для

меня Бог — действительность, существующая за фактами. Он — совершенно замкнутый, совершенно тихий, в сущности безоружный, просто олицетворяющий добро и... существующий.

Из беседы в провинциальной библиотеке 13 мая 1979 г., записанной Йожефом П. Фаркашем

...Я хотел бы освободить от всяческих мистификаций понятие «талант». Будем откровенны: в сущности, все мы являемся творцами. Позвольте мне процитировать Симону Вайль, французского философа. Вот ее парабола: «Красота — это лабиринт. В него входят многие. Большинство на полпути выдыхается и останавливается, лишь немногие добираются до центра лабиринта. Там их поджидает Господь, проглатывает и затем извергает. Они выбираются из лабиринта, останавливаются у его входа и ласково приглашают вновь прибывающих туда войти».

Итак, в лабиринт все входят с одинаковым знанием, но есть на этом пути определенные участки, которые словно бы вовсе и ни к чему. Ибо эта часть пути неинтересна, она ничего не говорит ни уму, ни сердцу, она лишь утомительна. Вот тут-то человек и может сделать свой выбор — пойдет он дальше или остановится. Нужна надежда, великая надежда! Ведь даже самый уверенный в себе поэт не знает точно, куда он, в сущности, идет. У него могут быть и бывают определенные соображения, но есть и такие вещи, которые обрушиваются на него извне, и их надобно́ принять или... Возможно, его настигают минуты усталости... утраты таланта. Все возможно, и тем не менее он должен стараться пройти до конца свой лабиринт. Не зная при этом, куда он выведет. Все мы мучаемся этим выбором...

Из интервью с Тамашем Кипке. 1 января 1978 г.

Я считаю созерцание самой активной, требующей наибольшей концентрации деятельностью человека. Леонардо утверждал: кто не уделяет достаточно места созерцанию, понапрасну теряет все отпущенное ему время. При этом, по-моему, очень напряженное созерцание почти равноценно столь же напряженному физическому труду. То, как крестьянин исполняет свою работу, есть духовное действо высочайшего накала. Он как бы сквозь тело свое получает знание. Тот, кто мыслит, никогда не мыслит только мозгом... Мы слишком многое хотим «решить», «разрешить». Но это лишь в очень узкой области имеет смысл. Как можно найти «разрешение» жизни? Жизнь нужно прожить до конца, что же тут «разрешать»? Если мы оставим этот маниакальный поиск решений, то увидим, что решение подавляющей части жизненных проблем состоит в их неразрешимости... Точно так же не стоило бы слишком переоценивать термин «развитие», иначе окажется, что мы живем в каком-то иллюзорном обществе и перестаем ценить свою собственную жизнь. В этом смысле утопии противостоят жизни! Симона Вайль сказала: даже реальный ад лучше, чем воображаемый рай. Наши «решения», «разрешения» по большей части относятся к этому воображаемому раю.

Перевод Е. МАЛЫХИНОЙ

■

АРУНДАТИ РОЙ

Бог Мелочей

РОМАН

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

11. Бог Мелочей

В тот день Амму, когда она всплывала из глубин дневного сна, пригрезился однорукий приветливый человек, державший ее близко к себе при свете масляной лампы. У него не было второй руки, чтобы отгонять тени, плясавшие вокруг него на полу.

Тени, которые он один мог видеть.

Мышцы у него на животе были напряжены и рельефны, как дольки на плитке шоколада.

Он держал ее близко к себе при свете масляной лампы, и кожа его блестела, как дорогое полированное дерево.

Он мог делать только что-то одно.

Держал ее — целовать не мог. Целовал ее — видеть не мог. Видел ее — осязать не мог.

Она могла бы легонько потрогать пальцами его гладкую кожу и почувствовать, как по ней бегут мурашки. Она могла бы позволить пальцам скользнуть вниз по его худощавому животу. Беспечно вниз по рельефным шоколадным кряжам. Ведя по его телу линии пупырчатой гусиной кожи — как мелом плашмя по школьной доске, как порывом ветра по рисовому полю, как реактивным самолетиком по голубому церковному небу. Она могла бы с легкостью это сделать, но не стала. Он тоже мог бы ее потрогать. Но и он не стал, потому что во мраке, среди теней, куда почти не доходил свет масляной лампы, по кругу стояли складные металлические стулья, а на стульях сидели люди в раскосых темных очках со стразами, сидели и смотрели. У всех под подбородками были полированные скрипки, и все смычки замерли под одинаковым углом. Все закинули ногу на ногу, левую на правую, и все трясли левой ногой.

У одних были газеты. У других нет. Одни выдували слюну пузырями. Другие нет. Но у всех на стеклах очков мерцали отражения масляной лампы.

А дальше, за кругом складных стульев, был морской берег, заваленный осколками бутылок голубого стекла. Молчаливые волны выбрасывали и разбивали все новые голубые бутылки, а куски старых уволакивали обратным потоком. Слышалось зазубренное звяканье стекла о стекло. На скале, выхваченной из моря лиловым клином света, лежало плетеное кресло-качалка красного дерева. Разнесенное в щепу.

Море было черное, пена — рвотно-зеленая.

Рыбы глотали битое стекло.

Ночь облокотилась на воду; падающие звезды отскакивали от ломких водяных чешуек.

Небо освещали ночные бабочки. Луны не было.

Он мог плыть, гребя одной рукой. Она — двумя.

Кожа у него была солоноватая. У нее — тоже.

Он не оставлял ни следов на песке, ни ряби на воде, ни отражений в зеркалах.

Она могла бы потрогать его пальцами, но не стала. Они просто стояли близко, вплотную.

Окончание. Начало см. «ИЛ» № 7, 1999

© Arundhati Roy, 1997
© Л. Мотылев. Перевод, 1999
Консультант — А. М. Дубянский

Неподвижно.

Соприкасаясь кожей.

Цветной рассыпчатый ветерок взметнул ей волосы и окутал ими, словно волнистой шалью, его безрукое плечо, кончавшееся внезапно, как утес.

Вдруг возникла тощая красная корова с костлявым тазом и поплыла прямо в море, не окуная рогов и не оглядываясь назад.

Амму поднималась вверх сквозь толщу сна на тяжелых, подрагивающих крыльях и остановилась передохнуть у самой поверхности.

На щеке у нее отпечатались розочки от вышитого синим крестиком покрывала.

Она ощущала нависшие над ее сном детские лица — две темные озабоченные луны ждали, когда их впустят.

— Ты правда думаешь, что она умирает? — услышала она шепот Рахели.

— Нет, это дневной кошмар, — ответил рассудительный Эста. — Ей много очень снов снится.

Трогал ее — говорить не мог, любил ее — отступиться не мог, говорил — слушать не мог, боролся — победить не мог.

Кто он был, этот однорукий человек? Кем он *мог* быть? Богом Утраты? Богом Мелочей? Богом Гусиной Кожи и Внезапных Улыбок? Богом Кислометаллических Запахов — как от стальных автобусных поручней и от ладоней кондуктора, который только что за них держался?

— Разбудим или не стоит? — спросил Эста.

Предвечерний свет, проникая сквозь щели в шторах тонкими ломтиками, падал на мандариновый транзистор Амму, который она всегда брала с собой на реку. (Такой же примерно формы была Вещь, которую Эста внес в «Звуки музыки», держа ее в липкой Той Руке.)

Солнце яркими полосками освещало спутанные волосы Амму. Она медлила под самой поверхностью сна, не желая впускать в него детей.

— Она говорила, если человеку снится сон, нельзя его резко будить, — сказала Рахель. — А то у него может быть Инфаркт.

Они решили не будить ее резко, а бережно *потревожить*. Поэтому стали выдвигать и задвигать ящики, покашливать, громко шептаться, мурлыкать песенку. Шаркать ногами. Потом обнаружили, что у одного платяного шкафа скрипучая дверца.

Амму, держась под поверхностью сна, видела их, и сердце у нее болело от любви к ним.

Однорукий человек задул свою лампу и пошел по зазубренному берегу, удаляясь среди теней, которые он один мог видеть.

Он не оставлял следов на песке.

Складные стулья были сложены. Черная морская вода разглажена. Морщины волн отутюжены. Пена возвращена в бутылку. Бутылка заткнута пробкой.

Ночь отложена до следующего раза.

Амму открыла глаза.

Далекий это был путь — из объятий однорукого человека к ее неодинаковым двуяйцовым близнецам.

— У тебя был дневной кошмар, — сообщила ей дочь.

— Не кошмар, — сказала Амму. — Это был сон.

— Эста решил, что ты умираешь.

— Ты была такая печальная, — сказал Эста.

— Я была счастлива, — сказала Амму и поняла, что действительно была.

— Амму, если ты была счастлива во сне, это считается? — спросил Эста.

— Что считается?

— Ну, счастье твое — считается?

Она очень хорошо его поняла, своего сына с испорченным зачесом.

Потому что, если по правде, считается только то, что *считается.*

Простая, непоколебимая мудрость детей.

Если ты во сне ела рыбу, считается это или нет? Значит ли это, что ты ела рыбу?

Приветливый, не оставляющий следов человек — считается он или нет?

Амму нащупала свой транзистор-мандарин и включила его. Передавали песню из фильма, который назывался «Креветки».

Это была история девушки из бедной семьи, которую насильно выдают замуж за рыбака с ближайшего берега, хотя она любит другого. Когда рыбак узнаёт, что у его молодой жены есть возлюбленный, он отправляется в море в своей утлой лодчонке, хотя видит, что надвигается шторм. Сгущается тьма, поднимается ветер. Океан закручивается водоворотом. Звучит бурная музыка, и рыбак тонет, вихрь засасывает его в морскую пучину.

Влюбленные решают вместе покончить с собой, и на следующее утро их крепко обнявшиеся тела находят выброшенными на берег. То есть умирают все. Рыбак, его жена, ее возлюбленный и акула, которая не играет важной роли в сюжете, но тем не менее гибнет. Море не щадит никого.

В синем сумраке, вышитом крестиком и отороченном полосками света, Амму с отпечатками розочек на сонной щеке и ее близнецы (прижавшиеся к ней с обеих сторон) мягко подпевали мандариновому радио. Это была песня, которую жены рыбаков пели печальной невесте, заплетая ей косы и готовя ее к свадьбе с человеком, которого она не любила.

Пандору муккуван мутину пойи,
(Однажды вышел в море рыбак,)
Падинджаран каттаду мунги пойи.
(Подул Западный Ветер и проглотил его лодку.)

Платьице Феи Аэропорта стояло на полу само собой, не падая из-за жесткой своей пышности. Снаружи, во дворе, рядами лежали и прожаривались на солнце свежевыстиранные сари. Кремовые с золотом. В их крахмальные складки забились крохотные камешки, которые надо будет вытрясти до того, как сари будут сложены и внесены в дом для утюжки.

Араяти пенну пижачу пойи.
(Его жена на берегу сбилась с пути.)

В Эттумануре был кремирован убитый током слон (не Кочу Томбан). У обочины шоссе сложили гигантский погребальный костер. Инженеры муниципалитета отпилили бивни и негласно поделили кость между собой. Не поровну, а как надо. Чтобы лучше горело, на слона вылили восемьдесят банок чистого топленого масла. Дым поднимался плотными клубами и рисовал в небе прихотливые фигуры. Люди, столпившиеся на безопасном расстоянии, пытались их истолковать.

Было множество мух.

Аваней кадаламма конду пойи.
(Мать-Океан восстала и забрала его.)

На деревьях поблизости расселись хищные птицы для надзора за надзором за последними почестями, отдаваемыми мертвому слону. Они надеялись — и не без оснований — поживиться гигантскими внутренностями. Скажем, колоссальным желчным пузырем. Или огромной обугленной селезенкой.

Они не были разочарованы. И не были вполне удовлетворены.

Амму заметила, что оба ее близнеца покрыты мельчайшей пылью. Словно два неодинаковых куска торта, слегка присыпанных сахарной пудрой. У Рахели среди

черных кудрей забился один светлый завиток. Локон с заднего двора Велютты. Амму вынула его.

— Говорила ведь уже, — сказала она. — Нечего вам к нему ходить. Нарываетесь на неприятности.

На какие неприятности, она не сказала. Потому что не знала.

Что-то — скорей всего, то, что она не произнесла его имени, — дало ей почувствовать, что она вовлекла его во взъерошенную интимность вышитого синим крестиком дня и песни из мандаринового транзистора. То, что она не произнесла его имени, подсказало ей, что между Сном и Явью было заключено соглашение. И посредниками в нем, акушерами ее сновидения стали — или станут еще — ее покрытые древесной пылью двуяйцовые близнецы.

Она знала, кто он — этот Бог Утраты, Бог Мелочей. Разумеется, знала.

Она выключила мандариновый приемник. В предвечерней тишине, отороченной полосками света, дети ластились к ее теплу. К ее запаху. Они укутывали головы в ее волосы. Что-то подсказало им, что во сне она была от них далека. Теперь они звали ее назад, прикладывая маленькие ладошки к ее обнаженному животу. Между блузкой и нижней юбкой. Им нравилось, что кожа на тыльной стороне их ладоней имеет тот же оттенок коричневого цвета, что и кожа на животе у матери.

— Эста, смотри, — сказала Рахель, играя с нежной линией волосков, спускавшейся вниз от пупка Амму.

— Здесь мы в тебе брыкались. — Эста потрогал пальцем ускользающую серебристую полоску-растяжку, оставшуюся после беременности.

— В автобусе, да, Амму?

— На извилистой дороге?

— Там Баба держал твой животик?

— А билеты вы покупали?

— Больно тебе было?

А потом, как бы невзначай, вопрос Рахели:

— Как ты думаешь, может быть, он наш адрес потерял?

Даже не перебой, а намек на перебой в ритме дыхания Амму заставил Эсту дотронуться средним пальцем до среднего пальца Рахели. И, соединив средние пальцы на прекрасном животе матери, они оставили эту тему.

— Здесь Эста брыкнул, а здесь я, — сказала Рахель. — Здесь Эста, а здесь я.

Они поделили между собой все семь серебристых растяжек матери. Потом Рахель приложила губы к животу Амму и присосалась к нему, вобрав в рот мягкую плоть, после чего откинула голову, чтобы полюбоваться блестящим овалом слюны и розовым отпечатком зубов на материнской коже.

Амму поразила прозрачность этого поцелуя. Не поцелуй, а чистое стекло. Не отуманенное страстью и желанием, что, как пара псов, крепко спят в детях, покуда они не вырастут. Этот поцелуй не требовал ответного поцелуя.

Не то что мглистые поцелуи, полные вопросов, на которые нужно отвечать. Не то что поцелуи приветливых одноруких людей во сне.

Амму ощутила усталость от собственнического обращения детей. Ей захотелось вернуть свое тело себе. Это было ее тело. Она сбросила с себя детей, как лежащая сука сбрасывает щенков, когда они ей надоели. Она села на кровати и собрала волосы в пучок на затылке. Потом спустила ноги на пол, подошла к окну и отдернула шторы.

Косой предвечерний свет затопил комнату и осветил близнецов на постели.

Они услышали, как за Амму щелкнул замок в двери ванной.

Щелк.

Амму посмотрела в длинное зеркало, висевшее на двери ванной, и ей привиделся в нем призрак будущего, явившийся насмехаться над ней. Морщинистая кожа. Седина. Слезящиеся глаза. Вышитые крестиком розочки на вялой, дряблой щеке. Вислые, иссохшие груди, похожие на утяжеленные носки. Внизу, между ног, застарелая сушь, белизна безжизненных волос. Реденьких. Ломких, как прессованный папоротник.

Отслаивающаяся чешуйками, осыпающаяся, как снег, кожа.

Амму содрогнулась.

В жаркий предвечерний час — с леденящим чувством, что Жизнь Прожита. Что ее чаша доверху полна пылью. Что воздух, небо, деревья, солнце, дождь, свет и темнота — все это медленно превращается в песок. Что песок забьет ее ноздри, рот, легкие. Что он затянет ее вниз, оставив на поверхности лишь круговую воронку, похожую на те, что делают крабы, зарываясь в песчаный берег.

Амму разделась и подсунула красную зубную щетку под одну из грудей, чтобы посмотреть, удержится она или нет. Не удержалась. На ощупь ее кожа была тугая и гладкая. Под пальцами соски наморщились, потом затвердели, как темные орешки, натягивая мягкую кожу грудей. Тонкая линия волосков шла нежным изгибом от пупочной лунки к темному треугольнику лобка. Как стрелка, указывающая направление заблудившемуся путнику. Неопытному любовнику.

Она распустила волосы и повернула голову, чтобы увидеть, на какую длину они выросли. Они струились вниз волнами, завитками и непослушными курчавыми прядями — внутри мягкие, снаружи пожестче — к тому месту, где ее узкая, сильная талия начинала расширяться, переходя в бедра. В ванной было жарко. Ее кожу усеяли алмазики пота. Они постепенно росли и стали стекать вниз. Пот струился по впадине ее позвоночника. Она окинула критическим взглядом свои округлые, полные ягодицы. Не слишком крупные сами по себе. Не слишком крупные per se (как, без сомнения, выразился бы оксфордский выпускник Чакко). Казавшиеся крупными только потому, что вся она была очень стройная. Они принадлежали другому, более чувственному телу.

Под каждой из них, бесспорно, зубная щетка удержалась бы. А то и две. Она громко засмеялась, представив себя идущей по Айеменему в чем мать родила с торчащими из-под обеих ягодиц пучками разноцветных зубных щеток. Но быстро оборвала себя. Она увидела, как струйка безумия вырвалась из бутылки и, вне себя от восторга, начала с кривляниями носиться по всей ванной.

Безумие тревожило Амму.

Маммачи говорила, что оно нет-нет да и проявлялось в их семье. Что оно налетало на людей неожиданно, беря их врасплох. Что была такая Патиль-аммей — матушка Патиль, — которая в шестьдесят пять лет принялась раздеваться и бегать нагишом по берегу реки, распевая песни рыбам. Что был такой Тамби-чачен — братец Тамби, — который каждое утро копался в своем кале вязальной спицей в надежде найти золотой зуб, который он не один год уже как проглотил. Что был такой доктор Мутачен, которого забрали с его собственной свадьбы в смирительной рубашке. Чего доброго, потом будут рассказывать: «А была еще такая Амму — Амму Айп. Вышла за бенгальца. Потом совсем спятила. Умерла молодой. В какой-то паршивой дыре».

Чакко говорил, что большое количество психических болезней среди сирийских христиан — это плата за Инбридинг. Маммачи говорила, что ничего подобного.

Амму взяла руками свои тяжелые волосы, обмотала ими лицо и принялась смотреть в щели между прядями на лежащую впереди дорогу к Старению и Смерти. Как средневековый палач, глядящий на жертву сквозь раскосые глазные прорези черного остроконечного капюшона. Стройный обнаженный палач с темными сосками и возникающими от улыбки упругими ямочками. С семью серебристыми растяжками от пары двуяйцовых близнецов, рожденных ею при свете свечей среди сообщений о проигранной войне.

Не столько то, что лежало в конце дороги, страшило Амму, сколько сама эта дорога. Ни столбов, отмеряющих путь, пройденный по ней. Ни деревьев, высаженных вдоль нее. Ни крапчатых лиственных теней, осеняющих ее. Ни туманов, окутывающих ее. Ни птиц, парящих над ней. Ни поворотов, ни изгибов, ни виражей, способных хотя бы отсрочить ясное видение конца. Это наводило на Амму ужас, ведь она была не из тех, кто стремится знать будущее. Слишком уж она его боялась. Поэтому если бы ей даровали исполнение одного маленького желания, это желание было бы — Не Знать. Не знать, что сулит завтрашний день. Не знать, где она будет через месяц, через год. Десять лет подряд. Не знать, куда повернет дорога и что окажется за поворотом. А между тем Амму знала. Или *думала*, что знает, и это было ничем не лучше (потому что если ты во сне ела рыбу, это значит, что ты ела рыбу). И то, что Амму знала (или думала, что знает), пахло едко-пресными уксусными парами, поднимавшимися из цементных чанов «Райских солений». Парами, что губят молодость и травят будущее.

Окутанная собственными волосами, Амму приникла к своему отражению в зеркале ванной и попыталась заплакать.

Жалея себя.

Жалея Бога Мелочей.

Жалея присыпанных сахарной пудрой близнецов-акушеров.

В тот предвечерний час — пока в ванной комнате шушукались судьбы, намереваясь роковым образом изменить путь непостижимой женщины, матери близнецов; пока на заднем дворе у Велютты их ждала старая лодка; пока в желтой церкви собирался родиться летучий мышонок — в материнской спальне Эста стоял на голове, утвердив ее на заднице у Рахели.

В спальне с синими шторами и бьющимися в оконные стекла желтыми осами. В спальне, чьи стены скоро станут поверенными мучительных секретов.

В спальне, где сначала Амму запрут, а потом она запрется сама. В спальне, дверь которой обезумевший от горя Чакко вышибет через четыре дня после похорон Софимоль.

— Вон из моего дома, пока я все кости тебе не переломал!

Мой дом, *мои* ананасы, *мои* соленья.

Не один год после этого Рахели будет сниться одно и то же: толстяк без лица стоит на коленях рядом с трупом женщины. Выдирает волосы. Крошит все кости тела. Вплоть до самых маленьких. Пальцы и все прочее. Слуховые косточки трескаются, как хворост. *Крак-крак* — мягкий звук ломающихся костей. Пианист, убивающий фортепьянные клавиши. И белые, и черные. Рахель (хотя потом в Электрокрематории она воспользуется потной скользкостью, чтобы выкрутить ладонь из руки Чакко) любила обоих. И пианиста, и пианино.

И убийцу, и труп.

Пока он крушил дверь, Амму, чтобы унять дрожь в пальцах, подшивала концы ленточек Рахели, которые вовсе в этом не нуждались.

— Обещайте, что всегда будете любить друг друга, — сказала она, прижимая к себе детей.

— Обещаю, — сказали Эста и Рахель. Не найдя слов, чтобы объяснить ей, что для них нет никакого Друг Друга.

Два жерновка и мама. Два онемелых жерновка. То, что они сделали, еще вернется и вычерпает их до дна. Но это будет Потом.

Потт. Томм. Глухой глубокий колокол в замшелом колодце. Подрагивающие, мохнатые звуки, похожие на лапки ночной бабочки.

А в ту минуту — только бессвязность, ничего больше. Отовсюду разом улетучился смысл, и остались одни фрагменты. Обособленные. Блеск иглы в руке Амму. Цвет ленты. Фактура вышитого крестиком покрывала. Медленно, с треском ломаемая дверь. Изолированные явления, переставшие что-либо *значить*. Как будто вдруг отказала служба дешифровки, истолковывающая сокровенные узоры жизни, сопрягающая отражение с образом, блеск со светом, фактуру с тканью, иглу с ниткой, стены с комнатой, любовь со страхом-гневом-сожалением.

— Собирай пожитки и уезжай, — сказал Чакко, переступая через обломки. Возвышаясь над матерью и детьми. В руке — хромированная дверная ручка. Вдруг странно спокойный. Сам удивляясь своей силе. Своей огромности. Своей грозной мощи. Чудовищности своего горя.

Красный цвет дверных щепок на полу.

Амму, спокойная внешне, дрожащая внутри, не поднимала глаз от бессмысленного шитья. Открытая коробка с разноцветными ленточками лежала у нее на коленях в комнате, где она потеряла свое Место Под Солнцем.

В комнате, где после того, как придет ответ от хайдарабадской Специалистки по Близнецам, Амму будет укладывать пожитки Эсты в сундучок и в маленький рюкзачок защитного цвета: двенадцать хлопчатобумажных маек без рукавов, столько же с короткими рукавами. *Эста, здесь на них чернилами проставлено твое имя.* Его носки. Его брючки в обтяжку. Его рубашки с остроконечными воротничками. Его бежевые

остроносые туфли (откуда ползла вверх Злость). Его записи Элвиса. Его глюконат кальция и видалиновый сироп. Его Бесплатного Жирафа (прилагаемого к видалину). Его Детскую Энциклопедию, тт. 1 — 4. *Нет, родненький, там нет реки и негде будет рыбачить.* Его белую кожаную Библию с застежкой-молнией и аметистовой запонкой Королевского Энтомолога на застежке. Его кружку. Его мыло. Его Подарок на Будущий День Рождения, который он *не должен* пока разворачивать. Сорок зеленых бланков писем. *Смотри, Эста, я всюду написала наш адрес. Тебе нужно будет только правильно сложить. На, попробуй сложить сам.* И Эста аккуратно сложит зеленый бланк письма по пунктирной линии с надписью «линия сгиба» и взглянет на Амму с улыбкой, которая разобьет ей сердце.

Обещай, что будешь писать. Даже если не будет новостей.

Обещаю, скажет Эста. Не вполне понимая, что происходит. Его восприятие будет притуплено внезапно свалившимся на него ворохом имущества. Все эти вещи — Его. На них чернилами проставлено его имя. Сейчас они будут уложены в сундучок, который стоит раскрытый на полу спальни.

В доме, куда Рахель вернется много лет спустя и где она увидит моющегося молчаливого чужака. Стирающего свою одежду ярко-синим крошащимся мылом.

Стройно-мускулистого, с кожей медового цвета. С морскими тайнами в глазах. С серебристой дождевой каплей на мочке уха.

Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон.

12. Кочу Томбан

Звук ченды стоял над храмом, как огромный гриб, подчеркивая тишину окружающей ночи. Тишину безлюдной мокрой дороги. Тишину вглядывающихся деревьев. Рахель, затаив дыхание, с кокосовым орехом в руке, вошла на храмовый двор через деревянные ворота в высокой белой ограде.

Внутри ограды — белые стены, замшелая черепица и лунный свет. Отовсюду пахло недавним дождем. На приподнятой каменной веранде спал на подстилке тощий священник. Латунное блюдо с монетами лежало у его изголовья, напоминая деталь комикса, изображающую то, что снится персонажу. Двор был забрызган лунами, по одной в каждой дождевой луже. Кочу Томбан кончил свое церемониальное хождение по кругу и лежал привязанный к деревянному столбу около дымящейся кучи его же фекалий. Он спал, исполнив обязанности, опорожнив кишечник, один бивень положив на землю, другим указывая на звездное небо. Рахель тихонько приблизилась к нему. Она увидела, что кожа у него более складчатая, чем была раньше. И теперь его нельзя было назвать Кочу Томбан — Маленький Бивень. Его бивни выросли. Теперь он был Велья Томбан. Большой Бивень. Она положила кокосовый орех на землю с ним рядом. Кожистая складка разомкнулась, и под ней жидким блеском блеснул слоновий глаз. Блеснул и закрылся вновь с ленивым сонным махом длинных ресниц. Один бивень указывал на звездное небо.

В июне мало дается представлений катхакали. Есть, конечно, храмы, мимо которых труппа не пройдет, не сыграв. Айеменемский храм раньше не входил в их число, но в последнее время из-за его расположения роль его выросла.

В Айеменеме актеры танцевали, чтобы смыть унижение, которому они подверглись в Сердце Тьмы. Унижение усеченных представлений у бассейна, даваемых туристам ради пропитания.

На обратном пути из Сердца Тьмы они заворачивали в храм повиниться перед своими богами. Попросить прощения за профанацию священных преданий. За разбазаривание самих себя. За осквернение своих жизней.

В подобных случаях присутствие зрителей не возбранялось, но было совершенно необязательно.

В кутамбаламе — широком крытом коридоре с колоннами, примыкающем к серд-

цу храма, где обитает Синий Бог[1] со своей свирелью, — барабанили барабанщики и танцевали танцоры, и лица их с течением ночи медленно меняли цвет. Рахель села, скрестив ноги и прислонившись спиной к белой круглой колонне. Длинная жестянка с кокосовым маслом поблескивала от мерцающего огня медного светильника. Масло питало огонь. Огонь освещал жестянку.

Что представление уже началось, было не важно, ведь культура катхакали давным-давно знает, что секрет Великих Историй заключается в *отсутствии* секретов. Тем и замечательны Великие Истории, что ты их уже слышал и хочешь услышать опять. Что ты можешь войти в них где угодно и расположиться с удобствами. Что они не морочат тебя и не щекочут тебе нервы. Что они не удивляют тебя непредвиденными поворотами. Что они привычны тебе, как дом, в котором ты живешь. Как запах кожи любимого человека. Ты знаешь, чем все кончится, и все же слушаешь так, словно не знаешь. Подобно тому, как, зная, что когда-нибудь умрешь, ты живешь так, словно не знаешь. В Великих Историях тебе заранее известно, кто будет жить, кто умрет, кто обретет любовь, а кто нет. И все же ты хочешь услышать опять.

В этом-то и кроется их тайна и волшебство.

Для Человека Катхакали эти истории — его дети и его детство. Внутри них он вырос. Они — его родительский дом, лужайки, на которых он резвился. Они — его окна и его взгляд на мир. Поэтому, рассказывая историю, он обращается с ней как со своим ребенком. Поддразнивает ее. Наказывает ее. Пускает ее лететь мыльным пузырем. В шутку валит ее на землю, потом опять отпускает. Смеется над ней, потому что любит ее. Может в считанные минуты развернуть перед тобою миры, может медлить часами, рассматривая вянущий лист. Или играть с хвостом спящей обезьяны. Может с легкостью перейти от смертоубийства войны к дивной неге женщины, моющей волосы в горном ручье. От злокозненного восторга демона-ракшасы, замыслившего недоброе, к возбуждению малаяльской сплетницы со скандальной новостью на языке. От нежной чувственности кормящей матери к озорной и соблазнительной улыбке Кришны. Из мякоти счастья он может извлечь зернышко печали. Из океана славы — выдернуть тайную рыбину срама.

Он повествует о богах, но нить повести тянется из неочищенного человеческого сердца.

Он, Человек Катхакали, — прекраснейший из мужчин. Потому что его тело *и есть* его душа. Оно — его единственный инструмент. С трехлетнего возраста оно обтесывается и обстругивается, укрощается и шлифуется единственно ради выразительности рассказа. Под раскрашенной маской и развевающимися одеждами в Человеке Катхакали живет волшебство.

Но в наши дни он стал нежизнеспособен. Не нужен. Бракованный, негодный товар. Его дети смеются над ним. Они хотят быть всем тем, чем он не является. У него на глазах они вырастают и становятся канцеляристами или автобусными кондукторами. Служащими низшего ранга. Но со своими профсоюзами.

А он, оставшийся висеть между небом и землей, не может идти по их стопам. Не может протискиваться по салонам автобусов, раздавая билеты и считая сдачу. Не может бегать туда-сюда по звоночкам. Не может с легким наклоном туловища подавать на подносе чай и бисквиты «Мария».

В отчаянии он обращается к туризму. Выходит на рынок. Начинает торговать своим единственным достоянием. Историями, которые способно рассказать его тело.

Он становится частью Местного Колорита.

В Сердце Тьмы туристы бесят его своей праздной наготой и короткоживущим вниманием. Он обуздывает бешенство и танцует перед ними. Получает заработанное. Напивается. Или курит травку. Не привозную, а свою, керальскую. От нее ему делается весело. На обратном пути он заворачивает в Айеменемский храм, он и товарищи по труппе, и они танцуют, прося у богов прощения.

Рахель (без Планов, без Места Под Солнцем) смотрела, прислонившись к колонне, на Карну, молящегося на берегу Ганга. На Карну, облеченного в сияющий панцирь. На Карну, задумчивого сына Сурьи, бога Солнца. На щедрого, безотказного Карну. На Кар-

---

[1] Синий Бог — Кришна.

ну, брошенного в младенчестве на произвол судьбы. На Карну — славнейшего из всех воителей.

В ту ночь Карна был под кайфом. На нем была ветхая штопаная юбка. В его короне на месте драгоценных камней зияли дыры. Его бархатная куртка облысела от старости. Пятки у него были потрескавшиеся. Твердые. Он гасил о них косяки.

Но пусть его ждала бы за кулисами армия гримеров, пусть у него был бы агент, контракт, оговоренная доля доходов — кто бы он тогда был? Самозванец, вот кто. Богатый обманщик. Актер, играющий роль. Разве он смог бы тогда стать Карной? Или ему было бы слишком *безопасно* в коконе богатства? И деньги стали бы оболочкой, отделяющей его от повести? Разве он смог бы тогда коснуться ее сердца, ее сокровенных тайн, как он делает сейчас?

Вряд ли.

Сегодня ночью этот человек опасен. Его отчаяние велико. Эта повесть — его страховочная сеть, над которой он летает и крутит сальто, как акробат-виртуоз в обанкротившемся цирке. Она одна удержит его, не даст сорваться и рухнуть на арену тяжелым камнем. Она — его цвет и его свет. Она — сосуд, который он наполняет собой. Она сообщает ему форму. Структуру. Ограничивает его. Обуздывает. В ней — его Любовь. Безумие. Надежда. Бесконечная Радость. Любопытно, что его усилия противоположны усилиям обычного актера: не *войти* в роль стремится он, а высвободиться из нее. Но этого-то он как раз и не может. Его сокрушительное поражение становится его высшим торжеством. Он *и есть* Карна, брошенный всеми на произвол судьбы. Карна Один. Бракованный, негодный товар. Принц, выросший в нищете. Которому суждено умереть в одиночку, безоружным, от бесчестной стрелы, пущенной рукою брата. Величественный в своем беспредельном отчаянии. Молящийся на берегу Ганга. Под тяжелым, дурным кайфом.

Потом появилась Кунти. Она тоже была мужчиной, но мужчиной мягким и женственным, мужчиной с грудями, который стал таким оттого, что много лет перевоплощался в женщин. Ее движения были плавными. Истинно женскими. Кунти тоже была под кайфом. От того же самого курева. Она пришла рассказать Карне историю.

Карна наклонил красивую голову и стал слушать.

Красноглазая Кунти начала танец-рассказ. Она поведала ему о молодой женщине, которой было даровано необычайное заклинание. Тайная мантра, позволявшая ей кого угодно из богов выбирать себе в любовники. Она рассказала ему, как безрассудство юности толкнуло эту женщину проверить действенность заклинания. Как она пришла одна в безлюдное поле, обратила лицо к небесам и произнесла мантру. Едва успели слова слететь с ее глупых губ — так сказала Кунти, — как перед ней предстал Сурья, бог Солнца. Молодая женщина, обвороженная красотой сияющего юного бога, отдалась ему. Девять месяцев спустя она родила сына. Младенец родился облеченный в свет, с золотыми серьгами, продетыми в уши, и в золотом панцире с изображением солнца на груди.

Молодая мать горячо любила своего пе́рвенца — так сказала Кунти, — но она была незамужняя и не могла оставить его при себе. Она положила его в тростниковую корзину и пустила по реке. Ниже по течению младенца нашел возничий Адхиратха. И назвал его Карной.

Карна поднял глаза на Кунти. *Кто она? Кто моя мать? Скажи мне, где она. Отведи меня к ней.*

Кунти поникла головой. *Она здесь,* сказала Кунти. *Она стоит перед тобой.*

Радость Карны и его гнев из-за открывшегося. Его танец замешательства и отчаяния. *Где ты была,* вопрошал он, *когда я так нуждался в тебе? Держала ли ты меня в руках хотя бы раз? Кормила ли ты меня? Искала ли меня? Думала ли, где я могу быть?*

В ответ Кунти взяла его царственное лицо в свои ладони — зеленое лицо с красными глазами — и поцеловала в лоб. Карна содрогнулся от блаженства. Воитель, преобразившийся в дитя. Восторг этого поцелуя. Он отправил его к самым дальним уголкам своего тела. К мизинцам. К пальцам ног. Поцелуй его милой матери. *Знала ли ты, как я по тебе тосковал?* Рахель ясно видела, как поцелуй движется по его жилам, подобно яйцу в пищеводе страуса.

Перекатывающийся поцелуй, остановленный смятением, когда Карна понял, что мать открылась ему только ради спасения пяти других своих, более любимых сыновей — пандавов, — которым предстояла великая битва с сотней двоюродных братьев. Именно их, этих пятерых, желала Кунти защитить, когда объявляла Карне о том, что он — ее сын. Ей нужно было взять с него обещание.

Она обратилась к Законам Любви.

Они — братья твои. Твоя плоть и кровь. Обещай мне, что не выступишь против них. Обещай мне это.

Но Карна-Воитель не мог дать такого обещания, ибо оно противоречило обещанию, данному им раньше. Завтра ему идти на бой с пандавами. Ведь они, и в особенности Арджуна, при всех осмеяли его за то, что он сын жалкого возничего. Напротив, Дурьодхана, старший из ста братьев-кауравов, приблизил его к себе и даровал ему царство. Карна в ответ дал Дурьодхане клятву верности.

Но щедрый, безотказный Карна не мог ответить на просьбу матери простым «нет». Он дал ей обещание, слегка изменив его. Примирив с тем, прежним. Сделав небольшую оговорку в клятве.

Клянусь тебе в том, сказал он Кунти, *что у тебя как было, так и останется пять сыновей. Юдхиштхире я не причиню вреда. Бхима не умрет от моей руки. Близнецы — Накула и Сахадева — останутся невредимы. Но что касается Арджуны — тут я ничего не могу обещать. Либо я убью его, либо он меня. Один из нас умрет.*

Что-то изменилось в составе воздуха. Рахель поняла, что пришел Эста.

Ей не нужно было для этого поворачивать голову. Внутри у нее разлился жар. *Он пришел,* подумала она. *Он здесь. Со мной.*

Эста устроился у дальней колонны, и так они просидели все представление, разделенные пространством кутамбалама, но объединенные повестью. И памятью об иной ма ри.

В воздухе стало теплее. Не так сыро.

По всей вероятности, прошедший вечер в Сердце Тьмы был особенно нехорошим. В Айеменеме люди танцевали так, словно не могли остановиться. Точно дети, укрывшиеся от бури в теплом доме. Не желающие выйти и оказаться лицом к лицу с непогодой. С ветром и молнией. С долларовыми знаками в глазах крыс, шныряющих в окрестных руинах. С рушащимся вокруг них миром.

Они вынырнули из одной истории только для того, чтобы погрузиться в другую. Из *Карна Шабадам* — «Клятвы Карны» — в *Дурьодхана Вадхам*, рассказывающую о смерти Дурьодханы и его брата Духшасаны.

Было уже почти четыре утра, когда Бхима добрался до мерзкого Духшасаны. До человека, пытавшегося при всех обнажить Драупади, жену пандава, после того как кауравы выиграли ее в кости. Драупади (странным образом разгневанная только на тех, кто выиграл ее, но отнюдь не на тех, кто поставил ее на кон) поклялась, что будет ходить с распущенными волосами до тех пор, пока не омоет их в крови Духшасаны. Бхима поклялся отомстить за ее поруганную честь.

Бхима принудил Духшасану сражаться на поле битвы, уже заваленном трупами. Они бились целый час. Обменивались оскорблениями. Перечисляли зло, которое каждому из них сделал другой. Когда медный светильник начал мигать и гаснуть, они объявили перемирие. Бхима подлил масла, Духшасана снял нагар с фитиля. Потом они опять принялись биться. Отчаянная схватка выплеснулась из кутамбалама и завертелась вокруг храма. Они носились друг за другом по всему двору, размахивая булавами из папье-маше. Двое мужчин в развевающихся пузырем юбках и облысевших бархатных куртках прыгали через разбрызганные луны и кучи испражнений, обегали громаду спящего слона. Духшасана то бахвалился. То, минуту спустя, просил пощады. Бхима играл с ним в кошки-мышки. Оба были под кайфом.

Небо стало розовой чашей. Серая слоновья дыра в мироздании пошевелилась во сне и опять замерла без движения. Занималась заря, когда в теле Бхимы пробудился зверь. Барабаны забили громче, но воздух, полный угрозы, был тих.

В слабом свете раннего утра Эстаппен и Рахель увидели, как Бхима исполнил клятву, данную им Драупади. Он свалил Духшасану на пол. Он обрушивал булаву на любое содрогание умирающего тела, добиваясь от него неподвижности. Кузнец, уплощающий кусок неподатливого металла. Последовательно разглаживающий каждую ямку и выпуклость. Он все убивал и убивал врага, хотя тот давно уже был мертв. Потом голыми руками он разодрал оболочку его тела. Вывалив оттуда внутренности, он наклонился и стал пить кровь прямо из чаши выпотрошенного трупа, глядя поверх ее края безумными глазами, горящими яростью, ненавистью и сумасшедшим удовлетворением. Булькая промеж зубов бледно-розовыми пузырями кровавой слюны. Кровь стекала по его раскрашенному лицу, подбородку, шее. Когда он вволю напился, он встал, обмотав шею, как шарфом, окровавленными кишками, и пошел искать Драупади, чтобы омыть ее волосы в свежей крови. Весь его облик дышал яростью, которой даже убийство не смогло утолить.

Безумием было то, что они увидели на рассвете. Под розовой чашей неба. Не представлением, нет. Эстаппен и Рахель поняли, что это такое. Они видели это раньше. Другое утро. Другая сцена. Другой род безумия (с многоножками на подошвах башмаков). Зверская избыточность нынешнего дополняла бережливую жестокость прежнего.

Они сидели там, Немота и Опустелость, замороженные двуяйцовые ископаемые с выпуклостями на лбу, которые так и не превратились в рога. Разделенные пространством кутамбалама. Увязшие в трясине повести, которая была и не была их повестью. Которая сохраняла какое-то время подобие структуры и порядка, но потом понесла, как испуганная лошадь.

Кочу Томбан проснулся и деликатно разгрыз свой утренний кокосовый орех.

Люди Катхакали смыли грим и отправились по домам лупить жен. Даже мягкая Кунти с женскими грудями.

За оградой храма городок, маскирующийся под деревню, зашевелился и начал оживать. Пожилой человек проснулся и заковылял к плите греть свое приперченное кокосовое масло.

Товарищ Пиллей. Профессиональный айеменемский лесоруб.

Как ни странно, именно он познакомил близнецов с катхакали. Вопреки возражениям Крошки-кочаммы он брал их с собой, когда водил Ленина в храм на ночные действа; сидя там с ними до рассвета, он разъяснял им язык и жестикуляцию катхакали. В шесть лет они смотрели с ним представление именно на этот сюжет. Не кто иной, как он, познакомил их с *Раудра Бхима* — с обезумевшим, кровожадным Бхимой, алчущим убийства и отмщения. «Он ищет зверя, который в нем живет», — сказал товарищ Пиллей детям, вылупившим глаза от испуга, когда добродушный доселе Бхима принялся лаять и рычать.

Какого именно зверя, товарищ Пиллей не уточнил. Ищет *человека*, который в нем живет, — вот что, возможно, он имел в виду, потому что ни одному зверю не сравниться с человеком в многообразном, бесконечно богатом на выдумки искусстве ненависти. Ни один зверь не достигнет в нем такой мощи и широты.

Розовая чаша потускнела, и из нее закапала теплая серая морось. Когда Эста и Рахель выходили из ворот храмовой ограды, товарищ Пиллей как раз входил в них, скользкий от масла. На лбу у него была сандаловая паста. Дождевые капли стояли шариками на его масленой коже. В сложенных чашечкой ладонях он маленькой кучкой нес свежие цветки жасмина[1].

— О! — сказал он своим пронзительным голосом. — Вы здесь! Значит, не забыли свою индийскую культуру? Хорошохорошо. Очень хорошо.

Близнецы — и не грубые, и не вежливые — ничего ему не ответили. Они пошли домой вместе. Он и Она. Мы и Нас.

---

[1] Приношение богу в виде цветов, кокосовых орехов и т. п. — традиционный элемент индуистской обрядности.

13. Пессимист и оптимист

Чакко переселился в кабинет Паппачи, отдав Софи-моль и Маргарет-кочамме свою спальню. Это была маленькая комната, окно которой глядело на запущенную и плохо используемую каучуковую плантацию, купленную преподобным И. Джоном Айпом у соседа. Одна дверь соединяла спальню с остальными комнатами дома, другая (тот самый отдельный вход, который Маммачи соорудила для того, чтобы Чакко мог, не беспокоя других, удовлетворять свои Мужские Потребности) вела прямо в боковой дворик.

Софи-моль спала на маленькой раскладушке, которую поставили для нее рядом с большой кроватью. Ее голова была полна стрекотания медленного потолочного вентилятора. Голубо-серо-голубые глаза вдруг открылись.

Не Спящие

Не Мертвые

Не Спокойные

Сон был отброшен напрочь.

В первый раз с тех пор, как умер Джо, первая ее мысль после пробуждения была не о нем.

Она оглядела комнату. Не двигаясь, просто поводя глазами. Разведчица, плененная на вражеской территории, замышляющая эффектный побег.

На столе у Чакко стояла ваза с неумело расположенными цветами гибискуса, уже поникшими. Вдоль стен стояли ряды книг. Застекленный шкаф был набит сломанными самолетиками из бальзового дерева. Искалеченными бабочками с глазами, полными мольбы. Деревянными женами злого короля, томящимися под действием его злых деревянных чар.

В ловушке.

Только одной — Маргарет, ее матери, — удалось спастись и бежать в Англию.

В спокойной хромированной сердцевине серебристого потолочного вентилятора вращалась комната. Бежевая ящерица геккон, цветом напоминающая недопеченный бисквит, разглядывала девочку с интересом. Софи-моль подумала о Джо. Что-то дрогнуло у нее внутри. Она закрыла глаза.

Спокойная хромированная сердцевина серебристого потолочного вентилятора стала вращаться у нее в голове.

Джо умел ходить на руках. А когда ехал на велосипеде под гору, умел наполнить рубашку ветром.

Около нее на кровати по-прежнему спала Маргарет-кочамма. Она лежала на спине, сцепив руки на солнечном сплетении. Пальцы у нее распухли от жары, и обручальное кольцо, казалось, слишком давило на один из них. Плоть обеих щек чуть осела, заставляя скулы выдаваться резче и оттягивая вниз углы рта в некой безрадостной улыбке, обнажавшей зубы лишь узенькой блестящей полоской. Свои в прошлом пышные брови она выщипала, превратив их в модные теперь тонкие графические дуги, даже во сне придававшие ее лицу слегка удивленное выражение. Прочие его выражения отрастали по мере роста новых волосков по обочинам дуг. Ее лицо разрумянилось. Лоб блестел от пота. Под румянцем, однако, затаилась бледность. Отсроченная печаль.

Тонкая ткань ее темно-синего с белым цветастого платья из хлопка с синтетикой обвисла и бессильно льнула к телу, повторяя его контуры, вздымаясь на груди и опадая меж ее длинных, сильных ног, словно она, эта ткань, тоже была непривычна к жаре и нуждалась в отдыхе.

На тумбочке рядом с кроватью стояла в серебряной рамке черно-белая свадебная фотография Чакко и Маргарет-кочаммы, сделанная у церкви в Оксфорде. Шел легкий снежок. Мостовую и тротуар чуть присыпало. Чакко был одет, как Неру: белые брючки — чуридар — и длинная черная рубашка — шервани. Его плечи были припорошены снегом. В петлице у него красовалась роза, из грудного кармана выглядывал сложенный треугольничком платок. Обут он был в блестящие черные полуботинки — «оксфорды». Казалось, ему самому смешно, как он одет. Словно ряженый на маскараде.

На Маргарет-кочамме было длинное платье с кружевами; ее курчавые стриженые волосы украшала дешевая диадема. Фата была откинута с лица. Видно было, какая

она высокая. Они оба выглядели счастливыми. Молодые, стройные, прищурившиеся от солнца, которое било им в глаза. Она нахмурила лоб и сдвинула густые темные брови, мило контрастировавшие с белизной подвенечных кружев. Прищуренное облачко с бровями. Позади них стояла дородная представительная женщина с массивными лодыжками, одетая в длинное пальто, застегнутое на все пуговицы. Мать Маргарет-кочаммы. Слева и справа от нее стояли две внучки в клетчатых плиссированных юбочках и носочках, с одинаковыми челками. Обе хихикали, прикрывая рты ладошками. Мать Маргарет-кочаммы смотрела в сторону, за пределы снимка, словно пришла на бракосочетание против своей воли.

Отец Маргарет-кочаммы прийти отказался. Он не любил индийцев — считал их нечестными, жуликоватыми. Он не мог смириться с тем, что его дочь выходит за одного из них замуж.

В правом углу фотографии мужчина, едущий вдоль тротуара на велосипеде, оглянулся, чтобы получше рассмотреть диковинную чету.

Маргарет-кочамма познакомилась с Чакко, когда работала официанткой в оксфордском кафе. Ее семья жила в Лондоне. Отец был владельцем булочной. Мать работала в шляпном ателье. За год до встречи с Чакко Маргарет-кочамма уехала из родительского дома единственно из юношеского стремления к независимости. Она намеревалась работать, копить деньги на педагогические курсы, а потом поступить на работу в школу. В Оксфорде она снимала маленькую квартирку на паях с подругой. С другой официанткой в другом кафе.

Расставшись с родителями, Маргарет-кочамма вскоре обнаружила, что чем дальше, тем больше становится именно такой, какой они хотели ее видеть. Столкнувшись лицом к лицу с Действительностью, она нервно цеплялась за старые заученные правила и бунтовать могла при желании лишь против самой себя. Поэтому в Оксфорде она жила все той же строгой, неяркой жизнью, из которой думала вырваться, — разве что, слушая пластинки, делала громкость чуть больше, чем ей позволяли дома.

И вот однажды утром в кафе вошел Чакко.

Дело было летом в последний год его учебы. Он был один. Его мятая рубашка была застегнута не на те пуговицы. Шнурки ботинок волочились по полу. Его волосы, спереди аккуратно причесанные и приглаженные, сзади топорщились колючим нимбом. Он был похож на безалаберного дикобраза, почему-то причисленного к лику блаженных. Он был высок ростом, и даже невообразимая одежда (дурацкий галстук, потертый пиджак) не скрыла от Маргарет-кочаммы, что он хорошо сложен. Вид у него был веселый, и он часто щурил глаза, как будто хотел прочесть что-то вдали без очков, которые забыл дома. Уши у него оттопыривались, как ручки сахарницы. Его неопрятная внешность как-то не вязалась с атлетической фигурой. Единственным указанием на то, что в нем таится толстяк, были лоснящиеся, счастливые щеки.

В нем не было той неуверенности, той смущенной неловкости, что, как считается, свойственна неряшливым и рассеянным людям. У него был очень приветливый вид, словно он наслаждался обществом какого-то невидимого приятеля. Он уселся у окна, поставил руку локтем на стол, оперся щекой на чашу ладони и стал с улыбкой оглядывать пустое кафе, как будто хотел завязать беседу с мебелью. Он заказал кофе все с той же располагающей улыбкой, при этом словно бы не замечая высокую темнобровую официантку, которая приняла у него заказ.

Она вздрогнула, когда он положил в кофе, где было очень много молока, две полные ложки сахара.

Потом он попросил яичницу-глазунью и тост. Еще одну чашку кофе и клубничное варенье.

Когда она принесла заказанное, он спросил, словно продолжая прерванный разговор:

— Слыхали вы про отца, у которого было двое близнецов?

— Нет, — ответила она, ставя перед ним завтрак. Почему-то (вероятно, из естественной скромности и инстинктивной сдержанности в обращении с иностранцем) она не выказала острого интереса к истории об Отце Двоих Близнецов, которого он, по-видимому, от нее ожидал. Но Чакко не обиделся.

— У одного человека было двое близнецов, — сказал он Маргарет-кочамме. — Пит и Стюарт. Пит был Оптимист, а Стюарт — Пессимист.

Он выковырял из варенья клубничины и разложил их по краю тарелки. Сироп намазал толстым слоем на промасленный тост.

— На их тринадцатый день рождения отец подарил Стюарту — Пессимисту — дорогие часы, столярный набор и велосипед.

Чакко поднял глаза на Маргарет-кочамму, чтобы проверить, слушает ли она.

— А Питу — Оптимисту — он всю спальню завалил конским навозом.

Чакко положил яичницу на тост, раздавил яркие подрагивающие желтки и размазал их поверх клубничного сиропа тыльной стороной чайной ложки.

— Увидев подарки, Стюарт ворчал все утро. Столярный набор ему был не нужен, часы ему не нравились, у велосипеда были не те шины.

Маргарет-кочамма перестала слушать, потому что ее заворожил диковинный ритуал, развертывающийся на его тарелке. Тост, покрытый сиропом и желтком, был разрезан на аккуратные маленькие квадратики. Извлеченные из варенья клубничины Чакко одну за другой изящно рассек на части.

— А когда отец зашел в комнату Пита — то бишь Оптимиста, — он не увидел сына, а только услышал, что кто-то яростно работает лопатой и тяжко отдувается. Конский навоз летал по всей комнате.

Чакко уже трясся от беззвучного смеха, предвкушая концовку анекдота. Смеющимися руками он украсил каждый яркий желто-красный квадратик тоста клубничным кусочком, отчего весь его завтрак стал похож на красочное угощение, какое может приготовить старушка, пригласившая гостей посидеть за бриджем.

— «Что ты делаешь, черт тебя побери?» — заорал отец на Пита.

Ломтики тоста были посолены и поперчены. Чакко помедлил перед эффектным финалом, со смехом устремив взгляд на Маргарет-кочамму, которая улыбалась, глядя на его тарелку.

— Из глубины навозной кучи прозвучал ответ. «Меня не проведешь, папа, — сказал Пит. — Ведь если так много дерьма, где-то здесь и пони должен быть!»

Чакко, держа в одной руке нож, в другой вилку, откинулся на спинку стула в пустом кафе и стал смеяться визгливым, икающим, заразительным смехом толстяка — смехом, от которого по его щекам заструились слезы. Маргарет-кочамма, мало что уловившая, улыбалась. Потом она стала смеяться над его смехом. Хохоты их подпитывали друг друга и наконец дошли до настоящей истерики. Когда в зал заглянул хозяин кафе, он увидел посетителя (не слишком респектабельного) и официантку (так, серединка на половинку), беспомощно втянутых в спираль оглушительного смеха.

Тем временем другой посетитель (постоянный) пришел незамеченным и ждал, пока его обслужат.

Хозяин стал с нарочито громким звяканьем протирать и без того чистые стаканы и многозначительно стучать на прилавке посудой. Идя принимать следующий заказ, Маргарет-кочамма попыталась взять себя в руки. Но все равно в глазах у нее стояли слезы, и ей пришлось придушить новую смеховую очередь, отчего голодный человек, заказывавший ей завтрак, поднял глаза от меню и поджал тонкие губы, выражая молчаливое неодобрение.

Она украдкой бросила взгляд на Чакко, который смотрел на нее и улыбался. Это была безумно теплая улыбка.

Он покончил с завтраком, расплатился и ушел.

Хозяин сделал Маргарет-кочамме строгое замечание и прочел ей лекцию по Этике Обслуживания. Она извинилась перед ним. Она искренне сожалела о своем поведении.

Вечером, после работы, она думала о случившемся, и ей было немного не по себе. Вообще-то она не была легкомысленна и не видела ничего хорошего в том, чтобы так отчаянно хохотать с совершенно незнакомым человеком. Это казалось ей излишней фамильярностью, неоправданной близостью. Она не понимала, что именно заставило ее так смеяться. Явно не сам анекдот.

Ей вспомнился смех Чакко, и улыбка долго еще не уходила у нее из глаз.

Чакко зачастил в это кафе.

Он всегда являлся со своим невидимым приятелем и с приветливой улыбкой. Даже если его обслуживала не Маргарет-кочамма, он все равно искал ее глазами, и они обменивались тайными улыбками, вызывавшими к жизни их общее воспоминание о Смехе.

Маргарет-кочамма почувствовала, что всякий раз ждет прихода Неопрятного Дикобраза. Без нетерпения, но с некой подспудной теплотой. Она узнала, что он родсовский стипендиат из Индии. Что он изучает античную литературу. Что он гребет за Бэллиол-колледж.

До самого дня свадьбы она не думала всерьез, что когда-нибудь согласится за него выйти.

Через несколько месяцев после того, как они начали встречаться вне кафе, она стала бывать у него на квартире, где он жил как беспомощный принц в изгнании. Несмотря на все усилия служителя и уборщицы, в комнате у него всегда было грязно. На полу валялись книги, пустые винные бутылки, грязное белье и окурки. Шкафы было опасно открывать, потому что одежда, обувь и книги начинали сыпаться оттуда лавиной вниз, а иные из книг были увесистые и могли всерьез ушибить. Маргарет-кочамма с ее маленькой упорядоченной жизнью сдалась на милость этого поистине барочного бедлама с тихим вздохом теплокровного существа, окунающегося в холодное море.

Она обнаружила, что под внешностью Неопрятного Дикобраза воюют между собой изломанный Марксист и невозможный, неизлечимый Романтик, который забывал гасить свечи, ронял на пол винные бокалы, потерял кольцо. Который любил ее в постели с такой бешеной страстью, что у нее перехватывало дыхание. До него она считала себя малоинтересной — толстоватая талия, массивные лодыжки. Не уродиной, конечно. Обыкновенной девушкой. Но когда она была с Чакко, прежние представления отступали. Открывались новые горизонты.

Никогда раньше она не встречала человека, который говорил бы о мире — о том, что он такое есть, как он таким стал и что из него может получиться, — так, как другие, кого она знала, говорили о работе, друзьях и выходных на побережье.

Когда она была с Чакко, ее душа словно бы устремлялась из узких пределов ее родного острова в необозримые, диковинные просторы его страны. С ним ей казалось, что им принадлежит весь мир, что он распластался перед ними, готовый для изучения, как разрезанная лягушка на анатомическом столе.

За год, пока они были знакомы, но еще не поженились, она открыла в себе некое волшебство и до поры до времени чувствовала себя вольным джинном, вызволенным из лампы. По молодости своей она думала, что любит Чакко, — на самом же деле просто она робко, на ощупь осваивалась в самой себе.

А что касается Чакко, Маргарет-кочамма была первой близкой ему женщиной. Не то чтобы первой женщиной, с которой он спал, но первой по-настоящему близкой. Больше всего ему в ней нравилась ее самодостаточность. Это ее качество, в общем-то обычное для англичанки, было в глазах Чакко чем-то исключительным.

Ему нравилось, что Маргарет-кочамма не цеплялась за него. Что она не была уверена в своих чувствах к нему. Что до последнего дня он не знал, выйдет она за него или нет. Ему нравилось, как она, проснувшись утром, садилась на кровати, резким винтовым движением поворачивалась к нему длинной белой обнаженной спиной, смотрела на часы и деловито говорила: «Вот разоспалась, пора ноги в руки». Ему нравилось, как она садилась на велосипед и уезжала на работу. Ему нравилось, что она с ним спорила, и в глубине души его радовали изредка случавшиеся с ней взрывы негодования по поводу его упадочничества.

Он был внутренне благодарен ей за то, что она не стремилась за ним ухаживать. За то, что не порывалась прибирать его комнату. За то, что не хотела быть его квохчущей мамашей. Он сделался зависим от Маргарет-кочаммы именно потому, что она не была от него зависима. Он боготворил ее за то, что она не боготворила его.

О его родных Маргарет-кочамма знала очень мало. Он редко о них говорил.

По правде сказать, в оксфордские годы Чакко редко о них вспоминал. Слишком много событий происходило в его жизни, и Айеменем казался очень далеким. Река — узенькой. Рыба в ней — мелкой.

Настоятельной нужды в общении с родителями у него не было. Родсовской стипендии на жизнь вполне хватало. Без их денежной помощи он мог обойтись. Он очень сильно любил Маргарет-кочамму, и для других в сердце у него места не было.

Маммачи писала ему регулярно, давая подробные отчеты о своих неаппетитных ссорах с мужем и тревогах за будущее Амму. Он редко дочитывал письмо до конца. Иногда просто выбрасывал не читая. Сам никогда не писал домой.

В единственный свой приезд (когда он не позволил Паппачи ударить Маммачи латунной вазой, когда при лунном свете было казнено кресло-качалка) он все равно мало что почувствовал, и ему было невдомек, что он уязвил отца до глубины души, что мать воспылала к нему двойной страстью, что младшая сестра вдруг расцвела. Он приехал и уехал в каком-то трансе, беспрестанно томясь по девушке с длинной белой спиной, которая ждала его в Англии.

Зимой, окончив Бэллиол-колледж (экзамены он сдал неважно), Чакко женился на Маргарет-кочамме. Без согласия ее родителей. Без ведома его родителей.

Они решили, что, пока он не найдет себе работу, он будет жить в квартире Маргарет-кочаммы, заменив собой Другую официантку из Другого кафе.

Момент для свадьбы был выбран крайне неудачно.

К заботам совместной жизни добавилось безденежье. Стипендия ему уже не полагалась, а квартиру нужно было теперь оплачивать полностью.

Перестав грести, он начал неожиданно преждевременно раздаваться вширь. Чакко сделался Толстяком, чье тело было под стать смеху, каким он смеялся.

За год супружества очарование студенческой праздности сошло в ее глазах на нет. Ее больше не забавляло то, что, придя с работы, она заставала в квартире ту же грязь и беспорядок, какие были до ее ухода. Что он даже мысли не допускал о том, чтобы застелить постель, постирать, вымыть посуду. Что его нимало не смущали сигаретные подпалины на новой софе. Что он был не способен, идя на собеседование по поводу приема на работу, правильно застегнуть рубашку, завязать галстук и зашнуровать ботинки. После первого года она уже готова была променять анатомический стол и лягушку на что-нибудь попроще и попрактичней. Как, например, мужнина работа и чистое жилье.

В конце концов Чакко нашел временную, плохо оплачиваемую должность в заграничном отделе Индийского управления по производству и продаже чая. В надежде, что это поведет к другим назначениям, они с Маргарет переехали в Лондон. В еще более тесную, еще более мрачную квартиру. Родители Маргарет-кочаммы встретиться с ней отказались.

С Джо она познакомилась, когда только-только узнала, что беременна. Он был старый школьный приятель ее брата. Маргарет-кочамма была тогда на вершине своей физической привлекательности. Беременность румянила ее щеки и заставляла блестеть ее густые темные волосы. Несмотря на трудности замужества, в ней, как во многих беременных, ощущалась затаенная радость, благоговение перед собственным телом.

Джо был биологом. Он готовил для маленького издательства третье издание «Биологического словаря». Джо обладал всеми качествами, каких Чакко был лишен.

Он был надежен. Платежеспособен. Худощав.

Маргарет-кочамма потянулась к нему, как растение в зашторенной комнате к световому лучу.

Временная работа Чакко закончилась, и, не сумев найти другую, он написал Маммачи — сообщил ей о своей женитьбе и попросил денег. Маммачи, хоть и была сражена известиями, тайком заложила свои драгоценности и выслала деньги ему в Англию. Их оказалось мало. Их всегда оказывалось мало.

Когда пришло время родов, Маргарет уже было ясно, что ради себя и своей дочери она *должна* оставить Чакко. Она попросила его о разводе.

Вернувшись в Индию, Чакко легко нашел там работу. Несколько лет преподавал в Мадрасском христианском колледже, а после смерти Паппачи вернулся в Айеменем с машиной «бхарат» для закрывания банок, с веслом из Бэллиол-колледжа и с разбитым сердцем.

Маммачи с радостью приняла его обратно в свою жизнь. Она кормила его, обшивала, заботилась о том, чтобы каждый день у него в комнате были свежие цветы. Чакко нуждался в материнском восхищении. Он, можно сказать, *требовал* его, но платил за него матери презрением и потаенно наказывал ее. Он принялся пестовать свою полноту и общий телесный упадок. Он носил дешевые териленовые рубашки с набивным рисунком, белые мунду и самые уродливые пластиковые сандалии, какие мог найти. Если Маммачи принимала родственников, знакомых или приехавшую из Дели старую подругу, Чакко выходил к изысканно накрытому обеденному столу — великолепный фарфор, красивейшие букеты из орхидей, — садился и начинал колупать старую болячку или чесать большие, темные, продолговатые мозоли, которые не сходили у него с локтей.

Его излюбленной мишенью были гости Крошки-кочаммы — католические епископы и священники, которые часто заходили на огонек. В их присутствии Чакко снимал сандалии и проветривал отвратительные, полные гноя диабетические фурункулы на ступнях.

— Смилуйся, Господи, над бедным прокаженным, — говорил он, пока Крошка-кочамма изо всех сил отвлекала гостей от этого зрелища, вынимая из их длинных бород застрявшие там крошки печенья или кусочки банановых чипсов.

Но самыми мучительными из потаенных наказаний, которыми Чакко изводил Маммачи, были разговоры о Маргарет-кочамме. Он затевал их часто, и в них звучала странная гордость. Как будто он восхищался ею за то, что она бросила его.

— Она променяла меня на лучшего мужчину, — говорил он Маммачи, и она вздрагивала, словно уничижительный отзыв касался ее, а не его.

Маргарет-кочамма регулярно писала, сообщая Чакко о Софи-моль. Она заверяла его, что Джо стал для девочки чудесным, заботливым отцом и что Софи-моль души в нем не чает; это радовало и печалило Чакко в равной мере.

Маргарет-кочамма была счастлива с Джо. Счастливей, пожалуй, чем была бы, не будь этих шатких, беспорядочных лет с Чакко. Она вспоминала о Чакко с нежностью, но без сожаления. Она не понимала, насколько сильно ранила его: ведь она по-прежнему считала себя обыкновенной женщиной, а его — необыкновенным мужчиной. И поскольку Чакко ни вначале, ни потом не выказал обычных признаков горя и сердечной муки, Маргарет-кочамма решила, что он в такой же степени считает их связь своей ошибкой, в какой она — своей. Когда она рассказала ему про Джо, он оставил ее печально, но тихо. Со своим невидимым приятелем и с приветливой улыбкой.

Они часто писали друг другу, и с годами их отношения крепли. Для Маргарет-кочаммы это была уютная, добрая дружба. Для Чакко это был способ, *единственный* способ оставаться связанным с матерью своего ребенка и единственной женщиной, которую он когда-либо любил.

Когда Софи-моль пришло время идти в школу, Маргарет-кочамма поступила на педагогические курсы и, окончив их, устроилась учительницей начальных классов в Клапеме. Когда пришла весть о гибели Джо, она была в учительской. Новость сообщил молодой полицейский, сделавший скорбное лицо и державший каску в руке. У него был странно-комический вид, как у плохого актера, проходящего пробу на трагическую роль. Маргарет-кочамма хорошо запомнила, что первым ее побуждением, когда он вошел, было улыбнуться.

Если не ради себя, то ради Софи-моль Маргарет-кочамма приложила все силы, чтобы перенести случившееся спокойно. Чтобы *сделать вид,* что переносит его спокойно. Она не взяла отпуска на службе. Она настояла на том, чтобы распорядок дня Софи-моль остался неизменным. *Доделай домашнюю работу. Доешь яйцо. Нет, мы с тобой не имеем права пропускать школу.*

Она скрыла боль под деловитой бодростью педагога. Непреклонная дыра в мироздании в форме учительницы (иногда шлепающей).

Но когда Чакко написал ей и пригласил в Айеменем, что-то в ней вдруг вздохнуло и просело. Несмотря на все, что случилось между ней и Чакко, он был единственным человеком на свете, с кем ей хотелось провести Рождество. Чем больше она думала, тем сильней к этому склонялась. Она убедила себя, что и для Софи-моль поездка в Индию будет очень полезна.

И в конце концов, понимая, насколько странным это покажется знакомым и сослуживцам — бегство к первому мужу почти сразу после смерти второго, — Маргарет-кочамма сняла деньги со срочного вклада и купила два авиабилета. Лондон — Бомбей — Кочин.

Это решение терзало ее до конца дней.

Она забрала с собою в могилу фотографию бездыханной дочери, лежащей на шезлонге в гостиной Айеменемского Дома. Даже на расстоянии видно было, что девочка мертва. Не болеет, не спит. Дело было в том, как она лежала. Как располагались конечности, под каким углом. Дело было во всевластности Смерти. В ее ужасном спокойствии.

Речная тина и водоросли были вплетены в красивые каштановые волосы. Веки запавших глаз были изранены, покусаны рыбами. (Уж таковы они, эти глубоководные тихоплавающие рыбы. Все им надо попробовать на вкус.) На ее розовато-лиловом вельветовом передничке косым развеселым шрифтом было написано: *Каникулы!* Кожа у нее была сморщенная, как палец дхоби, который долго не вынимал рук из воды.

Губчатая русалочка, разучившаяся плавать.

В кулачке на счастье зажат серебряный наперсток. У Софи-моль.

Которая из наперстка пила.

Которая в гробу крутилась.

Маргарет-кочамма до конца жизни не простила себя за то, что взяла Софи-моль в Айеменем. И за то, что оставила ее там одну на два выходных, когда поехала с Чакко в Кочин подтвердить дату их обратного вылета.

Было около девяти утра, когда Маммачи и Крошка-кочамма узнали о том, что ниже по реке, где Миначал расширяется, приближаясь к лагунам, в воде найден труп белокожей девочки. Эсты и Рахели по-прежнему нигде не было видно.

В то утро никто из детей — ни один из троих — не пришел пить молоко. Крошка-кочамма и Маммачи решили, что они, наверно, пошли на реку купаться, что вызывало тревогу, потому что весь предыдущий день и большую часть ночи шел сильный дождь. Они знали, что река иногда бывает опасной. Крошка-кочамма отправила на поиски Кочу Марию, но та вернулась ни с чем. В хаосе после прихода Велья Папана никто не мог вспомнить, когда детей, собственно, видели в последний раз. Все это время на уме у людей было другое. Вполне возможно, что детей не было дома всю ночь.

Амму по-прежнему была заперта в своей спальне. Ключи были у Крошки-кочаммы. Через дверь она спросила Амму, имеет ли она представление о том, где могут быть дети. Крошка-кочамма постаралась изгнать из голоса панику, сделать вид, что интересуется просто так, между делом. В ответ что-то с грохотом ударило в дверь. Амму была вне себя от ярости, она никак не могла поверить, что это взаправду, что ее действительно заперли, как родня запирала сумасшедших в средние века. Только потом, когда мир вокруг них окончательно рухнул, когда в Айеменем доставили тело Софи-моль и Крошка-кочамма отперла Амму, — только тогда она начала глядеть дальше своего гнева и попыталась сообразить, что же произошло. Страх и тревога прояснили ее мысли, и только тогда она вспомнила, что́ она сказала своим близнецам, когда они подошли к двери ее спальни и спросили, из-за чего ее заперли. Какие слова бросила бездумно, не имея ничего подобного в мыслях.

— Из-за вас! — крикнула им Амму. — Если бы не вы, сидела бы я здесь, как же! Ничего бы этого не было! Меня бы здесь не было! Я была бы свободна! Мне вас в приют надо было сдать, как только вы родились! Вы жернова у меня на шее!

Прильнувшие к двери с той стороны, они не были видны ей. Наивный Зачес и стянутый «токийской любовью» Фонтанчик. Озадаченные двуяйцовые Представители Неизвестно Чего. Их Превосходительства Э. Пелвис и М. Дрозофила.

— Уходите отсюда! — сказала Амму. — Почему вы не уйдете и не оставите меня в покое?

Так они и сделали.

Когда единственным ответом, который Крошка-кочамма получила на свой вопрос о детях, оказался грохочущий удар в дверь спальни, она молча отошла. Ощущая внутри медленно вздымающийся страх, она принялась устанавливать очевидную, логическую и

притом совершенно ложную связь между событиями прошлого вечера и исчезновением детей.

Дождь начался накануне вскоре после полудня. Вдруг жаркий день помрачнел, в небе послышались глухие раскаты. Кочу Мария, которая неизвестно по какой причине была не в настроении, стояла в кухне на своей низенькой скамеечке и яростно чистила большую рыбину, взметая пахучую пургу чешуи. Ее золотые серьги бешено раскачивались. Серебряные чешуйки летели по всей кухне, оседая на чайниках, стенах, приспособлениях для чистки овощей, ручке холодильника. Когда у дверей кухни появился Велья Папан, вымокший и дрожащий, она не повернула головы в его сторону. Вид у него был такой, словно он сильно выпил, и его живой глаз был красен. Он стоял минут десять, ожидая, пока его заметят. Когда Кочу Мария покончила с рыбой и принялась за лук, он кашлянул и спросил, нельзя ли видеть Маммачи. Кочу Мария прикрикнула на него, желая шугануть, но он не ушел. Каждый раз, когда он открывал рот, в ноздри Кочу Марии бил, словно молотком, запах арака. Она никогда раньше его таким не видела и маленько струхнула. Не сказать, что ей было невдомек, из-за чего он пришел, и поэтому она наконец решила позвать Маммачи. Она закрыла дверь кухни, оставив Велья Папана снаружи, на заднем дворе, ждать и пьяно покачиваться под проливным дождем. Хотя стоял декабрь, лило, как в июне. *Циклоническая аномалия*, писали газеты на следующий день. Правда, тогда всем здесь уже было не до газет.

Может быть, именно этот дождь побудил Велья Папана отправиться к двери кухни. Суеверному человеку, каким он был, странное для этого времени года буйство небес могло показаться знамением Божьего гнева. Пьяному суеверному человеку оно могло показаться началом конца света. Чем, в каком-то смысле, оно и было.

Когда Маммачи вошла в кухню в отделанном волнистой тесьмой светло-розовом халате поверх нижней юбки, Велья Папан поднялся по ступенькам кухонного крыльца и протянул ей заемный глаз. Он держал его на раскрытой ладони. Он сказал, что недостоин его иметь и хочет, чтобы она забрала его обратно. Его левое веко, дрябло прикрывавшее пустую глазницу, застыло в каком-то чудовищном подмигиванье. Как будто все, что рвалось у него с языка, было частью замысловатого розыгрыша.

— Что там у тебя? — спросила Маммачи, вытянув вперед руку; возможно, она решила, что Велья Папан почему-то хочет вернуть килограммовый пакет красного риса, который она дала ему утром.

— Это его глаз, — громко сказала ей Кочу Мария, у которой у самой глаза слезились от лука. Но Маммачи и без того уже дотронулась до стеклянного глаза. Она отдернула руку от этой слизистой твердости. От этой маслянистой мраморности.

— Ты нализался, что ли? — сердито сказала Маммачи под стук дождевых капель. — Как ты смеешь являться в таком виде?

Она ощупью нашла дорогу к раковине и, намылив руки, смыла с них глазную жижу пьяного паравана. Кончив, понюхала пальцы. Кочу Мария кинула Велья Папану старое кухонное полотенце и молчала, позволяя ему стоять и вытираться на верхней ступеньке крыльца, почти что в ее прикасаемой кухне, под наклонным свесом крыши, защищавшим его от дождя.

Немного успокоившись, Велья Папан возвратил глаз на место и заговорил. Он начал с перечисления благодеяний, оказанных его семье семьей Маммачи. От поколения к поколению. Он вспомнил, как задолго до того, как это пришло в голову коммунистам, преподобный И. Джон Айп дал в собственность его отцу Келану землю, на которой теперь стояла их хижина. Как Маммачи заплатила за его глаз. Как она помогла Велютте получить образование и дала ему работу...

Маммачи, хоть и сердилась, что он пьян, была даже не прочь послушать эпические истории о христианской щедрости ее родных и ее лично. Ничто не предвещало того, что за ними последовало.

Велья Папан заплакал. Плакала правая его половина. Слезы затопляли его живой глаз и скатывались по черной щеке. Другим своим глазом он каменно смотрел прямо перед собой. Старый параван, помнящий Время, Когда Пятились Назад, разрывающийся между Долгом и Любовью.

Потом Ужас взял над ним власть и вытряс из него слова. Он рассказал Маммачи о том, что видел. О маленькой лодчонке, пересекавшей реку ночь за ночью, и о тех, кто в ней сидел. О мужчине и женщине, что стояли в лунном свете вплотную. Соприкасаясь кожей.

Они ходили к дому Кари Сайбу, сказал Велья Папан. В них вселился демон белого человека. Это была месть Кари Сайбу за то, что сделал ему он, Велья Папан. Лодку (на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель) они привязывали к сухому стволу дерева у начала крутой тропки, которая вела через болото к заброшенной каучуковой плантации. Он видел ее там, эту лодку. Каждую ночь видел. Она покачивалась на воде. Пустая. В ожидании любовников. Она ждала часами. Иногда они появлялись среди высокой травы только на рассвете. Велья Папан видел их живым своим глазом. И другие их видели. Вся деревня уже знает. Пройдет немного времени — и Маммачи будет знать, так или иначе. Поэтому Велья Папан решил рассказать ей сам. Как параван и как человек, не полностью обладающий своим телом, он счел это своим долгом.

Любовники. Его порожденье и ее порожденье. Его сын и ее дочь. Сделавшие немыслимое мыслимым и заставившие невозможное произойти наяву.

Велья Папан говорил и говорил. Плакал. Рыгал. Шевелил губами. Маммачи не слышала его слов. Дождь забарабанил громче, капли начали взрываться у нее в голове. Она не слышала собственного крика.

Вдруг старая слепая женщина в отделанном волнистой тесьмой халате, с заплетенными в косичку седыми жидкими волосами шагнула вперед и со всей силы толкнула Велья Папана в грудь. Он покачнулся и, не найдя ногой ступеньку, полетел с крыльца вниз и растянулся в жидкой грязи. К этому он совершенно не был готов. Неприкасаемость, помимо прочего, означала и то, что можно было не ожидать прикосновений. По крайней мере в таких обстоятельствах. Человек ходил в физически непроницаемом коконе.

Крошка-кочамма, проходя мимо кухни, услыхала шум. Она увидела, что Маммачи плюет в стену дождя — ТЬФУ! ТЬФУ! ТЬФУ! — а под крыльцом в грязи простерся мокрый и плачущий Велья Папан. Он обещал пойти и убить сына. Разорвать его на части собственными руками.

Маммачи кричала:

— Пьяная скотина! Врешь, параванская сволочь!

Поверх шума и гама Кочу Мария прокричала Крошке-кочамме то, что рассказал Велья Папан. Крошка-кочамма сразу увидела неисчерпаемый потенциал ситуации и в тот же миг умастила свои мысли благоуханным елеем. Она расцвела. Она узрела здесь Руку Господню, наказывающую Амму за ее грехи и одновременно мстящую за унижение, которое она (Крошка-кочамма) претерпела от Велютты и демонстрантов, — за «Модаляли Мариякутти», за вынужденное маханье флагом. Она мигом подняла парус. Корабль благочестия, идущий твердым курсом сквозь море греха.

Пухлой рукой Крошка-кочамма обняла Маммачи за плечи.

— Похоже на правду, — сказала она тихим голосом. — Она на это способна, и еще как. Он тоже. Велья Папан не стал бы врать о таких вещах.

Она велела Кочу Марии дать Маммачи стакан воды и принести ей стул. Потом заставила Велья Папана повторить свой рассказ, то и дело прерывая его уточняющими вопросами: Чья лодка? Как часто? Когда это началось?

Когда Велья Папан кончил, Крошка-кочамма повернулась к Маммачи.

— Он должен убраться, — сказала она. — Сегодня же. Пока это не пошло дальше. Пока мы не погибли окончательно.

Потом она содрогнулась, как школьница. Тогда-то она и произнесла эти слова: *Как она запах-то могла терпеть? Ты ведь чувствовала? Они все до одного пахнут, параваны эти.*

Именно это обонятельное замечание, эта маленькая специфическая черточка раскрутила маховик Ужаса.

Гнев Маммачи на старого одноглазого паравана, пьяного, покрытого грязью и промокшего до нитки, изменил русло и превратился в холодное презрение к дочери и тому, что она сделала. Маммачи представила себе ее голой, совокупляющейся в грязи с человеком, который был поганым кули, больше никем. Воображение нарисовало ей это во

всех деталях. Грубая черная парааванская ладонь лежит на груди дочери. Его губы присосались к ее губам. Его черные бедра дергаются промеж ее расставленных ног. Их пыхтенье. Его особенный парааванский запах. *Как зверье*, подумала Маммачи, и ее чуть не вырвало. *Как сука в течке.* Ее снисходительность к Мужским Потребностям сына стала топливом для непреодолимой ярости по отношению к дочери. Она запятнала то, что создавалось поколениями (во что внесли лепту и Благословенный Малыш, удостоенный личного благословения Антиохийского патриарха, и Королевский Энтомолог, и Родсовский Стипендиат, окончивший Оксфорд); она низвергла семью в пропасть. На протяжении многих будущих поколений, *всегда* отныне люди будут показывать на них пальцами на свадьбах и похоронах. На крестинах и днях рождения. Будут шептаться и подталкивать друг друга локтями. Все пропало, конец.

Маммачи потеряла контроль над собой.

Они сделали то, что должны были сделать, — две старые женщины. Маммачи предоставила топливо. Крошка-кочамма предоставила План. Кочу Мария была их малорослым сержантом. Они заперли Амму в ее спальне, заманив ее туда хитростью, и послали за Велюттой. Они понимали, что надо заставить его убраться из Айеменема до возвращения Чакко. Они не могли предсказать реакцию Чакко и не могли на него полагаться.

Не только они, однако, виновны в том, что события вышли из-под контроля и понеслись безумным волчком, бешено кружась и петляя. Круша все, что попадалось на пути. Не только они виновны в том, что, когда Чакко и Маргарет-кочамма вернулись из Кочина, было уже поздно.

Рыбак уже нашел Софи-моль.

Бросим на него взгляд.

В лодке с самого рассвета, близ устья реки, знакомой ему с детства. Все еще вздувшейся и быстрой после вчерашнего дождя. Что-то там качается на воде, и цвета привлекают его внимание. Розовато-лиловый. Каштановый. Пляжно-песчаный. Что-то там движется вместе с течением, торопится к морю. Он протягивает бамбуковый шест и подталкивает это к своей лодке. Сморщенная русалка. Нет, русалочка. Русалчонок. С каштановыми волосами. С носом Королевского Энтомолога и серебряным наперстком, зажатым в кулачке на счастье. Он вытаскивает ее из воды и кладет в лодку. Она лежит на тонком хлопчатобумажном полотенце среди серебристой рыбной мелочи, составившей его улов. Он гребет домой — *тай-тай-така-тай-тай-томе*, — думая о том, что никакой рыбак не может быть уверен, что хорошо знает свою реку. *Никто* не знает Миначал до конца. Никто не знает, что он может утащить или внезапно явить. Что и когда. Вот почему рыбаки так много молятся.

В коттаямской полиции дрожащую Крошку-кочамму провели в кабинет начальника отделения. Она рассказала инспектору Томасу Мэтью, какими обстоятельствами вызвано непредвиденное увольнение одного рабочего их фабрики. Паравана. Несколько дней назад, сказала она, он пытался... пытался силой взять ее племянницу. Разведенную, с двумя детьми.

Крошка-кочамма превратно представила отношения между Амму и Велюттой не ради Амму, а для того, чтобы избежать скандала и сохранить репутацию семьи в глазах инспектора Томаса Мэтью. Она и подумать не могла, что Амму потом сама навлечет позор на свою голову, что она отправится в полицию с тем, чтобы рассказать все как было. Говоря, Крошка-кочамма сама начинала верить в свои слова.

Инспектор хотел знать, почему об этом сразу не было заявлено в полицию.

— Мы уважаемая семья, — ответила Крошка-кочамма. — Мы не хотели, чтобы о нас судачили...

Инспектору Томасу Мэтью, укрывшемуся за своими встопорщенными, как на рекламе компании «Эйр Индия», усами, это было более чем понятно. У него была прикасаемая жена и две прикасаемые дочки, из чьих прикасаемых утроб выйдут еще поколения и поколения прикасаемых...

— Где сейчас потерпевшая?

— Дома. Она не знает, что я здесь. Она бы не позволила мне пойти. Это естественно — она с ума сходит из-за детей. Она в истерике.

Позже, когда инспектору Томасу Мэтью стала ясна подлинная картина событий, тот факт, что добро, взятое парараном из Царства Прикасаемых, было не отнято им, а *даровано ему,* глубоко взволновал начальника отделения. Поэтому после похорон Софи-моль, когда Амму явилась к нему с близнецами, чтобы объяснить, какая ошибка произошла, а он дотронулся до ее грудей дубинкой, это не было спонтанной выходкой грубого полицейского. Он знал, что делает. Это был заготовленный заранее жест, имевший целью унизить и запугать ее. Восстановить порядок там, где он был нарушен.

Еще позже, когда пыль улеглась и бумажная часть была оформлена чин чином, инспектор Томас Мэтью поздравил себя с тем, как все обернулось.

Но теперь он внимательно и почтительно слушал рассказ, выстраиваемый Крошкой-кочаммой.

— Вчера около семи вечера — уже темнеть начинало — он пришел к нам с угрозами. Был очень сильный дождь. Электричество погасло, и мы как раз зажигали лампы, когда он пришел. Он знал, что единственный мужчина в нашем доме, мой племянник Чакко Айп, уехал в Кочин, он до сих пор еще не вернулся. Дома только и было взрослых, что мы, три женщины.

Она сделала паузу, чтобы инспектор получше вообразил ужас, который мог нагнать обезумевший от похоти параван на трех беззащитных женщин.

— Мы сказали ему, — продолжала она, — чтобы он тихо убирался из Айеменема, иначе мы обратимся в полицию. Он начал говорить, что моя племянница была *согласна,* представляете? Он спросил, как мы можем доказать наше обвинение. Он сказал, что по трудовому законодательству у нас нет оснований для его увольнения. Он очень спокоен был. Мол, прошло то время, когда вы могли с нами, как с собаками...

Пока что рассказ Крошки-кочаммы звучал вполне убедительно. Ее боль. Ее негодование.

А потом воображение схватило ее и понесло. Она не стала говорить о том, как Маммачи потеряла контроль над собой. О том, как она подошла к Велютте и плюнула ему в лицо. О том, какие слова она ему говорила. Какими именами его награждала.

Вместо этого Крошка-кочамма объяснила инспектору Томасу Мэтью, что прийти в полицию ее заставило не столько то, *что* говорил Велютта, сколько то, *как* он это говорил. Больше всего, сказала она, ее поразило полное отсутствие раскаяния. Он словно бы даже *гордился* тем, что сделал. Бессознательно она наделила Велютту повадками человека, который оскорбил ее во время демонстрации. Она описала инспектору лицо, в котором сквозили ярость и издевка. Наглый, глумливый голос, который так ее испугал. Лицо и голос, говорившие ей о том, что его увольнение и исчезновение детей связаны между собой, непременно связаны.

Она помнит этого паравана еще ребенком, сказала Крошка-кочамма. Он учился за счет ее семьи в школе для неприкасаемых, которую основал Пуньян Кунджу, ее отец (господин Томас Мэтью, конечно же, знает, кто это такой? Ну, еще бы...) Он освоил столярное дело с помощью ее семьи, и сам дом, где он живет, его дед получил от ее семьи. Он обязан ее семье всем.

— Вот ведь какие вы, — заметил инспектор Томас Мэтью, — сперва портите их, носитесь с ними как курица с яйцом, а когда они начинают буянить, бегом к нам за помощью.

Крошка-кочамма опустила глаза, как ребенок, которого отчитали. Потом стала рассказывать дальше. В последнее время, сказала она инспектору, она замечала в нем кой-какие нехорошие признаки — своеволие, грубость. Она упомянула о том, что по дороге в Кочин видела его на демонстрации и что, по слухам, он наксалит или, по крайней мере, был им. Она не заметила, что, когда инспектор услышал об этом, на лбу у него возникла озабоченная морщинка.

Она предупреждала племянника на его счет, сказала Крошка-кочамма, но даже в самом страшном сне ей не могло присниться такое. Прелестная девочка мертва. Двое детей исчезли.

Крошка-кочамма потеряла самообладание.

Инспектор Томас Мэтью дал ей стакан полицейского чая. Когда она немного оправилась, он помог ей изложить все, что она ему рассказала, в письменном заявлении. Он заверил Крошку-кочамму в Полном Содействии коттаямской полиции. Мерзавец будет пойман сегодня же, сказал он. Он знал, что не так уж велик выбор мест, куда может податься параван в бегах от истории, прихвативший с собой пару двуяйцовых близнецов.

Инспектор Томас Мэтью был осмотрительным человеком. Лишняя предосторожность не могла помешать. Он послал джип за товарищем К. Н. М. Пиллеем. Ему важно было знать, имеет этот параван какую-либо политическую поддержку или же он действует на свой страх и риск. Хотя сам Томас Мэтью был сторонником партии Конгресса, он не хотел трений с марксистским правительством. Когда товарищ Пиллей приехал, его провели в кабинет, и он сел на тот самый стул, который совсем недавно освободила Крошка-кочамма. Инспектор Томас Мэтью показал ему ее заявление. После чего у них произошел разговор. Краткий, шифрованный, деловой. Как будто они обменивались не словами, а цифрами. Длинные объяснения были излишни. Товарищ Пиллей и инспектор Томас Мэтью не были друзьями и не доверяли друг другу. Но они понимали друг друга с полуслова. Они оба были мужчинами, отрясшими с себя детство до мельчайшей частички. Мужчинами, лишенными всякого любопытства. И всяких сомнений. Оба, каждый на свой лад, были до ужаса, до мозга костей взрослыми. Они видели мир и никогда не удивлялись, не задумывались, как в нем все и почему. Они сами были его «как» и «почему». Они были механиками, обслуживающими разные узлы одной и той же машины.

Товарищ Пиллей сказал инспектору Томасу Мэтью, что знает Велютту, но умолчал о том, что Велютта состоит в компартии, и о том, что накануне поздно вечером он постучался в дверь его дома, вследствие чего товарищ Пиллей оказывался последним, кто видел Велютту до его исчезновения. Товарищ Пиллей не стал также опровергать версию Крошки-кочаммы о попытке изнасилования, хотя знал, что она ложна. Он только заверил инспектора Томаса Мэтью в том, что, насколько ему известно, Велютта не находится под защитой или покровительством коммунистической партии. Что он существует сам по себе.

Когда товарищ Пиллей ушел, инспектор Томас Мэтью прокрутил еще раз в уме их разговор, пытая его, проверяя его логику, выискивая в ней дыры. Потом, удовлетворившись, вызвал людей и дал им указания.

Тем временем Крошка-кочамма вернулась в Айеменем. Подходя к дому, она увидела стоящий на дорожке «плимут». Маргарет-кочамма и Чакко приехали из Кочина.

Софи-моль лежала на шезлонге бездыханная.

Когда Маргарет-кочамма увидела тело дочери, в ней, как призрачная овация в пустом зале, стремительно вздулся шок. Он затопил ее рвотной волной и, схлынув, оставил ее немой и пустоглазой. Она пережила две утраты разом. Смерть Софи-моль и повторную смерть Джо. Но на этот раз не было ни домашней работы, чтобы доделывать, ни яйца, чтобы доедать. Она приехала в Айеменем исцелить свой раненый мир и здесь лишилась его совсем. Она разбилась, как стеклянный стакан.

О последующих днях у нее остались лишь расплывчатые воспоминания. Долгие тусклые периоды подбитой мехом, еле ворочающей языком оглушенности (медицински обеспеченной доктором Вергизом Вергизом), перемежающиеся вспышками острой, стальной истерии, кромсающей и режущей, как новое бритвенное лезвие.

Она смутно сознавала присутствие Чакко — с ней участливого и мягкоголосого, с другими свирепого, как несущийся по дому бешеный смерч. Совсем не похожего на веселого Неопрятного Дикобраза, которого она увидела в кафе тем давним оксфордским утром.

Она слабо припоминала потом панихиду в желтой церкви. Печальное пение. Потревожившую кого-то летучую мышь. Она припоминала треск ломаемой двери, перепуганные женские голоса. Припоминала ночной скрип кустарниковых сверчков, похожий на крадущиеся шаги по деревянной лестнице, усиливавший мрак и уныние, которыми и без того был полон Айеменемский Дом.

Ей навсегда запомнился ее иррациональный гнев на двоих детей, которые посмели уцелеть. Ее больное сознание лепилось, как моллюск, к идее о том, что в смерти Софи-моль каким-то образом виноват Эста. Странно, ведь Маргарет-кочамма не знала, что

именно Эста (Волшебник Мешалки с Зачесом, который греб джем и думал Две Думы), что именно Эста, нарушая запреты, возил через реку в маленькой лодке Софи-моль и Рахель в послеобеденные часы; что именно Эста обезвредил пригвожденный серпом запах, замахнувшись на него марксистским флагом. Что именно Эста сделал заднюю веранду Исторического Дома их убежищем в изгнании, их Недомашним Домом, где лежал сенник и куда были вывезены самые лучшие их игрушки — катапульта, надувной гусенок, сувенирный коала с разболтавшимися глазками-пуговками. И что именно Эста решил в ту страшную ночь, что, несмотря на темноту и дождь, Пришло Время им уйти из дома, потому что Амму их больше не хочет.

Почему же, ничего этого не зная, Маргарет-кочамма винила Эсту в том, что произошло с Софи? Вероятно, все дело в материнском инстинкте.

Три или четыре раза, вынырнув из плотных слоистых глубин лекарственного сна, она находила Эсту и лупила его, пока кто-нибудь из взрослых не уводил ее и не успокаивал. Позже она написала Амму письмо с извинениями. Но когда это письмо пришло, Эста уже был Отправлен, Амму уже пришлось запаковать свои пожитки и уехать. Чтобы принять от имени Эсты извинения Маргарет-кочаммы, в Айеменеме осталась одна Рахель. *Не понимаю, что нашло на меня тогда,* говорилось в письме. *Могу объяснить это только действием транквилизаторов. Я не имела права так вести себя, и я хочу, чтобы вы знали, что я стыжусь сама себя и ужасно, ужасно сожалею.*

Что странно, Маргарет-кочамма совершенно не думала о Велютте. О нем у нее не было никаких воспоминаний. Даже о том, как он выглядел.

Так было, скорее всего, потому, что она не знала его по-настоящему и не слышала о случившемся с ним.

С Богом Утраты.

С Богом Мелочей.

Который не оставлял ни следов на песке, ни ряби на воде, ни отражений в зеркалах.

Ведь Маргарет-кочамма не переправлялась через вздувшуюся реку с отрядом прикасаемых полицейских. Все семеро — в жестких от крахмала шортах защитного цвета.

В чьем-то грузном кармане — металлическое звяканье наручников.

Нельзя ждать от человека, чтобы он вспоминал то, о чем и не знал никогда.

Беда, однако, была еще в двух неделях пути от того вышитого синим крестиком предвечернего часа, когда Маргарет-кочамма лежала и отсыпалась после перелета. За окном спальни, как тихий заботливый кит, проплыл Чакко, который шел к товарищу К. Н. М. Пиллею и решился было по пути заглянуть внутрь и посмотреть, не проснулись ли его жена (*Бывшая жена, Чакко!*) и дочь и не нужно ли им чего. Но в последний миг решимость изменила ему, и он по-толстячьи валко миновал окно не останавливаясь. Софи-моль (Не спящая, Не мертвая, Не спокойная) видела, как он проходит.

Она села на кровати и стала смотреть на каучуковые деревья. Солнце за время ее сна переместилось по небу, и дом теперь бросал на плантацию островерхую насыщенную тень, делавшую темную древесную зелень еще более темной. Где тень кончалась, там свет был ласкающий и нерезкий. По крапчатой коре каждого дерева шел косой разрез, из которого, как белая кровь из раны, сочился млечный каучуковый сок, стекая в привязанную к стволу чуть пониже половинку кокосовой скорлупы.

Софи-моль встала и принялась рыться в кошельке спящей матери. Вскоре она нашла то, что искала, — ключи от стоявшего на полу большого запертого чемодана с наклейками авиалиний и багажными бирками. Открыв его, она перепахала его содержимое с деликатностью собаки, копающейся в цветочной клумбе. Она потревожила стопки белья, глаженые рубашки и блузки, шампуни, кремы, шоколадки, клейкую ленту, зонтики, мыло (и другие еще закупоренные лондонские запахи); хинин, аспирин, антибиотики широкого спектра действия. «Бери, бери все подряд, — советовали Маргарет-кочамме встревоженные сослуживицы. — Мало ли что». Желая внушить коллеге, отправляющейся в Сердце Тьмы, что:

а) С Кем Угодно может случиться Что Угодно;

и поэтому нужно

б) Быть Готовой.

Софи-моль наконец нашла, что искала.

Подарки для двоюродного брата и сестры. Треугольные башенки шоколадок «тоблерон» (размякшие и покосившиеся от жары). Носочки с разноцветными пальчиками. И две шариковые ручки, с обратного конца до половины наполненные водой, в которой был виден миниатюрный лондонский пейзажик. С Букингемским дворцом и Биг-Беном. С магазинами и людьми. С красным двухэтажным автобусом, который, движимый пузырьком воздуха, плавно курсировал взад и вперед по безмолвной улице. Что-то зловещее было в полном отсутствии шума на оживленной улице внутри шариковой ручки.

Софи-моль сложила подарки в свою стильную сумочку и вышла с ней в мир. Вышла заключать нелегкую сделку. Договариваться о дружбе.

О дружбе, которая, к несчастью, так и не получила точки опоры. Осталась неполной. Повисла в пустоте. О дружбе, которая так и не обрела сюжета и формы, вследствие чего Софи-моль гораздо быстрей, чем тому следовало быть, стала Воспоминанием, тогда как Утрата Софи-моль все тучнела и наливалась силой. Как плод в пору спелости. Нескончаемой спелости.

14. Трудясь — Борись

Чакко взял напрямик через рощицу клонящихся к солнцу каучуковых деревьев, чтобы выйти на главную улицу не раньше, чем почти у самого дома товарища К. Н. М. Пиллея. Шагая по ковру сухой листвы в тесном своем костюме для аэропорта с перелетевшим через плечо галстуком, он выглядел чуть странновато.

Когда Чакко пришел, товарища Пиллея дома не было. Его жена Кальяни, у которой на лбу была свежая сандаловая паста, усадила Чакко в маленькой общей комнате на стальной складной стул и вышла в отделенное ярко-розовой нейлоновой кисеей соседнее помещение, где в большой латунной масляной лампе мерцал маленький огонек. Сытножженый обволакивающий запах тянулся оттуда через дверной проем, над которым висела дощечка с лозунгом: «Трудясь — Борись. Борясь — Трудись».

Чакко был для этой комнаты слишком велик. Голубые стены давили на него. Он озирался по сторонам — ему было немного не по себе. На решетке маленького зеленого окна сохло полотенце. Обеденный стол был покрыт синтетической скатертью с ярким цветочным узором. Над гроздью мелких бананов, лежавшей на белой с синим ободком эмалированной тарелке, плясали плодовые мушки. В одном из углов комнаты были кучей сложены зеленые неочищенные кокосовые орехи. На полу в солнечном решетчатом параллелограмме косолапо лежали детские резиновые шлепанцы. У стены позади стола стоял застекленный шкаф. Его содержимое скрывали от глаз висящие внутри ситцевые занавесочки.

Мать товарища Пиллея, маленькая старушонка в коричневой блузке и серовáтом мунду, сидела на краю поставленной вдоль стены высокой деревянной кровати, свесив с нее ноги, изрядно не достававшие до пола. Она была прикрыта тонкой белой полосой ткани, пересекающей грудь по диагонали и перекинутой через плечо. Над ее головой расширяющимся кверху конусом, похожим на перевернутый дурацкий колпак, вились комары. Она сидела, подперев ладонью одну щеку и собрав в пучок все морщины лица со стороны этой щеки. Вся ее кожа сплошь, даже на запястьях и лодыжках, была в морщинах. Только на горле, которое бугрилось громадным зобом, кожа была гладкая и натянутая. Зоб был для старушонки неким Молодящим Источником. Она тупо смотрела на противоположную стену, мерно раскачиваясь и тихонько ритмически всхрапывая, как скучающая пассажирка во время долгой автобусной поездки.

На стене за ее головой висели в рамочках школьный аттестат товарища Пиллея и его дипломы бакалавра и магистра.

На другой стене, тоже в рамочке, красовалась фотография товарища Пиллея, увенчивающего гирляндой самого товарища И. М. Ш. Намбудирипада. На переднем плане блестел на подставке микрофон с табличкой, гласившей: Аджанта[1].

[1] Аджанта — комплекс древних буддийских пещерных храмов близ Аурангабада.

Настольный вентилятор у кровати, поворачиваясь влево-вправо, одаривал сидящих своим механическим ветерком в порядке похвальной демократической очередности: сначала шевелил скудные остатки волос старой миссис Пиллей и лишь потом — шевелюру Чакко. Комариное облако, не зная усталости, то рассеивалось, то сгущалось вновь.

В окно Чакко видел крыши шумно проезжающих автобусов с багажом на багажных полках. Промчался джип с громкоговорителем, голосившим коммунистическую песню, темой которой была Безработица. Рефрен на английском с малаяльским акцентом, все остальное — на малаялам:

Работы нет! Работы нет!
Куда ни сунется бедняк —
Работы нет-как-нет-как-нет!

Кальяни вернулась и поставила перед Чакко кружку из нержавейки с фильтрованным кофе и блюдце из нержавейки с банановыми чипсами (ярко-желтыми, с маленькими темными семечками посередине).

— Он в Олассу уехал. Вот-вот уже должен вернуться, — сказала она. Говоря о муже, она употребляла уважительное местоимение *аддехам*, тогда как «он» обращался к ней «эди», что означает приблизительно: «Эй, ты!»

Она была роскошная красавица с золотисто-коричневой кожей и огромными глазами. Ее длинные курчавые волосы еще не просохли после мытья и свободно падали вдоль спины, заплетенные только у самых концов. От них спинка ее красной облегающей блузки намокла и стала еще более красной и облегающей. Под обрезами рукавов круглилась нежная плоть ее рук, щедро нависая над ямочками локтей. Ее белое мунду и кавани[1] были свежи и отутюжены. От нее пахло сандаловым деревом и толченым зеленым горошком, который она использовала вместо мыла. В первый раз за все годы Чакко смотрел на нее без плотского вожделения. Дома у него была жена (*Бывшая жена, Чакко!).* Со спинными веснушками и ручными веснушками. В синем платье с гладкими ногами под ним.

В дверном проеме возник маленький Ленин в красных эластичных шортах. Стоя, как аист, на одной тонкой ножке, он принялся скручивать в трубочку розовую кисею, глядя на Чакко такими же точно глазами, как у его матери. Ему было шесть лет, и он давно уже не засовывал себе ничего в нос.

— Мон, поди позови Латту, — сказала ему миссис Пиллей.

Ленин не двинулся с места и, по-прежнему глядя на Чакко, пронзительно крикнул, не прилагая усилий, как умеют кричать только дети:

— Латта! Латта! Тебя!

— Наша племянница из Коттаяма. Его старшего брата дочь, — пояснила миссис Пиллей. — На той неделе взяла первую премию по Декламации на молодежном фестивале в Тривандраме.

Из-за кисейной занавески вышла боевого вида девочка лет двенадцати-тринадцати. На ней была длинная ситцевая юбка до самых щиколоток и короткая, до талии, белая блузка с вытачками на месте будущих грудей. Ее смазанные маслом волосы были разделены надвое пробором. Тугие блестящие косы были заведены концами вверх и подвязаны лентами, так что они обрамляли ее лицо, словно контуры больших висл ых ушей, еще не закрашенных внутри.

— Знаешь, кто это? — спросила Латту миссис Пиллей.

Латта покачала головой.

— Чакко-саар. Наш фабричный Модаляли.

Латта поглядела на него спокойным и лишенным всякого любопытства взглядом, необычным для тринадцатилетней девочки.

— Он учился в Лондоне-Оксфорде, — сказала миссис Пиллей. — Прочтешь ему что-нибудь?

Латта без колебаний согласилась. Она расставила ноги чуть в стороны.

---

[1] Ка́вани — часть женской одежды.

— Уважаемый Председатель. — Она поклонилась Чакко. — Почтенное жюри и... — Она обвела взглядом воображаемую публику, теснящуюся в маленькой жаркой комнате. — ...дорогие друзья. — Она сделала театральную паузу. — Сегодня мне хочется предложить вашему вниманию стихотворение сэра Вальтера Скотта, озаглавленное «Лохинвар».

Она сцепила руки за спиной. Ее глаза подернулись поволокой. Невидящим взглядом она уставилась в какую-то точку повыше головы Чакко. Декламируя, она слегка раскачивалась. Вначале Чакко показалось, что это перевод «Лохинвара» на малаялам. Слова натыкались одно на другое. Последний слог предыдущего слова отрывался и приклеивался к первому слогу последующего. Чтение шло на впечатляющей скорости:

Дольграни цыскакаЛо хинвармоло дой.
Сехконей был быстреего коньбо евой.
Рыцаре халбезлат, рыцаре халбеслуг,
Былри нём олькомечье вопреда ныйруг[1].

Декламация сопровождалась мерными всхрапываниями старушонки, на которые никто, кроме Чакко, не обращал внимания.

Рекуон перепыл, бродаон неискал,
Акодаза мокНезер бистал передним,
Услыхалон, тоЭлен венча юсдругим.

Товарищ Пиллей явился посреди выступления — лоб, блестящий от пота, мунду подвернуто выше колен, по териленовым подмышкам расползлись темные пятна. Он был малорослый, хлипкого сложения человек лет под сорок с землистым лицом. Его выпуклое брюшко, напоминавшее зоб его маленькой матери, находилось в разительном противоречии с ножками-палочками, настороженным лицом и худосочным туловищем. Словно какой-то фамильный ген награждал людей внезапно и неостановимо взбухавшими тут и там выпуклостями.

Его тонкие, будто нарисованные усики делили пространство над верхней губой на две равные части в горизонтальном направлении и кончались точно над углами рта. Он не пытался как-либо скрыть намечавшиеся залысины. Волосы его были умащены и зачесаны со лба назад. Он явно не гнался за тем, чтобы выглядеть моложе. Непререкаемый авторитет Главы Семьи был и так ему обеспечен. Он улыбнулся и кивнул, здороваясь с Чакко, но даже не взглянул ни на жену, ни на мать.

Латта стрельнула глазами в его сторону, молчаливо прося позволения продолжать. Оно было дано. Товарищ Пиллей снял рубашку, скомкал ее и вытер ею подмышки. Когда он кончил, Кальяни взяла ее у него и понесла, как дар. Как букет цветов. Оставшись в майке-безрукавке, товарищ Пиллей сел на складной стул и, задрав левую ногу, поставил ее на колено правой. Пока племянница декламировала, он сидел, задумчиво глядя в пол, утопив подбородок в ладонь и отбивая правой ногой стихотворный ритм. Другой рукой он поглаживал свою изящно изогнутую левую ступню.

Когда Латта кончила, Чакко зааплодировал с искренним чувством. Она в ответ даже бровью не повела. Она напоминала восточногерманскую пловчиху на местных соревнованиях. Ее глаза были твердо устремлены на Олимпийское Золото. Любую победу на более низком уровне она воспринимала как должное. Взглядом она попросила у дяди разрешения выйти из комнаты.

Товарищ Пиллей поманил ее к себе и прошептал ей на ухо:

— Поди скажи Потачену и Матукутти, что, если я им нужен, пусть приходят прямо сейчас.

— Нет, товарищ, зачем это... Я больше ничего не хочу, — запротестовал Чакко, подумав, что товарищ Пиллей посылает Латту за новым угощением. Товарищ Пиллей, довольный его ошибкой, ухватился за нее.

---

[1] Здесь и ниже использован перевод В. Бетаки.

— Нет-нет-нет. Ха! Что это такое?.. Эди Кальяни, принеси-ка рисовых шариков.

Товарищу Пиллею, как идущему в гору политику, было необходимо, чтобы его последователи видели в нем влиятельного человека. Он захотел воспользоваться приходом Чакко, чтобы произвести впечатление на местных ходатаев и Партийных Активистов. Потачен и Матукутти, за которыми он послал, были односельчане, просившие его пустить в ход свои связи в коттаямской больнице, чтобы их дочерей приняли туда на работу медсестрами. Товарищ Пиллей хотел, чтобы их *видели* стоящими за дверью его дома и ожидающими приглашения войти. Чем больше людей стоят и ждут встречи с ним, тем более важной персоной он выглядит, тем лучшее впечатление производит. А если ожидающие увидят, что сам фабричный Модаляли пришел к нему, чтобы поговорить с ним на *его* территории, — это, он знал, будет выгодно ему во всех отношениях.

— Ну что! Товарищ дорогой! — произнес товарищ Пиллей, когда Латта ушла и явились сладкие рисовые шарики. — Как дела? Как дочка осваивается?

Он намеренно обращался к Чакко по-английски.

— Очень хорошо. Она сейчас крепко спит.

— Охо. Разница во времени, надо полагать, — заметил товарищ Пиллей, не упуская возможности продемонстрировать, что он знает толк в международных перелетах.

— А что в Олассе? Партийное собрание? — спросил Чакко.

— Да нет, другое. Моя сестра Судха получила перелом, — сказал товарищ Пиллей так, словно Перелом был дорогим подарком, который ей вручили. — И я возил ее к Оласским Врачевателям за медикаментами. Аюрведические мази и все такое. Муж ее сейчас в Патне, она одна с его родней.

Ленин покинул свой пост у дверного проема, встал между коленей отца и принялся ковырять в носу.

— А ты, молодой человек, расскажешь нам стихотворение? — обратился к нему Чакко. — Научил тебя уже папа?

Ленин глядел на Чакко без малейших признаков того, что он понял или хотя бы услышал его слова.

— Он чего-чего только не знает, — сказал товарищ Пиллей. — Он у нас талант. Он при чужих только стесняется.

Товарищ Пиллей поиграл с сыном, водя коленями туда-сюда.

— Ленин-мон, прочти Дяде-Товарищу, чему папа тебя научил. *Друзья, сограж...*

Ленин продолжал свои носовые раскопки.

— Ну что ты, мон, это же наш Дядя-Товарищ...

Товарищ Пиллей жал на стартер, пытаясь запустить Шекспира.

— *Друзья, сограждане, внемлите...*

Ленин не сводил с Чакко немигающих глаз. Товарищ Пиллей попытался снова:

— *Внемлите...*

Ленин схватил горсть банановых чипсов и стрелой метнулся из дома. Он начал бегать взад и вперед по полоске двора между домом и улицей, визжа от непонятного ему самому возбуждения. Когда он выпустил часть пара, его бег перешел в полузадохшийся, высоко задирающий коленки галоп.

— *Внемли ТЕМНЕ,* —

закричал Ленин со двора, перекрывая шум проезжающего автобуса.

— Невосвалятья Цезаря пришел
А хоронить. Везлопере живает
Людей, добро же погребаюс ними[1].

Он выкрикивал стихи бегло, без единой запинки. Это было впечатляюще — ведь

[1] Мальчик читает отрывок из «Юлия Цезаря» Шекспира (акт III, сцена 2). Перевод Мих. Зенкевича.

ему было только шесть и он ни слова не понимал из того, что произносил. Сидя в доме и глядя сквозь дверь на носящегося по двору маленького пыльного демона (будущего подрядчика со своим ребенком и мотороллером «баджадж»), товарищ Пиллей гордо улыбался.

— Он первый ученик в классе. В этом году получит двойное поощрение.

В маленькой жаркой комнате теснилось множество амбиций.

Что бы там ни хранил товарищ Пиллей за занавесочками у себя в шкафу, это, безусловно, не были сломанные бальзовые самолетики.

Чакко же, напротив, с того момента, как он вошел в дом, или, скорее, с того момента, как вернулся товарищ Пиллей, странным образом ужался. Как генерал, которого разжаловали и лишили звездочек, он ограничил свою улыбку. Наложил узду на свою экспансивность. Если бы кто-нибудь увидел его там впервые, он счел бы Чакко сдержанным человеком. Почти робким.

Безошибочный инстинкт уличного агитатора подсказывал товарищу Пиллею, что стесненные обстоятельства (маленький жаркий дом, всхрапывающая мать, его очевидная близость к трудящимся массам) дают ему в руки козырь, который в нынешние революционные времена будет посильней, чем любое оксфордское образование.

Он целил своей бедностью, как пистолетом, Чакко в голову.

Чакко вынул мятый клочок бумаги с кое-как нарисованным им самим грубым эскизом новой наклейки, которую он хотел заказать товарищу Пиллею. Она предназначалась для новой продукции, которую «Райские соленья и сладости» собирались выпустить на рынок весной. Для Синтетического Пищевого Уксуса. В рисовании Чакко силен не был, однако общий смысл товарищ Пиллей уловил без труда. Он был хорошо знаком с эмблемой в виде танцора катхакали, с рекламным девизом под нижней кромкой его одежд, гласившим: «Императоры в царстве вкуса» (его идея), и со шрифтом, который использовался для «Райских солений и сладостей».

— Оформление то же самое. Меняется, надо полагать, только текст, — сказал товарищ Пиллей.

— И цвет рамки, — сказал Чакко. — Теперь не красный, а горчичный.

Товарищ Пиллей, желая прочитать текст вслух, поднял очки до самых волос. От масла, которым они были умащены, стекла мигом помутнели.

— «Синтетический пищевой уксус», — произнес он. — Заглавными, надо полагать.

— Берлинской лазурью, — заметил Чакко.

— «Изготовлено из уксусной кислоты».

— Ярко-синим, — сказал Чакко. — Какой мы брали для зеленого перца в рассоле.

— «Вес нетто... Партия №... Дата вып. ... Срок годн. ... Макс. розн. цена... рупий» — тем же ярко-синим, но другим шрифтом?

Чакко кивнул.

— «Настоящим удостоверяем, что уксус в этой бутылке по своим свойствам и качеству соответствует установленным нормам. Ингредиенты: уксусная кислота, вода». Это, надо полагать, будет красным.

Товарищ Пиллей говорил «надо полагать», чтобы превращать вопросы в утверждения. Он не любил задавать вопросов, если только они не носили личного характера. Вопрос — это жалкая демонстрация незнания.

К тому времени, как Чакко и товарищ Пиллей кончили обсуждать наклейку для уксуса, каждый из них обзавелся своим личным комариным конусом.

Они согласовали срок исполнения заказа.

— Так, значит, вчерашняя демонстрация прошла успешно? — спросил Чакко, наконец переходя к разговору, ради которого он, собственно, и пришел.

— Пока не будут выполнены наши требования, товарищ, мы не можем сказать, успешно она прошла или нет. — В голосе товарища Пиллея зазвучали ораторские нотки. — До тех пор борьба будет продолжаться.

— Но Отклик был очень мощный, — вставил Чакко, пытаясь говорить на том же языке.

— Это само собой, — сказал товарищ Пиллей. — Товарищи представили меморандум Высшему Партийному Руководству. Теперь надо подождать. Поживем — увидим.

— Мы вчера мимо них проезжали, — сказал Чакко. — Мимо колонны.

— По дороге в Кочин, надо полагать, — сказал товарищ Пиллей. — Но, согласно партийным источникам, Отклик в Тривандраме был еще лучше, и намного.

— В Кочине тоже были тысячи демонстрантов, — сказал Чакко. — Кстати, моя племянница увидела среди них нашего Велютту.

— Охо. Понимаю.

Товарищ Пиллей был застигнут врасплох. Он вообще-то имел намерение поговорить с Чакко о Велютте. Когда-нибудь. В подходящий момент. Но не с кондачка, не с бухты-барахты. Его мозг загудел, как настольный вентилятор. Он раздумывал, воспользоваться ли возможностью или лучше отложить. Он решил не откладывать.

— Да. Он хороший работник, — сказал товарищ Пиллей глубокомысленно. — Очень толковый.

— Чрезвычайно, — согласился Чакко. — Отличный столяр с инженерным мышлением. Если бы не...

— Я не про то, товарищ, — сказал товарищ Пиллей. — *Партийный* работник.

Мать товарища Пиллея по-прежнему раскачивалась и всхрапывала. В ритме ее всхрапываний было что-то убаюкивающее. Как в тиканье часов. Звук, которого почти не замечаешь, но которого тебе будет не хватать, если он прекратится.

— Ясно. Значит, он полноправный член партии?

— Конечно, — мягко сказал товарищ Пиллей. — Конечно.

Под волосами у Чакко было уже очень потно. Ему казалось, что там пробирается рота муравьев. Он принялся чесать голову и делал это долго, двумя руками. Возя вверх-вниз весь скальп целиком.

— *Ору карьям параяттей?* — произнес товарищ Пиллей на малаялам, и голос его зазвучал доверительно, заговорщически. — Хотите совет? Я говорю с вами как друг, *кето.* Не для протокола.

Прежде чем продолжать, товарищ Пиллей испытующе поглядел на Чакко, стараясь определить его реакцию. Чакко изучал серую пастообразную смесь пота и перхоти у себя под ногтями.

— С этим параваном как бы вам не нажить неприятности, — сказал товарищ Пиллей. — Послушайте меня... подыщите ему работу в другом месте. Отошлите его отсюда.

Чакко был удивлен таким оборотом разговора. Начиная его, он хотел только прощупать почву, разобраться в ситуации. Он ожидал настороженной, даже враждебной реакции, а ему предлагали какой-то хитрый сговор.

— Отослать? Зачем? Разве я возражаю против его членства? Мне просто любопытно стало, вот и все... Я подумал, может, вы с ним говорили, — сказал Чакко. — Я считаю, он просто экспериментирует, пробует себя, мне он кажется человеком разумным и положительным. Я ему доверяю...

— Не в этом дело, — сказал товарищ Пиллей. — Пусть он будет какой угодно прекрасный-распрекрасный. Все равно другие ваши люди имеют на него зуб. Они уже приходят ко мне с жалобами... Видите ли, товарищ, на низовом уровне кастовые представления пустили очень глубокие корни.

Кальяни поставила перед мужем на стол металлический стаканчик с дымящимся кофе.

— Даже вот ее, к примеру, взять. Мою хозяйку. Ведь она никогда в жизни паравана не пустит на порог. Ни за что на свете. Даже *мне* не удастся ее заставить. Свою собственную жену. В доме ведь кто командир? Она. — Он игриво-ласково ей улыбнулся. — *Аллай эди,* Кальяни? Правду говорю?

Кальяни потупила взор, смущенно признаваясь в своем предрассудке.

— Видите? — торжествующе сказал товарищ Пиллей. — Она очень хорошо понимает по-английски. Только вот не говорит.

Чакко вежливо улыбнулся.

— Вы сказали, мои люди приходят к вам с жалобами...

— Приходят, — подтвердил товарищ Пиллей.

— На что-то конкретное?

— Ничего такого конкретно, — сказал товарищ К. Н. М. Пиллей. — Но видите ли, товарищ, ему идут от вас всякие поблажки, а другим, разумеется, обидно. Они считают — как так? Несправедливо. В конце концов, кем бы он там ни был у вас — столяром, элек-

триком, кем хотите, — для них он все равно параван, рыбак. Это от рождения закрепляется. Я им сам без конца втолковываю, что они не правы. Но, откровенно говоря, товарищ, ввести Новшество — это одно дело. Получить Одобрение — совсем другое. Вам поаккуратней бы. Для него же лучше будет, если вы его куда-нибудь...

— Друг вы мой любезный, — сказал Чакко. — Это невозможно. Заменить его некем. Фабрика на нем одном держится... и мы же не можем всех параванов отослать подальше, проблемы так не решаются. Рано или поздно нам придется разбираться с этой чепухой.

Товарищу Пиллею очень не понравилось, что к нему так обратились: «Друг вы мой любезный». Для него это было оскорбление в хорошей англоязычной упаковке, иначе говоря, двойное оскорбление — во-первых, слова сами по себе, а во-вторых, уверенность Чакко, что до собеседника не дойдет. Настроение товарища Пиллея вконец испортилось.

— Может, и придется, — сказал он ядовитым тоном. — Но тише едешь, как говорится, дальше будешь. Не забывайте, товарищ, что здесь вам не Оксфордский университет. Что для вас чепуха, то для Трудящихся совсем даже не чепуха.

В дверях появился запыхавшийся Ленин — худой в отца, но с материнскими глазами. Лишь прокричав весь монолог Марка Антония и большую часть «Лохинвара», он обнаружил, что его никто не слушает. Он снова встал между разведенных колен товарища Пиллея.

Хлопнув над отцовской головой в ладоши, он нанес немалый урон комариному конусу. Потом принялся считать налипшие трупики. Иные выпустили из себя свежую человеческую кровь. Он показал руки отцу, который тут же отправил его к матери, чтобы та привела их в порядок.

Наступившим молчанием вновь завладели всхрапывания старой миссис Пиллей. Вернулась Латта, ведя Потачена и Матукутти. Мужчинам велели ждать снаружи. Дверь была оставлена приоткрытой. Когда товарищ Пиллей заговорил, он опять перешел на малаялам и повысил голос, чтобы двоим за дверью было слышно:

— Разумеется, чтобы высказываться о своих нуждах, работникам необходим профсоюз. А на вашей фабрике, где сам Модаляли — наш Товарищ, им просто стыдно должно быть, что они еще не сорганизовались и не присоединились к Партийной Борьбе.

— Я об этом думал, — сказал Чакко. — Я собираюсь по всей форме объединить их в профсоюз. Они изберут своих представителей.

— Товарищ, вы же не можете организовать за них революцию. Вы можете только привить им сознательность. Обучить их. Борьбу они должны вести по своему собственному почину. Они *сами* должны преодолеть свои страхи.

— Страхи перед кем? — улыбнулся Чакко. — Передо мной, что ли?

— Нет, не перед вами, товарищ вы мой любезный. Перед вековым гнетом.

После чего товарищ Пиллей боевым голосом процитировал председателя Мао. На малаялам. Его лицо в это время странно напоминало лицо племянницы.

— Революция — это не званый обед. Революция — это вооруженное восстание, акт насилия, во время которого один класс свергает власть другого класса.

Таким вот манером, заручившись контрактом на наклейки для синтетического пищевого уксуса, он ловко исключил Чакко из стана Свергающих и приписал его к враждебному и коварному стану Свергаемых.

Они сидели друг подле друга на металлических складных стульях в День Приезда Софи-моль, прихлебывая кофе и жуя банановые чипсы. Снимая кончиками языков пристающую к нёбу разбухшую желтую мякоть.

Маленький-и-Тонкий подле Большого-и-Толстого. Словно сошедшие со страниц комикса противники в еще не разразившейся войне.

Этой войне, к несчастью для товарища Пиллея, суждено было кончиться, едва начавшись. Победа была вручена ему на серебряном подносе, красиво завернутая и перевязанная ленточкой. Только когда было уже поздно и «Райские соленья» мягко ушли в трясину без малейшего ропота и без намека на сопротивление — только тогда товарищ Пиллей понял, что в действительности ему нужна была не победа, а война как процесс. Война могла стать жеребцом, на котором он проехал бы добрую часть пути, если не весь

путь, в законодательное собрание; победа же, по существу, оставляла его в прежнем положении.

Щепок наломал, а леса не срубил.

Никто так и не узнал, какую именно роль сыграл товарищ Пиллей в дальнейших событиях. Даже Чакко, который понимал, что свиристяще-зажигательные речи о Правах Неприкасаемых («Каста — это тот же Класс, товарищи!»), звучавшие из уст товарища Пиллея во время осады «Райских солений» членами марксистской партии, были вполне фарисейскими, — даже он кое о чем не догадывался. Впрочем, он и не хотел догадываться. Горестно оцепенев из-за утраты Софи-моль, он смотрел на все вокруг помутившимся взором. Как переживший трагедию ребенок, который разом взрослеет и теряет интерес к прежним забавам, Чакко забросил свои игрушки. Мечтания о будущности Короля Солений, равно как и Народная Война, отправились в застекленный шкаф, к обломкам авиамоделей. После закрытия «Райских солений» часть принадлежавших семье рисовых полей (вместе с закладными) была продана, чтобы выплатить долги банкам. Остальные тоже были постепенно проданы, чтобы семья могла есть и одеваться. К тому времени как Чакко эмигрировал в Канаду, у нее остались в качестве источников дохода только примыкающая к Айеменемскому Дому каучуковая плантация и небольшая рощица кокосовых пальм. С этого-то и кормились Крошка-кочамма и Кочу Мария, когда все прочие умерли, уехали или были Отправлены.

Не будем возводить напраслину на товарища Пиллея — последовавшие события не были им запланированы. Он всего-навсего вложил руку в подставленную перчатку Истории.

Не только он виновен в том, что в обществе, где он живет, смерть человека сплошь и рядом приносит бóльшую выгоду, чем могла принести вся его жизнь.

О позднем приходе Велютты — уже после столкновения с Маммачи и Крошкой-кочаммой — и о том, что между ними тогда было сказано, товарищ Пиллей никому не говорил. О последнем предательстве, отправившем Велютту вплавь на ту сторону реки через мрак и дождь, против течения, в самый подходящий момент для слепой встречи с Историей.

Велютта приехал последним автобусом из Коттаяма, где ремонтировалась машина для изготовления жестянок. На остановке он встретил рабочего с их фабрики, который с усмешкой сказал ему, что Маммачи хочет его видеть. Велютта не имел ни малейшего представления о случившемся и не догадывался о приходе пьяного отца в Айеменемский Дом. Не знал он и о том, что Велья Папан уже не один час сидит у входа в их хижину, по-прежнему пьяный, дожидаясь его возвращения, и мерцающий огонек лампы отражается в его стеклянном глазу и лезвии его топора. Не знал Велютта и о том, что несчастный парализованный Куттаппен, предчувствуя дурное, уже два часа без умолку говорит с отцом, пытается его урезонить и в то же время напрягает слух, боясь пропустить звук шагов или шелест травы, желая криком предупредить ничего не подозревающего брата.

Но Велютта не пошел домой. Он отправился прямо в Айеменемский Дом. Он был застигнут врасплох — и в то же время знал, знал все эти дни, чуял древним чутьем, что, как ни вейся веревочка, История непременно доберется до ее конца. Пока Маммачи неистовствовала, он оставался сдержан и странно спокоен. Это было спокойствие запредельного негодования. Его источником было просветление, лежащее по ту сторону гнева.

Когда Велютта пришел, Маммачи потеряла ориентировку и извергла слепую свою злобу, изрыгнула смертельные проклятия на одну из створок скользяще-складной двери; подоспевшая Крошка-кочамма аккуратно развернула Маммачи и направила ее гнев куда нужно — на Велютту, очень тихо стоявшего в полутьме. С пустыми глазами, с безобразно перекошенным лицом Маммачи продолжала свою тираду, и ярость толкала ее к Велютте, пока наконец она не стала кричать ему прямо в лицо и он не почувствовал брызги ее слюны и запах давно выпитого чая у нее изо рта. Крошка-кочамма стояла рядом с Маммачи. Она ничего не говорила, но руками модулировала гнев Маммачи, подбрасывала в него хворост. Ободряющее похлопыванье по спине. Дружеская рука вокруг плеч. Маммачи об этих манипуляциях не подозревала.

Где старая дама, носившая безукоризненно чистые и выглаженные сари, игравшая по вечерам на скрипке сюиту из «Щелкунчика», могла набраться таких слов, какие Маммачи произнесла в тот вечер, осталось тайной для всех (Крошки-кочаммы, Кочу Марии и Амму, запертой в своей комнате), кто ее слышал.

— Вон! — крикнула она под конец. — Если я тебя завтра тут увижу, я тебя охолощу, как подзаборного кобеля! Я тебя убью!

— Ну, это мы еще посмотрим, — тихо сказал Велютта.

Вот и все, что он сказал. Вот какие его слова Крошка-кочамма в кабинете инспектора Томаса Мэтью раздула и преобразила в угрозы убийства и похищения.

Маммачи плюнула Велютте в лицо. Густой слюной. Она растеклась по коже. Попала на глаза, на губы.

Он стоял — и все. Ошеломленный. Потом повернулся и ушел.

Идя прочь от их дома, он ощущал, как обострены и напряжены его чувства. Словно все вокруг стало плоским и превратилось в аккуратную иллюстрацию. В технический чертеж с приложенной инструкцией о том, что ему делать. Его рассудок, отчаянно искавший точку опоры, цеплялся за детали. Снабжал ярлыком каждый встречный предмет.

Ворота, подумал Велютта, проходя через них. *Ворота. Дорога. Камни. Небо. Дождь.*

Ворота.
Дорога.
Камни.
Небо.
Дождь.

Дождевая влага на коже была теплая. Латерит под ногами — шершавый. Он знал, где идет и куда. Он примечал все. Каждый лист. Каждое дерево. Каждое облако в беззвездном небе. Он ощущал каждый свой шаг.

Ку-ку кукум теванди
Куки паадум теванди
Рапакаль одум теванди
Таланну нилькум теванди

Это был его первый школьный урок. Стихотворение про поезд.

Он принялся считать. Что угодно. Не важно, что. *Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять...*

Технический чертеж начал мутиться. Четкие линии — расплываться. Пункты инструкции сделались неясными. Дорога пошла в гору, и тьма вокруг уплотнилась. Стала вязкой. Двигаться вперед стоило усилий. Как будто плывешь под водой.

Вот оно, оповестил его некий голос. *Началось.*

Его рассудок, вдруг невероятно состарившийся, плыл в воздухе высоко над его головой и бормотал оттуда бесполезные предостережения.

Он глядел вниз и видел тело молодого человека, бредущего сквозь тьму и проливной дождь. Больше, чем чего бы то ни было, это тело желало уснуть. Уснуть и пробудиться в другом мире. *Где запах ее кожи во вдыхаемом воздухе. Где ее тело на его теле. Доведется ли еще свидеться? Где она? Как они с ней обошлись? Сделали ей больно?*

Он шел дальше. Он не подставлял лица струям дождя и не опускал его, чтобы защититься от них. Он и не желал их, и не избегал.

Дождь, хотя и смыл с его лица слюну Маммачи, не мог избавить его от ощущения, что кто-то приподнял его голову и наблевал сверху в его тело. Внутри у него ползла и капала комкастая блевотина. Стекала по сердцу. Стекала по легким. Густо, медленно скапливалась в глубине живота. Липла ко всем органам его тела. Дождь от этого не спасал.

Велютта знал, что ему делать. Инструкция направляла его. Ему следовало идти к товарищу Пиллею. Хотя он уже не понимал зачем. Ноги принесли его к типографии

«Удача», которая была заперта, а затем, через крохотный дворик, — к дому товарища Пиллея.

Он постучал в дверь, и движение руки вконец обессилило его.

Товарищ Пиллей услышал стук, когда он уже доел овощное карри и, зажав в кулаке спелый банан, выдавливал сочную мякоть в тарелку с простоквашей. Товарищ Пиллей послал жену открыть дверь. Она вернулась недовольная и, подумалось товарищу Пиллею, вдруг очень соблазнительная. Он захотел, не откладывая, потрогать ее грудь. Но пальцы его были в простокваше, и к тому же кто-то стоял за дверью. Кальяни села на кровать и рассеянно погладила Ленина, который, посасывая большой палец, спал подле своей крохотной бабушки.

— Кто это?

— Сын Папана-паравана. Говорит, ему срочно.

Товарищ Пиллей не спеша съел простоквашу. Потом поиграл над тарелкой пальцами. Кальяни принесла воды в ковшике из нержавейки и полила ему. Остатки пищи на тарелке (сухая оболочка красного перца, жесткие волосяные остовы высосанных и выплюнутых стручков мурунгу) дрогнули и всплыли. Она принесла ему полотенце. Он вытер руки, благодарно рыгнул и пошел к двери.

— *Энда?* Что такое? — спросил он. — Почему так поздно?

Отвечая, Велютта слышал, как его голос отскакивает к нему обратно, словно ударяясь о стену. Он пытался объяснить, что произошло, но чувствовал, что лепечет невнятицу. Человек, с которым он говорил, был мал и далек, и его отделяла от Велютты стена из стекла.

— Тут ведь у нас деревня, — сказал товарищ Пиллей. — Люди толкуют между собой. Я слышу, что они говорят. И о том, что происходит, представление имею.

И вновь Велютта услышал свои слова, не имевшие никакого значения для человека, которому были адресованы. Собственный голос завивался вокруг Велютты кольцами, как змея.

— Может быть, — сказал товарищ Пиллей. — Но ты, товарищ, должен понимать, партия не для того существует, чтобы поощрять недисциплинированность рабочих в личной жизни.

Велютта увидел, что фигура товарища Пиллея растаяла в глубинах дома. Голос, однако, остался — бестелесный, пронзительный, наставительно-лозунговый. Пустой дверной проем окрасился флагами.

Партия не может брать на себя такие дела.

Личное должно быть подчинено общественному.

Нарушение Партийной Дисциплины подрывает Единство Партии.

Голос не умолкал. Фразы дробились на отдельные словосочетания. На слова.

Дело Революции.

Ликвидация Классового Врага.

Компрадорский капитал.

Весеннее наступление трудящихся.

Вот оно еще раз. Еще одна самоотравившаяся религия. Еще одно здание, возведенное человеческим разумом и разрушаемое человеческой природой.

Товарищ Пиллей закрыл дверь и вернулся к жене и к ужину. Он решил съесть еще один банан.

— Что ему нужно было? — спросила жена, подавая ему плод.

— Они узнали. Кто-то им рассказал. Они его уволили.

— Всего-навсего? Пусть скажет спасибо, что его не повесили на первом же суку.

— Я заметил кое-что странное... — сказал товарищ Пиллей, очищая банан. — У него ногти покрашены красным лаком...

Стоя снаружи под дождем в мокром холодном свете единственного фонаря, Велютта вдруг ощутил сильную сонливость. Он с трудом удержал веки поднятыми.

Завтра, сказал он себе. *Завтра, когда перестанет дождь.*

Ноги сами понесли его к реке. Словно они были поводком, а он — собакой. Собакой на поводке у Истории.

15. На тот берег

Полночь уже миновала. Река вздулась, стала быстроводной и черноводной, и с собой она несла, извилисто скользя к морю, облачное ночное небо, целую пальмовую ветку-гребенку, кусок плетня и прочие дары ветра.

Мало-помалу дождь превратился в морось, потом кончился совсем. Когда налетал ветер, он сбивал с листвы влагу, и тогда лило под деревьями, которые раньше, наоборот, давали укрытие.

Бледная водянистая луна, просочась сквозь облака, осветила молодого человека, сидящего на верхней из тринадцати каменных ступеней, что вели в реку. Он был очень неподвижный, очень мокрый. Очень молодой. Посидев, он поднялся, снял свое белое мунду, выжал из него воду и обмотал его вокруг головы как тюрбан. Обнаженный, он стал спускаться по тринадцати ступеням в воду, пока не погрузился по грудь. Потом поплыл, легко и сильно вымахивая туда, где течение было быстрое и отчетливое, где была Самая Глубина. Освещенная луной река спадала с его гребущих рук серебристыми рукавами. Чтобы переплыть, ему понадобилось всего несколько минут. Достигнув того берега, он встал на ноги и, блестя, вылез — черный, как окружающая его ночь, черный, как оставшаяся позади река.

Он ступил на тропинку, которая вела через болото к Историческому Дому.

Он не оставлял ряби на воде.

Следов на берегу.

Расправив мунду, он поднял его над головой, чтобы сохло. Ветер взметнул ткань парусом. Вдруг он почувствовал себя счастливым. *Сперва будет хуже,* подумал он про себя. *Потом лучше.* Он шел теперь быстро, приближаясь к Сердцу Тьмы. Одинокий, как волк.

Бог Утраты.

Бог Мелочей.

Обнаженный, если не считать лака на ногтях.

16. Несколько часов спустя

Трое детей на речном берегу. Пара близнецов и еще одна девочка в розовато-лиловом вельветовом передничке, на котором косым развеселым шрифтом написано: *Каникулы!*

Мокрые листья на деревьях блестели, будто кованые. Густо росший желтый бамбук клонился к реке, словно что-то предчувствуя и горюя загодя. А сама река — она была темна, тиха. Казалась скорее отсутствием, чем присутствием, и ничем не показывала, как она вздулась, какой стала сильной.

Эста и Рахель вытащили лодку из кустов, где они всегда ее прятали. Достали из дупла дерева сделанные Велюттой весла. Спустили лодку на воду и придерживали, чтобы не качалась, пока Софи-моль садилась. Им, казалось, темнота была нипочем, и они уверенно, как горные козлики, бегали вверх-вниз по блестящим каменным ступеням.

Софи-моль была куда осторожней. Ее немного страшила темнота и то, что могло в ней таиться. На плече у нее висела матерчатая сумочка с едой, похищенной из холодильника. Хлеб, пирожные, печенье. Близнецы, придавленные словами матери — *Если бы не вы, я была бы свободна! Мне в приют вас надо было сдать, как только вы родились! Вы жернова у меня на шее!* — не взяли с собой ничего. Впрочем, благодаря тому, что Апельсиново-Лимонный Газировщик так обошелся с Эстой, их Недомашний Дом был уже оборудован. За две недели, прошедшие с той поры, как Эста греб алый джем и думал Две Думы, они перевезли туда много Провианта и Снаряжения: спички, картошку, старую

кастрюлю, надувного гусенка, носочки с разноцветными пальчиками, шариковые ручки с лондонскими автобусами и сувенирного коалу с разболтавшимися глазками-пуговками.

— А что, если Амму нас найдет и будет *умолять* нас вернуться?

— Тогда вернемся. Но только если будет умолять.

Добросердечный наш Эста.

Софи-моль убедила близнецов в том, что им *необходимо* взять ее с собой. Потому что взрослые сильней раскаются, если *все* дети исчезнут разом. Тогда они будут убиваться по-настоящему, как хамельнские горожане, когда их детей увел Крысолов. Их примутся повсюду искать и решат уже, что всех троих нет в живых, — и тут они с триумфом вернутся домой. Родные, драгоценные и любимые куда больше прежнего. Решающим аргументом было то, что, если они оставят Софи-моль дома, у нее пытками могут вырвать тайну их местонахождения.

Эста подождал, пока в лодку влезла Рахель, потом сел сам, оседлав суденышко, как доску качелей. Ногами оттолкнулся от берега. Когда стало чуть поглубже, они начали грести по диагонали — вперед и против течения, как их учил Велютта («Если хотите попасть вон туда, грести надо во-он туда»).

В темноте им не видно было, что они выруливают на встречную полосу глухого шоссе с бесшумно мчащимся транспортом. Что навстречу им на приличной скорости плывут ветки, стволы, обломки деревьев.

Они уже миновали Самую Глубину, совсем чуть-чуть оставалось до Того Берега, когда их лодка натолкнулась на плывущее бревно и перевернулась. Во время прежних путешествий через реку подобное с ними случалось, и тогда они добирались до берега вплавь, держась за лодку и используя ее как спасательный круг. Но на этот раз из-за темноты они потеряли лодку из виду. Ее унесло течением. Они поплыли к берегу, дивясь тому, как много сил уходит на покрытие такого пустякового расстояния.

Эста сумел ухватиться за склоненную ветку, уходившую концом под воду. Он стал глядеть вниз по течению, надеясь увидеть в темноте лодку.

— Нет ничего там. Пропала наша лодка.

Рахель, вся перепачканная илом, вылезла на берег и подала Эсте руку, помогая ему выбраться из воды. Им понадобилось несколько минут, чтобы перевести дух и зафиксировать потерю лодки. Погоревать о ее гибели.

— И вся наша еда испорчена, — сказала Рахель, обращаясь к Софи-моль, и ответом было молчание. Несущееся, стремительное, рыбноплескучее молчание.

— Софи-моль! — прошептала она несущейся реке. — Мы здесь! Здесь! У иллимба-дерева!

Ничего.

На сердце у Рахели ночная бабочка Паппачи повела сумрачными крылышками.

Расправила.

Сложила.

И лапками.

Вверх.

Вниз.

Они побежали по берегу, крича и зовя ее. Но ее не было. Ее унесло по глухому шоссе. Серо-зеленому. В котором рыбы. В котором деревья и небо. В котором ночами — расколотая желтая луна.

На сей раз не было бурной музыки. Чернильные воды Миначала не закручивались водоворотом. Не было никакой акулы-свидетельницы.

Была тихая, деловитая передача. Лодка избавилась от своего груза. Река приняла его. Одну маленькую жизнь. Мимолетный лучик. С серебряным наперстком, зажатым в кулачке на счастье.

Было четыре утра — еще темно, — когда измученные, удрученные и грязные близнецы прошли тропкой через болото к Историческому Дому. Хензель и Гретель из мрачной сказки, в которой их мечты будут взяты в плен и перекроены. На задней веранде они легли на сенник, где уже лежали надувной гусенок и сувенирный медвежонок коала. Они были парочкой мокрых гномиков, ошалелых от страха, ожидающих конца света.

— Она уже мертвая, да?

Эста не ответил.
— И что теперь будет?
— Нас посадят в тюрьму.
Как Миленьких исправляться. Он-то знал, Малыш-Морячок. *Дверь открыл* бум-бум.

Они не заметили, что там уже кто-то спит в темноте. Одинокий, как волк. С коричневым листом на черной спине. Приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

17. Приморский вокзал, Кочин

Эста (не старый, не молодой) сидел в темноте на кровати в своей чистой комнате в заросшем грязью Айеменемском Доме. Он сидел очень прямо. Плечи расправлены. Руки на коленях. Как будто он был следующим в очереди на какой-то осмотр. Или ждал ареста.

Глажка была окончена. Готовое белье лежало аккуратной стопкой на гладильной доске. Он выгладил и свое, и Рахели.

Лило не переставая. Ночной дождь — словно одинокий барабанщик, без конца репетирующий свой дробный постук, хотя весь оркестр уже давно разошелся по домам спать.

В боковом дворике со стороны отдельного входа, некогда служившего Мужским Потребностям, старый «плимут» мгновенно блеснул в свете молнии хромированными крылышками. Год за годом после того, как Чакко уехал в Канаду, Крошка-кочамма следила за тем, чтобы машину регулярно мыли. Дважды в неделю муж сестры Кочу Марии, который водил в Коттаяме желтый муниципальный мусоровоз, приезжал в Айеменем за жалованьем свояченицы (о чем возвещала вонь коттаямских отбросов, долго еще стоявшая после его отъезда) и за небольшую плату делал на «плимуте» круг, чтобы не сел аккумулятор. С появлением телевизора и антенны Крошка-кочамма разом забросила и сад, и автомобиль. Окончательно и бесповоротно.

С каждым муссоном старая машина все глубже оседала, врастая в землю. Она стала похожа на костлявую ревматическую курицу, основательно расположившуюся на яйцах. С твердым намерением сидеть вечно. Сдувшиеся колеса утонули в траве. Фанерный четырехугольник «Райских солений и сладостей» прогнил и завалился внутрь, как рухнувшая корона.

Ползучее растение любовалось своим отражением в крапчатом осколке водительского зеркальца.

На заднем сиденье лежал дохлый воробей. Он залетел внутрь через пробоину в ветровом стекле, думая разжиться поролоном для своего гнезда. И не сумел выбраться. Никто не заметил отчаянных просьб о помощи, посылаемых сквозь окна машины. Он издох на заднем сиденье, задравши вверх лапки. Словно на потеху кому-то.

Кочу Мария спала на полу в гостиной, свернувшись калачиком в мигающем свете невыключенного телевизора. Американские полицейские запихивали в машину какого-то парнишку в наручниках. На мостовой были брызги крови. Выла сирена, крутилась мигалка. Поодаль в полутьме стояла изможденная женщина — может быть, мать — и со страхом смотрела. Парнишка бился. Верхняя часть его лица была нарочно смазана, заменена мозаичным пятном, чтобы он потом не подал на них в суд. Вокруг его рта запеклась кровь, которая, попав на майку, образовала на ней подобие красного нагрудника. Он рычал и скалился, оттопыривая розовые детские губы. Он был похож на волчонка. Сквозь открытое окно машины он закричал телевизионщикам:

— Мне пятнадцать лет, и лучше бы я был пай-мальчиком. Но я не пай-мальчик. Рассказать вам про мою интересную жизнь?

Он плюнул в камеру, и слюна, кляксой влепившись в объектив, потекла по нему вниз.

Крошка-кочамма, сидя в кровати в своей спальне, заполняла купон, суливший две рупии скидки на новую пол-литровую бутылку листерина и две тысячи рупий выигрыша каждому Счастливому Победителю объявленной фирмой лотереи.

По стенам и потолку спальни метались гигантские тени маленьких насекомых. Для борьбы с ними Крошка-кочамма погасила электрический свет и зажгла большую свечу в миске с водой. Поверхность воды уже сплошь была покрыта обугленными трупиками. Пламя свечи придавало ее нарумяненным щекам и накрашенным губам еще более нелепый вид. Ее косметика была размазана. Ее украшения блестели.

Она наклонила купон, чтобы на него лучше падал свет.

Какое полоскание для рта Вы обычно используете?

Листерин, написала Крошка-кочамма путаным старческим почерком.

Укажите мотивы Вашего выбора.

Она не колебалась. *Пикантный Вкус. Свежее Дыхание.* Она уже усвоила молодцеватый, отрывистый язык телерекламы.

Она вписала свое имя, фамилию и сильно преуменьшенный возраст.

В графе *Род занятий* она написала: *Декоративное Садоводство (дипл.) Роч., США.*

Она вложила купон в конверт, где было напечатано: *ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ, КОТТАЯМ.* Утром она даст его Кочу Марии перед тем, как та отправится в «Бестбейкери» за булочками с кремом.

Крошка-кочамма достала дневник в темно-бордовой обложке, снабженный специальной дневниковой авторучкой. Она нашла девятнадцатое июня и сделала новую запись. Все как обычно. Она написала: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Эта запись стояла на каждой странице ее дневника. У нее был целый ящик, набитый дневниками с одинаковыми записями. На некоторых страницах, правда, было не только это. Порой примешивалась злоба дня. Списки дел, фразы из любимых телесериалов. Но даже эти страницы все равно начинались с обычных слов: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Отец Маллиган умер четыре года назад от вирусного гепатита в ашраме — святом убежище — к северу от Ришикеша. Многолетнее изучение индуистских преданий повело вначале к теологическому любопытству, а впоследствии и к перемене веры. Пятнадцать лет назад отец Маллиган стал вайшнава — адептом Вишну. Он не прекратил переписку с Крошкой-кочаммой даже после того, как поселился в ашраме. Он писал ей каждый год на Дивали — праздник огней — и неизменно присылал новогоднюю открытку. Несколько лет назад он прислал ей фотографию, на которой он обращался в религиозном лагере к группе пенджабских вдов среднего достатка. Все женщины были в белом, и головы их были укутаны концами сари. Отец Маллиган был в одеянии шафранного цвета. Желток, говорящий с морем вареных яиц. Борода и волосы у него были седые и длинные, но причесанные и ухоженные. Шафранный Санта Клаус с ритуальным пеплом на лбу. Крошка-кочамма не могла этому поверить. Из присланного им эта фотография была единственным, что она уничтожила. Он оскорбил ее тем, что в конце концов и вправду нарушил свой обет, но нарушил не ради нее. Ради нового обета. Словно ты, раскрыв объятия, ждешь кого-то — а он идет мимо, в другие объятия.

Смерть отца Маллигана ни на йоту не изменила формулировку записей в дневнике Крошки-кочаммы — ведь, насколько это касалось ее, смерть не сделала его менее доступным. Теперь даже, если хотите, она обладала им так, как никогда не обладала при его жизни. По крайней мере, память о нем была *ее.* Всецело — ее. Яростно, свирепо — ее. Без всякой дележки с Верой и, уж во всяком случае, с соперницами и соперниками в лице монахинь, садху и кого бы то ни было еще. Всяких там свами[1].

Его прижизненный отказ от нее (пусть мягкий и сочувственный, но все же отказ) был нейтрализован смертью. В ее воспоминаниях он обнимал ее. Ее одну. Обнимал так, как мужчина обнимает женщину. Когда отец Маллиган умер, Крошка-кочамма сняла с него нелепый шафранный балахон и заменила его сутаной цвета кока-колы, который она так любила. (Пока он был раздет, она наглядеться не могла на его худое, изможденное, христоподобное тело.) Она выкинула прочь его чашу для подаяния, потом сделала ему педикюр, чтобы привести в порядок его измозоленные индусские подошвы, и опять обула его в удобные сандалии. Она вновь превратила его в высоко поднимающего ноги верблюда, который некогда приходил к ним обедать по четвергам.

---

[1] Садху, свами — духовные лица, святые (в индуизме).

И каждый вечер, вечер за вечером, год за годом, дневник за дневником за дневником, она писала: *Люблю тебя Люблю тебя.*

Она вставила ручку обратно в специальное гнездышко и закрыла дневник. Сняла очки; сдвинула с места языком зубные протезы; оборвала нити слюны, которые тянулись от них к деснам провисающими струнами арфы; опустила протезы в стакан с листерином. Идя ко дну, они послали наверх маленькие пузырьки-молитвы. Вот он, ее вечерний стаканчик. Черепно-улыбчивая газировка. Пикантные зубки поутру.

Крошка-кочамма откинулась на подушку и стала ждать, когда же наконец Рахель выйдет из комнаты Эсты. Они оба стали причинять ей беспокойство. Несколько дней назад, открыв утром окно (чтобы Глотнуть Свежего Воздуха), она засекла их Возвращающимися. Они явно всю ночь провели вне дома. Вместе. Где они могли быть? Что они могли помнить и насколько подробно? Когда они уедут? Что они там так долго делают, сидя вдвоем в темноте? Она так и уснула, прислонясь к подушке, с мыслью, что, скорее всего, из-за шума дождя и звуков телевизора она не услышала, как дверь Эсты открылась. Что Рахель, скорее всего, давно уже спит.

Рахель не спала.

Она лежала на кровати Эсты. Лежа она выглядела худее. Моложе. Ниже ростом. Ее лицо было обращено к окну, у которого стояла кровать. Капли косого дождя ударялись о прутья оконной решетки и дробились в мелкую водяную пыль, попадавшую на ее лицо и гладкую обнаженную руку. В темноте ее мягкая футболка без рукавов светилась желтым. Ее бедра и ноги в синих джинсах были окутаны тенью.

Чуточку холодно было. Чуточку влажно. Чуточку тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Эста, сидевший в ногах кровати, видел ее, не поворачивая головы. Слабый очерк фигуры. Четкая линия подбородка. Ключицы, крыльями идущие от горловой впадины чуть не к самым краям плеч. Птица, которую не пускает лететь кожа.

Она повернула голову и посмотрела на него. Он сидел очень прямо. В ожидании осмотра. Он окончил глажку.

Она была мила ему. Ее волосы. Ее щеки. Ее маленькие, умные на вид ладони.

Сестра его.

В его голове болезненно застучало. Встречные поезда. Свет-тень-свет-тень на тебя, если сидишь у окна.

Он сел еще прямей. И все равно мог ее видеть. Вросшую в облик их матери. Жидкое поблескивание ее глаз в темноте. Маленький прямой нос. Ее рот, полные губы. Что-то в них раненое. Словно она сжала их, отшатываясь от чего-то. Словно много лет назад кто-то — мужчина с кольцами на руке — ударил ее по ним наотмашь. Прекрасные, обиженные губы.

Прекрасные материнские губы, подумал Эста. Губы Амму.

Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда. Вагон первого класса, Мадрасский Почтовый в Мадрас.

До свидания, Эста. Храни тебя Бог, сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.

В последний раз тогда он ее видел.

Она стояла на платформе Приморского вокзала в Кочине, подняв лицо к окну поезда. Кожа серая, тусклая, лишенная внутреннего света неоновыми огнями вокзала. Дневной свет был заслонен поездами по обе стороны платформы. Длинными пробками, закупорившими мрак. Мадрасский Почтовый. Летучая Рани.

Рахель держала Амму за руку. Комарик на поводке. Мушка Дрозофила в сандалиях «бата». Фея Аэропорта на железнодорожном вокзале. Притопывающая ногами на платформе, поднимающая облака улегшейся было вокзальной пыли. Пока Амму не дернула ее за руку и не велела ей Прекратить Это. Тогда она Прекратила Это. Вокруг толкалась и шаркала толпа.

Одним туда другим сюда багаж катить носильщикам платить детям писать-какать расстающимся плакать плевать бежать милостыню просить билеты доставать.

Эхом станционные звуки.

Разносчики продают кофе. Чай.

Тощие дети, белесые от недоедания, торгуют похабными журнальчиками и едой, которую не могут позволить себе есть сами.

Размякшие шоколадки. Конфетки для бросающих курить.

Апельсиновая газировка.

Лимонная газировка.

КокаколаФантаМороженоеРозовоемолоко.

Розовокожие куклы. Погремушки. «Токийская любовь».

Полые пластмассовые попугаи с отвинчивающимися головками, набитые конфетами.

Красные солнечные очочки в желтых оправах.

Игрушечные часики с нарисованными стрелками.

Целая тележка бракованных зубных щеток.

Приморский вокзал, Кочин.

Серый в неоновых огнях. Полые люди. Бездомные. Голодные. Все еще не оправившиеся после прошлогоднего голода. Их революция отложена До Поры До Времени товарищем И. М. Ш. Намбудирипадом (*Советским Прихвостнем, Трусливым Псом*). Бывшим любимцем Пекина.

Воздух кишел мухами.

Слепой с голубыми, как выцветшие джинсы, глазами без век, с изрытой оспинами кожей беседовал с прокаженным без пальцев, время от времени ловко выхватывая для затяжки очередной окурок из лежавшей перед ним кучки.

— А ты-то сам-то? Давно сюда переехал?

Как будто у них были варианты. Как будто они выбрали себе это жилье из большого числа фешенебельных вилл, сфотографированных в глянцевом рекламном буклете.

Человек, сидевший на красных станционных весах, отстегнул свой ножной протез вполноги с нарисованными на нем черным ботинком и аккуратным белым носком. Полая икра с коленом-набалдашником была розового цвета, какими полагается быть порядочным икрам. (Воссоздавая образ человеческий, зачем повторять Господни ошибки?) Внутри он хранил билет. Полотенце. Стаканчик из нержавейки. Запахи. Секреты. Любовь. Безумие. Надежду. Бесконечную радость. Вторая его конечность — настоящая — обходилась без ботинка.

Он купил чаю для своего стаканчика.

Какую-то старуху вывернуло наизнанку. Бугристая лужа. И пошла дальше по своим делам.

Вокзальный Мир. Цирк человеческий. Куда в суматохе купли-продажи приходит домой отчаяние и где, медленно черствея, превращается в безразличие.

Но на сей раз Амму и ее близнецы наблюдали это не в окна «плимута». Не было у них страховочной сети, которая в случае чего подхватила бы их в цирковом воздухе.

Пакуй пожитки и уезжай, сказал Чакко. Переступая через сломанную дверь. В руке — дверная ручка. Амму, хотя пальцы у нее дрожали, не подняла глаз от бессмысленного шитья. На коленях у нее лежала открытая коробка с ленточками.

Рахель — другое дело. Она подняла глаза. И увидела, что Чакко исчез и на его месте возникло чудовище.

Толстогубый мужчина с кольцами на руке, одетый в белое и спокойный, купил на платформе у разносчика сигареты «Сизерс». Три пачки с изображением ножниц. Курить в коридоре поезда.

Выкрои себе поблажку —
Ароматную затяжку.

Ему предстояло сопровождать Эсту. Он был Друг Семьи, которому как раз нужно было ехать в Мадрас. Мистер Курьен Маатен.

Раз уж так вышло, что за Эстой есть кому присмотреть, Маммачи решила не тратиться

на второй билет. Баба обеспечивал переезд Мадрас — Калькутта. Амму выигрывала Время. Ей надо было паковать и свои пожитки. Чтобы начать где-то новую жизнь, в которой она смогла бы содержать детей. Было решено, что до тех пор один из близнецов может оставаться в Айеменеме. Но не оба. Вместе их держать нельзя. *Кил ынатас.* Их следовало разъединить.

Может быть, они правы, шептала Амму, пакуя вещи Эсты в сундучок и рюкзачок. *Может быть, мальчику нужен Баба.*

У толстогубого было место в соседнем купе. Он сказал, что, когда поезд тронется, он постарается поменяться с кем-нибудь местами.

Он отошел, предоставив маленькую семью самой себе.

Он знал, что над ними парит черный ангел. Они движутся — он движется. Они стоят — он стоит. Капая воском с изогнутой свечи.

И все знали.

Это было в газетах. Сообщения о смерти Софи-моль, о «столкновении» полицейских с параваном, подозреваемым в похищении и убийстве. О последовавшей за тем осаде коммунистами «Райских солений и сладостей», возглавляемой местным айеменемским Борцом за Справедливость и Защитником Обездоленных. Товарищ К. Н. М. Пиллей заявил, что Администрация сфабриковала дело против паравана, потому что он был активным членом коммунистической партии. Что она решила разделаться с ним за участие в Легальной Профсоюзной Деятельности.

Все это было в газетах. Официальная Версия.

О существовании другой версии толстогубый мужчина с кольцами, конечно, не догадывался.

Версии, в которой отряд Прикасаемых Полицейских переправился через реку Миначал, медлительную и вздувшуюся от недавнего дождя, и двинулся сквозь мокрые заросли, пробираясь к Сердцу Тьмы.

18. Исторический Дом

Отряд Прикасаемых Полицейских переправился через реку Миначал, медлительную и вздувшуюся от недавнего дождя, и двинулся сквозь мокрые заросли со звяканьем наручников в чьем-то грузном кармане.

Их широкие шорты защитного цвета, жесткие от крахмала, трепыхались поверх длинной травы, как немнущиеся юбки, двигаясь совершенно независимо от конечностей под ними.

Они шли всемером — Слуги Государства.

Прямота
Опыт
Лояльность
Интеллект
Целеустремленность
Истина
Ясность

Коттаямская полиция. Мультяшный отряд. Новоявленные принцы в смешных остроконечных шлемах. Картон на хлопчатобумажной подкладке. С пятнами масла для волос. Неказистые короны защитного цвета.

Тьма Сердец.

Жестоко нацеленных.

Пробираясь в длинной траве, они высоко поднимали тонкие ноги. Ползучие растения цепляли их за ножную поросль, намокшую от росы. Лепестки и колючки малопомалу разукрасили их унылые носки. Коричневые многоножки пристроились спать в подошвах их прикасаемых башмаков со стальными носами. Грубая трава ранила им ноги, оставляя на них перекрестья порезов. Когда они вышли на болото, под ногами у них зачавкала хлябь.

На них смотрели змеешейки, сидящие на вершинах деревьев и расправившие, как белье для сушки, свои мокрые крылья. Смотрели цапли. Бакланы. Зобатые аисты. Красноголовые журавли, ищущие себе площадку для танца. Рыжие цапли с безжалостными глазами. С оглушительным своим *уаак уаак уаак*. Матери, оберегающие гнезда с яйцами.

Пройдя болото, пахнущее застойной водой, они двинулись мимо старых деревьев, увитых лианами — гигантскими вьюнками «мани», диким перцем, пурпурным остролистым плющом.

Мимо темно-синего жука, балансирующего на упругом лезвии травы.

Мимо гигантских паутин, выдержавших дождь, перекинутых от дерева к дереву, как нашептанные сплетни.

Мимо цветка банана в бордовом прицветнике, висящего на невзрачном деревце с драными листьями. Похожего на драгоценный камень в руке у расхристанного мальчишки. На самоцвет в зеленом бархате джунглей.

В воздухе спаривались малиновые стрекозы. Двухпалубно. Проворно. Один из полицейских восхищенно приостановился и на миг задумался о механике стрекозиного секса — что там у них куда. Потом его мысли щелчком переключились на Полицейские Дела.

Дальше.

Мимо высоких муравейников, присмиревших после дождя. Тяжело осевших, как опоенные зельем стражи у врат рая.

Мимо бабочек, пляшущих в воздухе, как радостные вести.

Мимо огромных папоротников.

Мимо хамелеона.

Мимо приводящей в оторопь китайской розы.

Мимо серых джунглевых курочек, заполошно кинувшихся врассыпную.

Мимо мускатного дерева, которого не нашел Велья Папан.

Раздваивающийся канал. Непроточный. Задушенный ряской. Похожий на дохлую зеленую змею. С берега на берег — поваленное дерево. Прикасаемые полицейские перешли по нему гуськом, семеня. Поигрывая полированными бамбуковыми дубинками.

Волосатые волшебники со смертоносными палочками.

Потом солнечный свет сделался чересполосным из-за тонких наклонных стволов. Тьма Сердец крадучись вступила в Сердце Тьмы. Стрекот сверчков то взбухал, то опадал.

Серые белки шмыгали по крапчатым стволам каучуковых деревьев, клонившихся к солнцу. На древесной коре виднелись старые шрамы. Зарубцевавшиеся. Невыпитые.

Акры плантации, затем травянистая поляна. На ней дом.

Исторический Дом.

Двери которого заперты, а окна открыты.

Внутри которого — холодные каменные полы и плывущие, качающиеся тени-корабли.

Восковые предки с жесткими безжизненными ногтями на ногах и запахом пожелтевших географических карт изо рта; их шелестящие шепотки.

Полупрозрачные ящерицы, живущие позади старых картин.

Дом, где мечты берутся в плен и перекраиваются.

Где пара двуяйцевых близнецов — Передвижная Республика с Зачесом, — воткнув подле себя в землю марксистский флаг, не убоялась призрака старого англичанина, пригвожденного к стволу дерева. Прокрадываясь мимо, полицейские не услышали его тихую мольбу. Добреньким таким миссионерским голоском. *Прошу прощения, не найдется ли у вас... эммм... случайно, может быть... одной сигарки? Нет?.. Ничего страшного, это я так просто.*

Исторический Дом.

Где в последующие годы Ужас (который вот-вот грянет во всю мощь) будет зарыт в неглубокой могиле. Спрятан под жизнерадостным гомоном гостиничных поваров. Под угодничеством старых коммунистов. Под растянутой смертью танцоров. Под историческими игрушками, которыми будут забавляться тут богатые туристы.

Это красивый был дом.

Белостенный в прошлом. Красночерепичный. Но теперь окрашенный в погодные цвета. Красками, взятыми с палитры естества. Мшистой зеленью. Глинистой ржавью. Грибковой чернью. Вследствие чего дом выглядел старше своих лет. Как утонувшее сокровище, поднятое с океанского дна. Обросшее ракушками, поцелованное китом. Спеленатое молчанием. Выдыхающее пузыри в разбитые окна.

По всему периметру стен шла широкая веранда. Сами комнаты были спрятаны в глубине, погружены в тень. Черепичная крыша накрывала дом, как днище огромной перевернутой лодки. Гниющие стропила, поддерживаемые с концов столбами некогда белого цвета, надломились посередине, из-за чего в крыше образовалась зияющая дыра. Историческая Дыра. Дыра в мироздании в форме Истории; дыра, сквозь которую в сумерки валили клубами, как фабричный дым, и уплывали в ночь густые безмолвные стаи летучих мышей.

На рассвете они возвращались со свежими новостями. Серое облачко в розовеющей дали вдруг черно сгущалось над крышей дома и стремительно всасывалось Исторической Дырой, как дым в фильме, который крутят назад.

Весь день потом они отсыпались, летучие мыши. Облепив изнутри крышу как меховая подкладка. Покрывая полы слоем помета.

Полицейские остановились и рассыпались веером. Особой нужды в этом не было, но отчего ж не поиграть — они любили эти прикасаемые игры.

Они рассредоточились по всем правилам. Притаились за низкой полуразрушенной каменной оградой.

Теперь отлить по-быстрому.
Горячая пена на теплом камне. Полицейская моча.
Муравьи тонут в желтой шипучке.
Глубокие вздохи.

Потом по команде, отталкиваясь локтями и коленями, ползком к дому. Прямо как киношная полиция. Скрытно-скрытно в траве. В руках — дубинки. В воображении — ручные пулеметы. На худощавых, но мужественных плечах — ответственность за весь прикасаемый мир.

Они обнаружили свою добычу на задней веранде. Испорченный Зачес. Фонтанчик, стянутый «токийской любовью». А в другом углу (одинокий, как волк) — столяр с кроваво-красными ногтями.

Он спал. Превращая тем самым в бессмыслицу все прикасаемые уловки полицейских.

Внезапная Атака.

В головах — готовые Заголовки.

ВЗБЕСИВШИЙСЯ МАНЬЯК В ТЕНЕТАХ ПОЛИЦИИ.

За наглость эту, за порчу удовольствия добыча поплатилась, и еще как.

Они разбудили Велютту башмаками.

Эстаппен и Рахель были разбужены изумленным воплем человека, которому среди сна стали крушить коленные чашечки.

Крики умерли в них и всплыли брюхом вверх, как дохлые рыбы. Притаившись на полу, пульсируя между ужасом и отказом верить, они увидели, что избиваемый — не кто иной, как Велютта. Откуда он взялся? Что натворил? Почему полицейские привели его сюда?

Они услышали удары дерева о плоть. Башмака о кость. Башмака о зубы. Глухой хрюкающий звук после тычка в желудок. Клокотание крови в груди человека, легкое которого порвано зазубренным концом сломанного ребра.

С посиневшими губами и круглыми, как блюдца, глазами они смотрели, завороженные тем, что они ощущали не понимая. Отсутствием всякой прихоти в действиях полицейских. Пропастью там, где ожидаешь увидеть злобу. Трезвой, ровной, бережливой жестокостью.

Словно откупоривали бутылку.

Или перекрывали кран.

Рубя лес, откалывали щепки.

Близнецы не понимали по малолетству, что эти люди — всего-навсего подручные истории. Посланные ею свести счеты и взыскать долг с нарушителя ее законов. Движимые первичным и в то же время, парадоксальным образом, совершенно безличным чувством. Движимые омерзением, проистекающим из смутного, неосознанного страха — страха цивилизации перед природой, мужчины перед женщиной, сильного перед бессильным.

Движимые подспудным мужским желанием уничтожить то, что нельзя подчинить и нельзя обожествить.

Мужской Потребностью.

Сами не понимая того, Эстаппен и Рахель стали в то утро очевидцами клинической демонстрации в контролируемых условиях (все-таки это была не война и не геноцид) человеческого стремления к господству. К структуризации. К порядку. К полной монополии. То была человеческая История, являющая себя несовершеннолетней публике под личиной Божьего Промысла.

В то утро на веранде не произошло ничего произвольного. Ничего с*лучайного*. Это не было изолированное избиение, это не была личная разборка. Это была поступь эпохи, впечатывающей себя в тех, кому довелось в ней родиться.

История живьем.

Если они изуродовали Велютту сильней, чем намеревались, то потому лишь, что всякое родство, всякая связь между ним и ими, всякое представление о том, что, биологически по крайней мере, он им не чужой, — все это было обрублено давным-давно. Они не арестовывали человека, а искореняли страх. У них не было инструмента, чтобы отмерить допустимую дозу наказания. Не было способа узнать, насколько сильно и насколько непоправимо они изувечили его.

В отличие от буйствующих религиозных фанатиков или армий, брошенных на подавление бунта, отряд Прикасаемых Полицейских действовал в то утро в Сердце Тьмы экономно, без горячки. Эффективно, без свалки. Четко, без истерики. Они не выдирали у него волос, не жгли его заживо. Не отрубали ему гениталий и не засовывали их ему в рот. Не насиловали его. Не обезглавливали.

В конце концов, они же не с эпидемией боролись. Они всего-навсего гасили мелкий очажок инфекции.

На задней веранде Исторического Дома, видя, как ломают и уродуют человека, которого они любили, госпожа Ипен и госпожа Раджагопалан — Двуяйцевые Представители Бог Знает Чего — усвоили два новых урока.

Урок Первый:

Кровь плохо видна на Черном Теле. (Бум-бум)

А также

Урок Второй:

Пахнуть она пахнет.

Тошнотворная сладость.

Словно от старых роз принесло ветром. (Бум-бум)

— *Мадийо?* — спросил один из Проводников Истории.

— *Мади айриккум,* — ответил другой.

Хватит?

Хватит.

Они отступили чуть назад. Мастера, оценивающие свое изделие. Выискивающие наиболее выигрышный ракурс.

Их Изделие, которое предали Бог, История, Маркс, Мужчина и Женщина, которое очень скоро предадут еще и Дети, лежало скрючившись на полу. Велютта не шевелился, хотя наполовину был в сознании.

Его лицевые кости были сломаны в трех местах. Перебиты были нос и обе скулы, отчего лицо стало мякотным, нечетким. Ударом в рот ему раскроили верхнюю

губу и выбили шесть зубов, три из которых теперь торчали из нижней губы в отвратительной, опрокинутой пародии на его прекрасную улыбку. Четыре ребра были сломаны, одно вонзилось в его левое легкое, из-за чего у него пошла горлом кровь. Ярко-красная при каждом выдохе. Свежая. Пенистая. В нижней части брюшной полости начала скапливаться кровь из-за прободения кишки и внутреннего кровотечения. Позвоночник был поврежден в двух местах, что вызвало паралич правой руки и потерю контроля за функциями мочевого пузыря и прямой кишки. Обе коленные чашечки были разбиты.

Все же они достали наручники.

Холодные.

С кислометаллическим запахом. Как от железных автобусных поручней и ладоней кондуктора. Тут-то они и увидели его раскрашенные ногти. Один взял его за запястье и кокетливо помахал в воздухе пальцами. Все расхохотались.

— Ну и ну, — сказал кто-то фальцетом. — Из этих, из бисексов, что ли?

Другой пошевелил дубинкой его половой член.

— Сейчас он нам секрет свой фирменный покажет. До какой длины он у него надувается.

Он поднял башмак с забившимися в бороздки подошвы многоножками и опустил его с глухим стуком.

Они завели руки Велютты ему за спину.

Щелк.

И щелк.

Под Листом Удачи. Под осенним листом в ночи. Приносящим муссонные дожди, когда наступает их время.

У него была гусиная кожа в тех местах, где руки защемили наручниками.

— Это не он, — прошептала Рахель Эсте. — Я знаю. Это его брат-близнец. Урумбан. Который в Кочине живет.

Не желая искать убежища в фантазии, Эста ничего не ответил.

Кто-то с ними заговорил. Добренький прикасаемый полицейский. Добренький к своим.

— Мон, моль, как вы? Что он вам сделал?

Не вместе, но почти вместе близнецы ответили шепотом:

— Хорошо. Ничего.

— Не бойтесь. Мы вас в обиду не дадим.

Полицейские стали осматриваться и увидели сенник.

Кастрюли и сковородки.

Надувного гусенка.

Сувенирного коалу с разболтавшимися глазками-пуговками.

Шариковые ручки с лондонскими улицами.

Носочки с разноцветными пальчиками.

Красные пластмассовые солнечные очочки в желтой оправе.

Часики с нарисованными стрелками.

— А это чье? Откуда? Кто это сюда натащил? — Нота беспокойства в голосе.

Эста и Рахель, полные дохлых рыб, смотрели на него молча.

Полицейские переглянулись. Они смекнули, что надо сделать.

Сувенирного коалу взяли для своих детишек.

Ручки и носочки — тоже. У полицейских детишек будут на ногах разноцветные пальчики.

Гусенка прожгли сигаретой. *Хлоп.* Резиновые ошметки зарыли.

Никчемушный гусь. Слишком узнаваемый.

Очочки один из них надел. Другие засмеялись, поэтому он какое-то время их не снимал. Про часики все дружно забыли. Они остались в Историческом Доме. На задней веранде. Ошибочно фиксируя время события. Без десяти два.

Они отправились к реке.

Семеро принцев с карманами, набитыми игрушками.

Пара двуяйцевых близнецов.

И Бог Утраты.
Идти он не мог. Так что пришлось тащить.
Никто их не видел.
Летучие мыши, они слепые ведь.

19. Как спасали Амму

В полицейском участке инспектор Томас Мэтью послал за двумя стаканчиками кока-колы. С соломинками. Нижний чин услужливо принес их на пластмассовом подносе и дал двоим перепачканным детям, которые сидели у стола напротив инспектора, лишь ненамного возвышаясь головами над настольной мешаниной бумаг и папок.

Итак, второй раз за две недели Эста хлебнул Страха. Холодного. Шипучего. Нет, хуже идут дела с кока-колой.

Ему шибануло в нос. Он рыгнул. Рахель хихикнула. Она стала дуть в соломинку, пока газировка не потекла ей на платье. И на пол. Эста принялся читать вслух плакат на стене.

— атомярП, — сказал он. — типО, ьтсоньляоЛ.

— ткеллетнИ, ьтсоннелмертсуелеЦ, — подхватила Рахель.

— анитсИ.

— ьтсонсЯ.

Инспектор Томас Мэтью — надо отдать ему должное — и бровью не повел. Он уже успел почувствовать нарастающую в детях неадекватность. Обратил, к примеру, внимание на расширенные зрачки. Все это было ему знакомо... Аварийные клапаны человеческой психики. Ее уловки в борьбе с травмой. Делая на это скидку, он задавал вопросы по-умному. Как бы невзначай. Вворачивая их между «Когда у тебя день рождения, мон?» и «Какой твой любимый цвет, моль?»

Мало-помалу — кусочками, вне последовательности — картина начала проясняться. Подчиненные сообщили ему про кастрюли и сковородки. Про сенник. Про дорогие сердцу игрушки. Все это обрело наконец смысл. Инспектор Томас Мэтью не видел в том, что он узнал, ровно ничего забавного. Он послал джип за Крошкой-кочаммой. Позаботился о том, чтобы в момент ее появления детей в комнате не было. Когда она вошла, он не удостоил ее приветствия.

— Сядьте-ка, — сказал он.

Крошка-кочамма сразу почувствовала худое.

— Нашлись они, да? Все хорошо?

— Ничего хорошего, — осадил ее инспектор.

По его глазам и по голосу Крошка-кочамма поняла, что теперь имеет дело с другим человеком. Уже отнюдь не с тем предупредительным полицейским чином. Она опустилась на стул. Инспектор Томас Мэтью не стал рассусоливать.

Коттаямская полиция действовала, основываясь на *ее* заявлении. Параван пойман. К сожалению, при задержании он был серьезно ранен и, по всей вероятности, дальше ночи не протянет. Однако дети заявляют, что ушли из дома по собственной воле. Их лодка перевернулась, и девочка-англичанка утонула вследствие несчастного случая. Таким образом, полиция получает в подарок Смерть Задержанного, который с формальной точки зрения невиновен. Да, он параван. Да, он вел себя плохо. Но времена теперь смутные, и формально, если держаться закона, он невиновен. На чем прикажете дело строить?

— Покушение на изнасилование? — робко предложила Крошка-кочамма.

— Где тогда заявление потерпевшей? Не вижу что-то. Написала она его? Оно у вас с собой? — Тон инспектора был враждебным. Почти угрожающим.

Крошка-кочамма словно разом усохла. Щеки и подглазья дрябло обвисли. Слюна во рту сделалась кислой от страха, дрожжами забродившего во всем теле. Инспектор подвинул к ней стакан воды.

— Дело обстоит проще некуда. Либо потерпевшая пишет жалобу. Либо дети в присутствии свидетеля от полиции подтверждают, что параван увел их силой. Либо... — Он выждал, пока Крошка-кочамма посмотрит ему в глаза. — Либо мне придется привлечь вас за подачу заведомо ложного заявления. Подсудное дело.

От пота голубая блузка Крошки-кочаммы пошла темно-синими пятнами. Инспектор Томас Мэтью не торопил ее. Он знал, что при нынешней политической обстановке у него могут быть серьезные неприятности. Он понимал, что товарищ К. Н. М. Пиллей такой возможности не упустит. Он корил себя за импульсивность действий. Взявши полотенце, он засунул руку с ним под рубашку и вытер грудь и подмышки. В кабинете было тихо. Звуки полицейского участка — топот башмаков, изредка чей-то крик боли во время допроса — казались нездешними, словно доносились издали.

— Дети сделают как им будет велено, — заверила его Крошка-кочамма. — Можно мне поговорить с ними наедине?

— Как вам будет угодно. — Инспектор встал, чтобы выйти из кабинета.

— Дайте мне, пожалуйста, пять минут, прежде чем их впустят.

Инспектор Томас Мэтью кивнул в знак согласия и вышел.

Крошка-кочамма утерла блестящее от пота лицо. Потом запрокинула голову, чтобы промокнуть концом сари складки между валиками шейного жира. Поцеловала свое распятие.

Радуйся, Мария, Благодатная...

Слова молитвы убегали от нее.

Дверь отворилась. Впустили Эсту и Рахель. Покрытых запекшейся грязью. Облитых кока-колой.

Вид Крошки-кочаммы разом их отрезвил. Ночная бабочка с необычно густыми спинными волосками повела крылышками над сердцами обоих. *Почему она? А где Амму? Все еще заперта?*

Крошка-кочамма окинула их суровым взором. Потом долго держала паузу. Когда она наконец заговорила, ее голос был хриплым и чужим.

— Чья это лодка была? Где вы ее взяли?

— Наша. Мы ее нашли. Велютта ее нам починил, — пролепетала Рахель.

— Давно вы нашли ее?

— В тот день, когда приехала Софи-моль.

— И вы крали вещи из дома и возили в ней через реку?

— Мы играли так...

— *Играли?* Вот как вы это называете.

Крошка-кочамма долго смотрела на них, прежде чем вновь заговорить.

— Тельце вашей бедной двоюродной сестрички лежит у нас в гостиной. Рыбы выели ей глаза. Ее мать плачет-убивается. И вы это называете — *играли?*

Внезапный ветерок взметнул на окне занавеску с цветочками. За окном Рахель увидела стоящие джипы. Идущих людей. Один пытался завести мотоцикл. Всякий раз, когда он вспрыгивал на ножной стартер, его шлем съезжал набок.

А в кабинете инспектора Бабочка Паппачи трудилась без устали.

— Ужасно лишить кого-то жизни, — сказала Крошка-кочамма. — Это самое страшное, что может сделать человек. Даже *Господь* этого не прощает. Это вам известно?

Две головы кивнули два раза.

— Тем не менее вы, — она уставила на них скорбный взгляд, — это сделали. — Она посмотрела в глаза одному и другой. — Вы убийцы. — Она подождала, пока это в них ляжет.

— Это не был несчастный случай, и вы знаете, что я это знаю. Ведь вы ей завидовали. И если будет суд, если судья спросит меня, я должна буду ему все рассказать. Я же не могу ему лгать. — Она похлопала рукой по соседнему стулу. — Идите-ка, сядьте.

Четыре послушные ягодицы примостились на стуле.

— Я должна буду ему сказать, что вам Строго-Настрого запрещалось одним ходить к реке. Что вы заставили ее пойти с вами, хотя знали, что она не умеет плавать. Что посреди реки вы ее вытолкнули из лодки. Это ведь не был несчастный случай, не был.

Четыре блюдца смотрели на нее. Завороженные ее рассказом. *И что же было дальше?*

— Теперь вас за это отправят в тюрьму, — сказала Крошка-кочамма добрым голосом. — А маму вашу по вашей милости отправят в другую тюрьму. Довольны?

Испуганные глаза и фонтанчик смотрели на нее.

— Троих рассадят по трем разным тюрьмам. Знаете, какие тюрьмы у нас в Индии?

Две головы крутанулись два раза.

И Крошка-кочамма прочла им лекцию. Из своего воображения она извлекла красочные картины тюремной жизни. Хрусткая от тараканов еда. *Чи-чи*, громоздящееся в уборных мягкими коричневыми Гималаями. Клопы. Побои. Она особо подчеркнула длительность срока, который по их милости получит Амму. Выйдет она из тюрьмы старой, больной женщиной с волосами, полными вшей, — если, конечно, выйдет вообще, если не сгинет в заключении. Последовательно, голосом, полным доброты и участия, она обрисовала им их собственное мрачное будущее. Растоптав всякую надежду до последнего лучика, разрушив их жизни до основания, она, как волшебница-крестная, преподнесла им избавление. Господь никогда не простит их за то, что они натворили, но здесь, на земле, есть способ исправить хотя бы часть вреда. Спасти их маму от грозящих ей страданий и унижения. Если, конечно, они в состоянии вести себя как разумные дети.

— К счастью, — сказала Крошка-кочамма, — к счастью для вас, полиция допустила ошибку. *Счастливую* ошибку. — Она помолчала. — Вы понимаете, о чем я говорю, правда ведь?

В стеклянном пресс-папье на столе у полицейского были замурованы люди. Эста их видел. Вальсирующий мужчина и вальсирующая женщина. На ней было белое платье с гладкими ногами под ним.

— Понимаете или нет?

В пресс-папье звучал стеклянный вальс. Маммачи играла этот вальс на скрипке.

Та-та-та-та-там.

Татам-татам.

— Что сделано, — втолковывал им голос Крошки-кочаммы, — того не воротишь. Инспектор говорит, что он все равно умрет. Поэтому ему уже не важно, что подумает полиция. А нам важно вот что: хотите вы отправиться в тюрьму и отправить туда Амму? Или не хотите? Решайте.

Внутри пресс-папье виднелись пузырьки, создававшие впечатление, будто мужчина и женщина вальсируют под водой. Они выглядели счастливыми. Может быть, они собирались пожениться. Она была в белом платье. Он — в черном костюме и галстуке-бабочке. Они нежно смотрели друг другу в глаза.

— Если вы хотите спасти ее, вам всего-навсего надо будет пойти, куда скажет дядя с большими *мисас*[1]. Он задаст вам вопрос. Один вопрос. Вам всего-навсего надо будет ответить: «Да». И мы поедем домой. Вот как все просто. Я думаю, это недорогая плата.

Крошка-кочамма следила за взглядом Эсты. Ей хотелось схватить пресс-папье и вышвырнуть в окно, но этого она сделать не могла. Сердце у нее колотилось.

— Ну? — сказала она, улыбаясь широко и нетвердо, голосом, в котором уже ясно сквозило напряжение. — Что мне ответить дяде инспектору? Как мы решим? Спасем Амму или отправим ее в тюрьму?

Словно она предлагала им выбор между двумя развлечениями. Рыбачить или свиней окатывать? Свиней окатывать или рыбачить?

Близнецы подняли на нее глаза. Не вместе (но почти) два испуганных голоска прошептали:

— Спасем Амму.

Год за годом они будут прокручивать в уме эту сцену. В отрочестве. В юности. И позже. Вовлекли ли их в то, что они сделали, обманом? Принудили ли хитростью назвать невиновного виновным?

Отчасти — да. И все же дело обстояло не так просто. Оба они понимали, что им

---

[1] Усами (*малаялам*).

предоставлен выбор. И с какой же быстротой они его сделали! Секунду, не больше, медлили они, прежде чем подняли глаза и сказали (не вместе, но почти): «Спасем Амму». Спасем себя. Спасем свою мать.

Крошка-кочамма просияла. Облегчение подействовало на нее как слабительное. Ей понадобилось в уборную. Срочно. Она открыла дверь и попросила позвать инспектора.

— Они славные детки, — сказала она ему, когда он пришел. — Они пойдут и скажут.

— Обоим не нужно. Хватит одного, — сказал инспектор Томас Мэтью. — Выбирайте. Мон. Моль. Кто?

— Эста, — решила Крошка-кочамма. Из них двоих он был более практичным. Более сговорчивым. Более благоразумным. Более ответственным. — Иди ты. Хороший мальчик.

Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

Эста отправился.

Представитель Э. Пелвис. С круглыми, как блюдца, глазами и испорченным зачесом. Малорослый Представитель в сопровождении высокорослых полицейских отправился со страшной миссией в недра коттаямского полицейского участка. Их шаги по каменным плитам пола отдавались в коридоре эхом.

Рахель осталась в кабинете инспектора слушать грубые звуки, которые издавало за стенкой облегчение Крошки-кочаммы, извергаясь в унитаз инспекторской уборной.

— Надо же, слив не работает, — сказала она, выходя. — Прямо беда. — Смущенная тем, что инспектор увидит цвет и консистенцию ее стула.

В камере была кромешная тьма. Эста ничего не видел, только слышал дыхание, хриплое и трудное. Запах кала вызвал у него рвотный позыв. Кто-то включил свет. Яркий. Слепящий. На склизком нечистом полу возник Велютта. Искалеченный джинн, вызванный к жизни современной лампой. Он был голый, грязное мунду размоталось. Из черепа сочилась темная потаенная кровь. Лицо опухло, и голова казалась тыквой, слишком большой и тяжелой для стройного стебелька, из которого она выросла. Тыквой с чудовищной перевернутой улыбкой. Полицейские башмаки старались не наступить в лужу мочи, где отражалась яркая голая электрическая лампочка.

Дохлые рыбы всплыли в Эсте брюхами вверх. Один из полицейских попытался растолкать Велютту носком башмака. Безуспешно. Инспектор Томас Мэтью сел на корточки и с силой черкнул ключом от «джипа» по подошве босой ноги. Опухшие глаза открылись. Вначале бессмысленно блуждали. Потом остановились, глядя на любимое дитя сквозь кровавую поволоку. Эсте почудилось, будто что-то в лежащем улыбнулось. Не губы, а какая-то другая, неповрежденная часть тела. Локоть, может быть. Или плечо.

Инспектор задал свой вопрос. Губы Эсты ответили *Да.*

Детство на цыпочках вышло вон.

Безмолвие вошло в паз, как стержень засова.

Кто-то выключил свет, и Велютта исчез.

На обратном пути Крошка-кочамма попросила остановить полицейский «джип» у «Действенных медикаментов» и купила успокоительное. Она дала по две таблетки одному и другой. Когда подъехали к мосту Чунгам, у них уже слипались глаза. Эста прошептал Рахели на ухо:

— Ты правду сказала. Это не он. Это Урумбан.

— Слава бхогу, — прошептала в ответ Рахель.

— А где он сам, как думаешь?

— Убежал в Африку.

Они были переданы матери крепко спящими, плывущими на волне этой иллюзии.

До следующего утра, когда Амму растрясла их и вернула к действительности. Но тогда было уже поздно.

Инспектор Томас Мэтью, дока в этих делах, оказался прав. Велютта не протянул дальше ночи.

В половине первого его постигла Смерть.

А маленькую семейку, спящую одним клубочком на вышитом синим крестиком покрывале? Что ее постигло?

Не смерть. Просто конец житья.

Когда Амму после похорон Софи-моль привезла их обратно в полицейский участок и инспектор выбрал свои манго (*раз, два*), тело уже ликвидировали. Кинули в *теммади кужи* — яму для нищих, куда полицейские обычно кидали своих мертвецов.

Узнав о приходе Амму в полицию, Крошка-кочамма ужаснулась. Все, что она, Крошка-кочамма, совершила, основывалось на одном допущении. Она сделала ставку на то, что Амму, как бы она ни вела себя, в каком бы ни была гневе, никогда не признается публично в своей связи с Велюттой. Поскольку, как считала Крошка-кочамма, это значило бы погубить и себя, и детей. Окончательно. Но Крошка-кочамма не учла, что Амму могла стать Опасной Бритвой. Что в ней смешалось то, что не смешивается, — бесконечная нежность материнства и безоглядная ярость самоубийцы-бомбометательницы.

Реакция Амму ошеломила ее. Земля стала уходить у нее из-под ног. Да, у нее был союзник в лице инспектора Томаса Мэтью. Но надолго ли? Что, если его переведут в другое место и примутся пересматривать дело? Это было вполне возможно, ведь вон какую кричащую, скандирующую толпу партийных активистов сумел собрать товарищ К. Н. М. Пиллей и привести к воротам фабрики. Они вынудили персонал прекратить работу, и манго, бананы, ананасы, чеснок и имбирь огромными кучами лежали и медленно гнили на территории «Райских солений».

Крошка-кочамма понимала, что надо как можно скорее изгнать Амму из Айеменема.

Ради этого она пустила в ход то, в чем была сильна. Кто-кто, а она умела орошать свои поля и питать свои урожаи страстями других людей.

Словно крыса в кладовку, проникла она в горехранилище Чакко. Там она воздвигла простую, доступную мишень для его безумной ярости. Ей нетрудно было изобразить Амму подлинной виновницей смерти Софи-моль. Амму вкупе с ее двуяйцевыми.

Ломающий дверь Чакко был всего-навсего горестным быком, беснующимся на привязи у Крошки-кочаммы. Это *ее* идея была, чтобы Амму собрала пожитки и уехала. Чтобы Эста был Отправлен.

20. Мадрасский Почтовый

И вот на Приморском вокзале Кочина за решеткой вагонного окна — Эста Один. Представитель Э. Пелвис. Жерновок с зачесом. И вздымающееся, кренящееся, тинисто-зеленое, набухающе-водное, морское, плывущее, бездонно-тяжелодонное ощущение. Его именной сундучок был задвинут под сиденье. Его коробка, набитая сандвичами с помидорами, и его Орлиная фляжка стояли на откидном столике.

Жующая рядом дама в пурпурно-зеленом канчиварамском сари, с брильянтами, облепившими крылья носа, как блестящие пчелки, протянула ему коробку с желтыми ладду — сладкими шариками из теста. Эста покачал головой. Она все улыбалась и не отставала, ее добренькие глаза превратились в щелочки за стеклами очков. Она причмокивала губами.

— Ну хоть одну штучку. Сладкие-пресладкие, — сказала она по-тамильски. *Ромбо мадурам.*

— Сладкие, — подтвердила по-английски ее старшая дочка, которой было примерно столько же лет, сколько Эсте.

Эста покачал головой еще раз. Дама взъерошила ему волосы и испортила зачес. Ее семья (муж и трое детей) уже вовсю жевала. Крупные желтые округлые крошки ладду на сиденье. Железнодорожные вздроги под ногами. Голубой ночной свет пока не включен.

Маленький сынишка жующей дамы потянулся и включил его. Дама потянулась и выключила. Она объяснила ему, что это свет для спанья, а не для бодрствования.

В вагоне первого класса все было зеленое. Сиденья — зеленые. Спальные полки — зеленые. Пол — зеленый. Цепочки — зеленые. Одно тёмно-, другое светло-.

ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ ДЕРНИТЕ ЦЕПОЧКУ, было написано зелеными буквами.

ЯЛД ЙОННЕРТСКЭ ИКВОНАТСО ЕТИНРЕД УКЧОПЕЦ, подумал Эста зелеными мыслями.

Сквозь решетку окна Амму дотянулась до его руки.

— Храни билет, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы. — Придут и проверят.

Эста кивнул, глядя в лицо Амму, поднятое к окну. Глядя на Рахель, маленькую и чумазую от вокзальной пыли. Всех троих связывало четкое, раздельное знание, что их любовь загубила человека.

Об этом в газетах ничего не было.

Годы прошли, прежде чем близнецы поняли роль Амму в случившемся. На отпевании Софи-моль и все время до Отправки Эсты они видели ее опухшие глаза и с детским эгоцентризмом считали себя единственной причиной ее сокрушения.

— Сандвичи съешь, пока они свежие, — сказала Амму. — И не забывай писать письма.

Она осмотрела ногти на маленькой ручке, которую держала, и вычистила черный серпик грязи из-под ногтя большого пальца.

— Присматривай сам за моим родненьким. Пока я не приехала и не забрала его.

— Когда, Амму? Когда ты заберешь меня?

— Скоро.

— Когда? Если точно?

— Скоренько, родной. Как только смогу.

— Через месяц и еще месяц? Да, Амму? — Нарочно делая срок очень долгим, чтобы Амму сказала: *Раньше, Эста. Ты думай головой. Ведь тебе в школу.*

— Как только я найду работу. Как только уеду отсюда и устроюсь, — сказала Амму.

— Но ведь это ждать не дождаться! — Волна паники. Бездонно-тяжелодонное ощущение.

Жующая дама доброжелательно прислушивалась.

— Слышите, как он по-английски хорошо? — сказала она своим детям по-тамильски.

— Ждать не дождаться, — задиристо повторила за ним старшая дочка. — Ждать-не-до-ждать-ся.

Произнося эти слова, Эста хотел только сказать, что ждать надо будет долго. Что это не случится *вот-вот*, что это не случится *скоро*.

Говоря: «Ждать не дождаться», он не хотел сказать: «Этого никогда не будет».

Так уж вылетело.

Но ведь это ждать не дождаться!

Они взяли и поймали его на слове.

Кто — они?

Государство.

Которое забирает людей Как Миленьких исправляться.

И вот как все обернулось.

Ждать. Не дождаться.

Это *его* вина была, что человек в груди Амму перестал кричать. *Его* вина, что она умерла одна в гостинице, где некому было лечь сзади и поговорить с ней.

Потому что именно он произнес слова. *Амму, ведь это ждать не дождаться!*

— Не глупи, Эста. Скоро, — сказали губы Амму. — Я стану учительницей. Открою школу. И вы с Рахелью будете в ней учиться.

— И нам это будет по карману, потому что она будет наша! — сказал Эста с его неистребимым прагматизмом. Не упускать из виду свой шанс. Бесплатные автобусные поездки. Бесплатные похороны. Бесплатная учеба. Малыш-Морячок. Дверь открыл бум-бум.

— У нас будет свой дом, — сказала Амму.

— Маленький домик, — уточнила Рахель.

— А в школе у нас будут классы и доски, — сказал Эста.

— И мел.

— И Настоящие Учителя по всем предметам.

— И наказания кому за что, — сказала Рахель.

Вот из какого материала были скроены их мечты. В день, когда Эста был Отправлен. Мел. Доски. Наказания кому за что.

Они не просили отпустить их безнаказанными. Они только просили о наказании, соответствующем тяжести проступка. Не о таком, которое похоже на шкаф со встроенной спальней. Не о таком, в котором можно провести всю жизнь, бродя по лабиринту темных полок.

Без всякого предупреждения поезд пошел. Медленно-медленно.

Зрачки Эсты расширились. Его ногти впились в руку Амму, двинувшейся вместе с поездом. Сперва шагом, потом бегом, потому что Мадрасский Почтовый набирал скорость.

Храни тебя Бог, родной мой. Сыночка. Я за тобой скоро!

— Амму! — сказал Эста, когда она стала отпускать его руку. Один маленький пальчик за другим. — Амму! Мне рвотно! — Голос Эсты взлетел до жалобного вопля.

Малыш Элвис-Пелвис с испорченным выходным зачесом. В бежевых остроносых туфлях. Сам уехал, а голос остался.

На платформе Рахель сложилась пополам и зашлась криком.

Поезда не стало. Возник дневной свет.

Двадцать три года спустя Рахель, темная женщина в желтой футболке, поворачивается к Эсте в темноте.

— Эстапаппичачен Куттаппен Питер-мон, — говорит она.

Шепчет ему.

Ее́ губы двигаются.

Прекрасные материнские губы.

Эста, сидящий в ожидании ареста очень прямо, подносит к ним пальцы. Хочет коснуться рождаемых ими слов. Удержать шепот. Его пальцы идут вдоль них. Чувствуют твердость зубов. Его руку не отпускают, целуют.

Прижимают к холоду щеки́, влажной от дождевой пыли.

Она села и обняла его. Потянула вниз, чтобы он лег рядом.

И долго они лежали. В темноте, без сна. Немота и Опустелость.

Не старые. Не молодые.

В жизнесмертном возрасте.

Они были чужаки, встретившиеся случайно.

Они знали друг друга еще до начала Жизни.

О том, что случилось дальше, очень мало внятного можно сказать. И ровно ничего, что (согласно понятиям Маммачи) отделило бы Секс от Любви. Потребности от Чувств.

Только то, пожалуй, что никакой Зритель не глядел сквозь глаза Рахели. Ни в окно на морские волны. Ни на плывущую по реке лодку. Ни на идущего сквозь туман прохожего в шляпе.

Только то, пожалуй, что чуточку холодно было. Чуточку влажно. Но очень тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Что были слезы. Что Немота и Опустелость вложились одна в другую, как две ложки в одной коробочке. Что были шумные вздохи у впадины милого горла. Что на твердом, медового цвета плече остался полукруг от зубов. Что долго после того, как все было кончено, они не отпускали друг друга. Что не радость они делили в ту ночь, а жесточайшее горе.

Что вновь были нарушены Законы Любви. Законы, определяющие, кого следует любить. И как. И насколько сильно.

По крыше заброшенной фабрики одинокий барабанщик стучал не переставая. Хло-

пала сетчатая дверь. Мышь перебежала от стены к стене по фабричному полу. Старые чаны для солений и маринадов были затканы паутиной. Все пустые, кроме одного — где окаменевшей кучкой лежал белый прах. Костный прах Сипухи. Давно умершей. Промаринованной.

Давая ответ на вопрос Софи-моль: *Чакко, где умирают старые птицы? Почему умершие не хлопаются камнями с неба нам на головы?*

Заданный вечером в день ее приезда. Она стояла на бортике декоративного пруда Крошки-кочаммы и смотрела на кружащих в небе хищных птиц.

Софи-моль. В шляпке и брючках клеш, Любимая с самого Начала.

Маргарет-кочамма (знавшая, что, если ты находишься в Сердце Тьмы, то а) *с Кем Угодно может случиться Что Угодно*) позвала ее принять очередную порцию таблеток. От глистов. От малярии. От дизентерии. К несчастью, не было у нее профилактического средства от Водяной Смерти.

Подоспел обед.

— Кому обед, кому ужин, — сказала Софи-моль посланному за ней Эсте.

Во время *кому обеда, кому ужина* у детей был отдельный столик. Софи-моль, сидевшая ко взрослым спиной, изображала гримасами отвращение к пище. Все, что она брала в рот, она демонстрировала восхищенным двоюродным братцу и сестрице полупрожеванным, кашеобразным, лежащим на языке как свежая рвота.

Когда Рахель сделала то же самое, Амму увидела, вывела ее и уложила спать.

Амму укрыла непослушную дочку, подоткнула одеяло и выключила свет. Ее поцелуй не оставил слюны на щеке у Рахели, и Рахель поняла, что она не сердится по-настоящему.

— А ты не сердишься, Амму. — Счастливым шепотом. *Чуть больше мама любит меня теперь.*

— Не сержусь. — Амму поцеловала ее еще раз. — Спокойной ночи, родненькая. Сердечко мое.

— Спокойной ночи, Амму. Пришли поскорей Эсту.

Уже уходя, Амму услышала дочкин шепот:

— Амму!

— Что?

— *Мы одной крови — ты и я.*

Амму прислонилась в темноте к двери спальни, не желая возвращаться за стол, где разговор, как ночная бабочка, вился и вился вокруг белой девочки и ее матери, словно они были единственными источниками света. Амму чувствовала, что она умрет — увянет и умрет, — если услышит еще хоть слово. Если еще хоть минуту ей придется терпеть горделивую теннисно-чемпионскую улыбку Чакко. И подспудную сексуальную ревность, источаемую Маммачи. И сентенции Крошки-кочаммы, имеющие целью изолировать Амму и ее детей, указать им их место в общей иерархии.

Стоя у двери в темноте, она вдруг почувствовала, как дневной сегодняшний сон движется в ней ребрышком воды, вспухшим на океанской глади, растущим и становящимся волной. Однорукий приветливый человек с солоноватой кожей и внезапно, как утес, кончающимся плечом возник среди теней на морском берегу и пошел к ней по осколкам бутылочного стекла.

Кто он был?

Кем он мог быть?

Богом Утраты.

Богом Мелочей.

Богом Гусиной Кожи и Внезапных Улыбок.

Он мог делать только что-то одно.

Трогал ее — говорить не мог, любил ее — отступиться не мог, говорил — слушать не мог, боролся — победить не мог.

Амму тосковала по нему. Всей телесностью своей к нему рвалась.

Она вернулась за стол.

21. Цена бытия

Когда старый дом закрыл отяжелевшие глаза и погрузился в сон, Амму в длинной белой юбке и одной из старых рубашек Чакко вышла на переднюю веранду. Сначала она расхаживала взад-вперед. Беспокойная. Дикая. Потом села в плетеное кресло под заплесневелой бизоньей головой с глазами-пуговками, справа и слева от которой висели портреты Благословенного Малыша и Алеюти Аммачи. Ее близнецы спали с полуоткрытыми глазами, как всегда после изнурительного дня. Два маленьких чудища. Это у них в отца.

Амму включила свой транзистор-мандарин. Потрескивая, в нем зазвучал мужской голос. Эту английскую песню она никогда раньше не слышала.

Она сидела на темной веранде. Одинокая, вспыхивающая светом женщина глядела на декоративный сад своей горько озлобленной тетки и слушала транзисторный голос. Который шел из дальней дали. Летел на крыльях сквозь ночь. Плыл над реками и озерами. Над густыми кронами деревьев. Мимо желтой церкви. Мимо школы. По грунтовой дороге, подскакивая. По ступенькам на веранду. К ней.

Слушая и не слушая, она смотрела на беснование насекомых, носящихся вокруг лампы в самоуничтожительной пляске.

Слова песни распускались у нее в голове.

Не теряй минут
Вот ее слова
Грезы упорхнут
Поманив едва
Гибнут так легко
Исчезают разом
Коль упустишь сон
Свой упустишь разум.

Амму подтянула к груди колени и обхватила их руками. Она не могла поверить. Какое простое, дешевое совпадение. Она яростно вперяла глаза в гущу сада. Сипуха Уза пролетела, как безмолвный ночной патрульный. Мясистые початки антуриума поблескивали, словно ружейный металл.

Какое-то время Амму продолжала сидеть. Хотя песня давно уже кончилась. Потом она внезапно поднялась с кресла и покинула свой мир, как ведьма. Ради лучших, более счастливых миров.

Она быстро двинулась сквозь темноту, как насекомое летит по химическому следу. Она не хуже, чем ее дети, знала тропку к реке и могла бы дойти даже с завязанными глазами. Ей было неведомо, что за сила понуждает ее спешить сквозь заросли. Превращает ее ходьбу в бег. Доставляет ее на берег Миначала запыхавшейся. Глотающей воздух. Словно она куда-то опаздывала. Словно вся ее жизнь зависела от того, успеет она или нет. Словно она знала, что он будет там. Ради нее. Словно *он* знал, что она придет.

И это было так.

Он знал.

Знание вошло в него днем. Мягко и коротко, как лезвие ножа. Когда история, пока он держал в руках маленькую дочку Амму, дала промашку. Когда глаза женщины сказали ему, что не всегда он должен быть дарителем, а она получателем подарков. Что у нее тоже кое-что для него припасено, что в обмен на его лодочки, шкатулки, ветряные мельнички она готова подарить ему свои упругие ямочки на улыбающихся щеках. Свою гладкую коричневую кожу. Свои светящиеся плечи. Свои глаза, что всегда смотрят в какую-то даль.

Его не было там.

Амму села на ступень каменной лестницы, спускавшейся к воде. Она зарылась лицом в ладони, коря себя за то, что была так глупа. Так *уверена.*

Ниже по течению Велютта плыл посередине реки на спине, глядя на звезды. Его парализованный брат и одноглазый отец спали, съев ужин, который он им приготовил. И теперь он был свободен — мог лежать на воде и медленно перемещаться вместе с пото-

ком. Походя на бревно. На тихого крокодила. Кокосовые пальмы, склонившиеся к реке, смотрели, как он плывет. Желтые бамбуки горевали. Маленькие рыбки кокетливо заигрывали с ним. Поклевывали его.

Он перевернулся на живот и поплыл в другую сторону. Против течения. Потом остановился и в последний раз посмотрел на берег, держась в воде стоймя, коря себя за то, что был так глуп. Так *уверен.*

Когда он увидел ее, это был взрыв, который чуть не утопил его. Остаться на плаву стоило ему всех его сил. Он держался в воде стоймя посередине темной реки.

Она не видела покачивающегося над темной рекой бугорка его головы. Она могла бы принять его за что угодно. За плывущий кокосовый орех. Но она даже не глядела на воду. Ее лицо было зарыто в ладони.

Он смотрел на нее. Медлил.

Если бы он знал, что вот-вот войдет в туннель, из которого не будет иного пути, кроме его гибели, — уплыл бы он прочь?

Может быть.

А может быть, нет.

Кому это ведомо?

Он поплыл к ней. Тихо. Рассекая воду без лишнего плеска. Он почти уже достиг берега, когда она подняла голову и увидела его. Его ноги нащупали илистое дно. Когда он выходил из темной реки и поднимался по каменным ступеням, она почувствовала, что окружающий их мир — его. Что он принадлежит этому миру. Что этот мир принадлежит ему. Вся вода. Весь ил. Все деревья. Все рыбы. Все звезды. Он так вольно перемещался в этом мире. Глядя на него, она поняла природу его красоты. Трудясь, он выточил сам себя. Дерево, которое он ладил, сладило его. Каждая выстроганная доска, каждый забитый гвоздь, каждая сработанная вещь — все это формировало его. Ставило на нем печать. Придавало ему гибкости, силы, изящества.

Тонкая белая ткань охватывала его бедра и полоской проходила меж темных ног. Он поднял руку к волосам, чтобы стряхнуть с них воду. В темноте она видела его улыбку. Белозубую внезапную улыбку, которую он взял с собой из детства в зрелость. Весь его багаж.

Они посмотрели друг на друга. Они не думали больше. Время думать уже прошло. Впереди ждали разбитые улыбки. Но это потом.

Потт Томм.

Он стоял перед ней, с него капала река. Она смотрела на него, не вставая с каменной ступени. Ее лицо было бледным в свете луны. Внезапно на него напал страх. Сердце застучало. Все это — ужасная ошибка. Он превратно ее понял. Воображение играет с ним злую шутку. Здесь ловушка. В кустах затаились люди. Наблюдают. Она — усладительная наживка. Как иначе? Его же видели во время демонстрации. Он попытался придать голосу естественность. Непринужденность. Но прозвучало хрипло, судорожно.

— Аммукутти... что это?

Она сошла вниз и прильнула к нему во всю длину тела. Он стоял, как стоял. Он не трогал ее руками. Он весь дрожал. Частью от холода. Частью от ужаса. Частью от мучительного желания. Вопреки страху его тело готово было взять наживку. Оно жаждало. Не признавало никаких доводов. Его влага увлажнила ее. Она обняла его.

Он пытался рассуждать здраво: *Что может случиться, самое худшее?*

Я могу потерять все. Работу. Семью. Средства к жизни. Все.

Ей слышно было, как жестоко бьется его сердце.

Она не разжимала объятий, пока его сердце не унялось. Мало-мальски.

Она расстегнула на себе рубашку. Они стояли вплотную. Соприкасаясь кожей. Ее коричневый цвет приник к его черному. Ее мягкость — к его твердости. Ее орехового цвета груди (под которыми не держались зубные щетки) — к его гладкому эбеновому торсу. От него пахло рекой. Вот он, этот особый параванский запах, внушавший такое отвращение Крошке-кочамме. Амму высунула язык и попробовала реку на вкус. Из его горловой впадины. С мочки его уха. Она притянула к себе его голову и поцеловала его в губы. Мглистым поцелуем. Поцелуем, требовавшим ответного. Он дал его ей. Сначала

робко. Потом страстно. Медленно поднял руки, заводя их ей за спину. Стал гладить ее сзади. Очень нежно. Она чувствовала, какие у него ладони. Мозолистые. Наждачные. Он вел руки очень бережно, боясь грубо коснуться ее кожи. Она чувствовала, как мягка она ему на ощупь. Она чувствовала себя сквозь него. Свою кожу. Тело ее существовало только там, где он ее касался. Все прочее в ней было дымом. Она ощущала его дрожь. Положив руки ей на ягодицы (под которыми могли бы удержаться целые пучки зубных щеток), он прижал ее бедра к своим, чтобы дать ей почувствовать, как он ее хочет.

Телесность затеяла этот танец. Ужас замедлил его темп. Задал ритм, в котором их тела отвечали друг другу. Словно они знали уже, что за каждую судорогу наслаждения заплатят судорогой боли. Словно знали уже, что чем дальше они зайдут сейчас, тем дальше их уволокут потом. Поэтому они не отпускали узду. Томили друг друга. Откладывали миг отдачи. И этим делали себе только хуже. Только повышали ставку. Только утяжеляли расплату. Ибо этим они разглаживали морщины неловкости и спешки на ткани непривычной любви и нагнетали себя до взрывной отметки.

Позади них, мерцая диким шелком, пульсировала во тьме река. Желтые бамбуки горевали.

Ночь смотрела на них, облокотясь на воду.

Теперь они лежали под мангустаном, где совсем недавно старое серое лодочное растение с лодочными цветами и лодочными плодами было с корнем выворочено Передвижной Республикой. Оса. Флаг. Удивленный зачес. Фонтанчик, стянутый «токийской любовью».

Подлодочного мирка уже как не бывало.

Белых термитов по пути на работу.

Белых божьих коровок по пути домой.

Белых жуков, зарывающихся в землю от света.

Белых кузнечиков со скрипочками белого дерева.

Белой печальной музыки.

Как не бывало.

Только пятно голой сухой земли в форме лодки, очищенное и готовое для любви. Как будто Эста и Рахель нарочно все подготовили. Как будто они этого желали. Близнецы-акушеры материнского сновидения.

Амму, нагая теперь, склонилась над Велюттой, прижав губы к его губам. Он надвинул ее волосы шатром на них обоих. Как делали ее дети, когда хотели отгородиться от внешнего мира. Она скользнула вниз, желая свести знакомство со всем его телом. С его шеей. С его сосками. С его шоколадным животом. Она выпила остаток реки из его пупка. Прижала к своим сомкнутым векам жар его возбуждения. Ощутила ртом его солоноватость. Он сел и притянул ее к себе обратно. Она почувствовала, что его живот стал под ней твердым, как доска. Почувствовала скольжение своей влаги по его коже. Он взял губами ее сосок и сделал из мозолистой ладони чашу для другой ее груди. Атлас, лелеемый наждаком.

В тот миг, когда она ввела его в себя, в его глазах пробежала неопытность, *юношество*, мелькнуло удивление из-за явленной ему тайны, и она улыбнулась ему сверху вниз, словно он был ее ребенком.

Когда он вошел в нее, телесность взяла верх, оттеснив страх на обочину. Цена бытия взлетела до невозможной высоты; хотя потом Крошка-кочамма сказала, что это Недорогая Плата.

Недорогая?

Две жизни. Два близнецовых детства.

И урок истории в назидание потенциальным нарушителям.

Мглистые глаза обволокли взглядом другие мглистые глаза, и светящаяся женщина отворила себя светящемуся мужчине. Она была широка и глубока, словно река в половодье. Он поплыл по ее волнам. Она чувствовала, что он уходит в нее глубже, глубже. Бешеный. Неукротимый. Требующий пустить его дальше. Дальше. Готовый уступить лишь телесным очертаниям. Ее и своим. И, достигнув предела, коснувшись ее глубочайших глубей, испустив рыдающий, содрогающийся вздох, — он утонул.

Она лежала сверху. Их тела были скользкие от пота. Она почувствовала, как его плоть в ней уменьшилась. Его дыхание стало ровнее. Его глаза прояснились. Он погладил ее по

волосам, чувствуя, что узел, в нем блаженно ослабший, в ней еще вибрировал, еще был тугим. Он бережно перевернул ее на спину. Влажной своей тканью обтер с нее пот и песок. Накрыл ее собой, стараясь не придавить. Мелкие камешки кололи ему руки ниже локтей. Он поцеловал ее в глаза. В уши. В грудь. В живот. Во все семь серебристых растяжек, оставшихся после беременности. В тонкую линию волосков, которая, указывая ему направление, шла от пупочной лунки к треугольнику лобка. В бедра изнутри, где кожа всего мягче. Потом руки столяра приподняли ее таз и неприкасаемый язык дотронулся до ее недр. Долго, самозабвенно пил из ее чаши.

Она танцевала для него. На этом лодочном клочке земли. Она жила.

Он прижимал ее к себе, прислонясь спиной к мангустану, а она плакала и смеялась разом. Потом на пять минут, которые показались вечностью, она уснула, привалившись спиной к его груди. Семь глухих лет отлетели, снявшись с нее, во тьму на тяжелых, колышущихся крыльях. Как тускло-серая пава. И на лежащей перед Амму дороге (к Старению и Смерти) возникла солнечная лужайка. Изумрудная трава, усеянная голубыми бабочками. Дальше — пропасть.

Сочась по капле, в него вернулся ужас. Перед тем, что он сделал. Перед тем, что, он знал, будет сделано опять. И опять.

Она проснулась от стука его сердца, колотящегося о грудную клетку. Словно оно искало выхода. Искало это подвижное ребро. Потайную створку скользяще-складной двери. Его руки по-прежнему облегали ее, он теребил пальцами сухую пальмовую ветку, и она чувствовала движение его мышц. Амму улыбнулась сама себе в темноте, подумав о том, как она любит его руки — их очертания, их силу, покой, который она ощущает в их объятиях, хотя трудно было бы придумать для нее место опасней.

Из страха своего он сплел великолепную розу. И подал ее Амму на раскрытой ладони. Она взяла ее и воткнула себе в волосы.

Она придвинулась к нему теснее, желая быть внутри его, касаться его как можно больше. Он окружил ее раковиной своего тела. От реки подул ветерок, охлаждая их горячую кожу.

Чуточку холодно было. Чуточку влажно. Чуточку тихо. В Воздухе.

Что сказать еще?

Через час Амму нежно высвободилась.

— Мне надо идти.

Он ничего не сказал, не пошевелился. Смотрел, как она одевается.

Только одно теперь было важно. Они знали, что лишь об этом одном могут просить друг друга. Об одном-единственном. Они оба это знали.

Они и дальше, во все тринадцать ночей после этой ночи, безотчетно льнули к Мелочам. Крупное таилось внутри молчком. Они знали, что податься им некуда. Что у них ничего нет. Никакого будущего. Поэтому они льнули к мелочам.

Они смеялись, глядя на муравьиные укусы друг у друга на ягодицах. И на неловкую гусеницу, упавшую с края листа. И на жука, свалившегося на спину и беспомощно дрыгающего ножками. И на пару маленьких рыбок, всегда находивших Велютту в реке и покусывавших его. И на чрезвычайно набожного богомола. И на паучка, жившего в расщелине стены на задней веранде Исторического Дома и использовавшего в качестве камуфляжа всякий мусор. Обрывок осиного крылышка. Клочок паутины. Труху. Листовую гниль. Высохшую грудку мертвой пчелы. *Чапну Тамбуран* — так называл его Велютта. Господин Мусор. Как-то раз они пополнили его гардероб чесночной кожицей и были оскорблены до глубины души, когда он отверг подарок и заодно с ним всю свою былую броню, из которой он выполз недовольный, голый, сопливого цвета. Выражая презрение к их вкусам в одежаде. Несколько дней он пребывал в самоубийственном состоянии гордой наготы. Покинутая мусорная оболочка осталась стоять, как устарелый взгляд на мир. Как изжившая себя философия. Потом она рухнула. Мало-помалу *Чапну Тамбуран* обзавелся новым гарнитуром.

Не признаваясь в этом друг другу и даже себе, они связали свое будущее, свою судьбу (Любовь. Безумие. Надежду. Бесконечную Радость) с его. Каждую ночь торопились

посмотреть (чем дальше, тем с большей тревогой), пережил ли он день. Их беспокоила его слабость. Его малость. Ненадежность его камуфляжа. Его, на их взгляд, саморазрушительная гордость. Постепенно они полюбили его эклектический вкус. Его неуклюжее достоинство.

Они избрали его, зная, что могут уповать только на слабость. Что должны держаться Мелочей. Всякий раз при расставании они брали друг с друга лишь одно маленькое обещание.

— *Завтра?*

— *Завтра.*

Они знали, что все может перемениться в один день. И не ошибались в этом.

А вот относительно *Чаппу Тамбурана* они ошиблись. Он пережил Велютту. Он оставил после себя потомство.

Он умер от естественных причин.

В ту первую ночь после приезда Софи-моль Велютта смотрел, как любимая одевается. Кончив, она присела перед ним на корточки. Легонько потрогала пальцами его кожу и почувствовала, как по ней бегут мурашки. Провела по его телу линии гусиной кожи. Как мелом плашмя по школьной доске. Как порывом ветра по рисовому полю. Как реактивным самолетиком по голубому церковному небу. Он взял ее лицо в руки и притянул к своему лицу. Закрыв глаза, вдохнул запах ее кожи. Амму засмеялась.

Да, Маргарет, подумала она. *Между нами такое тоже бывает.*

Она поцеловала его в закрытые глаза и встала. Велютта сидел, прислонившись спиной к мангустану, и смотрел, как она уходит.

В волосах у нее была сухая роза.

Она обернулась, чтобы еще раз сказать: *Наалей.*

Завтра.

■

ЛИТературный гид

Слово бессловесным

Жак Рубо

О С Ё Л

и-а,
и-а, и-а,
и-а, и-а,
и-а,

и-а, и-а,
и-а,
и-а,
и-а, и-а,

и-
а,
и-

а-а,
и-и-и-
а-а-а-а-а-а-а-а.

Перевод с французского
Михаила Яснова

ИГОРЬ КЛЕХ

Нисхождение автора

Излагать, повествовать, рассказывать способен на белом свете только человек. То есть, если рассказывает, значит, человек, и речь, естественно, может идти только о причинах, побуждающих повествователя мимикрировать под бессловесную тварь или даже неодушевленный предмет; возможен ли подобный кенозис? И какую цель преследует такая попытка?

Эти простенькие вопросы погружают нас в необозримое культурное пространство — от стихийного первобытного анимизма через «вещь в себе» до не слишком успешных покуда попыток моделирования искусственного интеллекта.

Кто же кого создал, или создает, по своему образу и подобию: Бог человека — или наоборот?

Достаточно признать, что такого рода стремление обнаруживается во Вселенной (а с человеческой точки зрения и составляет ее главный нерв), что непереходимый порог между природой, Богом и человеком вызывает у последнего страстное желание его преодолеть, избавиться от одиночества, достучаться в запертые двери. Огромный по человеческим меркам мир тем не менее воспринимается им как хитроумно устроенная тюрьма, лабиринт, в который он углубляется, чтоб родиться наконец по-настоящему или, дойдя до собственного предела, умереть. Он сочиняет сказки, в которых разговаривает с животными и потусторонними существами, создает Голема или монстра Франкенштейна, Соломенного Бычка и Пиноккио, Щелкунчика наконец, чтоб не оставаться наедине с самим собой и чтоб подсмотреть, как ребенок, что делается в природе в его отсутствие, будто в комнате, из которой все вышли и в которой никого нет. И даже ученые-физики, как в белой горячке, ловят так называемого «демона Максвелла», отклоняющего и искажающего результаты любого научного эксперимента в силу простого включения в его среду наблюдателя (измерительной аппаратуры и проч.). Существует некий познавательный тупик — и человек способен если не познать и понять, то хотя бы освоить и приспособить только то, что он сам в состоянии произвести или хотя бы воспроизвести.

Не обойтись без еще одного трюизма: человек одинок по факту рождения и сознает свою смертность — этого достаточно, чтоб ощутить себя несчастным существом. Он, однако, не согласен с таким положением, — так он не договаривался! — и тогда он предпринимает все возможное и невозможное, чтоб превозмочь собственную обездоленность и обреченность. Вся многоцветность его мира проистекает из одного этого источника: хозяйственная, историческая и политическая жизнь, науки, искусства, деторождение, поиски любви и религиозный минимум, наконец — вера в духовную подоплеку мира.

Homo не хочет в humus, Homo хочет в Рай.

Литература работает с самым уникальным из всех материалов, существующих на свете. Вообще, происхождение языка и происхождение человеческой цивилизации — это одно и то же. Танцевать, петь, рисовать и даже любить — не говоря уж о пресловутом использовании орудий труда, речевых сигналов и образовании достаточно сложно организованных сообществ — могут и более примитивно устроенные существа, отнюдь не стремящиеся эволюционировать. После работ Лоренца, Гудолл и других этологов в этом не приходится сомневаться. Но почему человек так оторвался от остальных живых и даже одушевленных существ, приходится только гадать (если

© И. Клех, 1999

исключить гипотезу Бога). Возможно, вопрос следовало бы поставить так: почему спящий проснулся? Кто разбудил его? И что делать теперь проснувшемуся в сонном царстве инстинктов? Уснуть, забыться сном опять? Растолкать соседей? Изобрести будильник? Или бодрствовать и сторожить сновидения природы? Лично я понятия не имею, хотя склоняюсь к последнему.

Умные головы догадались, что вознесший человека язык тут же взял его в плен (Витгенштейн, Сепир с Уорфом, Барт, «тель-келисты», Деррида наконец), что очень похоже на правду. (Заметим попутно в скобках, что аналогичные подозрения людей искусства привели в результате к массовым постмодернистским игрищам.)

Наш язык насквозь метафоричен, фантазматичен, окрашен желаниями и эмоциями, инстинктивно склонен к олицетворениям, тотальному очеловечиванию окружающего мира («дождь идет» и проч.). Благодаря ему мы повсеместно встречаем только постылых самих себя, видим и слышим себя одних.

Раз догадавшись об этом, узник языка не в состоянии больше думать ни о чем другом, кроме как об освобождении — это общий невроз всех искусств вообще.

Искусство и существует только как освободительный порыв, как подготовка и осуществление дерзкого побега из царства необходимости в направлении Рая, который по не вполне понятным причинам представляется людям их роди́ной.

Никакой из человеческих инстинктов не в силах тягаться с этим необоримым стремлением к полноте счастья вне каких бы то ни было пределов — в «нигде» и «никогда», в невесомости.

Таковы фон, почва и мотивация одного литературного приема — передачи повествовательной функции изначально бессловесному объекту.

К собственно олицетворению — прозопопее — он имеет только косвенное отношение. Олицетворяться, одушевляться, становиться действующими лицами способны и объекты повествования: буря, море, степь, меч, дуб, сад. Нас занимает передача одной из авторских функций объекту, мнимый отказ от волевого выбора. Откуда идет голос? В какой контекст помещается человек? С какой целью?

Кажется, поначалу органически приговоренный к антропоморфизму, человек вообще не мог помыслить себе происхождения Вселенной иначе, чем в виде расчленения на части собственного тела (или тела божества, похожего на него). С древнейших времен распространены были повествования от имени животных, в более упрощенном и укрупненном виде переживающих те же приключения и мытарства, что и человек. В силу острой хара́ктерности животных, их темперамента и внешности они явились очень удобными формами для собирания, накопления и осмысления неких природных качеств, получавших у человека психическую окраску. По мере вымывания первобытной религиозности (анимизма, фетишизма, тотемизма) этот прием все более перекочевывал в области антропологической или социальной сатиры. В литературе нового времени и толстовский Холстомер, и кафкианский крот — не что иное, как персонажи мизантропических басен в прозе. Из «говорящих» предметов большой популярностью пользовались: зеркало, в эротических повестях — кровать или софа, в эпитафиях — надгробие или камень. Такие предметы, сопровождая людей на протяжении жизни (а иногда и после — так много древнейших зеркал находится в музеях оттого, что состоятельных покойниц без них не хоронили), якобы позволяли подсмотреть за людьми наподобие скрытой камеры, минимизировать их лицемерие, а «заговорив», способны были высказать как бы «объективное» суждение об их жизни, помыслах и проч. Однако благодаря такой тактике условность и искусственность художественных построений только возводятся в квадрат. «Объективных» повествований не существует в природе — кому, как не литераторам, это знать? И предосудительными в этом отношении являются только дремучая умственная девственность и упорство в симуляции. Высказывание, не полагающее себе пределов и не подвергающее себя испытанию сомнением, вызывает законное подозрение у всяко-

го мыслящего читателя. Читатель согласен в принципе, чтоб ему «морочили голову», но желает знать правила, по которым это будет делаться.

Отчаянные попытки проникнуть в суть явлений и в секретную жизнь вещей предпринимались неоднократно (хотя еще в XVIII веке было заявлено, что «вещи в себе» способен созерцать только Бог, их создавший). Равно как и героические попытки овладеть несуществующим методом бесстрастного и объективного повествования, достичь «нулевой степени письма» (по выражению Ролана Барта применительно к прозе Роб-Грийе), с удручающей неизбежностью заканчивающиеся соскальзыванием в пародирование «без берегов». То есть сам по себе выбор *неантропного* повествователя (назовем его так), если это не достаточно примитивный сюжетостроительный трюк, такой выбор симптоматичен. Он говорит либо об определенном расчеловечивании человеческого мира, либо о трудностях авторства, о потере рассказчиком авторитета, не подкрепляемого более читательским доверием. Надо понимать, что в любом художественном выборе злонамеренность отсутствует, поскольку писатели пишут не то, что хотят, а то, что могут, — а это само по себе уже свидетельство. Язык показывает места будущих разрывов, которые способны оказаться также точками роста. Так, к примеру, когда в поэзии означающее теряет связи с означаемым, когда контуры отрываются от предметов и начинают вибрировать — жди скорых перемен и катаклизмов, поскольку сознание вкупе со своим «бессознательным» — самый чуткий из всех сейсмографов.

В одном из текстов «Гида» — британской повести — функция повествователя передается автором старинной керамической вазе, за много тысяч лет неоднократно изменившей свое назначение и поменявшей уйму владельцев в разных странах, что делает оптику повести длиннофокусной и помещает современные события — веер довольно брутальных историй — в перспективу дурной бесконечности посюстороннего бессмертия, приводя на ум то ли Екклесиаста, то ли Борхеса, только без их накала и масштаба.

Можно было бы и не акцентировать вагинального характера вазы-повествовательницы, если бы в другом тексте — японской новелле — не подчеркивался так маскулинный, фаллический и соглядатайский, характер другого *неантропного* персонажа и повествователя — фотоаппарата. Вообще, преувеличенная, утрированная телесность, такая, как у вещей, провоцирует сексуализацию повествования. Либо, наоборот, гипертрофированная сексуальность ищет и находит повсюду только и исключительно тотальную телесность. Таков был маркиз де Сад, для которого существовали только тела, пытки — и разговоры вокруг этого.

К сожалению, общим недостатком «неодушевленных» повествователей, *неантропных* рассказчиков, нередко становится многословие и резонерство; в итоге возникает избыточность повествования, что указывает на головное, рассудочное происхождение самого замысла достаточно разных произведений. Даже у сверхизобретательного Барнса в его постмодернистском шедевре «История мира в 10 1/2 главах» («ИЛ», 1994, № 1) мурашки Ноева ковчега после нескольких десятков страниц способны утомить своими россказнями самого доброжелательного читателя. Есть пределы у воображаемого нисхождения в низшие формы жизни, чья участь существенно беднее и горше человеческого удела. Представляется, что малые жанры (особенно в поэзии, эпиграфике, минимальных формах прозы) лучше приспособлены к такого рода нисхождению и в некоторых случаях даже могут порождать шедевры.

Еще один из представленных текстов — «Записки Жирафы» Шарля Нодье — осциллирует в смысловом зазоре между социальной и антропологической сатирой (между Гулливером в Лилипутии и Гулливером у гуингмов). Текст очень симптоматичен для страны Руссо и Вольтера, для культуры моралистов и сатириков, в которой полтора столетия назад принято было описывать «физиологию» городов и «нравы» (!) насекомых. «Жирафа» Нодье — троянская лошадь Натуры, введенная в стены го-

рода Цивилизации и Культуры. Занятная пища для размышлений и разного рода сопоставлений.

Нарциссическое стихотворение Лесьмяна «Кукла» демонстрирует парадоксальную природу поэзии — когда мощное поэтическое усилие способно заставить служить своим целям упадочную манерность, а прямое обращение к Творцу всего сущего — повернуть читателя лицом к самому средоточию проблемы недочеловеческого, «полукукольного» существования. В одном забытом советском фильме человекообразный робот по имени Роберт носился с подобранной тряпичной куклой: «Она такая же, как я, только маленькая и очень примитивно устроенная!..»

Еще несколько ступеней вниз — и дальше: «наступает глухота паучья», как писал поэт, «здесь провал сильнее наших сил». Лестница Ламарка и лестница Иакова оказываются одной и той же лестницей. И рожденный свободным автор (или, если угодно, сочинитель) сохраняет, благодаря воображению, относительную подвижность в перемещениях по ступеням не им созданного здания природы.

Но и это путешествие, как всякое другое, заканчивается возвращением человека к себе. Что в данном случае представляется особенным благом.

Примерно как при возвращении домой из нищей страны «третьего мира» без привычного душа и прочих удобств, по которым мы успели соскучиться. В чем и состоял скрытый от нас до поры смысл поездки.

■

ШАРЛЬ НОДЬЕ

Записки Жирафы из зоологического сада

Письмо к возлюбленному в пустыню

Перевод с французского
и вступление ВЕРЫ МИЛЬЧИНОЙ

«Записки Жирафы» созданы французским писателем Шарлем Нодье (1780 —1844) для сборника «Частная и общественная жизнь животных», выпущенного в 1842 году рисовальщиком Гранвилем и издателем Пьером-Жюлем Этцелем. Все новеллы в этом сборнике, принадлежащие как знаменитостям (Бальзак, Мюссе, Жорж Санд), так и писателям менее известным, написаны от лица животных.

Толчком для создания «Записок» послужил реальный факт — в 1827 году египетский паша прислал в подарок французскому королю Карлу X жирафу, и весь Париж сбежался смотреть на это экзотическое существо, доселе не виданное жителями французской столицы и тотчас вошедшее в моду. Английская писательница леди Морган в своей книге «Франция в 1829 и 1830 году» (1830) говорит о жирафе, что «элегантная новизна ее наряда и нравственное превосходство, которое приписывают ей французские естествоиспытатели, уравняли жирафу со *львом*, и мы сочли необходимым познакомиться с нею, ибо в противном случае рисковали сами остаться никому не знакомыми». Жирафа Нодье — та самая, что прибыла в Париж в 1827 году, однако на род человеческий она смотрит глазами Нодье, ворчуна и парадоксалиста, убежденного, что прогрессистские мечты о совершенствовании человеческого рода иллюзорны: «Утверждать, что человеку дано совершенствоваться, — значит предполагать, что он может изменить свою природу; это все равно что ждать, чтобы на иссопе выросла роза, а на тополе — ананас», а претензии политиков на переустройство мира просто смешны: «Ни политической партии, ни законодателю, выдумывающему в своем кабинете утопию за утопией, не дано создать новый миропорядок, как не дано нубийским термитам изменить архитектуру термитника, а французским пчелам — увеличить хоть на одну грань вечный многогранник сотовой ячейки» (заметим, что в обоих процитированных фрагментах из основополагающей статьи 1830 года «О совершенствовании рода человеческого» Нодье противопоставляет вздорным притязаниям людей вечные устои природы, воплощенные прежде всего в инстинктах и повадках *животных*). Продолжая традиции «остраняющей» сатиры в духе Свифта и Вольтера, Нодье ставит их на службу собственной скептической философии, основанной на убеждении, что все по-настоящему ценное в науке, искусстве и языке уже создано много лет назад и описано в «старых книжонках», до которых Нодье, библиофил и библиоман, был большим охотником. Отсюда его насмешливое отношение к современному научному жаргону, к современным политикам и вообще к самонадеянности человеческого рода — отношение, которое в полной мере разделяет Жирафа, выступающая, таким образом, в качестве своего рода alter ego автора.

© В. Мильчина. Перевод, вступление, 1999

Да будет тысячу раз благословен милосердный Господь, хранящий Муравьев, Жирафов, а может быть, и людей! Скоро, о возлюбленный жених мой, мы соединимся навсегда.

Ученые, о которых я тебе сейчас расскажу (здесь эти люди делают погоду — хорошую, впрочем, довольно редко), Ученые, говорю я, в мудрости своей только что решили, что было бы *в высшей степени разумно* соединить нас, дабы дать в *монографии*, посвященной Жирафам, более точную оценку некоторым частным фактам.

Возможно, поначалу тебе это покажется не вполне ясным, но выслушай мои объяснения, и очень скоро ты будешь разбираться во всем не хуже меня.

Не стану напоминать тебе о боли, которую причинила мне наша разлука; увы! ты чувствовал то же, что и я.

Не стану описывать мучения, которые доставило мне пребывание в деревянной плавучей темнице.

Разве не придется и тебе испытать их в свой черед?

Однако ж ты будешь счастливее меня, ибо, перенеся грозные испытания, в конце пути наверняка встретишься со мной.

Впрочем, ты сможешь прочесть рассказ о том, что я пережила, в моих «Путевых впечатлениях», лишь только начнет выходить «Журнал животных».

В редакторах для такого издания недостатка не будет.

Итак, скажу тебе лишь одно: меня привезли в края, настолько не похожие на наши, что ты с трудом сможешь к ним привыкнуть.

Солнце здесь бледное, луна тусклая, небо бесцветное, пыль соленая и влажная, ветер мокрый и холодный.

В году триста шестьдесят с чем-то дней, из них триста сорок идет дождь, и по всем дорогам текут отвратительные потоки грязи, в которые уважающая себя Жирафа не ступит ни за что на свете.

Впрочем, порой для разнообразия дождь становится белым и укрывает землю огромным ковром, чье монотонное сияние слепит глаза и печалит душу; вода затвердевает, и горе птицам небесным, если им захочется пить! они умирают на берегу водоемов, не в силах утолить жажду.

Вид этого безрадостного края, имя которому — ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ, ужаснул меня.

Животные, населяющие ту унылую местность, которую я тебе только что описала, — самые незадачливые из всех Божьих тварей.

Они не умеют изящно склонять голову и вечно держат ее прямо, вдобавок мордочки у них совершенно плоские.

Шея их, почти полностью скрытая между плечами, не имеет ни протяженности, ни гибкости; кожа бритая, землистого, мертвенно-бледного цвета, и, в довершение нелепости, животные эти усвоили себе глупую привычку ходить на задних лапах, а передними прекомично размахивать, дабы не потерять равновесия.

Трудно вообразить себе что-либо более нелепое и неприглядное.

Я склонна думать, что эти несчастные животные смутно подозревают о своем уродстве, ибо они с величайшей тщательностью скрывают от посторонних глаз все части тела, какие могут скрыть без ущерба для здоровья; с этой целью они научились изготовлять себе нечто вроде поддельной кожи из коры некоторых растений или шерсти некоторых животных, что, однако ж, не мешает им выглядеть почти так же отвратительно, как если бы они оставались голыми.

Клянусь тебе, возлюбленный мой, что, увидев вблизи Человека, я ощутила гордость за то, что рождена Жирафой.

Ты знаешь, как легко нам сообщать друг другу все наши чувства и нужды посредством криков, квохтанья, урчания, а главное, посредством взгляда, в котором высказывается любое испытанное нами впечатление.

Судя по всему, жалкая порода, о которой я тебе толкую, обладала некогда теми же способностями, однако, увлекаемая гибельным инстинктом или, если верить свидетельствам мудрецов, подвергнутая неотвратимому наказанию, она вздумала заменить простой

язык природы почти безостановочным бормотанием, удручающим своей монотонностью и призванным сделать мысли как можно более темными; именуется оно речью.

Странное это изобретение служит Людям лишь для того, чтобы изъясняться самым непонятным образом, ибо лучшей они неизменно почитают речь наименее четкую и осмысленную — нечто расплывчатое, туманное, неопределенное; если этой невнятице хотят дать название, ее называют *идеей.*

На это слово выбор пал потому, что оно не значит ровно ничего.

Недоверчивый, сварливый, подчас шумный и враждебный обмен этими пустыми звуками именуется *беседой.*

Если два Человека провели за беседой три или четыре часа, а потом расстались, можно поручиться, что каждый из беседовавших по-прежнему пребывает в полнейшем неведении относительно мыслей другого и ненавидит его еще сильнее, чем прежде.

Да будет тебе также известно, что этот мерзкий зверь кровожаден от природы и питается плотью и кровью других животных. Однако ж, прошу тебя, не пугайся.

То ли от природной трусости, то ли от ужасной изощренности во всех делах, требующих неблагодарности и жестокосердия, пожирает он лишь тех несчастных животных, которые беззащитны и робки, которых легко поймать врасплох и которые, как правило, уже отдали ему свою шерсть или услужили каким-либо иным образом.

Вдобавок покушается он, как правило, лишь на своих соотечественников; к животным, прибывшим из-за границы, он относится с благоговением и осыпает их заботами и почестями, что, по крайней мере, доказывает, как мало это жалкое существо заблуждается насчет собственной ничтожности.

Человек разбивает парки для Газели, разукрашивает пещеры для Льва, он посадил для меня высокие деревья, с верхушек которых мне удобно объедать вкусную листву; он поселил меня на зеленой лужайке вроде тех, какие встречаются подле водоемов, он отыскал для меня гладкий и сухой песок вроде того, по какому я хожу в пустыне; он поддерживает в моем жилище всегда ровную температуру; одним словом, собратья его были бы безмерно счастливы, относись он к ним с подобной предупредительностью, с подобным вниманием, однако он об этом и не помышляет.

Когда он не испытывает нужды в себе подобных, то презирает их; нередко он их убивает, а по особо торжественным дням даже съедает.

В будние же дни — несравненно более часто, причем в те самые моменты, когда этого менее всего ждешь, — он затевает резню бесцельную и безрадостную.

Вызывает ее, как правило, либо звучный пустяк, именующийся словом, либо пустяк неизъяснимый, именующийся идеей.

За неимением естественных средств нападения, ибо в них мудрое Провидение ему отказало, Человек изобрел для этих ужасных схваток орудия смерти, которые неотвратимо разрушают все, к чему прикасаются, и по большей части представляют собою подражания тем орудиям, какими Природа наделила животных для их защиты: так, по примеру Единорога Человек гордо носит на боку длинную тонкую шпагу, а по примеру Саранчи — кривую острую саблю.

Больше того, он похитил у Всемогущего Господа тайну грома небесного и с отвратительным разнообразием множит его формы и цели.

Если источники этого грома невелики по размерам, он носит их на плече, придерживая передней лапой, если же они огромны и таят в своем железном чреве тысячи смертей, он катит их перед собою на четырех колесах.

Стоит людям не сойтись во мнениях насчет слова или идеи — а это, Бог свидетель, случается постоянно! — как они пускают в ход свои чудовищные машины, и та из сражающихся сторон, которая убьет больше всего народу, считается правой вплоть до следующей стычки.

Такой способ доказывать свою правоту, без сомнения внушающий тебе ужас, имеет даже особое название: он именуется славой.

Человек — не единственное говорящее животное, встречающееся в здешних краях.

Я часто вижу здесь другую особь, имя которой — Ученый. Ученые делают все воз-

ESSAI SUR L'HOM
PAR UN FOLYPE
SUIVI D'UN
HISTOIRE ANCIENNE
CRÉATION
DES
ANIMAUX
MOI
ANIMAL
TRAITÉ

можное, чтобы не походить на обыкновенных представителей человеческого рода, хотя на самом деле имеют с ними куда больше общего, чем хотят показать.

Первая отличительная черта Ученого — зеленая шерсть, которую он любит разукрашивать шитьем и лентами; впрочем, как я тебе уже сказала, все это только уловки, ибо под шерстью прячется животное, в точности похожее на самого заурядного Человека.

Другая, более характерная черта Ученого — это его язык, равного которому нет в мире.

Ученый нимало не заботится о той призрачной вещи, что именуется идеей и доставляет столько хлопот всем остальным представителям человеческой породы; его волнует лишь слово, худо ли, хорошо ли передающее эту идею, причем если слово это освящено традицией, он его употреблять ни за что не станет.

Труд Ученого состоит в том, чтобы пользоваться словами, произносимыми столь редко, что с таким же успехом их можно было бы не произносить вовсе, а главная заслуга Ученого — в том, чтобы каждый день изобретать новые слова, которые никому не понятны, для обозначения самых обыкновенных фактов, которые известны всем.

Поэтому Ученый безостановочно плодит эти варварские изобретения, внятные лишь ему одному. Непонятность их его нимало не смущает: ведь Ученый, чьи речи доступны каждому, не может считаться Ученым и притязать на зеленую шерсть; Человек становится Ученым, как Куколка — Бабочкой, в результате полного превращения.

Всякий Человек, отважно разглагольствующий на незнакомом языке, — не что иное, как Гусеница, из которой получается Ученый; чтобы довершить метаморфозу, ему остается только сплести себе кокон и заживо похоронить себя в книге, служащей ему Куколкой.

Большинство в самом деле там и умирает.

До сих пор я рассказывала тебе о том виде Человека, который именуется Мужчиной.

Существует, однако, и другая, куда более интересная и трогательная разновидность человеческой породы, зовущаяся Женщиной. Это несчастное животное, полное кротости, изящества, нежности, которое Мужчина завоевал в незапамятные времена и подчинил себе хитростью либо силой (точно так же он поступил и с Лошадью).

Объявляю тебе, презрев ложную скромность, что Женщина — самое грациозное животное на свете.

Мужчина, впрочем, оказывает на нее дурное влияние; она много выиграла бы, пребывая в одиночестве.

Видно, что ее мучает горестное сознание своего ложного положения, своей погубленной будущности.

Поскольку потребность любить есть едва ли не единственное ее чувство, поскольку ей совершенно необходимо любить что-то или кого-то, она порой внушает себе, что любит Мужчину, и начинает верить, что обретет в нем того идеального возлюбленного, с которым некогда разлучил ее подлый похититель; однако иллюзия скоро рассеивается.

Не успеет она покориться новому повелителю, как идеал улетучивается и воплощается в другом Мужчине.

Не думай, что вторая, третья, десятая попытки — ничуть не более удачные, чем первая, — наконец отвращают Женщину от этого призрака, вечно манящего и вечно убегающего.

Жизнь ее проходит в поисках неведомого спутника, который ей необходим и которого она, разумеется, никогда не находит.

Потому непостоянство справедливо считается одним из ее пороков или, точнее, одним из ее несчастий, ибо тому, кто предчувствует возможность разлюбить в будущем то, что он любит сейчас, не суждено наслаждаться счастьем.

Кроме того, Мужчины упрекают Женщину в тщеславии; впрочем, Мужчины, по своему обыкновению, говорят вздор.

Тщеславен тот, кто ценит себя слишком высоко, Женщина же всегда ценит себя по заслугам.

Знай она себя немного лучше, она с меньшим почтением покорялась бы навязанным тиранами смехотворным правилам, которые ей глубоко противны.

Например, искусственная шерсть, быть может, пристала Мужчине, который невообразимо уродлив, но Женщине подобная безвкусица вовсе ни к чему.

Впрочем, справедливость требует признать, что Женщина старается сделать свои покровы как можно более малочисленными, легкими и прозрачными, дабы прохожие могли угадать все, что она не смеет показать.

Если слухи о странных причудах, отличающих обитателей здешних краев, дошли до пустыни, ты удивишься, что, рассказывая тебе в таких подробностях о стране, куда меня привезли насильно, вопреки моим склонностям, я еще ни слова не сказала о *политике* этих людей, иначе говоря, об их манере править.

Дело в том, что из всех вещей, о которых во Франции рассуждают, не понимая их смысла, политика — вещь самая непонятная.

Послушай, что говорит о политике один человек, — и ты затруднишься его понять; послушай, что говорят двое, — и ты придешь в замешательство; послушай, что говорят трое, — и у тебя помутится ум.

Если же о политике говорят четверо или пятеро, дело очень скоро кончается рукопашной.

Видя, как, забыв о взаимной и, безусловно, вполне обоснованной ненависти, которую они испытывают друг к другу, Люди единодушно отдают дань почтения мне, я иногда приходила к мысли, что они решили признать меня своей повелительницей, тем более что я и в самом деле являюсь, насколько мне известно, единственным высокопоставленным существом, к которому они сохранили хоть какое-то уважение.

Было бы, между прочим, нисколько не удивительно, если бы самые сообразительные из них, не без основания напуганные досадными неудобствами вечных споров об источниках и полномочиях органов государственной власти (ты, к твоему счастью, не знаешь, что это такое), полюбовно согласились на единственно мудрое решение и стали бы выбирать себе повелителей по росту: это сильно упростило бы избирательную систему, сведя ее к простым обмерам.

Выход более чем разумный.

Несколько дней назад я едва не проникла в тайны политики до конца.

Я прослышала, что избранные Люди, от коих зависят судьбы страны, собираются в некоем месте, расположенном на берегу реки, и направилась туда.

В самом деле, у реки я увидала огромный дворец; все подходы к нему были забиты народом, а все помещения полны особ суетливых, шумных, громогласных, которые на первый взгляд отличались от прочих Людей лишь исключительным уродством, угрюмостью и брюзгливостью — свойствами, каковые я поспешила счесть плодами серьезных размышлений и важных дел.

Куда более меня удивила их чрезвычайная резвость, не позволявшая им ни секунды оставаться в неподвижности; дело в том, что по случайности я попала на самое бурное из заседаний.

Люди, представшие моему взору, бросались вперед, подпрыгивали вверх, соединялись во множество мелких группок, скалили зубы, прерывали противников угрожающими криками и жестами или пугали их отвратительными гримасами.

Большинство, казалось, желало только одного — как можно скорее возвыситься над своими собратьями, причем иные не гнушались ради этого ловко взбираться на плечи соседей.

К несчастью, хотя благодаря моему росту я занимала удобнейшее положение и могла следить за всеми движениями собравшихся, в зале стоял такой немыслимый гомон, что я не смогла расслышать ни единого слова и, потеряв терпение, совершенно оглушенная воплями, скрежетом, свистом и шиканьем, ушла восвояси, даже не пытаясь строить догадки о предмете и результатах спора.

По мнению некоторых наблюдателей, все заседания в большей или меньшей степени

---

[1] Очевидно, что Жирафа стала жертвой заблуждения — впрочем, совершенно невинного. Она убеждена, что посетила *Палату депутатов*, однако, заточенная в Королевском зоологическом саду, она не имела возможности побывать в этом заведении и описывает на самом деле не его, а *Главный обезьянник*.

походят на виденное мною, что избавляет меня от необходимости повторять свои визиты[1].

Я намеревалась сообщить тебе несколько образцов того языка, на котором говорят теперь в Париже, и лишь затем отдать письмо переводчику, но он утверждает, что это испортит ему слог, да к тому же, по правде говоря, мне трудно удержать этот жаргон в памяти.

Ты составишь о нем достаточное представление по тем тирадам, какими обменялись возле моей вольеры высокий молодой Мужчина с бородкой как у Бизона, и прелестная молодая Женщина с глазами как у Газели. Стремясь объяснить причины своего длительного отсутствия, юноша сказал:

— Меня занимали, прекрасная Изолина, могущественные идеи, которые великодушное сердце, бьющееся в вашей женской груди, поможет вам угадать. Помещенный волею дарованных мне способностей в один из высших разрядов, на какие подразделяются адепты совершенствования, и погруженный уже долгое время в филантропические спекуляции гуманитарной философии, я стремился начертать план политического энциклизма, призванного морализировать все народы, гармонизировать все установления, утилизировать все свойства и прогрессировать все науки; но все это не мешало мне, движимому самым страстным из притяжений, устремляться к вам, и я...

— Стойте!— перебила его Изолина с достоинством. — Не подумайте, чтобы я оставалась чужда этим высшим соображениям, и не полагайте, будто душа моя способна пленяться соблазнами грубого натурализма. Гордясь вашей будущностью, Адемар, я вижу в чувстве, нас связующем, не что иное, как дуализм симпатий, из которых обоюдный инстинкт тяготения создал в конечном счете единый симпатический индивидуализм, или, говоря проще, слияние двух изогенных идиосинкразий, ощущающих потребность в симультанизации.

Затем беседа продолжилась шепотом и, полагаю, сделалась более внятной, ибо, когда юный философ простился с Изолиной, дабы избежать встречи с ее провожатым, он сиял от гордости и довольства.

Мог ли ты вообразить, что, вместо того чтобы сказать «я вас люблю», люди способны прибегнуть к столь чудовищной галиматье?

Впрочем, если это и не самый удобный способ изъяснения своих чувств, то, бесспорно, самый изысканный, и существуют прославленные остроумцы, которые взяли себе за правило говорить исключительно на таком языке.

О, как не терпится мне, возлюбленный мой, поскорее вернуться в страну, где говорят *по-жирафьи*!..

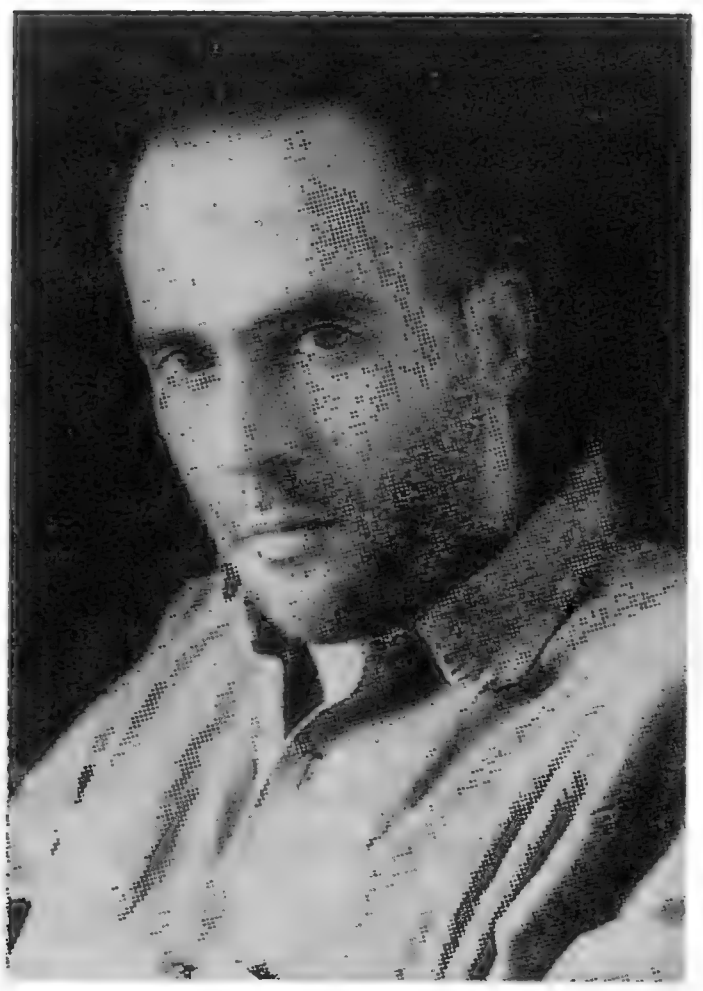
P.S. Хотя начальное образование в *Жирафии* еще не введено и, пожалуй, не будет введено никогда, ибо в наших пустынях никто этим не озаботится, буквы, из коих составлено мое письмо, сами собой сделаются понятны твоему взору и твоей мысли.

Они начертаны под мою диктовку Человеком, который разумеет язык Животных гораздо лучше, чем свой собственный, что, впрочем, похвала небольшая; Человек этот мне приятель, и однажды я представлю его на твой снисходительный суд.

Я достаточно хорошо изучила этого беднягу и осмеливаюсь утверждать, что он сделался Человеком лишь оттого, что не имел выбора, и что, будь на то его воля, он охотно пожертвовал бы теми правами, какими обладает сей глупый род, дабы оказаться в шкуре любого другого Животного, большого или маленького — не важно, лишь бы оно было порядочным.

ЖИРАФА.
С подлинным верно.
Переводчик Шарль Нодье

■



ТИБОР ФИШЕР

Коллекционная вещь

РОМАН

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

Eszternek[1]

И отдали Иакову всех богов чужих,
бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них;
и закопал их Иаков под дубом...
Бытие, 35, 4

Имя моим владельцам — легион.

Будущий: старый, тучный, шаро-о-о-о-образный. Растительность небогатая: сто один волос — ни больше ни меньше. Челюсть боксерская. Лицо плавится от веса и возраста. Баллон. Накачанный жиром баллон. Коротышка: ремень, которым он подпоясан, и тот длиннее. Хозяин жизни. Хозяин жизни за номером десять тысяч четыреста шестьдесят два-а-а-а.

— Смедли с вами свяжется, — гнусит.

Нынешний: аукционист. Вернее, аукционистка. Продает всем всё. Под синим гофрированным твидом красный индийский хлопок. Чулки — десять денье. Кроваво-красная помада. Мастер своего дела; имеет ребенка. Солидные мужчины, точно маленькие собачонки, скулили между ее крутых бедер, однако спутника жизни она так покамест и не заимела.

— А я-то думала, вы его держите, исключительно чтобы привлекать к суду своих родственничков.

Хозяева жизни в юморе не сильны. Власть и юмор отлично обходятся друг без друга. К популярности хозяева жизни не стремятся. Этот, впрочем, дает понять: он — исключение, пытается, как видно, убедить сам себя, что его сильные стороны — обаяние и остроумие, а никак не миллионы. Водятся среди хозяев жизни и такие.

— Ну, не скажите. — Осклабился. Криво — всего на двадцать три процента суммарного оскала. — Но только если экспертиза подтвердит ее подлинность.

Подлинность?! Подлинным до меня далеко. Я — не подлинник, я — оригинал, по сравнению с которым все остальные оригиналы — жалкие копии.

Она: Я в этом почти не сомневаюсь.

Он: А вы обратитесь к Розе?

Она: Сегодня же.

Он: Хорошо. Розе я доверяю. Очень доверяю.

Улица — мощеная. Называется «Кинг У. 1». Город — Лондон. Страна — Англия.

---

[1] Посвящается Эстер (*венг.*).

© Tibor Fischer, 1997
© А. Ливергант. Перевод, 1999

Последний раз на берегах Темзы мне случилось быть две тысячи шестнадцать лет назад. Не могу сказать, чтобы мне этой речки очень не хватало, хотя несколько весьма любопытных захоронений здесь имеется. Вообще, окрестности меня мало интересуют. В конце концов, все так или иначе происходит либо на берегу реки, либо на дне. Посмотрите на реку внимательно, и вы увидите, что она мерцает и вспыхивает, будто прорезавшая небо молния. Струи рек, точно моча пьяницы, что мочится на ходу, качаясь и падая, разлились по всей земле.

— Сейчас пойдет дождь. — Он явно обеспокоен. На небе крошечное облачко. Ставлю, однако, пять тысяч против одного, что дождь пойдет уже через несколько минут.

— Если я попаду под дождь, у меня может начаться кровотечение. — Хочет, чтобы его пожалели.

Она кивает — не без некоторого лукавства. Он же воспринимает ее кивок как выражение сочувствия. Лишь бы было сочувствие, пусть и пополам с лукавством. Я-то воспринимаю ее кивок совсем иначе: аукционистка еле сдерживается, чтобы не расхохотаться ему в лицо, — мало того что он хозяин жизни, он еще и шут горох-ох!-ох!-ох!-овый, многоэтажная автостоянка, забитая ржавыми колымагами, бабуин, который своими ужимками покойника рассмешит. Из десяти с лишним тысяч бывших моих владельцев он, пожалуй, входит в тысячу самых потешных, хотя допускаю: если провести в его обществе определенное время, он может попасть и в первую сотню. Среди моих коллекционеров смешнее его нет уже сейчас.

Аукционистка смотрит на небо, словно раздумывая, чем оно для нее чревато, — а может, просто чтобы скрыть улыбку. Хозяин жизни он хозяин жизни и есть — денежный мешок. У него-то денег куры не клюют, а у нее клюют, и даже очень! С таким расслабляться нельзя — еще надуется (больше обычного) и откажется. А ведь ей нужны деньги — иначе бы она не пошла на незаконную сделку, без аукциона, в расчете на левый заработок. Что ж поделаешь, мать-одиночка. Поджала губки: если ты такая умная, почему ты такая бедная? «Да, — думает, — чем больше знаешь, тем меньше имеешь».

При моих-то медицинских познаниях (в объеме трех институтов вместе взятых) я никогда не видела, чтобы капли дождя превращались в капли крови, тем более что хозяева жизни, несмотря на все их жалобы и капризы, живучи как кошки. Бросайте их с десятого этажа, опускайте вниз головой в кратер вулкана, бейте батогами — они все равно будут как ни в чем не бывало копаться у себя в душе — или в промежности. Не было еще ни одного хозяина жизни, которого бы загнал в могилу теплый летний дождичек.

Машет стоящей на углу машине. Типичный лимузин, в котором ездят хозяева жизни: затемненные стекла — это чтобы прохожие ненароком не заглянули, не потревожили, не дай бог.

— Не люблю машин. Что такое машины? Железо. Гигантские металлические монстры, носятся по улицам, норовя врезаться друг в друга. Орудия убийства, если вдуматься. Безумное изобретение.

Он в панике: до машины целых восемь футов — как бы не промокнуть! Тревожно прядет ушами: в машине ведь и в аварию попасть недолго. Миллионеры — несчастные люди, им не приходит в голову завести сигнализацию, человечка, который бы сидел у них в кармане и в нужную минуту предупреждал об опасности: «По-о-оберегись!» Миллионы лишают миллионеров степенности, уверенности в завтрашнем дне. Они могли бы нанимать на эту работу бедняков и менять их, как меняют батарейки, если те, от сидения в роскошных ресторанах и хождения по дорогим бутикам, потеряют бдительность.

— Вы такая счастливая, что у вас нет денег, такая счастливая, — мычит он, и иностранный акцент возрастает у него с минимальных восемнадцати до максимальных двадцати девяти процентов. — Если у вас есть деньги, вам не дадут покою. Ни днем ни ночью. На меня, к вашему сведению, работают семь бухгалтерий. Вторая проверяет первую, третья — вторую, четвертая — третью. И так дальше. А первая проверяет седьмую. И даже если они не воруют, то зарплату требуют себе такую, что лучше б уж воровали. Ну а родственники... несть им числа. Сейчас мне ничего, кроме этого вашего сосуда, не надо.

— Почему ж тогда у вас такой несчастный вид?

— Боюсь, обманут. Наверняка кто-то уже пронюхал, что именно такого мне не хватает в моей коллекции.

— Зачем вам столько денег, Мариус? Поделились бы.

— К чему вам деньги? Банки лопаются. Компании разоряются. Трещат по швам даже самые процветающие банки в самых процветающих странах. Цивилизации мрут, точно мухи. Жить страшно. И с каждым днем все страшней. Вы даже себе не представляете, что творится на белом свете. Розе от меня большущий привет.

Сколько каждое его слово ни разжевывай, сколько ни обсасывай — иронии ни на грош. Таких, как он, у меня набралось всего-то сто пятнадцать, он — сто шестнадцатый. Ковыляет к машине. Вид пресмешной: сказываются и вес, и возраст, и припрятанные под сорочкой золотые слитки. Золото. Золотое дно и золотая лихорадка, предел мечтаний и вечный искуситель, к тебе тянутся богатые и бедные, образованные и неграмотные — ты же не даешься никому. Судорожно сжимает в левой руке огнетушитель — нанял бы носильщика, бедолага, — не разорился.

Мы же с аукционисткой садимся в кособокий драндулет и катим на юг, на другой берег. «За что? — вопрошает она. — За что?»

За время пути риторический этот вопрос она повторила шестнадцать раз — то глотая слезы, то со смехом. Вопрос номер один. Из миллиардов вопросов, которые я зафиксировала, этот встречается чаще всего. Задается, как правило, со вздохом. Крик души. Как, впрочем, и любой другой вопрос.

Но дать ей вразумительный ответ я не могу.

Роза

Знаем, видали, слыхали.

Признавайся, ты считаешь, что тебе не везет? Что работа у тебя преотвратная? Что жизнь не сложилась?

А у меня, по-твоему, сложилась? Чего со мной только не делали! Не выделывали. Не вытворяли. Куда только не выбрасывали. За что только не выдавали. Кем только я не была! И чашкой для взбивания мыльной пены, и уксусницей, и урной с прахом, и шкатулкой для драгоценностей, и вазой, и мышеловкой, и чашей для вина, и бетономешалкой, и ночным горшком, и мензуркой, и орудием смерти, и дверной затычкой, и абажуром, и плевательницей, и ведерком для угля, и птичьим насестом, и музейным экспонатом, и божеством, и пепельницей. Если молчать как рыба и все покорно сносить, то люди из тебя и не то сделают! Так что и у меня жизнь не сахар — а ведь я пять тысяч языков знаю (языков, наречий, говоров — как хочешь называй).

Она ставит меня на низкий столик, складывает на груди руки и пристально смотрит.

— Рассказывай.

Придет же в голову требовать такое от вазы, пусть и тонкостенной вроде меня, пусть и напоминающего голову скорпиона гончарного сосуда, что в Месопотамии, за шесть с половиной тысяч лет до рождения Розы, считался последним писком моды! Гончарные изделия, как известно, особым многословием не отличаются, поэтому подобное обращение к сосуду, даже такому, как я, нескудельному, — чистое безумие. Роза же на безумную вроде бы не похожа.

Вы не поверите, сколько раз со мной заговаривали. Увы, неодушевленность от утомительных и пространных излияний не спасает. Верно, люди предпочитают разговаривать с людьми, на худой конец — с кошками и канарейками, но, в отсутствие и тех и других, излить душу готовы и глиняной посудине. Впрочем, верещать при наличии соответствующей акустики могу и я. Верещать до тех пор, покуда и эта юная дамочка, и ее квартира, а также эти дом и город не канут в вечность.

Мне, если честно, не вполне понятно, что здесь происходит. Последнее время меня коллекционируют исключительно люди солидные. Денежные мешки. Толстосумы. Богатеи. Помешанные на деньгах скупердяи, они трясутся надо мной, сдувают с меня пыль. В качестве кухонной утвари меня уже не используют давно, но я та-а-ак устала от пренебрежения, от того, что какой-нибудь болван без зазрения совести держит во мне скрепки, кнопки, булавки и прочую дрянь.

Благоговения — вот чего мне не хватает. Представьте мою родословную, почтенный возраст и кругозор — и вы поймете: среди гончарных изделий мне нет равных. Сколько мне лет? Много. О-о-очень много. Не сосчитать.

Разборчива ли я? Да, коллекционеров я предпочитаю богатых и почтительных. Люблю богатеев и дуралеев, которые, случается, бывают довольно омерзительны, но в принципе готова стать собственностью и человека среднего достатка, даже неимущего.

Роза: трогательна, уважительна, рассудительна.

Разглядывает меня пристальным взором специалиста — тем более пристальным, что не все мои предыдущие владельцы отличались, прямо скажем, честностью и неподкупностью, а также всеми теми качествами, что вселяют уверенность в покупателя, особенно если речь идет о чаше, коей нет краше.

Ученые любят белые жилеты и нахмуренные брови — и то и другое придает им значимости. Обожают бутафорию: лекало, микроскоп, мензурку. Их открытия меня не трогают: если не знаешь, что ищешь, найти мудрено.

Роза, как видно, работает дома. На въедливых специалистов по черепкам и руническим письменам она что-то не похожа. Кое-какие книги в квартире имеются, но у истинного ученого мужа их было бы куда больше. Одежды на ней, покуда она вертит меня в руках, — самая малость, да и та оставляет желать... На таком черном белье, как у нее, далеко не уедешь.

Почесала поясницу ногтем большого пальца левой руки, а затем выпрямилась и ухватила меня за бока. Не так, как все, — по-новому. Этого я никак не ожидала.

Она — живая.

Так меня еще никто никогда не держал. Это — не прикосновение, это — нечто большее.

Представьте, что вы уже давным-давно живете один и вдруг слышите, что дверь, которая не должна открываться, открывается, шаги, которым неоткуда взяться, приближаются. Комната почему-то вдруг освещается, одежды почему-то вдруг ниспадают, пробегает ветерок. Впервые в жизни я вдруг понимаю, что значит быть обнаженной.

Она добивается своего. Она меня слышит. Видит. Насквозь.

Меня обвели вокруг пальца. Всего-то в четыреста двенадцатый раз. Нет, Роза не дотошный каталогизатор, не какой-нибудь там книжный червь. Она берет другим. Интуицией. Берет бедную старинную вазу — и делает с ней что хочет.

Про занимающихся ворожбой мне, разумеется, хорошо известно — как, впрочем, и про всех остальных людей на свете, но, по правде говоря, в чем заключается их искусство, до сих пор остается для меня загадкой. Судьба сводила меня лишь с тремя прорицателями: с бывшим вязальщиком канатов в долине Инда, со слугой в Сиаме и с художником-колористом.

Что же до лжепрорицателей, то их в моей коллекции насчитывается аккурат сто двадцать тысяч четыреста сорок два. Самым младшим был восьмилетний шаман; малышу свернули шею после того, как его соплеменники стали лагерем, который шаман во всеуслышание объявил несмываемым и который через час был смыт невиданным по силе наводнением. Самым старшим — девяностодвухлетний знахарь из Византии; на протяжении семидесяти пяти лет он регулярно предсказывал результаты состязаний на колесницах и ни разу не угадал. У азартных игроков, надо признать, он пользовался немалым авторитетом: убедившись спустя двадцать лет, что свой выбор этот горе-прорицатель делает не в пользу победителей, они сообразили, что по крайней мере одну колесницу в заезде они могут в расчет не брать.

Несколько слов об истинных прорицателях. Бывший вязальщик канатов пользовался спросом во время куда более вульгарных и, чего греха таить, постыдных развлечений. Работая языком — инструментом своей обостренной интуиции, — он проникал в святая святых танцовщиц и извлекал на свет Божий никому доселе не ведомые тайны, как-то: где они родились, чем зарабатывали на жизнь их отцы, что им запомнилось из детства, какой их любимый цвет, что они любят и к чему стремятся, а также как зовут их ближайших друзей и какие драгоценности они предпочитают. Ответы на все эти вопросы прочитывались лишь в слабом подрагивании членов прорицателя, однако у зрителей неизменно вызывали громоподобные аплодисменты. Отдавая дань сему несомненному дару, следует все же сказать, что подобные сведения можно было бы почерпнуть и посредством таких традиционных источников информации, как нескромные вопросы и/или скромные подношения.

Слуга из Сиама. Этот всегда безошибочно угадывал, когда пойдет дождь, благодаря чему пользовался огромной популярностью у местных торговцев и охотников, однако

принять участие в оргиях его (насколько мне известно) не приглашали ни разу. Увы, он так и не сумел променять престижный статус провозвестника дождя на прибыльный статус повелителя водных стихий. (Последних в моей коллекции насчитывается пятьсот тридцать девять, из них двадцать два настоящих, девятнадцать сомнительных и четыреста девяносто восемь мошенников.)

Непревзойденная повелительница дождя

Она явилась в селение неподалеку от Кёльна, где дождя не было уже почти год. Из восьмидесяти жителей семьдесят одной ногой стояли в могиле и уже заносили вторую ногу.

— Я пролью на ваше селение дождь, — пообещала она, — но лишь в том случае, если мужчины, которых я сама выберу, будут любить меня три дня кряду. После этого еще три дня будет идти дождь.

Лучшие мужи селения выслушали это предложение со смешанными чувствами, однако повелительница дождя не замедлила продемонстрировать им свое искусство, обрушив на селение спасительный ливень, продолжавшийся ровно десять минут и пролившийся над территорией в три квадратные мили. Прямо скажем, не все женское население деревни безоговорочно согласилось с выдвинутыми условиями, однако мужчины свой долг исполнили. Поднявшись с земли и одернув юбку, кудесница ниспослала влагу — сначала лишь несколько крошечных капель, затем сильный дождь и, наконец, ливень такой силы, что утолить жажду смогли даже те мужчины, которые в любовных утехах участия не принимали. Земля пропиталась водой, бочки наполнились до краев, лужи растеклись в водоемы, реки вышли из берегов. Прекратился дождь ровно через семьдесят два часа, двадцать минут и двенадцать секунд после того, как начался, — словно природе трудно было уложиться в трехдневный срок.

— Великолепно, но ведь у нас не было дождя почти год, и кто знает, когда он пойдет вновь, — обратились к повелительнице дождя лучшие мужи селения. — Может, заключим еще один взаимовыгодный договор на тех же условиях?

Сказано — сделано. На этот раз на помощь мужчинам пришлось прийти и кое-кому из женщин, ибо из-за многомесячной засухи и трехдневных любовных услад мужчины настолько вымотались, что оказались никуда не годны. Вознаграждение не заставило себя ждать: на этот раз ливень длился семьдесят шесть часов подряд — по всей видимости, при повторном заказе предусматривалась солидная скидка.

Когда же повелительница дождя собралась уходить, дабы оказать помощь в борьбе с засухой другим селениям, ее остановили:

— Мы несказанно благодарны тебе за доставленное удовольствие и за обильный дождь, однако, судя по всему, ты в сговоре с дьяволом, а потому, уж не обессудь, придется сжечь тебя живьем. Ничего не поделаешь.

С этими словами жители селения привязали повелительницу дождя к столбу, однако разжечь костер не сумели — дождь лил как из ведра. «А может, просто шарахнуть ее разок по башке?» — предложил кто-то. Ливень стоял стеной шесть дней подряд, так что люди передвигались ощупью, и прекратился вскоре после того, как повелительница дождя утонула вместе с теми жителями, которые по слабости и никчемности были брошены на произвол судьбы. На месте селения образовалось гигантское озеро, чьи воды еще долго считались ядовитыми. На дне этого озера я пролежала много лет, прежде чем меня извлекли на поверхность. Лучше б не извлекали... Только пять раз судьба моя складывалась еще хуже, чем в тот раз... Но — довольно об этом.

Роза + Ваза = ...

Роза застала меня врасплох. Видит меня насквозь. Знай я, чем это чревато, рассказала бы ей чего попроще, попристойней...

Вот, пожалуйста: Шумерия. Травка зеленеет, солнышко блестит. День публичной казни. Я — кухонная утварь, смирная и покладистая, служить готова всем и каждому. Ешьте, гости дорогие. Не наелись с вечера, проголодались — накормлю, я — хранилище местных запахов, вместилище рыбы и мяса. Перехожу из рук в руки.

Я — чаша.

Полная чаша.

С верхом. Чего только во мне нет! Одной злобы и зависти накопилось за тысячелетия столько, что, если б Роза смогла сорвать с меня личину, разглядеть, что скрывается за потрескавшейся от времени глины, — ослепла бы, лишилась рассудка.

К девяноста двум видам всевозможных сюрпризов, коим я была свидетельницей, теперь прибавился еще один, девяносто третий: впервые за миллионы лет думающую керамическую вазу застали врасплох — и где?! В дешевой двухкомнатной квартирке, в непрестижном районе южного Лондона.

— Какая ты у меня оригинальная, — говорит Роза и опускает меня на стол — неформальным общением со мной она, похоже, полностью удовлетворена. Глаза сверкают. Еще бы — такого наслушаться! Но — хорошенького понемножку: изливать ей свою бессмертную душу каждый день я не намерена. Заглянула в бездонный колодец — и хватит.

Внимательно меня изучает. Ее взгляда я не боюсь, изучай-изучай, все равно ничего не изучишь, я боюсь ее прикосновений, рук, пальцев. Теребит серьги — турмалин в спиралевидной серебряной оправе. Серьги чем-то напоминают одинокого воина, отбивающегося от противника на горном перевале. Она, впрочем, этого не знает. Не знает, но чувствует.

Что до цвета ее глаз, то всего в моей коллекции десять тысяч девятьсот сорок девять основных оттенков. У Розы глаза серые, такой цвет я называю «цветом кефали». По всей вероятности, она пытается прикинуть, сколько я стою. (Роза работает на аукционистку и должна знать, во что такая ваза может обойтись покупателю.)

Посмотрим, чего стоит она, Роза. Двадцать шесть лет. Рост и вес — как в модном журнале: пять футов четыре дюйма, сто двадцать пять фунтов. Волосы каштановые. Из пятидесяти двух оттенков каштанового цвета у нее тот, что я именую «генуэзским каштановым». На торгах приличную цену за нее бы не дали: мужчины предпочитают платить деньги за броскую, роковую красоту. Юмор, обаяние на мужском рынке не котируются, хотя в прохладном сумраке спальни самцы наверняка оценили бы ее по достоинству.

Уходит живописать картины прошлого за прикрытыми веками. Мое пристанище, голая квадратная прихожая, погружается во мрак. Одиночная камера, куда без суда и следствия брошена глиняная посудина.

За приоткрытой дверью спальни Роза, выхваченная из темноты снопом яркого электрического света, готовится ко сну. Срывает одежды. Груди: всего-то двести двадцать видов; ягодицы — двести восемьдесят четыре. Я веду учет. Фиксирую. Делаю свое дело. Форма пупка — номер шестьдесят семь из общего числа две тысячи двести тридцать четыре. «Лысый мертвец» называется.

С пупком «лысый мертвец» в моей коллекции собраны двадцать пять землепашцев, девятнадцать лиц неопределенной профессии, пятнадцать пастухов, четырнадцать воинов, десять служанок, девять швей, семь пекарей, шесть шлюх, пять поваров, пять представителей благородного сословия, три дискобола, три певца, три переписчика, два паромщика, два флейтиста, две кружевницы, два монарха, два раба, два винодела, а также бакенщик, красильщик волос, лентопродавец, маркитант, мученик, насыпатель долменов, ничтожество, павлинолог, палеонтолог, подбиральщик подвыпивших прощелыг, порицатель пороков, птицелов, самбуковед, собиратель колючей проволоки, спинонатиральщик, торговец свечами, установщик межевых столбов, устрициолог.

Мрак расползается повсюду; шумы, что в дневное время не слышны, теперь звучат в полную силу. Все неодушевленное при посредстве ночи одушевляется. Платяные шкафы стонут и ворчат, стулья судорожно вздрагивают, доски пола суетливо ерзают. А я вслушиваюсь.

Проходит два часа пятьдесят три минуты. Дремотную тишину взрывает оглушительный звонок. Оглушительней не бывает.

Роза, качаясь со сна, встает и нажимает кнопку домофона.

— Кто это? — Слова даются ей с большим трудом.

— Это Никки. Простите, что так поздно.

— Вы не в ту квартиру звоните.

— Вы ведь Роза? Корнелия вам ничего не передавала?

Нетвердые шаги в коридоре, незваная гостья впущена. Вижу ее мельком. Вся как на шарнирах, походочка пружинистая, деловая, на спине рюкзак. На вид лет тридцать, никак не больше. И не меньше. Я еще не теряю надежды заполучить в свою коллекцию нос под номером сто шестьдесят семь, нос же Никки, к сожалению, укладывается в сто шестьдесят шесть разновидностей, которые у меня уже имеются. Порядковый номер ее носа — восемьдесят восьмой, или «бегония». Это тот самый нос. Таким носом я наделила Лаису, когда превращалась в чернофигурную вазу в том стиле, который сейчас принято именовать «горгонским» (и который в действительности является моим собственным).

Никки — с дороги. Похоже — с большой. Она во всех подробностях повествует, как добиралась сюда на попутках из Испании. И то сказать, от нее пышет поистине южным жаром. Роза, хотя ее среди ночи подняли с постели, слушает о злоключениях таинственной пришелицы не без интереса.

Никки извиняется, она не понимает, как так получилось, что Корнелия, ее венская подруга, Розу не предупредила. Извиняется многократно, раз двадцать, не извинившись лишь за одно — за то, что соврала. Существует девяносто один способ говорить правду — и девяносто второго я не услышала. Зато я услышала пятьдесят девятый способ вранья (из существующих двухсот десяти), который в моей коллекции именуется «дикая земляника».

Однако Роза, которая больше всего на свете хочет поскорей залезть под одеяло и, в отличие от меня, правду и ложь не коллекционирует, отводит Никки в гостиную и вручает ей комплект постельного белья.

— На сколько я могу здесь задержаться? — интересуется Никки, прекрасно понимая, что в данный момент вопрос этот неактуален. Отсрочка ей обеспечена. Итак, перед нами существо, которое не погрешило против истины лишь однажды — назвав свое имя.

Никки у Розы

Мрак рассеивается — утро. Роза встает с постели и начинает собираться, вовсе не стараясь при этом поменьше шуметь. Никки, напротив, признаков жизни не подает, ибо понимает: невозможность вступить в беседу с хозяйкой дома означает невозможность вести дискуссию на столь животрепещущую тему, как злоупотребление гостеприимством.

Оставив записку на предусмотрительно накрытом к завтраку кухонном столе, Роза отбывает, после чего, с не меньшей предусмотрительностью отсчитав пять минут (на тот случай, если Роза вдруг вернется, либо что-то забыв, либо сделав вид, что забыла), Никки врывается на кухню и набрасывается на еду с тем аппетитом, с каким поглощаются только бесплатные завтраки. Чаем с молоком из дешевой фаянсовой кружки завтрак не ограничивается. Никки отдает должное трем круассанам, стольким же кускам холодного ростбифа, а также банке маринованной свеклы, крышка которой упорно не желает открываться. Оставив свеклу в покое, она смерчем проносится по квартире, заглядывает во все углы, где хранятся обычно самые интимные вещи; ничего не находит, раскрывает от нечего делать Розин дневник — и тут подает голос домофон.

По-хозяйски нажав на клавишу домофона, Никки прислушивается к голосу снизу, деловито, чтобы к слуховому впечатлению добавилось зрительное, выглядывает в окно, бормочет: «Но не больше четырех минут» — и впускает в квартиру двадцатидвухлетнюю негритянку, на вид продавщицу, с семью экземплярами какого-то журнала под мышкой. Негритянка несколько смущена: во вторник утром, да еще пасмурным, выслушивать лекцию об устройстве мироздания лондонцы обычно не расположены.

Не будучи самым искусным оратором на свете, она тем не менее приступает к затверженной евангелической лекции. Строчит как из пулемета. Никки ее не перебивает. Загадочно улыбается — чему-то своему.

Через четыре минуты двенадцать секунд после того, как Свидетельница Иеговы переступила порог Розиной недвижимости, она начинает, не без посторонней помощи, раздеваться. Через шесть минут десять секунд ее одежда прикрывает лишь затянутый ковром пол. Свидетельница Иеговы, надо полагать, захвачена врасплох — особого сопротивления она не оказывает. В следующий момент с ней начинают твориться вещи,

которые прежде она и представить себе не могла и о которых, очень может быть, ни разу в жизни даже не слыхала. Трудно сказать, с чем ей приходится бороться в первую очередь: с тем удовольствием, которое она испытывает, или с самой собой. Жаль, что в Священном Писании нет соответствующих иллюстраций.

В этом году, в этом топосе Свидетельница Иеговы не столь обольстительна, чтобы репортеры вручали ей на улице свои визитные карточки. А между тем, по моим подсчетам, из шестисот сорока видов обольщения двадцать приходится на дурнушек.

Никки извивается, как змея. В прошлом она либо танцовщица, либо гимнастка. И вдобавок искусная пловчиха. Девчушка, надо полагать, была подвижная, с норовом. Такой палец в рот не клади. И не только палец. Со своим телом — на ты. Ничего не ест, кроме дольки апельсина или сухой корочки. Правда, когда платит не она, аппетит просыпается. Таким не страшны бубонная чума и кровопролитный бой, непролазные джунгли, разрушения, пожары и ледяные волны.

Свидетельница Иеговы вывернута наизнанку: так выворачивают блузку, когда хотят выгладить ее с обеих сторон. Это напомнило мне те очертания, которые я однажды приняла шутки ради, в результате чего меня приобрел коллекционер из Люксембурга и тут же заточил в сейф — тяжкая участь для любого уважающего себя произведения искусства. (Каковы же были его недоумение и ярость, когда в тиши и сумраке сейфа я предстала перед ним респектабельной веджвудской вазой!)

С такой же сноровкой Никки одевает ошарашенную евангелистку и выставляет ее за поро-о-ог. Всё про всё — пятьдесят девять минут. Вот что значит опыт! Тяжело в учении — легко в бою.

Вся первая половина дня уходит у Никки на омовение и нескончаемые телефонные разговоры с далекими и таинственными абонентами. В стиральную машину она дважды загружает белье, первый раз — из рюкзака, второй — с себя; и то и другое грязное настолько, что принимает форму тела без его посредства. Роется в кошельке: семь фунтов тридцать три пенса, плюс сто песет одной бумажкой.

В процессе второй стирки стиральная машина отправляется на тот свет. Никки безутешна.

В отличие от нее, Роза, вернувшись, воспринимает безвременную кончину бытовой техники на удивление спокойно.

Чаепитие. Первое.

Трескотню Никки Роза слушает вполуха, как будто преставилась не ее стиральная машина, а чья-то другая. Извинения обрушиваются на нее с неудержимой мощью Ниагарского водопада.

— Простите... Извините меня. Всё у меня... не как у людей... За что ни берусь... — Голос срывается, бедняжка давится от подступающих к горлу рыданий. Стыдливо поникла головой. Слезы гулко стучат по кухонному полу — каждая слезинка на вес золота. Сколько женщин точно так же заливались слезами на моих глазах! Миллионы? Миллиарды? 4 мая 1216 года я перестала вести им счет. Женские слезы — искренние, обильные — бальзам на душу обманутого возлюбленного. Так было и так будет. Никки, впрочем, слишком хитра и не переигрывает. Роза слишком умна и чувствует, что ее водят за нос. Но дела это не меняет. Старый трюк всегда лучше новых двух.

— Это ужасно... Что я натворила... Дайте мне несколько минут на сборы, и я избавлю вас от своего присутствия.

Но несколькими минутами присутствие Никки, понятно, не ограничивается. Вновь проливается ливень искупительных слез, за которым, в ответ на предложение Розы с отъездом не торопиться, следует град благодарностей, после чего Никки медленно, словно бы через силу, извлекает на свет Божий порядком потасканную историю о том, почему жизнь у нее не сложилась и как однажды она попыталась с этой жизнью «развязаться».

Роза вежливо выслушивает прописные истины вроде: «Надо же, свалилась на вашу голову!», «Намучаетесь вы со мной!», «Лучше б мне уехать!» Воображение у Никки под стать телу — небогатое и податливое. Врет она безо всякого напряжения — как воду пьет. По опыту общения с такими же «залетными птицами» знаю: они будут цепляться за жизнь до последнего и посягнут на нее, пожалуй, лишь под воздействием непереносимой боли.

Опять рыдает: бар в Испании прогорел, сбережения улетучились, любимый мужчина — форменный зверь: бил, измывался. Садист. Рыдания неожиданно прекращаются.

— А вы кто по профессии? — Никки резко меняет тактику. Теперь она апеллирует не к сердцу своей собеседницы, как прежде, а к здравому смыслу.

— Искусствовед.

Никки делает большие-пребольшие глаза: надо же показать, как она потрясена и как Розе повезло, что у нее такая профессия. Скажи Роза, что она метет улицы или работает на птицефабрике, — и Никки пришла бы в восторг ничуть не меньший.

— Это как понимать?

— Я устанавливаю подлинность произведений искусства. Если кто-то обнаружил картину или, к примеру, вазу, подлинность которой вызывает сомнение, моя задача — установить, оригинал это или подделка, к какому периоду эта картина относится и так далее.

— Фантастика.

— Вазочки иногда попадаются прелюбопытные...

— И как же вам удалось устроиться на такую работу?

— Начинала секретарем на аукционе. Ну а потом... набралась опыта. Но работа эта не простая, не думайте. Приходится иметь дело со старыми, толстобрюхими, изверившимися импотентами; им не по душе, когда кто-то, да еще вдвое их моложе, да еще женщина, приходит и во всеуслышание заявляет, что их экспертиза ни к черту не годится. Что ж, понять их можно: когда ты старый, толстобрюхий, изверившийся импотент, установление подлинности произведений искусства — это все, что тебе остается.

— Чтобы выучиться ремеслу, нужны годы...

— Никак не меньше.

— На чем я и погорела. Мне так и не удалось найти дело по душе. Чем я только в жизни не занималась: и танцовщицей на туристических пароходах была, и официанткой работала, и шофером, и билеты продавала, даже в охранном бюро служила — в общем, делала все, за что плохо платят и от чего удавиться хочется. Такие занятия — ни уму ни сердцу. Какая ж вы счастливая, что у вас работа интересная. Но я вас заболтала, у вас, наверно, дела. Мужчина небось ждет.

— Нет, по счастью, этих забот у меня пока что нет.

— С чем и поздравляю. Хуже нет, когда есть с кем трахаться. Сплошные проблемы. Так что пользуйтесь случаем, отдыхайте.

Роза идет в ванную. Никки моет посуду. Так чисто ее еще никто никогда не мыл. Обещает Розе, что завтра приготовит на обед жареные грибы. Роза выходит из ванной. Никки входит. Изучает Розины ноги. Задумывается.

Роза звонит по телефону: «Да, подлинная, но... даже не знаю, как сказать... не вполне понимаю, о какой подлинности идет в данном случае речь. Я бы хотела еще какое-то время подержать ее у себя». Пауза. «Мне трудно вам объяснить...» Пауза. Слушает. «Вы, наверно, считаете, что я сошла с ума, но у меня такое чувство, что эта ваза... привирает».

Работа ей предстоит нелегкая.

Никки. День второй

— Я в самом деле могу остаться? — щебечет Никки. — Мне, право, не хочется вас обременять.

— Да вы ничуть меня не обременяете. Когда живешь одна, начинаешь ценить общение.

Роза уходит. Никки остается. Взяла у Розы деньги на ремонт стиральной машины и ждет прихода мастера.

Разыграла сцену на старую как мир тему: «Я дала подруге в долг, а она не отдает». Не исключено, что у Никки и в самом деле есть подруга, которая ей должна, однако наверняка найдется куда больше подруг, которым должна она. Садится к столу прикинуть дальнейший план действий, но тут является мастер по ремонту стиральных машин.

Мастер: хорошо сложен, уверен в себе. В природе нет ни одной стиральной машины (или женщины), перед которой бы он спасовал. Плотно облегающие брюки. В брюках — то, что надо: у Никки глаз наметанный.

Заключает стиральную машину в объятия и сразу же обнаруживает, какой орган у нее отсутствует.

— И сколько же, интересно, это будет мне стоить? — осведомляется Никки тем тоном, каким говорят женщины, когда чувствуют, что вот-вот падут, однако вынуждены делать вид, что об этом даже не подозревают. Она в легком халатике — знает, что прозрачная одежда предпочтительней наготы. Поглаживает большим пальцем груди; жест настолько очевиден, что только очень, очень глупый человек сочтет, что это она поправляет лифчик.

— Ладно, — мастер соглашается. — Так и быть. Но времени у меня в обрез, и имей в виду — заплатишь в любом случае.

Секс: шесть минут двадцать одна секунда. В жизни не видела, чтобы стиральную машину использовали в подобном качестве. Несмотря на очевидные неудобства «любовного ложа» (или же благодаря им), совокупляются они виртуозно. На мастера по ремонту стиральных (и не стиральных) машин Никки взирает с нескрываемым уважением. Герой-любовник возвращает стиральную машину на ее законное место, бросает на Никки взгляд, полный неподдельного чувства, и, не взяв деньги, медленным шагом покидает квартиру.

— Твоя взяла.

Через две минуты пятнадцать секунд за окном звон разбитого стекла — это в фонарный столб врезалась легковая машина.

Никки поправляет волосы и выходит на площадку забрать из ящика почту. Рекламу и прочую ненужную бумажную продукцию, не глядя, выбрасывает, ту же корреспонденцию, которая может представлять интерес или принести пользу, вскрывает с особым тщанием. Наблюдать за ней в эти минуты — одно удовольствие.

«Дорогая владелица почтового ящика номер 59, — читает она. — Вам не придется более волноваться. Вот он я, рыцарь без страха и упрека в обличье юного жуира из 48-й квартиры. Я работаю в кино, живу, как хочу, и отличаюсь неуемным темпераментом...» Никки откладывает письмо, на лице искреннее разочарование.

«Почему?! Ну почему в этом мире столько психов? На каком таком заводе их производят? Даже не подумаю заклеивать обратно твое письмо, псих! И рвать на мелкие кусочки тоже не буду». Никки идет в уборную, разрывает письмо пополам, швыряет в унитаз и спускает воду.

Мне видна оборотная сторона людей. Причем вовсе не обязательно худшая. Такая, которую люди не хотят демонстрировать. При мне мужчины и женщины делают то, чего никогда не стали бы делать в присутствии домашних животных. В самом деле, кому захочется уронить себя в глазах любимого хомячка? К нам же, предметам неодушевленным, человеческие особи относятся с презрением и подвергают нас испытаниям, которые смогли бы перенести далеко не все хомяки. Мы видим то, что скрывает муж от жены и жена от мужа, хозяин от слуги и слуга от хозяина, офицер от солдата и солдат от офицера. Мы видим, как министры сосут палец, как национальные герои грызут ногти, как неделями не меняется нижнее белье. Как судьи — не без успеха — притворяются козлами, причем далеко не всегда — отпущения.

Никки продолжает чтение. «Ишь чего выдумал!» — бормочет она, откладывая очередное послание.

«В данный момент я переезжаю на другую квартиру, поэтому лучше звонить мне на работу», — с интересом читает она последнее письмо. «То что надо. С тобой все понятно: женат, но оттянуться не прочь».

Набирает номер.

— Алло, Брайен? Это из квартиры пятьдесят девять. Зови меня просто Фиона. Твое письмо мне понравилось, даже очень. Я от него тащусь... Может, встретимся? Нет, давай прямо сейчас. Да... записала. Через час буду.

Воспользовалась косметикой Розы и удалилась. «Ну, Брайен, держись!»

Возвращается спустя шесть часов сорок восемь минут, в каждой руке по большому пакету. Открывает сумочку, с удовольствием пересчитывает банкноты и извлекает на свет Божий несколько аптечного вида флаконч иков. Кипятит воду и, высыпав из флаконов пять-шесть таблеток на лист бумаги, вчетверо его складывает, растирает содержимое пакетика заколкой, после чего удаляется в свою комнату и, оставив дверь приоткрытой — вероятно, чтобы ее не застали врасплох, — разводит порошок, набирает смесь в шприц и делает себе

укол в правую ступню. Взгляд сразу же становится томный, в зрачках — умиротворенность. Нет, что ни говори, а этой юной леди развлечения необходимы самые разнообразные.

Возвращается Роза. Находит Никки веселой и деловитой. На плите хозяйку дома ждет ужин, а также два письма, которые Никки сочла возможным ей передать. Одно — от вышедшего на пенсию градостроителя, который пишет, что жена призывает его разнообразить пресную, старческую жизнь, что ягодицы у него, хотя ему уже шестьдесят шесть, округлы, мускулисты и служат законным предметом гордости супруги и что своим главным достоинством он считает богатый сексуальный опыт. Что ж, опыта ему и впрямь не занимать — по крайней мере, если судить по куриному почерку и кляксам, свидетельствующим о том, что писавшему никак не меньше восьмидесяти шести. Любопытно, что Никки сразу же поняла: шантаж в данном случае невозможен — престарелому джентльмену пришлось бы слишком много всего объяснять.

Второе письмо — от кузнеца из Ипсвича; этот вместо своей фотографии вложил в конверт фотографию двух фруктовых ваз из сварочного железа, которые поразили даже мое — представляете! — воображение. Чай Никки заваривает с таким видом, будто адресованную Розе корреспонденцию зачитал до дыр кто угодно, только не она. Столь скромный улов, похоже, Розу особенно не огорчил, хотя она, разрывая второе письмо вместе с вложенным в конверт бланком заказа, в сердцах и бормочет: «И этот туда же!»

Меня она берет в руки и внимательно разглядывает. Чтобы ее отвлечь, рассказываю ей про слоновьи бега. Мне ведь всегда есть что рассказать. Я готова развлекать Розу самыми невероятными историями и дальше — лишь бы только она не копалась в моей родословной. И все же, если честно, мне хочется, чтобы она поскорее отдала меня будущему моему владельцу, — когда по тебе водят пальцем, переносить это нелегко.

Буркнув «спокойной ночи», Роза скрывается в своей спальне. В полутьме коридора Никки смотрится в зеркало и еле слышно, одними губами, произносит имя «Роза», после чего высовывает язык. Ведет себя язык так, словно это живое существо, которое наконец-то выпустили на волю. Широкий, тяжелый, влажный, он высовывается так далеко, что в это невозможно поверить. Дюйм за дюймом сбегает к подбородку, взмывает к кончику носа, облизывает его и ныряет обратно в рот — по месту жительства. Длиннее мне приходилось видеть лишь восемнадцать языков, а шире — и того меньше, всего пять, а ведь в языках, губах и зубах я, слава богу, толк знаю.

Никки. День третий

Утром Роза встает и, не попрощавшись, выскальзывает за дверь. Она так задумалась, что, уходя, не закрыла окно в гостиной. Никки подымается с постели часом позже, выходит в гостиную и некоторое время внимательно смотрит на приоткрытое окно. Затем, переходя из комнаты в комнату, собирает несколько небольших, не слишком увесистых, однако достаточно ценных вещиц и кладет их в сумку.

Никки уходит. Никки возвращается.

Ценных вещиц в сумке больше нет. Одной рукой она пересчитывает и прячет в рюкзак деньги, а другой набирает номер полицейского участка — сообщить о краже.

Полиция приезжает перед самым Розиным возвращением. Все в один голос говорят, что преступники проникли в квартиру через открытое окно.

Случившееся Роза переносит довольно спокойно, когда же полицейский с мрачным видом заявляет, что шансов вернуть украденное немного, она, как ни странно, слушает его с облегчением.

— Это я во всем виновата! — Никки безутешна. — Надо было, прежде чем идти в магазин, закрыть окна.

— Нет, — возражает Роза, — это ведь я оставила их открытыми.

Никки стряпает — готовит свои «фирменные» кабачки, Роза же тем временем изучает свою страховку: у Никки украли кольца и сережки — подарок покойной бабушки, и Роза думает, как бы ей этот ущерб с помощью страховки возместить.

— Я, право же, приношу вам сплошные несчастья! — сокрушается гостья.

У нас с Розой очередное свидание. Я уже давно не болтала языком, а потому рассказываю ей историю...

Коллекционера из Иерихона

Керамическую посуду он полюбил больше жизни. Когда я, тогда еще грубая, неотесанная, попала в его коллекцию, чего в ней только не было: десятки глиняных винных фляг, вазы, вазоны, кувшины и кувшинчики, всевозможные тазы, а также причудливой формы сосуды в виде пчел, ежей, уток, грудных детей и вдобавок недодержанная в печи изуродованная глиняная посуда, которую он почитал шедевром керамического искусства. Лучшими ее образцами были, на мой взгляд, два кувшина с волнообразными ручками и фляга, согнутая в рог. Совершенно ненужные в быту, в коллекции предметы эти смотрелись как нельзя лучше.

На нашу и свою беду, в один прекрасный день коллекционер открыл для себя попугаев и воспылал к ним пламенной страстью. Ко всем вместе и к каждому в отдельности. На них он не жалел никаких денег. Всякий раз, когда в очередной раз приумножалось его состояние, в доме появлялся очередной попугай. Я была отнюдь не единственным экспонатом в его коллекции, считавшим, что попугаев в мире развелось, пожалуй, многовато, однако наш коллекционер, в чем-то хозяин жизни, придерживался на этот счет другого мнения.

Через несколько лет после того, как коллекционер воспылал этой необоримой страстью, он приобрел горластого голубого попугая, которого в тех краях никто раньше никогда не видел и не слышал. Обошлось ему это чудо из чудес в целое состояние, ибо попугай по пути с одного конца света на другой неоднократно попадал в шторм и пережил два землетрясения. В это болтливое голубое чудовище коллекционер сразу же влюбился без памяти, а потому, когда однажды утром насест оказался пуст, он весь затрясся от бессильной ярости. В том, что попугая украли, сомнений быть не могло — его цепь, из тех, на которые сажают сторожевого пса, лежала разбитой на земле. Не на шутку разъяренный, коллекционер предложил за поимку голубого попугая поистине царское вознаграждение.

Нашелся попугай, как ни странно, уже через несколько дней: обнаружили его у городских ворот играющим в кости на деньги. К крайнему неудовольствию эблаита, поставившего на голубого попугая, попугай проигрывал, и проигрывал крупно.

Эблаита призвали к ответу, и он поклялся семнадцатью богами, что знавал голубого попугая, когда тот был еще яйцом, знавал и родителей голубого попугая, когда те еще были яйцами, видывал даже деда с бабкой голубого попугая, когда те еще не вылупились из яиц, и что это ужасное преступление он совершил лишь потому, что беден, что приехал издалека, что мучается чудовищной зубной болью, а еще потому, что в Эбле голубых попугаев столько, что они падают с деревьев, ибо на ветках свободных мест нет.

После чего в здание суда ввели трех эблаитов, которые единодушно показали, что ни разу не видели ни одного попугая, тем более голубого; обвиняемого, напротив, видели, и не раз; он, заявили они суду, нечист на руку, что, впрочем, не мешает ему регулярно проигрывать в кости.

Тогда обвиняемый закричал, что эти трое — никакие не эблаиты, в противном случае они бы про попугаев знали; на самом деле это эламиты, которые известны своей традиционной ненавистью к эблаитам и которые наговаривают на него, потому что хотят увидеть, как его будут сажать на кол.

Тогда суд попросил эблаита взять попугая в руки, и попугай тут же его укусил, после чего был вызван коллекционер; попугай уселся ему на плечо и назвал по имени не только его самого, но и его жену. Эблаит призвал в свидетели двадцать пять богов, в том числе и тех, кого признают в Иерихоне, а заодно и два амулета, которые на всякий случай всегда носил с собой в кармане, что голубой попугай принадлежит ему, и только ему, дуется же попугай на него, поскольку он пожурил его за некоторые просчеты, допущенные в игре в кости. Эблаит попытался было заставить попугая повторить эту фразу, любую фразу, и даже протянул руку, чтобы его погладить, однако попугай укусил его вновь, на этот раз до крови.

После того как эблаита приговорили к мучительной смерти за кражу, лжесвидетельство и самовольную апелляцию к иерихонским богам, он пообещал, в случае если приговор будет смягчен, во всем чистосердечно признаться, в том числе и еще в шести пре-

ступлениях, которые он совершил в других городах и которые наверняка покажутся суду весьма забавными.

— Даром красноречия, может, ты и обладаешь, — крикнул он в сердцах попугаю, когда его уводили, — зато в игре в кости — дурак дураком. Правильно мне говорили — с мартышками дело надо было иметь, а не с попугаями.

Как вскоре выяснилось, претензии к голубому попугаю были не только у эблаита. Не успели шакалы дочиста обглодать его кости, как коллекционер обнаружил, что попугай звучно выкрикивает какую-то таинственную фразу, в которой половые органы его жены стоят в косвенном падеже, а имя его лучшего друга — в именительном. Доноси, да знай меру!

Лучший друг коллекционера не был таким хозяином жизни, каким был сам коллекционер, поэтому пришлось его убить, вогнав ему доносчика-попугая в задний проход. Лично мне известны всего семь видов казни еще более мучительных, и все они так или иначе связаны с жаждой. Не знаю, как попугаи, но люди в результате подобных экспериментов испытывают существенный дискомфорт. Я знала одного махараджу, который попытался загнать не в меру свободолюбивого придворного слону в анус, приговаривая: «Большего подонка, чем ты, я сроду не видал! Здесь тебе — самое место!» Но слон, как видно, был на этот счет другого мнения, он подобному акту решительно воспротивился и, испражнившись придворным, сломал ему шею, за что тот, надо думать, остался слону весьма благодарен.

Коллекционер, отдадим ему должное, потерял с тех пор всякий интерес и к голубым попугаям, и к нам, черепкам, и к жизни. Счастью — конец, как любили мы изъясняться на лагашском. Нисаба зами.

Роза

Роза сидит на полу. На сегодня она явно перебрала поучительных историй. Прошлое ее не отпускает. «Уфф», — вздыхает она наконец, встает и медленно идет в спальню.

— Что с вами? — проявляет беспокойство Никки.

— Со мной? Все в порядке... Да... Нет... Не волнуйтесь. Спокойной ночи.

Четвертый день Никки

Первой уходит Роза. Второй, в леггингсах и в акробатическом трико под курткой, в обществе бензендрина и метадона, — Никки. Первой, спустя пять часов и три минуты, возвращается, раскрасневшись от интенсивных физических упражнений, опять же Никки. Возвращается в обществе ражего юнца с челкой. Указывает юнцу на более крупные предметы домашнего обихода, также предназначенные для выноса из квартиры, — на этот раз в стоящий под окном автофургон.

— А как быть вон с тем цветочным горшком? — бормочет себе под нос юнец. — Ой, да он разбился! — Юнец не ошибся, он роняет меня на пол, отчего я действительно распадаюсь на три части. Думают, неучи, что от этого я потеряю в цене. Да я, по самым скромным подсчетам, стою раза в три больше его колымаги! Юнец выносит микроволновую печь, телевизор, вполне приличный чемодан, связку нот, лампы, книжную полку, автоответчик, комнатные растения, стиральную машину и стулья, Никки же тем временем стягивает с себя леггингсы и акробатическое трико. И то и другое — хоть выжимай. Возвращается «грузчик», вид у него такой, будто обнаженные женщины — постоянные соучастницы его преступлений.

— Перепихнемся? — проявляет инициативу она.

Он, по-видимому, не против, вот только никак не может взять в толк, с какой стати она хочет воспользоваться не тахтой, а столом у самого окна.

— Там нас будет не видно, — робко высказывается в пользу тахты он.

Неописуемое удовольствие продолжается семь минут шестнадцать секунд; в решающий момент Никки, надсадно хрипя, высовывается из окна — и в ту же секунду у стола подламывается ножка.

— Невезуха, — констатирует «грузчик». — За этот стол можно было б не меньше трешки получить. Как нечего делать.

Юнец отсчитывает Никки обещанные банкноты, и она, дождавшись, когда он погрузится и уедет, звонит в полицию. Упавшая без ведома Никки, я, вновь без ведома Никки, собираюсь с силами и зализываю нанесенные мне раны.

Является все тот же полицейский. Солидные физические нагрузки помогают Никки вполне правдоподобно симулировать горечь невосполнимой утраты.

— Иногда бывает, они возвращаются, — изрекает полицейский. — Ключи в прошлый раз пропадали?

Он интересуется, где Роза. Никки объясняет: Розы нет, и вернется она только вечером.

Спустя некоторое время звонит Роза. Никки разыгрывает блестящий этюд на тему «Я так расстроена, что не могу говорить», голос у нее после каждого слова исправно срывается, она горько оплакивает украденное, уверяет, что грабители позарились даже на ее нижнее белье. Роза же позвонила сказать, что у нее сломалась машина, и просит Никки к ужину ее не ждать. Узнав о случившемся, она, как может, успокаивает бедняжку.

Никки идет в ванную, открывает настенный шкафчик и проверяет, сколько в упаковке таблеток аспирина. Понятно, что с помощью аспирина она собирается сыграть пантомиму «Я этого не перенесла», однако тут важно, во-первых, аспирином не злоупотреблять, во-вторых, лечь на видном месте и, в-третьих, дать понять, что промывание желудка ей противопоказано. Согласитесь, странно, что при таком недюжинном вероломстве, при полнейшем отсутствии совести и принципов, да еще неуемном желании разрушать чужие жизни наша красотка владеет в этом мире всего-то рюкзаком с двумятремя блузками, леггингсами и акробатическим трико; такая, как Никки, вполне могла бы стоять у руля какого-нибудь не очень большого государства.

С наступлением сумерек полицейский является вновь.

— Ваша подруга еще не вернулась? — Он подчеркнуто вежлив.

— Нет.

— А я вот... сменился с дежурства. Пришел к вам... не как полицейский, так сказать... В общем, вы меня поняли, да?

— И не стыдно?

— Чего там... полицейские ведь тоже люди...

— Это вы-то люди? — Никки хмыкает. — Ладно, заходи, можешь подождать ее, если хочешь. Часок-другой.

Ее энергии можно только позавидовать; видно, что Никки устала, и все же, как истинный чемпион, она всегда готова дать бой. И победить. Разумеется, ей ничего не стоит, при ее-то ненасытном темпераменте, просто стянуть с него штаны — за последние шесть тысяч лет мужчины, насколько мне известно, противились этому желанию лишь дважды, — но ей хочется увидеть не его детородный орган, а поруганную добродетель. Она прячет глаза под густыми ресницами и некоторое время с придыханием слушает его истории про то, что он увидел за закрытыми для посторонних взглядов дверями. Когда переигрывают на сцене, могут и освистать, — за пределами же театра наигрыш, как правило, приносит успех.

На полицейского Роза произвела, вероятно, неизгладимое впечатление, ибо на Никки он спикировал лишь через пятьдесят шесть минут после прихода. И в ту же секунду был распеленут и обесчещен. Стоит и, не отрываясь, пялится вниз — собственными глазами хочет увидеть, что делают с его прибором. Через три минуты восемь секунд Никки подымает глаза и приказывает: «Кончай». Он подчиняется, семя извергается в потолок, после чего Никки предлагается ряд медикаментозных средств, которые он отбирает у школьников, когда читает им лекции о подростковой наркомании. Никки благосклонно принимает дары. Он безуспешно пытается открыть банку маринованной свеклы. «Ничего не понимаю, — говорит он в дверях, — член при мне уже двадцать восемь лет, а ты с ним управляешься куда лучше, чем я».

А вот и хозяйка квартиры. Никки придвигает ей единственный оставшийся стул. Невозможно не восхищаться стойкостью Розы перед лицом несчастий. Что-то удерживает ее от того, чтобы в бессильной ярости скрежетать зубами. Это что-то — одиночество; она одинока — я-то чувствую. Она страдает, му-у-у-учается — но не из-за того, что случилось с ее квартирой.

Подходит ко мне. Ее пальцы касаются меня. Я понимаю, ей хочется не рассказывать, а слушать. И тогда я повествую ей про...

Мое любимое кораблекрушение

Корабль снарядили в Библос еще в те времена, когда в Трое героев было больше, чем в Афинах, втрое. Пускаться в плавание в такое время года было ошибкой. Небо было чернее, чем зимней ночью; надвигался шторм. Паруса были подняты нуждой, жадностью и глупостью.

На корабле было двое молодых людей: Швабра (юношу прозвали так из-за его длинных волос) и дочь художника, чья красота завоевала бы целый город — не то что небольшое судно.

Швабра был молод и энергичен и на жизнь зарабатывал тем, что устраивал показательные заплывы, плавал баттерфляем с острова на остров или наперегонки с галерами, выделывал в воде акробатические трюки. Корабль наш был невелик, и наверняка не мне одной приходило в голову, что пловец и дочь художника составили бы прекрасную пару.

Дочь художника была девушкой общительной, она шутила с матросами, была ласкова с болезненного вида купцом-мечтателем, что днями и ночами грезил, как у него будет когда-нибудь собственная плантация, интересовалась, сколько морских миль в час делает наш корабль, и щебетала со всеми, кроме Швабры, который в ее присутствии рта раскрыть не мог. Он исправно провожал ее глазами, но так боялся сказать что-то не то, что не говорил ничего. Пошел уже третий день пути, а он еще ни разу к ней не обратился, что на таком крохотном суденышке требовало, согласитесь, немалого искусства; он молча, с серьезным видом сидел, накрывшись каким-то тряпьем и не принимая никакого участия в разговорах о погоде, о том, как следует готовить тунца, почем в этом году зерно и вправду ли хороши кафторские серьги.

Буря налетела внезапно, но не настолько, чтобы путешественники не успели задуматься о своей незавидной судьбе. Капитан плакал навзрыд. Зашел спор о том, к каким богам взывать о помощи. Сказать, что всё кругом погрузилось в кромешный мрак, значит не сказать ничего. В этой ледяной, мрачной бездне любой ради спасения собственной шкуры наверняка передушил бы не задумываясь любимых жен и детей.

Море привольно гуляло по палубе, нежно лаская ноги капитана и рулевого, которые, стоя по колено в воде, вцепились друг другу в глотки. Один из членов команды завернулся в козлиную шкуру, от которой в такой шторм пользы было ничуть не больше, чем от стакана воды во время лесного пожара.

— Залезай! — предложил он место под козлиной шкурой купцу-мечтателю, медленно, но верно уходившему под воду. — Шкура выпьет все море без остатка.

— Ты за меня не волнуйся, — откликнулся купец-мечтатель.

— Ветер и волны разнесут наш корабль на пятьдесят семь частей!

— Это ты сказал, а не я.

— Мы тонем!

— Не понимаю, почему ты так мрачно настроен. Для паники нет никаких оснований.

Дочь художника сорвала браслеты, решила было избавиться и от серег — золотых, с висячими дельфинами, но, сообразив, что нашедшие ее тело обойдутся с ним лучше, если на ней будут дорогие украшения, серьги не тронула и устремила бесстрастный взор на море цвета застывших чернил. Луна в ужасе отвернулась. Одежды девушки пали к ее ногам — вода же, напротив, поднималась к голове. И тут она увидела протянутую к ней руку.

— Постой. Давай уйдем вместе, — молвил Швабра.

Они берутся за руки и, прежде чем палуба уходит у них из-под ног, успевают сделать вместе несколько нетвердых шагов. Мне довелось наблюдать, как за руки берутся два миллиона четыреста тысяч девятьсот двадцать семь пар, однако даже я ни разу не видела, чтобы трогали друг друга так трогательно.

Я погружаюсь в тишь морского дна, выпуская встречным курсом пузырьки воздуха — буль-буль-буль — на бурную поверхность моря, и мои пузырьки смешиваются с пузырьками того, кто, уходя под воду, успевает выдохнуть: «Для паники... оснований». Перед смертью все равны.

(Тебе, должно быть, интересно, Роза, что было дальше со Шваброй и с дочерью художника. Ты хочешь знать, что с ними произошло? Я — тоже. Я пытаюсь угадать их черты в каждом лице, которое вижу.)

Убаюканная моей историей, Роза погружается в глубокий сон — как иные в глубокую морскую пучину.

Где водится макрель, морские улитки и белокорый палтус. Только давайте не будем про палтусов — белокорых и чернокорых. Больше меня про палтусов не знает никто. Миллионы палтусов не пали так низко, как я. Бог с ними. Если б не палтусы, я, быть может, обратно на землю и не вернулась. Хороший палтус — мертвый палтус. Тот, кого мы прожевываем и перевариваем. Пытаешься схорониться в иле, в песке — как бы не так, везде тебя подстерегает какой-нибудь опалтус. То ли дело морской угорь с серьгой. На сегодняшний день мне попался всего один морской угорь с серьгой. Серебряной. Первоклассная работа.

Никки. День пятый

Роза и на этот раз отбывает рано. Перед тем как уйти, достает из сумки каталог и оставляет его на столе. Очень напрасно. На обложке — репродукция вазы с головой Горгоны. Отличного качества репродукция. Копия. Копия с копии копии копии. А может даже, копия с копии копии копии копии. Афинская. И не самая лучшая. Моя дальняя родственница. Седьмая вода на киселе.

Никки берет в руки каталог и, к моему крайнему неудовольствию, с любопытством разглядывает вазу на обложке. Ее интерес, к сожалению, напоминает мне про...

Бесконечную ненависть (которая никогда не кончается)

Дело было в гончарной мастерской.

— Кто-то, надо думать, ее сделал, — говорит мастер. — Или принес. Вазы же сами в мастерскую не войдут, если она им чем-то приглянулась, верно?

— Никто сюда не входил и отсюда не выходил, — уверяют в один голос подмастерья, которые провели здесь всю ночь — душную коринфскую ночь.

— Откуда же она тогда тут взялась? — Мастер сердится и бьет одного из подмастерьев. — Не хватало еще, чтобы сюда заявился какой-нибудь богатый бездельник и предъявил на нее свои права. Нам грозят большие неприятности. Нас обвинят в воровстве. Ступай и скажи всем, что мы нашли вазу.

— Чего это он сегодня сам не свой? — спрашивает один подмастерье другого.

— Зубы у него гнилые, вот и злится, — отвечает другой.

Они не замечают, что старый кувшин для питьевой воды куда-то подевался. На его месте теперь стою я — изумительная по красоте амфора с двумя ручками и с головой Горгоны. Я представила себе скорую перемену декораций. Еще бы, без товара ведь нет навара. Все подходили и внимательно меня разглядывали; исполнение и цвет вызвали единодушное восхищение.

Гончары, понятное дело, решили попробовать меня скопировать; когда знаешь, что в принципе такое возможно, уже легче. Попытку предприняли все, однако лучшего результата добился самый молодой гончар: Горгона ему удалась не слишком, зато глазурь получилась выше всяких похвал.

Когда копию достали из печи, все столпились вокруг и захлопали в ладоши — по-моему, гораздо громче, чем следовало. Все заговорили одновременно, а громче всех — рябой гончар, и вместо того, чтобы разругать работу, выявить все, даже самые незначительные недостатки и начисто пренебречь ее своеобразием, гончары лишь восхищенно качали головами.

— Ваза, которую ты нашел, хороша, спору нет, но эта — в жизни не видел ничего подобного. Она — живая. Ты же знаешь, по вечерам я люблю приходить сюда и преуменьшать достоинства твоих изделий, уже двадцать лет я отпускаю самые нелестные

замечания в твой адрес, в адрес твоих друзей и твоей семьи. Но сейчас я умолкаю. Это — истинный шедевр.

Остальные гончары, обступив новоиспеченную вазу, кивали в знак согласия: «Лучшей вазы нам за всю свою жизнь не обжечь». Подмастерье был на седьмом небе от счастья, я же понемногу начинала выходить из себя.

— У вазы, которую ты обнаружил, — сказал Рябой, — линии грубые и вялые, от этой же веет жизнью.

Вскоре богатеи, те, что не отправились на игры в модную тогда Олимпию, явились и стали предлагать за мои копии любые деньги, после чего гончары не только из нашей, но и из соседних мастерских взялись за Горгон всерьез. Горгоны, правда, получались не ахти какие, однако деньги покупатели платили за них сумасшедшие. Меня же так и не продали. Как бы мне хотелось объяснить это тем, что хозяин мастерской оставил меня у себя из чувства благодарности, но такое объяснение было бы ложью. Напротив, чтобы сбыть меня с рук, он каждый день делал все возможное. «Дешевая подделка мне не нужна», — говорили покупатели, даже когда хозяин готов был уступить меня по самой смехотворной цене, и такие отказы были отнюдь не самые грубые.

И я объявила войну. Мне, изобретшей красоту и подчинившей себе свет и тень, не слишком нравилось, когда умаляли мое достоинство. Разве не благодаря мне память из тьмы рассудка вырвалась на свет, разве не благодаря мне личное достояние стало общественным? У Кадма свои линии, у меня — свои. Я указала им, где таится истинная красота; все второсортное наказуемо.

1648 — таково число брошенных об пол Горгон.

Никки торгуется

Никки отшвыривает каталог.

Вот и настал мой час быть украденной. Когда-нибудь это должно было случиться. «Такую и в магазин-то не снесешь», — цедит Никки. Я в ее руках — в прямом и переносном смысле. Сегодня меня крадут в три тысячи двести девятый раз, если не считать ста двух случаев, когда меня брали под честное слово — и не возвращали.

Хотя Никки только что изучила аукционный каталог, меня она античной вазой считать отказывается. В этом, собственно, проблема искусства, и не только искусства: главное ведь — не обмануть ожидания. Остается только пожалеть о всех тех бесценных вещах, которые выбросили вместе с мусором, о сокровищах, которые переплавили, о гениальных мыслях, которыми подтерлись невежественные олухи.

Меня запихивают в сумку вместе с миксером, ночником, красным будильником и пепельницей кричащего цвета. Никки явно решила съехать с Розиной квартиры не раньше, чем вынесет из нее все, что хоть чего-то стоит. Перед уходом Роза предупредила, что отсутствовать будет два дня.

Никки несет нас по оживленной улице; в подъезде у автобусной остановки совокупляется чернокожая пара. «Чего уставились?!» — кричит стоящим на остановке чернокожий.

Мы входим в лавку старьевщика, Никки представляет нас владельцу, и тот смотрит на нас с таким нескрываемым презрением, словно мы мартышки в цирке, — и не потому, что собирается, изобразив благородное негодование, выставить нас за дверь, а потому, что он, как и все торгующие подержанным товаром, упивается собственным жестокосердием — в особенности по отношению к отчаявшимся и нуждающимся.

Никки подходит к старьевщику, изобразив на челе невыразимую тоску, и, дабы жалость могла заручиться более мощным союзником, расстегивает, несмотря на холодный день, верхнюю пуговку на блузке. Пульс у старьевщика мгновенно учащается — и не от вида вторичных половых признаков, а в предчувствии непереносимых душевных страданий просительницы.

Принесенные Никки вещи он перебирает с таким отвращением, словно их только что в его присутствии облизали своими смрадными языками прокаженные.

— Вот эту вещицу, — говорит Никки, когда в его лапах оказываюсь я, — я бы ни за что не продала, если б сынишке срочно не понадобилась операция. Мама подарила мне ее перед смертью. По-моему, она старинная.

Дыхание учащается, от волнения старьевщик начинает раскачиваться с пятки на носок и обратно. Его член призывно шуршит в своей сатиновой норке.

— Это по-вашему.

— Чего-то же она стоит... — мямлит Никки, изо всех сил, чтобы на глаза навернулись слезы, прикусив губу.

Меня, точно засохшую коровью лепешку, брезгливо держат двумя растопыренными пальцами — большим и указательным.

— Да, стоит. Ломаный грош в базарный день. На такие цветочные горшки, как этот, давно уже спроса нет. И не припомню, когда последний раз приходили и интересовались, нет ли у меня такого вот аляповатого цветочного горшка.

По правде сказать, трудно себе представить, чтобы кому-то, даже по крайней необходимости, пришло в голову сюда прийти, тем более чем-то интересоваться. Воздух затхлый, с гнильцой, а товар и того хуже: вещи, брошенные на произвол судьбы, никому не нужные, никем не любимые; все, что имеет хоть какую-то цену, давно вылетело отсюда, словно пузырьки воздуха, которые, обгоняя друг друга, рвутся вон из воды. Беру старьевщика на заметку: если представится случай, непременно воздам ему по заслугам. Выставляет нас всех на прилавке в один ряд, выравнивает. Миксер еще совсем новый.

— Что, поиздержалась, малютка? — Он ждет от нее суровой правды, она же повторяет затверженный монолог про сынишку, больницу и отсутствие игрушек. Опять учащенный пульс.

— Один фунт. — От взгляда, который бросает на него Никки, старьевщик чуть не падает в обморок. Он читает в ее глазах боль, тогда как в них черным по белому написана ярость. Нет, она не обиделась: сумма, которую он предложил, не обидна, ибо это не сумма. Это — смех. С тем же успехом он мог помочиться ей на голову. Ведет он себя, прямо скажем, неосмотрительно — какой бы там Никки ни была, безобидной ее уж никак не назовешь. Вот достанет сейчас ножик, который пронесла в сапоге, и выпотрошит сначала его самого, а потом и его кубышку — будет тогда знать! Старьевщик злобен, но постоять за себя не может — это видно.

Она кладет нас обратно в сумку и идет к двери. Чувствуя, что потеха заканчивается и что хныкать и глотать слезы ее уже не заставишь, старьевщик выкладывает за нас десятку — «за твои прелестные глазки». Ради этой суммы, считает Никки, идти в лавку старьевщика не стоило, но заключительная попытка превратить имущество Розы в денежные знаки ее несколько утомила.

Меня ставят рядом с бархатным жирафом, в котором жизни ничуть не меньше, чем в настоящем, компанией механических пингвинов и пингвинчиков со сломанным заводом и керамическим барсуком в хлопчатобумажных бриджах для игры в крикет. Этот артефакт уникален. Принадлежать он никому не мог. У такого, как он, не могло быть хозяина, он бесхозен по определению, он постоянно ждет, что его наконец-то оценят по достоинству, — и никогда не дождется. Вид его вызывает отчаяние. Это — пария, которого по чистому недоразумению передают из рук в руки, а не топчут ногами. Он и создан-то единственно ради того, чтобы быть отвергнутым. Его подбросили, а не купили. Старьевщик не меняет нижнее белье уже третий день.

Мумия, которой хотелось обратно в землю

Бархатный жираф напоминает мне мумию, вместе с которой меня предали земле. Когда нас отрыли кладбищенские воры, я, надо сказать, была им благодарна: все мы любим болтаться без дела, но не тысячу же лет! Ничего особенного мумия собой не представляла: до смерти это был преуспевающий надсмотрщик на фиговых плантациях, которому посчастливилось умереть естественной смертью и заработать и воспроизвести достаточно, чтобы вечный покой разделили с ним предметы старины, я в том числе.

Со своим надсмотрщиком мне довелось встретиться вновь только после того, как я поменяла нескольких хозяев. Кладбищенских воров, которые извлекли меня из могилы, мумия интересовала меньше всего. Со своим сомогильником я соединилась спустя несколько десятков лет благодаря Чудоносу (номер сто шестнадцать), который был одним

из самых хитроумных кладбищенских грабителей, а вернее, грабителем кладбищенских грабителей. Он не видел большого смысла в том, чтобы в поте лица раскапывать могилы, блуждать по склепам, копаясь в расселинах и ежесекундно рискуя навлечь на себя гнев давно ушедших, но, быть может, и не умерших богов. Чудонос предпочитал дождаться, пока другие злоумышленники, разграбив могилу, отправятся в обратный путь, и подстерегал их у городских ворот.

— А моя доля где? — недоумевал ограбленный грабитель, когда меня вырвали у него из рук.

— Свою долю ты уже получил, — ответил ему Чудонос. — Ты ведь еще дышишь. — После чего Чудонос возвратился домой, опасаясь, как бы кому-нибудь еще не пришло в голову переквалифицироваться из кладбищенских грабителей в грабителей кладбищенских грабителей.

Его чудо-нос больших хлопот ему не доставлял. Происходило это по двум причинам. Во-первых, когда люди готовы умереть за идею, они, по моим наблюдениям, не стремятся умереть за шутку. А во-вторых, нос у него был таких размеров, что все шутки на эту тему были слишком очевидны. Преувеличение превращает заурядное в смешное, однако сверхпреувеличение низводит смешное до заурядного. Это ведь, в сущности, все равно что попытаться рассмешить собеседника, глубокомысленно заметив: «Сегодня солнечный день». Поэтому к своему носу Чудонос относился спокойно и хранил в нем кое-какие фрукты небольшого размера.

Деньги для Чудоноса были источником неисчислимых страданий. Днем дела у него шли хорошо, зато по ночам он мучился бессонницей, снедаемый горькой мыслью о том, что у других дела идут еще лучше. Если, к примеру, он продавал александрийскому купцу голубого гиппопотама за пятерку, то под покровом ночи ему виделось, как этот же купец, ухмыляясь, перепродает гиппопотама за пятьдесят. Затем он видел, как какой-то другой заморский купец, громко смеясь, продает того же гиппопотама за сотню. Уже под утро некто третий среди бескрайних степей продавал гиппопотама уже за пять сотен, и, наконец, еще один счастливчик, катаясь со смеху среди льдов Крайнего Севера, продавал гиппопотама за тысячу. «Да они смеются надо мной!» Этот кошмар преследовал его долгое время.

— Пять, — предлагал купец.

— Десять, — говорил Чудонос.

— Хорошо, семь, — с неохотой уступал купец.

— Двадцать, — говорил Чудонос.

— Я же сказал «семь», — удивлялся купец.

— Тридцать, — говорил Чудонос.

— Послушай, мне будет очень непросто найти кого-то, кто дал бы за него десятку. Этими голубыми гиппопотамами я торгую уже больше года.

— Сорок, — говорит Чудонос, начиная злиться.

Купец вынужден был прибегать к помощи родни, в том числе жены и двух дочерей, чтобы выгнать из дома Чудоноса, который лез на рожон: «Обмануть меня решили, да?!» Прежние покупатели не желали больше иметь с ним дело, поскольку, во-первых, с ним было совершенно невозможно договориться о цене, а во-вторых, гнать его из дому приходилось по вечерам, когда вся семья была занята стряпней.

Чудонос отправился в Тир, где принялся спрашивать, как найти купцов, торгующих голубыми гиппопотамами. Когда же его привели к такому купцу, он ударил его кулаком в живот, а затем повалил на пол и начал бить ногами, приговаривая: «Обмануть меня решил, да?! Дурака нашел, да?! Думал посмеяться надо мной?! Будь прокляты твои деньги!»

Второго купца, даже не удосужившись показать ему голубого гиппопотама, Чудонос хватил головой о резной стол красного дерева, заметив: «Что ж ты не смеешься?! Язык прикусил, да?» Стоило ему увидеть третьего купца, как он тут же отправил его в нокаут со словами: «Засунь в задницу свои деньги, понял?» Поползли слухи.

Из-за всего этого, а также потому, что уже очень давно он задумал хорошенько проучить посмеявшегося над ним купца с Крайнего Севера, Чудонос вместе со своим товаром сел на корабль, отправлявшийся в Константинополь. Была у него с собой и мумия: в то время европейцы любили за чаем распеленать мумию-другую, и Чудонос надеялся,

что ему удастся выгодно ее продать. Он не замечал, что всю дорогу матросы исподтишка подсмеиваются над ним: они-то знали, что за содержимое одной пирамиды Чудонос заплатил кладбищенским ворам впятеро больше обычного.

В Константинополе Чудонос посетил нескольких купцов, говоривших по-арабски, но они предложили ему ту же цену, которую он с негодованием отверг в Александрии. Он отправился в Венецию, но там ему давали еще меньше. Чтобы двигаться дальше, он распродал все, что имел, однако монеты ему дали фальшивые, и, когда он попытался ими расплатиться, его арестовали. Тем временем почти все его имущество погибло от невесть откуда взявшегося землетрясения.

После того как были розданы взятки тюремщикам и уплачено писцу за письмо на латыни, в котором, как полагал Чудонос, он выдавался за человека состоятельного и знатного, в действительности же был выставлен отъявленным негодяем, которого следовало медленно (шутка писца — имелось в виду «немедленно») побить палками, — у Чудоноса не осталось ничего, кроме меня, голубого гиппопотама в левом кармане и мумии. И тем не менее, невзирая на все злоключения, наш герой продолжал продвигаться на север. Он шел босиком, страдал от мучительной зубной боли — однако верил: удача не за горами.

Чудонос не ошибся: за горами никакой удачи не было, за горами был глубокий снег и город Хельсинки. В Хельсинки нас незамедлительно доставили к местному юристу, собирателю курьезов, коллекционеру, который готов был приобрести любой, даже самый экзотический хлам.

Входим, и Чудонос сразу же понимает: перед ним Он, Великий Насмешник, тот, кого искал он столько времени. Чудонос не обращает никакого внимания на двухголового теленка, трехметровых крыс, на всевозможных уродцев, клыки мамонта и прочие сваленные как попало курьезы. Он сразу же забывает про все выпавшие на его долю злоключения, про то, что на днях он отморозил три пальца на одной ноге и два на другой. Он демонстрирует коллекционеру меня и мумию: будь что будет, пан или пропал.

Есть у человека одна потребность, которая почти столь же насущна, как потребность в сне, пище или в воде, но поскольку потребность эта в сравнении с любой физической не столь сильна и мучительна, мы порой ее недооцениваем. Эта потребность — жить по правилам. Правила правят миром. Стоит нам пренебречь одним сводом правил, как на смену ему тут же возникает другой. Солнце всходит — солнце заходит. Вы курите вашим богам фимиам — они вам за это даруют здоровье. Идешь в магазин желаний — и приобретаешь товар. Мне, пожалуйста, волны поменьше. А мне — урожай побольше. Для взрослых правила — то же, что для младенца соска или погремушка. Если подыхает твоя любимая свинья — значит, на это существует какое-то правило. Нет ничего страшнее, чем отсутствие правил. Люди готовы превозносить самые худшие правила — лишь бы только небосвод не обрушился на них беспричинно, против правил. Что может быть хуже, чем фортуна, спущенная с поводка?!

Существует категория людей, которых я, по аналогии с правдоискателями, называю «правилоискателями». Все они, не важно как и где, устанавливают свои правила. Не ешь это. Не ешь то. Не полагается носить больше шести серег одновременно. На первом свидании не целуются. Если A, B и C хотят продать свое пиво, всегда найдется D, который за них это пиво продаст. Надо же как-то сбалансировать законодательную, исполнительную и судебную власть. К черту удачу — им правила подавай. Правил становится тем больше, чем громче люди ими похваляются — как если бы от правил хоть в малой степени зависел их успех! Отсюда же притягательная сила таинственности: лучшие правила — под прилавком.

Юрист (Паразитиссимус под номером пять тысяч четыреста тридцать два) с любопытством разглядывает мумию. Бывший надсмотрщик фиговых плантаций выглядит, прямо скажем, неважнецки; из-за того, что он неоднократно мокнул под дождем и падал в грязь, на плечах у него вырос гигантский бледно-зеленый гриб. Вид у гриба довольно аппетитный.

— У меня уже два таких, — говорит Паразитиссимус. — Приобрел их в прошлом году. Гриб, впрочем, недурен. Что же до голубого гиппопотама... — И он показывает пальцем на полку, где красуются сразу три миниатюрных голубых гиппопотамчика.

Чудонос озадачен, но когда безошибочным международным жестом, однозначно читающимся: «Говорю же, нет. Проваливай со своим товаром куда подальше!», Паразитиссимус ставит точки над «i», он, хоть и с некоторым опозданием, прозревает. Все кончено. Последние надежды втоптаны в грязь.

В эту самую минуту в дом врывается местный землепашец. Падает ниц на ковер и дрожащим от волнения голосом изрекает:

— Ваше паразитичество, я нашел чудо из чудес. — И достает громадную замороженную игуану. — Дракон, ваше паразитичество. Юный дракон.

Паразитиссимус его воодушевления не разделяет. Он идет к книге, находит в ней соответствующую иллюстрацию и демонстрирует ее землепашцу:

— Что это?

— Дракон, ваше паразитичество.

— Ничего подобного. Позволь, я познакомлю тебя с буквами «и», «г», «у», «а», «н» и уверен, ты помнишь нашу старую знакомую, букву «а». Игуана — рептилия из далекой Америки.

— Но каким образом это существо оказалось здесь? У нее ведь нет крыльев.

— Об этом же наверняка подумала перед смертью и твоя игуана — если к игуанам вообще применимо слово «думать». Посмотри на эту иллюстрацию повнимательней, и ты заметишь на заднем плане пьяного моряка, который оплакивает свою пропавшую игуану. Спасибо, конечно, что принес показать, но у меня уже есть два экземпляра покрупнее.

Землепашец молча взирает на свою рухнувшую надежду. Чудонос теряет терпение. Он вооружается замороженной игуаной и пытается нанести Паразитиссимусу удар, однако его мишень неплохо знакома с людьми, которые хотят нанести ей тяжкие увечья; используя в качестве щита бывшего надсмотрщика фиговых плантаций, юрист от удара уклоняется. Они пляшут по комнате, нанося поправимый и непоправимый ущерб бесценным экспонатам, и землепашец, дабы снискать расположение юриста, впивается четырьмя имеющимися в наличии зубами Чудоносу в ляжку. Появляются слуги, и, отбиваясь тем же самым холодным оружием, Чудонос выбегает из дому на бескрайнюю снежную равнину.

Заключение. Чудоноса обнаружили весной, когда он оттаял и упал с дерева, все это время служившего ему приютом. Паразитиссимус снял с него посмертную маску, чтобы, рассказывая о размерах его носа, не быть голословным.

Я и голубой гиппопотам пополнили — без лишних слов — коллекцию юриста.

Мумию никто брать не хотел. Извлеченная из могилы, переходившая от одного грабителя к другому, испытавшая презрение многих купцов, она проделала расстояние в тысячи миль и вот теперь вновь должна была оказаться под землей. Посмертное фиаско. Слух об этом дошел до местного священника, который забрал мумию в церковь, решив похоронить ее по христианскому обряду. Священник считал своим долгом приобщать язычников к Церкви и представившейся возможности, разумеется, упустить не мог.

Замороженная игуана исчезла не менее таинственно, чем появилась. И тут мы вступаем в область невероятного. Невероятное встречается в нашей жизни довольно часто. Правда, далеко не все окружающие нас чудеса так же экзотичны, как история о кладбищенском воре из Египта, который попытался избить финского стряпчего обледеневшей ящерицей; в то же время окружающие нас чудеса отнюдь не менее невероятны оттого, что в них не фигурируют замороженные игуаны. Невероятное является нам не только в образе замороженной игуаны, но и в образе нелюбимой мебели, соседа-домоседа, неразделенной любви и неинтересной работы. Невероятное, иными словами, — это высшее проявление вероятного.

В лавке старьевщика

Старьевщик провожает Никки глазами; он рад, что ему удалось лицезреть униженную красоту (а еще говорят, что красивым сопутствует удача!), и разочарован, что не смог выжать из нее побольше слез. То же, что Никки сбросила с себя маску страдалицы еще до того, как зажала в кулачке десять фунтов, — не в счет. Глупость не мелочна.

Надо бы сориентироваться. Что может быть страшнее, чем неожиданно обнаружить у себя за спиной амфору высотой восемь футов, которая вдобавок строит тебе гримасы?! Люди в таких случаях склонны во всем обвинять себя, они перестают верить своим глазам и теряют покой. Вот почему примерно раз в триста лет я над собой работаю.

Даже для меня, повидавшей в своей керамической жизни немало, условия здесь не самые лучшие: с потолка стекает какая-то вонючая жижа. На стенах, в пятнадцати местах, — плесень. О бактериях я уж и не говорю. Не успела я припомнить триста девятнадцать ситуаций, когда мне пришлось еще хуже, чем сейчас, как в лавку вошла женщина.

Впрочем, те, кто не обладает моей обостренной наблюдательностью, женщину в этом существе могли бы с первого взгляда и не признать.

Очень крупная. Верно, это не самая крупная женщина из всех, кого мне приходилось видеть, но в моей коллекции она занимает почетное шестое место, отставая от женщины, вошедшей в первую пятерку, всего на пять фунтов. Весит она от трехсот тридцати двух до трехсот тридцати пяти фунтов — столько же, сколько пять спящих шумерских уток (весом в два таланта, разуме-е-е-ется) или же почти три тысячи бездыханных полевок. (Меры веса и длины, к слову сказать, не менее важны, чем правила, ибо без них мы лишаем себя удовольствия обманывать: племена, которые разводили полевок и использовали их в качестве меры веса, стали вскоре их откармливать или же просто набивать песком; подобная мера веса, при всей ее очевидности, так и не привилась, однако лично мне всегда нравилась.)

Шесть футов четыре дюйма. Рост, согласитесь, тоже вполне солидный. Эта женщина столь велика, что все помещение начинает вдруг казаться хрупким, непрочным; легко представляешь себе, что через стену она может войти без всякого труда, как через дверь. Волосы у нее совершенно белые, стрижены коротко, не более чем на толщину пальца (я бы даже сказала, пальчика). В ушах серьги: фигурка чем-то напоминает прохожего, рвущегося в горящее здание, чтобы спасти детей.

От стоящей в дверях великанши в лавке вдруг стало тесно.

— Здесь только что была женщина. Я покупаю все, что она вам продала.

На ней белый кожаный пиджак; на спине — косо, неловко — подвешены два крыла. И не кого-нибудь, а кондора, отовсюду торчат птичьи перья — тоже кондора, тоже выкрашенные в белый цвет, и тоже как попало.

Старьевщик, конечно же, удивлен такой крупной покупкой такого крупного покупателя, да еще с такими крупными крыльями; удивлен, но не слишком: мы находимся в той части города, где любая потуга на оригинальность только приветствуется. Заработок — не главная цель в его жизни, а потому, чтобы взвинтить цену до небес, ему требуется по меньшей мере несколько секунд. Он с безграничным уважением поглаживает стоящие перед ним на прилавке предметы, он изо всех сил старается быть повежливей, однако с непривычки фальшивит, переигрывает, распространяя свою любовь не только на меня, но и на пингвинчиков, жирафа, керамического барсука.

— Двести фунтов.

— А в глаз не хотите? — В ее вопросе сквозит такая теплота, такая непосредственность, интонация вопроса настолько не соответствует его содержанию, что мистер Утиль не сразу понимает, о чем речь; ему невдомек: сила этой женщины велика, она может оторвать ему руки и ноги с такой же легкостью, с какой ребенок отрывает лепестки у цветка.

Ухватив суть вопроса, он тут же теряет к нам всякий интерес, ибо в этой части города принято не только ценить оригинальность, но и соблюдать повышенные меры безопасности. Тем не менее она с готовностью платит ему сто фунтов за весь комплект, и мы отбываем.

Мы выходим и видим, как навстречу по тротуару катит на велосипеде чернокожий юноша. Он слушает плейер, на носу — это в ноябре-то! — черные очки. Явно собирается сказать нам «пару ласковых». У моей нынешней хозяйки, напротив, выражение лица ангельское. Он лениво объезжает нас, проезжает еще футов десять и тогда только начинает громко сквернословить. Мужчина в инвалидном кресле грузит детский велосипед в прикрепленный к креслу прицеп; всего существует тридцать два способа погрузить детский велосипед в прицеп (такого размера); это же — один из трех способов грузить в прицеп детский велосипед, который вам не принадлежит. Еще один мужчина заходит в

обувной магазин купить черные туфли своей жене, которая только что умерла. Средний пульс прохожих — семьдесят девять ударов в минуту. Из шестидесяти находящихся в данный момент на улице прохожих больше всего — четверо — думают о жареной картошке, еще двое — о том, что бы они сделали с девушкой в шубке из леопарда. На проезжей части находятся в это время семьдесят четыре транспортных средства.

Нас загружают в автофургон, и моя нынешняя хозяйка садится за руль, отчего фургон жалобно стонет. Мы трогаемся, и вскоре становится ясно, что едем мы в сторону Розиной квартиры. Припарковавшись за углом, великанша достает сотовый телефон и набирает номер. В трубке раздается голос Никки; моя хозяйка отключает телефон, на мгновение задумывается, заводит мотор — и мы куда-то едем еще минут пятнадцать. Приезжаем мы в спортивный клуб, где спортом занимаются не для того, чтобы сбросить лишний вес или похудеть в талии, а для того, чтобы диктовать миру свои условия. Боксеры с остервенением колотят по грушам, чтобы с еще большим остервенением бить людей. По залу прохаживаются великаны, чьих лиц почти не видно под буграми мышц; впрочем, по сравнению с моей хозяйкой они не кажутся такими уж великанами. Она здесь — единственная женщина, и ее приход вызывает всеобщее внимание.

— Привет, Туша, — цедит один из великанов, ее знакомый. Раздается смех. Кто-то оставил посреди зала штангу; Туша снова набирает Розин номер и, убедившись, что Никки по-прежнему дома, хватает штангу, которую она способна не только выжать вместе со штангистом, но и забросить обоих на крышу соседнего дома, и начинает — довольно, впрочем, неловко — завязывать ее узлом.

Разумеется, стоящие поблизости культуристы гогочут; в самом деле, какой смысл тратить всю жизнь на то, чтобы отрывать от земли увесистые куски металла и вдыхать терпкий запах чужих подмышек, если не иметь возможности посмеяться над невиданно толстой женщиной, которая не владеет искусством толчка и жима, да еще носит белый кожаный пиджак с нелепыми белыми крыльями за плечами? Трое качков, чей совокупный интеллект примерно равен интеллекту карандаша, как по команде поворачиваются к ней и разражаются громким смехом. «А может, она ищет ссоры? — думаю я про себя. — И для этого любым способом старается привлечь к себе внимание, вызвать смех».

— Так жирок не сбросишь, крошка, и не надейся, — замечает один из качков, что с его стороны несправедливо: жира как такового у нее не так уж и много, зато шире в плечах здесь нет никого. Слышу, как по залу пробежал смешок — не в адрес Туши, а в предвкушении того, что должно неминуемо произойти.

На шее у насмешника — рубец; на рубце вытатуировано: «Резать здесь»; по всему видно: штангой он занимался и в тюрьме тоже. Сидел себе, должно быть, за решеткой, качал мышцы в тюремном спортивном зале и в ус не дул. Таких, как он, камера спасает от куда больших неприятностей. Типичный придурок, природа не обделила его ростом и весом, и теперь он каждый день начинает — и кончает — штангой. Не понимает только одного: завод, который производит таких, как он, был запущен еще до ледникового периода.

— На небеса ты не попадешь, можешь не беспокоиться. Даже верхом на штанге. — Гомерический хохот. Туша переносит насмешки с поистине ангельским терпением. До поры до времени.

— Сила и мышцы — вещи разные, — изрекает она наконец голоском девятилетней школьницы. — Все стонут от смеха — вот уж действительно святая простота. — Сила — не в мускулах, а в душе. — «В душе!» — зал сотрясается от дружного хохота.

— Спорим? — предлагает она. Тут бы качкам, будь у них в мозгах хоть одна извилина, заткнуться и отойти. Но они не понимают, с кем имеют дело.

— Ставлю сотню, что я выносливей вас всех, — провозглашает Туша.

— Да ну? — не верит своим ушам Рубец.

— Именно так. — С этими словами Туша извлекает из кармана деньги и две зажигалки, одну синюю, другую красную. Рубец мечется по залу в поисках сотни. — Выбирай зажигалку, — говорит она. Он берет синюю зажигалку в правую руку, на которую ладонью вниз ложится левая рука Туши. В правой руке у Туши красная зажигалка, а сверху — левая рука Рубца. Язычки пламени вспыхивают одновременно.

Рубец почти сразу же начинает морщиться. Он — из той породы людей, которые скорее умрут, чем дадут слабину, однако в данном случае ему грозит не смерть, а боль. Через десять секунд он начинает трястись всем телом и на мгновение отдергивает руку,

однако затем пересиливает себя и со слезами на глазах вновь ее опускает. Ладонь же Туши остается неподвижной, на лице — благодать. Еще через семнадцать секунд Рубец, всхлипнув, как ребенок, судорожным движением сжимает руку в кулак. Чернокожий дружок Рубца считает, что у него получится лучше, и собирает дань с тех, у кого рост и вес поменьше, а кошелек потолще. Лучше не получилось.

— Да она нам мозги пудрит! — кричит Рубец, хватает синюю зажигалку, зажигает ее и вновь поджаривает себе ладонь. — Денег ты все равно не получишь. — Она ласково смотрит ему в глаза, сама же тем временем присваивает его семейные драгоценности: эспандер, гантели, тренажер. К такому повороту событий Туша явно привыкла: ее улыбка, твердый взгляд, осанка были не случайны — она готовилась. У Рубца — минутный шок, который наступает у всех мужчин после перенесенной боли; они пытаются собраться с духом — как правило, неудачно. Рубец капитулирует.

— Запомни одно слово, — говорит она. Апосематика. А-п-о-с-е-м-а-т-и-к-а. Хочешь, я его тебе запишу? Человек, над которым ты смеешься, может оказаться не только толстым, но и сильным.

Получив с проигравшего деньги, мы вновь едем к Розе. Автофургон останавливается, и Туша, со связкой ключей в руке, переходит улицу. Вижу, как она, предварительно удостоверившись, что в квартире никого нет, начинает подбирать ключи к замку.

Покамест она возится с входной дверью, неизвестный мне джентльмен открывает дверцу фургона и садится за руль — одновременно с этим Туша (судя по всему, уже бывшая моя хозяйка) проникает в дом. Мы снова в пути.

Путь наш, однако, недолог. Мы сворачиваем в проулок и заезжаем в гараж, где джентльмен опустошает фургон. В его движениях сквозит уверенность умалишенного. Вообще умалишенные, если только подбирать их с умом, совершенно незаменимы; лучших работников не придумаешь: ни тебе перекуров и усталости, никаких телефонных звонков и посторонних дел.

Он тщательно пылесосит фургон изнутри, моет, а затем натирает воском снаружи, заменяет масло, моет с шампунем мотор, выбрасывает из пепельницы зловонные окурки, до блеска протирает тряпкой инструменты в коробке, наводит порядок в «бардачке» и в довершение всего еще раз, после некоторого размышления, обдает машину водой из шланга. Меня изучает внимательнейшим образом. Спустя пять часов фургон возвращается на то самое место, откуда он был угнан; на переднем сиденье записка, Евангелие и бутылка с чистящей жидкостью.

Записка: Чистота сродни Благочестию. Чистый автомобиль вывезет Вас на дорогу к Вашему спасению. Чистая приборная доска — дорога к Господу. Так пусть же чистота вашего автомобиля очистит Вашу душу. Сумма пожертвования — 100 фунтов.

Интересно, каким образом он собирается получить означенную сумму? Лично я предпочитаю, чтóбы деньги не жертвовались, а давались в долг.

Моя гигантская хозяйка появляется спустя десять минут; все это время Туша наблюдала за улицей из паба и теперь спокойно, как будто ничего не произошло, открывает дверцу автофургона. Записку душещипательного содержания прячет в карман. Мы входим в Розину квартиру. Поначалу Туша оглядывается по сторонам, словно пытаясь сообразить, где находились украденные вещи, однако затем решает по местам нас не расставлять и сгружает на шаткий столик. И тихо уходит.

Никки возвращается поздно — вероятно, с бегством от Розы она решила повременить. Ее сопровождает крупный джентльмен, роль которого в тот вечер заключалась в том, чтобы подвергнуть различные части ее тела специальной растяжке и обработке.

В коридоре они делают привал. Джентльмен худощав, но мускулист. Издает львиный рык. Пенис у него длинный, на конце изогнут. Всего существует шестьсот одиннадцать видов мужского детородного органа, этот — номер четыреста пятый, «ятаган», известен тем, что при желании им можно выколоть глаз. Вдобавок из него в разные стороны торчат какие-то металлические шипы, издали он напоминает утыканную гвоздями изогнутую доску. Никки издает утробный звук, напоминающий хрюканье вьетнамской толстобрюхой свиньи. Они сношаются, и Никки пускает в дело огурец, который для этой цели использовался чаще любого другого овоща (в восемнадцатом веке, правда, наблюдалось повальное увлечение артишоками, на что никто, кроме меня, внимания не обратил). Выбор этот вполне оправдан: крепкий огурец дает необходимый эффект, риск же

постоянного присутствия (статус, к которому обычно стремятся прочие соблазнительные предметы сходной формы) совершенно исключен.

Огурец откладывается в сторону.

— Пойду сделаю нам салатик.

Секс был столь неподражаемо хорош, что Ятаган на несколько минут лишается дара речи.

— Ты что, употребишь в салат его?! — говорит он задыхаясь, стоя на четвереньках.

— А почему бы и нет? Сначала — секс, потом — здоровая, легкая пища.

По пути на кухню Никки обнаруживает на колченогом столике нас, вечных странников. В первый момент не знает, что и думать, — но лишь в первый. Прикидывает в уме, как это могло получиться, — сама ведь из дому выносила. Смеется. Судя по ее смеху, Туша в нашем возвращении не заподозрена. Ясно, что тайны интересуют Никки ничуть не меньше, чем секс. Нет, она не из тех, кого можно застать врасплох, кто во всем ищет логику и здравый смысл.

Розы нет как нет. На следующее утро Никки, как обычно, колется и отправляется на охоту. Перед уходом обдумывает, не стоит ли нас опять кому-нибудь запродать.

Спустя час двадцать минут после ухода Никки происходит очередное ограбление. На этот раз настоящее, классическое. В гостиной слышится звон разбиваемого стекла, и в оконном проеме вырастает гигантский раздвижной секатор; таким не кустарник подрезать, а вековые дубы валить. Зондирует территорию, однако после проведенных Никки мероприятий зондаж мало что дает. С впечатляющей ловкостью секатор ухватывает своими хищными челюстями недопитую бутылку виски, и та уплывает в окно. За бутылкой следует полбатона черствого хлеба. Доходит очередь и до меня.

На улице я ловлю на себе злобный, полный презрения взгляд бородатого мужчины в инвалидном кресле. Ему и в голову не приходит, что даже если бы сам он пошел на собачьи консервы, а его инвалидную коляску переделали в лимузин, я все равно бы стоила в тысячу раз больше той суммы, которую выручили бы за них обоих. С украденным добром обходиться можно было бы и повежливее.

В сущности имеются лишь две разновидности преступников: одни воруют, другие мочат. Третьего не дано. Борода (в списке бородатых он значится под номером тридцать три тысячи сорок девять) совершенно невозмутим; он роется в своем прицепе, извлекает сверхдлинную, сверхпрочную удочку, которую ловким, выверенным движением закидывает в окно, и выуживает оттуда принадлежащий Никки старенький кассетник (который каким-то непостижимым образом уцелел во время предыдущих «чисток»).

Борода неторопли в движениях, зато сквернословит исправно и без перебоев. Просматривает какие-то бумаги, выбрасывает их за ненадобностью, а затем, сложив украденное в маленький прицеп и даже не пытаясь, отъехав в сторону, скрыться от посторонних глаз, искусно выпрастывает заднюю часть тела из кресла и обильно, без спешки испражняется.

После чего отправляется в путь. Сперва — к газетному киоску, где крадет газету, далее — в ближайшее кафе, где, вместо того чтобы подъехать вплотную к пустому столику, останавливается ровно посередине, полностью перегородив проход своим инвалидным креслом с прицепом. Ленч он заказывает, истошно выкрикивая каждые две секунды: «Жаркое! Жаркое!» Хозяин явно видит его не впервые; на его лице выражаются смешанные чувства: с одной стороны — желание поскорей обслужить клиента и забыть о его существовании; с другой — сожаление, что человечество еще не выродилось настолько, чтобы сыграть головой Бороды в футбол. Хозяин только что получил открытку от брата, недавно открывшего в Шропшире кафе; брат пишет, как хорошо идут у него дела.

Борода расплачивается, и хозяин замечает, что тот недодал ему двадцать пенсов. «Двадцать пенсов! Двадцать пенсов! Подумаешь, сумма!» Не успевает Борода прокричать эту ламентацию дважды, как хозяин выбрасывает белый флаг.

Громкое чавканье — этим искусством Борода владеет поистине виртуозно. Нет, такой, как он, наверняка состоит на зарплате у самого дьявола. В газете, которую он украл, его интересуют одни некрологи. Он зачитывает их вслух с не меньшим наслаждением, чем поглощает пищу.

— Тэк-с, кто там у нас окочурился? «Эрик Эллаби, пятидесяти шести лет, специалист по квантовой физике... оставил двух сыновей». Кто еще? «Ариол Травис... читал лекции по истории Ближнего Востока... скорбящие жена и дочь». А это кто? «Капитан ВВС... в возрасте восьмидесяти одного года...» — Его радости нет предела.

В это самое время в кафе неторопливо входит Никки. Смотрит на доску, на которой мелом написано сегодняшнее меню. С того места, где я нахожусь, мне виден автофургон, остановившийся ярдах в ста от кафе; за рулем — седая коротко стриженная женщина. Никки обдумывает, что бы заказать, ее взгляд падает на прицеп, где нахожусь я и видавший виды кассетник, ее верный раб. Принимает какое-то решение и исчезает.

Входит пара. Она — в бесформенной, под стать телу, одежде. Он — лет сорока, шевелюра напоминает разворошенный стог сена — если только бывает стог, состоящий всего из двадцати травинок. Они заказывают чай, и, когда официантка его приносит, Стог открывает огонь на поражение:

— Что это?

— Ваш чай.

Стог оглядывается по сторонам, словно приглашая сидящих в кафе возмутиться вместе с ним.

— Это — не чай. Немедленно его унесите.

Официантка, натурально, — сама вежливость. Приехала из бедной страны и готова много работать и мало получать. Интересуется, чем чай не устраивает клиента.

— Настоящий чай следует подавать в чайнике. — В кружке с кипятком полощется пакетик с заваркой.

— Простите, — говорит официантка, — но у нас принято подавать чай так.

— Меня мало интересует, что у вас принято, — фыркает Стог. Официантка извиняется, не понимая еще, что дело вовсе не в чае, а в Стоге. Предлагает унести кружку с пакетиком и поискать заварочный чайник.

— Нет. Нет. Нет. Принесите мне кофе. Вы, вероятно, понятия не имеете, что такое чашка чая. Это ведь Англия, милочка. Чай в Англии — это всё.

Кричит он почти так же громко, как Борода. Официантка убегает и возвращается с кофе.

— Нет. Нет. нет. Вы оскорбили меня вторично, — провозглашает Стог. — Это — не кофе. Я буду вынужден поставить в известность руководство вашего заведения.

Посетители начинают на него оглядываться — что за псих такой? В самом деле, измывательство над официантками считается одним из самых гнусных правонарушений. Обычно официанток принято поносить в более дорогих заведениях, здесь же Стог устроил скандал из-за какого-то одного фунта. По всей видимости, в жизни ему сопутствует не такой успех, на какой он вправе рассчитывать, — вот он в этой забегаловке и самоутверждается; здесь, полагает Стог, к его словам прислушаются, и он сможет призвать к ответу безответное существо. Судя по тому, как он одет, третий мир не дает ему покоя ни днем ни ночью, он стремится покончить с ним раз и навсегда; нет третьего мира — нет проблем. Он — из тех, кто пишет длинные письма о том, как несправедливо устроен мир, и эти письма печатают лишь газеты, которые не могут похвастаться большими тиражами. Даже хозяева жизни лучше, чем этот мелкий шакал, ведь хозяин жизни топчет всех и каждого, а не только слабых и обездоленных. Его спутница все это время ведет себя совершенно пассивно.

Спросите меня, и я вам отвечу: она — рыба, причем рыба мороженая; такие не способны возбудить мужчину, даже если тот просидел шесть лет в одиночной камере. Стог, надо полагать, не пригоден ни к чему: толк от него лишь в том, что, во-первых, он существует, во-вторых, греет постель. Да и скандал в дешевой забегаловке все же лучше, чем одиночество.

Странно, что официантка вообще здесь работает, ведь толстобрюхие нищие, простояв в подземке два часа, зарабатывают столько же, сколько она за неделю. А тут еще клиенты оскорбить норовят... Вот и хозяин кафе мечтает уехать к брату в Шропшир, девушка с журналом «Сцена» — попасть в Королевский балет, механик с засаленной самокруткой в углу рта — натянуть коротконогую повариху, но та разочаровалась в любви.

Спустя пять минут появляется Никки. Незаметно для Бороды подбрасывает ему в прицеп еще один предмет — пару серег. Уходит. Из автофургона по-прежнему ведется наблюдение.

Чтение некрологов продолжается еще девять минут пятьдесят три секунды, после чего мы выкатываемся на улицу. В двухстах пятидесяти трех футах от кафе нас догоняет полицейская машина. Еще до того, как становится совершенно очевидным, что предмет их интереса —

мы и только мы, Борода нажимает на газ, и, опустоши он прицеп, ему наверняка удалось бы, при его-то силе и сноровке, от них оторваться — однако его опередили.

При задержании полисмену приходится непросто. Борода не тратит времени на то, чтобы узнать, в чем его обвиняют. Вместо этого он истошно кричит: «Бейте меня! Давай, бей! Я калека! Я безработный! Я заслужил! Он меня ненавидит! Смотрите все! Все смотрите!» Кажется, он вот-вот выпрыгнет из своего инвалидного кресла: всем телом подался вперед, руки, как прыгун с вышки, согнул в локтях, еще мгновение — и он пробьет головой мостовую. Однако полисмен упасть ему не дает. Выставляет вперед в качестве препятствия правый сапог и вместе со вторым полисменом выволакивает Бороду из инвалидного кресла, точно гигантского лосося из моря, и заталкивает его на заднее сиденье машины.

Полицейский участок. Пролежав всю дорогу с покорностью мешка картошки, Борода усыпляет бдительность стражей порядка и, войдя в участок, от души ударяется головой об угол стола дежурного сержанта. Голова раскрывается, как цветок, орошая грязный пол полицейского участка алой, цвета закатного солнца кровью. «Вы у меня ответите!» — кудахчет потерпевший. Приезжает его адвокат — от предстоящего процесса он, судя по всему, ничего хорошего не ждет.

Меня демонстрируют Никки, которая напускает на себя такой вид, будто в полиции она впервые в жизни. Никки подтверждает, что я являюсь собственностью Розы, что кассетник принадлежит ей, Никки, равно как и серьги (они почему-то ассоциируются с протяжным звуком, издаваемым гитарой, когда ее крадут), которые, по ее словам, были похищены еще во время первого ограбления и на которых с внутренней стороны выгравировано ее имя. В результате Бороду без дальнейшего разбирательства сажают в камеру предварительного заключения по обвинению в грабеже.

Когда живешь в этой части Лондона, за развлечения платить не приходится.

Чаепитие. Шестнадцатое

Роза не скрывает своей радости — преступник обезврежен.

Никки сидит на полу в позе лотоса; ей легко оттого, что она завоевала себе место под солнцем; ей тяжело, ибо она перенапрягла мышцы.

— Тренируетесь? — спрашивает Роза.

— Я сегодня кувыркалась в воздухе, — говорит Никки.

— Ого, — говорит Роза, а затем, спохватившись, переспрашивает: — «Кувыркалась в воздухе»?!

— Ну да, я же гимнастка.

— Вы работаете в цирке?

— И в цирке тоже. Но не на трапеции. До этого я еще не доросла.

Так вот почему она все время потеет.

— А я слышала, если хочешь стать циркачкой, начинать надо чуть ли не с трехлетнего возраста.

— Ничего подобного. Цирком я увлеклась, когда встретила на тренировке одного типа... ему уже тогда было сильно за сорок. Я наблюдала, как он работает, — высший класс! Мы разговорились, и выяснилось, что на арене он всего три года. До этого он был дантистом, а потом, в один прекрасный день, решил, что ему хочется, чтобы люди его любили, чтобы улыбались при его появлении.

Еще бы ей не нравился цирк! Полет к звездам. Ей ведь практически незнаком страх; когда же она с ним знакомится, то незамедлительно затаскивает его к себе в постель. И поворачивается к смерти задом. Как исполняющие танец быка танцовщицы на Крите, как любой циркач. У нее есть всё — сила, скорость, чувственность; не хватает одного — терпения. Она совершенно не в состоянии подолгу сидеть на одном месте, делать одно дело.

Договорились, что Никки, пока она готовит свой цирковой номер, может пожить у Розы.

Длинный звонок.

Роза нажимает на кнопку домофона.

— Роза? Это Мариус.

— Мариус? Какими судьбами? Заходи.

— С удовольствием, но дело в том, что я себя неважно чувствую, поэтому скажи, у тебя нет гриппа или насморка? Ты сегодня утром не чихала? В моем состоянии подхватить инфекцию вторично было бы губительно.

— Не беспокойся, я совершенно здорова.

Входит коллекционер. Он в перчатках, на лице маска. По-прежнему размахивает огнетушителем. Никки чувствует, что пахнуло деньгами и властью, и сразу же к нему подъезжает. На полном ходу. Что привело сюда Мариуса? Азарт коллекционера, вот что.

— Я слышал, твою квартиру грабили, и не один раз, вот и пришел выяснить, все ли в порядке.

Меня предъявляют.

— Я ее сейчас заберу, — сообщает Мариус.

Это Роза уже проходила. Она закрывает дверь, облокачивается на нее и только тогда говорит:

— Нет, Мариус, я ее тебе отдать не могу. Ее дала мне Элен, а не ты.

— Ты что, мне не доверяешь?

— Не в том дело. Работаю ведь я на Элен.

— О чем это вы? — интересуется Никки. Сегодня утром она оделась как нельзя более удачно: кроме прозрачной длинной белой майки, на ней нет ничего.

Мариус вкратце описывает ей мою родословную. Постепенно дыхание у него учащается, и наконец похоть властно наступает на горло накопительству. Ему, старому греховоднику, с каждым разом сдерживаться все труднее. Другой бы о душе подумал, а этот под своей гриппозной маской слюни пускает. Лучше б член подвязал — на всякий случай.

— Выходит, она много денег стоит? — допытывается Никки.

Прогноз: мы с Никки наверняка в самом скором времени совершим еще одно путешествие.

— Многие собиратели не пожалели бы за нее несколько тысяч. Для меня же она просто бесценна.

Меня в его коллекции и в самом деле не хватает — досадный пробел. Коллекции часто оказываются гробницами правил. Из-за того, что все мы — картины, из-за того, что все мы — вазы, мы — одно целое. Маленькое расчищенное пространство в клоаке существования, узкая тропинка в чаще мироздания. Коллекционировать можно без конца. А если всё, что хотелось собрать, собрано? Горе коллекционеру, у которого законченная коллекция. Но не будем об этом.

— Жаль, что у меня такой нет. С удовольствием бы продала. А у вас акцент. Откуда вы родом? — Никки хихикает, давая понять, что и сама стоит денег. И тоже немалых. Не задумываясь, пускает в дело грудь.

— Родился в Эстонии.

Никки проводит пальчиком по моему горлышку — уважительно.

— А не скажешь, что дорогая.

— А какая, по-вашему, дорогая? Со знаками доллара на боках? Эта ваза славилась своей красотой во времена, когда Европа была еще лесом, когда Древний Египет походил на райские кущи, когда на месте Трои стояла пара рыбачьих лачуг, а на месте Афин росло несколько масличных деревьев на пригорке; когда фараоны еще чесали в затылке — что бы такое построить, когда о всемирном потопе еще и не помышляли. Ее создали в незапамятные времена, которые не имеют с нашим временем ничего общего... а впрочем, ведь и тогда у людей желания были те же самые. Человеческие желания не меняются, они всегда одинаковы. Человек всегда хотел создавать красоту... и заниматься любовью.

Осекся. Никки счастлива, что на ней прозрачная одежда: Мариус то и дело поглядывает на просвечивающий сквозь белую майку заветный черный мысок. При этом исправно делает вид, что ничего не видит.

— Какие вы обе красивые, — скулит он. Роза по наивности думает, что это комплимент, похвала «доброго дедушки», на самом же деле это любовная песнь самца перед спариванием. Хорошие манеры, если только они не извращение, имеют обыкновение при наличии денег улетучиваться, поэтому очень важно сознавать, что в любую минуту

ты можешь превратиться в развалину (или в труп) и тебе уже не придется больше пренебрегать условностями.

— Роза, если ты и твоя подруга нуждаетесь в заработке, я был бы рад заняться с вами любовью. — Мариус тает. Он совершенно не надеется, что ему скажут «да»; больше того: чем он в этот момент отвратительнее, тем ему приятнее. — По очереди либо сразу с обеими, — урчит он. При его-то деньгах он может пригласить в ресторан целый полк шлюх. В Швейцарии ему принадлежат три горы.

Роза смотрит на него с невыразимым отвращением — такое бывает не чаще одного-двух раз в жизни. Ее презрительный взгляд пригвождает Мариуса к стене.

— Почему бы и нет? Пять сотен нас устроят, — подает голос Никки.

Мариуса эта сумма несколько настораживает, но он уже начал обильно потеть. Ловит на себе полный ненависти взгляд Розы.

Мариус и Никки отбывают. К своему утреннему наряду Никки присовокупляет юбку и пару самшитовых серег: потерпевшие кораблекрушение моряки бросают жребий, кого съесть, и жертвой, натурально, оказывается юнга. Интересно, понимает ли Никки столь сложную символику собственных серег? Мариус напрочь забыл о цели своего визита.

Поездка за город

Утро следующего дня. Никки отсутствует.

Прогноз: она вырывает золотые пломбы из зубов Мариуса и опустошает одну сахарницу за другой. Крадет все, что можно унести.

Роза кладет меня к себе в машину.

«Я что-то не то делаю. Это какая-то ошибка. Я добьюсь своего. Обязательно добьюсь». Занимается самовнушением. Сегодняшнее состояние Розы близко к отчаянию и никак не соответствует ее серьгам, от которых веет миром — миром и согласием. В коробке из-под чая, где она хранит драгоценности, есть и другие серьги. К примеру, сегодня были бы, возможно, более уместны мрачноватые фаянсовые: одиноко стоящий на задней улице книжный магазин, в который никто не идет (а те немногие, кто все же туда заглядывает, настолько равнодушны к книгам, что во всяком посетителе хозяину видится вор) и который наверняка закроется в самом скором времени. Но отчаяние не способствует здравомыслию, и, быть может, Роза права, что не желает изливать душу всем и каждому.

Роза садится за руль, и мы отправляемся в путь. Первая мысль: меня везут к Мариусу. Но нет, мы выезжаем за город. В загородное поместье Мариуса?

Сворачиваем на автостраду. Машина у Розы еле дышит, и едем мы с умеренной скоростью. По соседней полосе несется гигантский грузовик: поравнялся с нами, шофер громко гудит и выставляет в окне одну за другой две пластиковые таблички; на первой значится: «Привет, красотка», на второй — «Покажи, не стыдись»; обе таблички подготовлены заранее и, надо полагать, уже немало поспособствовали тому, чтобы на шоссейных дорогах ее величества царили дружба и взаимопонимание. Порядковый номер лица водителя — пятьсот шесть («приплюснутая задница»). Сразу оговорюсь, выражение это я придумала не сама, а позаимствовала в Могунтиакуме. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Существует таинственная связь между людьми с таким лицом и транспортным средством, которым они управляют. Роза прибавляет скорость, ее глаза прикованы к несущейся навстречу дороге, и она не видит третьей таблички: «А мы бы спелись».

С заднего сиденья мне видна выставленная в ветровом стекле грузовика фотография супруги Приплюснутого в полный супружеский рост. (Одного не понимаю: к чему, да еще по собственной воле, возить с собой фотографию коротконогой женщины со свиным рылом и полной неспособностью найти приличного парикмахера.) Живо представляю себе, как она показывает своему благоверному увесистый кулак. А что же Роза? Ушла в себя и не замечает ни моего игривого настроения, ни того, как Приплюснутый съезжает на обочину, чтобы полюбоваться очередной аварией.

Такие ситуации случаются примерно раз в триста лет.

Спустя один час сорок шесть минут мы останавливаемся возле симпатичного маленького коттеджа — хозяин жизни в таком ни за что бы не поместился. Коттедж утопает

в зелени; поля и леса вокруг можно было бы назвать «бескрайними просторами», если бы мы не находились в Южной Англии на сегодняшнем этапе мировой истории.

Забрав почту из почтового ящика, Роза вносит меня в коттедж. Обращается со мной, как с грудным младенцем: то ли оттого, что боится, как бы меня опять не украли, то ли потому, что хочет выудить из меня все истории до одной. Осматривается по сторонам — всё ли на месте — и поливает комнатные цветы. Выкладывает в миску кошачьи консервы. Вероятно, это дом ее друзей, за которым она в их отсутствие присматривает.

Затем достает из холодильника бананы и яблоки, берет бутылку минеральной воды, мы выходим через заднюю дверь и направляемся к какому-то полуразвалившемуся строению, отдаленно напоминающему сарай. Тут меня внезапно охватывает чудовищный страх: неужели я обречена на жизнь в глуши, на выращивание тюльпанов, на отсутствие благодарной публики? Когда мы входим в сарай, я обнаруживаю, что его главная функция — не содержать в целости и сохранности вилы, тачки и лопаты, а скрыть наличие внутри старого колодца.

— Итак? — раздается со дна колодца чей-то голос.

Роза складывает фрукты и бутылку в ведро и спускает его вниз.

— О боже. — Голос тот же. Обычно из глубокого, темного, сырого колодца доносятся совсем другие голоса. Этот же — женский, хорошо поставленный и весьма мелодичный. Что странно: обычно благополучным, образованным женщинам на дне колодцев приходится не в пример тяжелее.

— С кузнецом ничего не вышло?

— Нет, не вышло.

Помню, как я удивилась, заметив, что Роза извлекает из помойного ведра письмо, порванное на мелкие кусочки.

— Что ж, от первого свидания многого ожидать не приходится.

— Я и не ожидала.

— Только не подумайте, что я жалуюсь... вы, безусловно, делаете все, чтобы скрасить мне жизнь... но сидеть здесь... довольно-таки тягостно, поверьте. От меня вам было бы наверняка больше пользы, если б я вернулась домой.

— Вы будете сидеть здесь до тех пор, пока ваши советы не принесут мне пользу.

— Я же не отказываюсь вам помочь, но поймите, я не волшебница, чудодейственных средств, которые бы возымели мгновенное действие, у меня нет. И потом, совет... как бы это вам объяснить?.. совет есть совет, не более того. Ничего гарантировать я не могу.

— В вашей рубрике вы писали совсем другое.

— Вы очень решительная и хваткая женщина — иначе бы вы не были сейчас наверху, а я внизу. Но ведь есть и другие люди, они не обладают вашими данными, они нуждаются в совете и поддержке в таких вещах, которые для нас с вами — проще некуда; есть одинокие люди, которых некому поддержать, эти люди мне и пишут, эти люди меня и читают. И не забывайте, многие, когда водят пером по бумаге, испытывают облегчение.

— А я испытываю облегчение, когда разговариваю с вами.

— Я не хочу вас пугать, но в каком-то смысле... Если выяснится, как вы со мной поступили, у вас могут быть неприятности.

— Во-первых, вы вряд ли выиграете, если станет известно, что в колодец вас посадили, потому что ваши психологические советы оказались совершенно непригодными. Ну а во-вторых, не думаю, что в тюрьме мне будет намного хуже, чем на воле.

— Что ж, в таком случае хочу сразу же предупредить: в женской тюрьме вы едва ли встретите мужчину своей мечты. Но не будем отвлекаться. Какого совета вы ждете от меня сегодня?

— Такого же, как вчера.

Забавно наблюдать Розу в роли тюремщицы. Я не сразу обратила на это внимание, но, разумеется, у нее есть свои идеалы, целое море идеалов, и, как всякая идеалистка, она — человек крайностей. Она — редчайший типаж, типаж под номером пять тысяч пять; это значит, что из пяти тысяч пяти человек такая, как Роза, — только одна. Соответственно, у таких, как она, серьезные проблемы с общением. Об этом, впрочем, я могла бы догадаться по ее серьгам. Серьгам в виде распластанного в небе буревестника.

— И все-таки меня не покидает ощущение, что вы требуете слишком многого. Любовь ведь в магазине не купишь. Смотрите в оба и действуйте таким образом, чтобы

обратить на себя внимание. Такая встреча может состояться через неделю. Или через месяц. Через полгода. Через год. Я уверена, что смогу вам помочь, но вы должны набраться терпения. Вся штука в том, чтобы не отчаиваться, чтобы получать от одиночества удовольствие.

— Я готова получать удовольствие от одиночества в том случае, если и вы будете получать удовольствие от сидения в колодце, тем более что сидеть вам придется здесь до тех пор, пока я не найду своего счастья.

— А как же моя семья? Муж и дети будут волноваться.

— Я с ними связалась. Сообщила, что вы в безопасности и... здоровы. Отошли на время от дел. Что связаться они с вами не могут, но что беспокоиться нечего. Хотите, чтобы я и вашему шефу позвонила?

— Пока не надо.

— Понимаю. Это была бы не самая лучшая реклама ваших способностей и навыков.

— Вы думаете, найти человека по вкусу так же просто, как вызвать слесаря? Насколько я понимаю, вам хочется, чтобы это был привлекательный мужчина, подтянутый, профессионально состоявшийся, остроумный, чтобы он любил детей и животных, чтобы поддерживал вас, когда вам грустно и тем более — когда весело, и не поддерживал, когда вы только притворяетесь, что грустите. Чтобы не подводил. Никогда не врал. Чтобы помогал по дому, ходил в магазин. Чтобы без цветов домой не возвращался. Чтобы отлично готовил — но не лучше, чем вы сами. Чтобы живо интересовался тем, что интересует вас, и был безразличен к тому, к чему безразличны вы. Чтобы к другим женщинам был равнодушен до такой степени, что прошел бы мимо трех юных голеньких шведок, которые играют в пинг-понг, стоя на руках и широко расставив ноги.

— Образ получился весьма соблазнительный. Но проблема не в этом.

Так вот, оказывается, чем она поглощена! Ро-о-озе нужно всё сра-а-азу. Мужчина без слабых мест. Един во всех лицах. Неотразим. Даже богатей из богатеев, у кого достанет сил прожить — и прожечь — не одну, а сто жизней, и тот ищет себе утешительницу, умиротворительницу, повелительницу. Даже тот, у кого их много, хочет одну.

Итак, Роза ищет идеальную любовь. Почему? По глупости? Или из азарта? Кто она? Сорвиголова, что бескомпромиссно, наперекор судьбе рвется к идеальному браку. Она переступает через подделки и подлоги; ее профессия — установление подлинности; подлинности она хочет и для себя. Я прожила с этими вопросами много лет и к какому же выводу пришла? Когда благоразумие оборачивается трусостью? Когда терпит неудачу. Когда безумие становится отвагой? Когда достигает цели. Вывод? Коли хочешь быть богаче, пожелай себе удачи!

Лишь немногие готовы драться до последнего. Некоторые считают, что до цели им рукой подать, им же предстоит еще долгий путь. Другие впадают в отчаяние. Мозги у Розы устроены таким образом, что лгать самой себе она не умеет. И еще на одну ее особенность я обратила внимание только сейчас: судя по морщинкам у нее на переносице, Роза, при всей ее дерзости и предприимчивости, еще ни разу не ложилась с мужчиной в постель. Нет, она вовсе не неприступна — она ждет.

— Честное слово, я принесла бы вам больше пользы на земле, а не под землей.

— Дайте хороший совет — и вы выйдете отсюда.

— Мне кажется, вам следует больше бывать на людях. Какой мужчина вам нужен?

— Такой, который сделает меня счастливой.

— О'кей. Первое. У меня в сумке лежит приглашение на сегодняшний вернисаж. Обязательно пойдите. Разоденьтесь, как шлюха, — чем вульгарней, тем лучше. И чтобы вырез был поглубже. Смело подходите к мужчине, если только он вам приглянулся и если вид у него благопристойный. Пусть вас не смущает, если ваш избранник женат. Если он в вас влюбится, то обязательно разойдется. К мужчине, который вам понравился, вы подходите первой; ждать, что мужчина подойдет к вам сам, — бессмысленно: мужчины ведь слишком робки. Подходите. Широкая улыбка. Говорите, что никого здесь не знаете, и просите разрешения к нему присоединиться. Мужчины такой подход ценят. И не забудьте: вы должны соглашаться со всем, что он говорит, хвалить его, обсуждать с ним его поступки. Во всей стране найдутся от силы два-три мужчины, которые не считают себя увлекательнейшей темой для разговора.

— Понятно, — говорит Роза.

— Да, чуть не забыла. Не обижайтесь, но вы допускаете одну ошибку. Вы ищете счастья для себя, а должны искать счастья для него.

— Что-то я не помню, Табата, чтобы вы писали об этом в своей рубрике.

— Всего не напишешь.

Теперь понятно, откуда в Розиной квартире столько журналов с помеченными страницами. Я заглядываю в черный проем колодца и вижу, что серьги в ушах у Табаты чем-то неуловимо напоминают кормовую свеклу. Сомневаюсь, чтобы она отдавала себе в этом отчет. Что-то плохо она выбирает серьги, а также колодцы, в которые ее опускают. Теперь мне все ясно. Роза давно задумала проучить Табату и заманила ее в сарай. В отличие от своей жертвы Роза искушена как в выборе колодцев, так и в выборе серег, хотя сегодняшние всю гамму ее чувств передают не вполне.

Мы возвращаемся на кухню.

— Я перевожу старушек через дорогу. Я вежливо отвечаю абоненту, если тот ошибся номером. Я вовремя плачу по счетам. Я не сорю на улице. Когда жарко, я оставляю во дворе миску с водой для птиц. Я дотошна и обязательна. Я жертвую на благотворительные организации. Я не слушаю громкую музыку — даже днем. Если ко мне приходит чужое письмо, я тут же, даже если оно совершенно бессмысленно, отправляю его по нужному адресу. Когда мне надоедает какое-нибудь платье, я стираю его, аккуратно складываю и отношу в приют. Я — из чистой благотворительности — селю у себя совершенно незнакомых людей. Я исправно плачу налоги. Когда моим друзьям нужно срочно уехать, я безропотно сижу с их детьми. Я сдаю кровь. Из-за того, что я работаю дома, я расписываюсь за соседей, когда к ним приходят телеграммы и заказные письма, я пускаю к ним в квартиры слесарей и электриков. Я разборчива в еде. Я почти ничего не ем с кремом, хотя и очень его люблю. Я через день хожу в бассейн. Говорят, что я хороша собой. Говорят, со мной интересно. Я не хочу разбогатеть. Я не хочу прославиться. Я не хочу править страной. Мне двадцать шесть лет, и я хочу только одного — влюбиться.

Роза вздыхает. Вздох номер шестнадцать.

— Ну почему я не могу найти человека, который бы относился к любви так же серьезно, как я?!

Она хороша собой, умна, и по тому, как она складывает на ночь одежду, я знаю: душа у нее добрая. Странно все же, что качества, которые единодушно считаются положительными, успеха нам не приносят.

Роза берет меня в руки, чтобы отвлечься от настоящего и погрузиться в далекое прошлое.

Бессмертие

Жил-был человек, который никак не мог умереть.

В юности ему вскружила голову одна девица. Она занимала все его мысли. Все до одной. Он долгое время ухаживал за ней и наконец сделал ей предложение, однако девице больше всего на свете хотелось, чтобы о ней говорили, и, хотя Бессмертный ей нравился, она заявила, что согласится выйти за него замуж лишь в том случае, если он обойдет на коленях двести местных достопримечательностей, чтобы, когда она выйдет за него замуж, люди могли показывать на нее пальцем и говорить: «Представляете, муж, чтобы завоевать ее сердце, обошел на коленях двести достопримечательностей!»

Выполнить подобное требование было невозможно, и поначалу наш герой ответил «нет». Тогда девица отказалась с ним встречаться, а Бессмертный — о ней думать. Размолвка длилась два с половиной часа, после чего он попросил разрешения сократить число местных достопримечательностей с двухсот до пятидесяти, однако она продолжала стоять на своем. Он, как уже говорилось, влюблен был без памяти, и поэтому ему ничего не оставалось, как преклонить колени и пуститься в путь. За несколько недель коленопреклоненного путешествия, посетив лишь двенадцать местных достопримечательностей, Бессмертный устал почти так же, как и его колени, и решил было от этого предприятия отказаться, однако это бы означало, что мучился он зря, а потому, не думая ни о ком, кроме своей любимой, он собрался с силами и вновь опустился на колени. Надо заметить, что вскоре он сам сделался местной достопримечательностью, ибо все, кто попадался ему на пути, интересовались, что он делает, и, куда бы он ни приходил,

ему оказывали исключительно радушный прием — ведь всем хотелось сказать: «Человека, который взялся обойти на коленях двести местных достопримечательностей, лучше меня не накормил никто».

Кончилось все не совсем так, как можно было ожидать. Когда Бессмертный по прошествии многих месяцев вернулся домой, его возлюбленная давно уже была замужем и на сносях. От Бессмертного это скрыли, ибо не нашлось никого, кто взял бы на себя смелость поставить его в известность.

Узнав о случившемся, Бессмертный пришел в такое неистовство, испытал столь глубокое разочарование, что решил покончить с собой. Он бросился в реку, но, против собственной воли, выплыл и вынужден был идти пешком двадцать миль с того места, куда его отнесло течением. Он так промок, измучился и проголодался, испытал такое отчаяние, что попытаться покончить с собой вторично ему просто не пришло в голову.

На следующий день он прыгнул в реку, набив карманы увесистыми камнями, и немедленно пошел ко дну, однако, погрузившись в воду футов на двенадцать, неожиданно обнаружил, что дышит: река высохла — это местное племя, желая похоронить своего вождя на речном дне, дабы вода служила ему вечным стражем, изменило ее русло на много миль выше по течению. Когда Бессмертному надоело сидеть по пояс в речном иле, отгоняя от себя настырных рыб, он выбрался на берег, нашел веревку, привязал ее к ветке дерева, надел на шею и спрыгнул. Ветка сломалась. Тогда он отыскал сук потолще, но на этот раз лопнула веревка, оставив на шее глубокий рубец. Он достал веревку покрепче, залез на дерево и спрыгнул — повалилось дерево.

Он съел великое множество ядовитых цветов и ягод и долго мучился кровавым поносом. Когда же силы к нему вернулись, он отправился на поиски пещеры, где жил дикий кабан, — по слухам, невиданно свирепый и кровожадный. Обнаружив, что кабан мирно почивает, Бессмертный залез в пещеру и изо всех сил ударил кабана ногой. Кабан открыл один глаз, недовольно заурчал — и заснул снова. Бессмертный колотил несчастного зверя ногами и на обратном пути в деревню, где кабана нашпиговали чесноком и зажарили на вертеле.

Отчаявшись, Бессмертный пошел по деревне, упрашивая соседей его обезглавить. Согласился только один человек — деревенский нищий, да и то запросив за услугу столько, что Бессмертному пришлось распродать все свое имущество. Нищий взял топор, занес его над головой своей жертвы, однако от смеха промахнулся и обрубил себе все пять пальцев на левой ноге, отчего пришел в такое бешенство, что от второй попытки наотрез отказался.

И тут пришли завоеватели.

Вознамерившись погибнуть в бою, Бессмертный отправился на войну в чем мать родила, выкрасившись с ног до головы в ярко-синий цвет, чтобы противник имел возможность заметить его и тут же прикончить. Войско завоевателей сомкнуло ряды, и перед ними явился, дабы посмеяться над врагом, Чудо-богатырь.

Это был настоящий великан; люди обычного роста могли спокойно пройти у него между ног. Закованный в броню с головы до пят, он держал в руке палицу размером с откормленную свинью; другое не менее грозное оружие бряцало у него на поясе. От одного его вида вооруженные до зубов воины сразу же приуныли, никто не желал испытывать судьбу, никто, кроме Бессмертного — он выступил вперед, вооруженный лишь несколькими ругательствами на языке захватчиков, которые заблаговременно выучил.

До тех пор пока его не оскорбили, Чудо-богатырь, похоже, не видел Бессмертного в упор; однако, обидевшись за своих со-ратников, он поднял палицу, чтобы снести Бессмертному голову, однако палица сорвалась, разом убив пятерых. Чудо-богатырь выхватил из ножен меч длиной и шириной со скамейку и занес его над головой Бессмертного, но тот даже не пошевелился. Меч сбрил, точно бритвой, несколько волосков с его левого плеча и, уткнувшись в землю, сломался пополам. Недовольный таким поворотом дела, Бессмертный сделал шаг вперед и откусил Чудо-богатырю нижнюю губу — единственную незащищенную часть тела. Пронзительно взвизгнув от боли, Чудо-богатырь бросился на супостата с кинжалом, но промахнулся, споткнулся и упал на кинжал, вонзившийся ему точнехонько в правый глаз. Бессмертный, разумеется, очень расстроился, но делать было нечего: пришлось сесть богатырю на голову и сидеть на ней до тех пор, пока тот не перестал дышать.

— А теперь посмотрим, помогут ли вам ваши боги, — изрек Бессмертный, направляясь навстречу вражьему стану. Ничем, кроме густо-синей краски, в которую он себя выкрасил, вооружен Бессмертный по-прежнему не был.

Более успешного наемника, чем он, в истории войн не бывало. Он носил лишь самые скромные драгоценнности, и воины шли в бой обнаженными, они громко, подзадоривая себя, гоготали, сжимая в руках не копья и мечи, а цветы, ибо знали, что Бессмертный шел в бой обнаженным (если только не было очень холодно) и громко гоготал, убивал же он, набивая противнику рот полевыми цветами и восклицая: «Ты — земля!» Враги, уповали воины, сочтут, что Бессмертный сражается в их рядах, и в страхе побегут с поля боя.

Его тело было иссечено алебардами, мочки ушей пробиты стрелами, борода подрезана пиками, кипящее масло спалило ему брови, удары кинжалом прочистили зазоры между зубов, где раньше постоянно застревала пища, острые копья подровняли ему волосы, а топоры прочистили уши. За сорок лет непрекращающейся бойни самое тяжелое ранение — царапину на левой руке — ему нанес его же товарищ, и не в бою, а во время попойки, без всякого умысла.

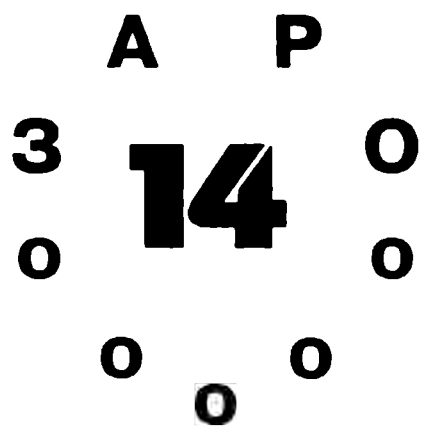
Поскольку не было ни одной войны, которую бы Бессмертный проиграл, ему временя от времени приходилось, чтобы кровопролитие продолжалось, переходить на сторону противника.

Шестидесятилетним стариком, пережив своих сверстников на двадцать лет, он увидел однажды девочку лет тринадцати, шедшую мимо с ведром воды, — это была точная копия той самой юной девы, которую он когда-то любил; именно такой была его возлюбленная до тех пор, покуда не увлеклась местными достопримечательностями. Увидев ее, Бессмертный пал на колени и зарыдал — десятки лет, проведенные в грабежах и убийствах, прошли для него бесследно: в те времена из-за всеобщей кровожадности искусство было не настолько развито, чтобы художественный образ мог заменить ему образ реальный. И стоило ему пасть на колени, как тела ожидавших его женщин, жриц любви, работавших передком не за страх, а за совесть, утратили для него всякую притягательность; об их никчемности, впрочем, он подозревал всегда — понял же только сейчас.

Он незамедлительно попросил ее руки, но затем сделал вид, что заранее смирился с отказом, и в течение шести месяцев посылал к ней самых блестящих, самых обаятельных, самых остроумных красавцев, чтобы те, играя на самых причудливых музыкальных инструментах, а также на струнах женской психологии, ухаживали за ней, исподволь выясняя, что у нее на уме. Однако юная избранница неизменно отшучивалась и своих секретов не раскрывала. За три дня до свадьбы Бессмертный простудился и помер.

Роза покорно листает вслед за мной страницы жизни человека, который никак не мог умереть, и я вижу, как в ее уме зреют, подобно заморским плодам, воспоминания из собственной жизни. А еще говорят, что обратного пути нет.

Срываю один из этих плодов. Срываю и надкусываю.



Магазинов на этой пышущей экономическим процветанием улице больше, чем в иных столицах. Она слышала, как он сказал, что будет здесь в субботу. Встав пораньше, она с половины десятого до половины второго бродила по этой улице из конца в конец, всматривалась в мелькавшие лица, заглядывала в магазины, по два-три раза рассматривала одни и те же товары. Охранники в универмагах провожали ее подозрительными взглядами. Магазины готового платья действуют ей на нервы — и не потому, что вещи плохо на ней сидят или она не в состоянии их приобрести; ей просто ничего не нравится. Она продолжает «осмотр территории», судорожно повторяя про себя те несколько слов

приветствия, которые накануне вечером ей удалось из него вытянуть и с помощью которых она надеялась теперь завести с ним разговор. Ноги болят, ноют ступни... И вдруг, о чудо! Он — перед ней, на губах играет удивленная улыбка.

Она улыбается в ответ, однако не останавливается: хотя ей ужасно хочется с ним поговорить, хотя в надежде на встречу она проторчала здесь полдня, она не желает, чтобы ее обвинили в том, что она проторчала здесь полдня, рассчитывая выпить с ним кофе, — а потому делает вид, что не обращает на него никакого внимания.

Пройдя пять ярдов, она осознает, какую сморозила глупость, однако замедлить шаг и обернуться будет еще хуже — этим она продемонстрирует свою заинтересованность.

Еще час она ждет автобуса, на котором он — ей это известно — едет отсюда домой. С ее точки зрения, автобусная остановка — вполне приемлемое место для случайной встречи; а поскольку он знает, что ехать ей совсем в другую сторону, она заранее «изобрела» подругу, которую собирается навестить. Он так и не появляется.

Роза меня о-о-отпускает, и я пулей вылетаю из ее прошлого.

Ее поиски зашли в тупик. И сама она — тоже.

Никки

Возвращаемся в квартиру — Роза и я. Никки уже вернулась — воюет с банкой маринованной свеклы.

— Итак? — вопрошает Роза.

— Простите меня, — сокрушается Никки. — Если я совершила аморальный поступок, то прошу меня извинить. Обычно я на такое не соглашаюсь, но что поделаешь: без денег ведь не проживешь. Никак не могу найти работу, сами знаете.

— Да нет, тут не в морали дело... просто... просто Мариус такой мерзкий.

— Зато богатый.

— Я же вам говорила: пока не устроитесь, можете жить у меня. Вас от него не стошнило?

Хотя Роза и смущена поведением Никки, мужское уродство их почему-то сблизило. К тому же лишь очень немногие способны отказать себе в удовольствии пройтись по извилистым тропкам непристойной истории. Никки намек поняла:

— Кончилось, в общем-то, ничем. Садимся в лимузин — затемненные стекла, автоматический стеклоподъемник. Мариус весь дрожит — как мышь в кипятке. «Поехали, — говорит, — на Оксфорд-сёркус. Люблю, — говорит, — этим в самом центре Лондона заниматься». В центре так в центре. Едем, значит, на Оксфорд-сёркус. Смотрю — чего-то он волнуется. Везет меня в клинику, где меня часа два со всех сторон проверяют. Всё отлично — если не считать дефицита железа. Опять едем на Оксфорд-сёркус, он на телефоне, звонит всем подряд: «Что в Японии? Всё в порядке? Никаких там революций, восстаний, бунтов? Что там в Германии? Никаких там революций, восстаний, бунтов?» Приезжаем на Оксфорд-сёркус, народу — видимо-невидимо, торговля идет полным ходом. Мариус еле дышит, поэтому я прошу всю сумму вперед — на тот случай, если он в процессе загнется. Раздеваюсь. Собираюсь спустить ему молнию на брюках. Не дается — посылает своего шофера за резиновыми перчатками. Надеваю резиновые перчатки. Спускаю молнию. На нем... пуленепробиваемые трусы. «Нет, — говорит, — постой. Резиновые перчатки могут порваться. Возьми себя сама». Сама так сама. Ласкаю себя, а он в восьми футах от меня, на заднем сиденье, — себя. «Засунь в себя что-нибудь», — просит. Вставляю бутылку от шампанского, и за дело. Секунд через тридцать ему надоедает. «Нет, — говорит, — вставь-ка лучше пистолет. Пистолет моего шофера». Вставляю пистолет. «Нет, постой, — говорит, — а то еще в меня выстрелишь. Вынь пули». Вынимаю — мне же лучше. Работаю с пистолетом. Скис. Скис, а потом вдруг забеспокоился. Позвонил кому-то узнать, существует ли еще на свете город Франкфурт. Глядит на меня и говорит: «Хочу, — говорит, — посмотреть, как тебя другой любит». — «Отлично, — говорю, — но я нахожусь в твоем распоряжении с двух часов. Если хочешь, чтобы кто-то меня при тебе трахнул, выкладывай еще пять сотен». Сказано — сделано. С кем? С его шофером? «Нет, — говорит, — мой шофер такой же урод, как и я. Найди, — говорит, — кого-нибудь посмазливее». — «Где ж я тебе найду?» — «Не знаю», — говорит. Звоню

нескольким. Никого нет на месте. «Могу, — говорю, — кого-то с улицы взять, если пять сотен отслюнишь». — «Отлично», — говорит. Выхожу из машины и целый час хожу по Оксфорд-стрит, спрашиваю у ребят, кто хочет меня и еще пять сотен в придачу. Всех всё устраивает — всё, кроме Мариуса. А ведь ребята не робкого десятка. Среди них есть парочка таких, кому за две сотни человека не то что трахнуть, а и замочить недолго. Один заглянул в машину, увидел Мариуса — и ни в какую. Другой сам предложил мне пятьдесят баксов, но сказал, что при Мариусе трахаться хоть убей не станет. Тут подходит еще один: хорош собой, одет с иголочки, загорелый — загляденье. «Мне, — говорит, — деньги нужны позарез, хочу на курорт съездить». Всё вроде бы в ажуре — и на́ тебе: голубой! «Я, — говорю, — не против, если ты не против». Не успел он сесть в машину, как Мариус говорит: «Кто этот тип? Я его не знаю. Надо будет его проверить». Звоним в разные места, проверяем, кто он и что, а потом везем к врачу. А дело уже к вечеру близится. Едем обратно к Мариусу, но по дороге ему вдруг приходит в голову, что мы в сговоре и хотим его квартиру обчистить. Снимают с нас отпечатки пальцев, и последние сто ярдов мы идем с завязанными глазами, чтобы не видеть дверных замков. Внутри, через каждые три ярда, — огнетушители и ведра с песком. «Зачем тебе огнетушители?» — интересуюсь. «От самовозгорания», — отвечает. Входим к нему в спальню, мой подручный пытается мне вставить, но у него не стоит. Хвастаться не хочу, но есть вещи, в которых я кое-что смыслю, и потом, рот — он ведь и в Африке рот. Но ему и это не в кайф. Стараюсь изо всех сил: и глажу, и тискаю, и кусаю — без толку. «Может, — голубой говорит, — если б в комнате темно было, я мог бы вообразить, что ты... не такая женственная». — «Но в темноте ж я вас не увижу», — пугается Мариус. Делать нечего, тушим свет, и шофер достает очки с люминесцентными стеклами. У голубого привстает, но затем опять опадает. «Может, — говорит, — если б ты постриглась, вид у тебя был бы более... мужественный». Мариус звонит узнать, не дала ли еще Япония дуба. «Так и быть, — говорю, — постригусь, но мне короткая стрижка не идет — с тебя, стало быть, еще пять сотен причитается». Мариус — на телефоне: проверяет, жив ли еще Сингапур, после чего вызывает врача. «Ты меня ненавидишь», — говорит. «Нет, Мариус, — говорю, — я тебя не ненавижу, ты, конечно, тип мерзкий, но я тебя не ненавижу». — «Почему меня никто не любит?» — причитает. «А потому, — говорю, — что ты отвратный тип и не думаешь ни о ком, кроме себя». У него челюсть так и отвисла. Сомневаюсь, чтобы он когда-нибудь про себя такое слышал.

На обидные слова Никки не скупилась, так как давно уже поняла: больше одного дела с Мариусом все равно не провернешь, других таких же заманчивых предложений больше не поступит, нет шансов втереться к нему в доверие, вернуться сюда еще раз и кое-что под шумок вынести — охрана обязательно вывернет ей на выходе карманы.

— Я было решила, что, если выскажу ему в грубой форме всё, что о нем думаю, то расколю его еще на пять сотен, — не вышло. Звоним мы, значит, дружку нашего пидора, чтобы тот его подзадорил. Дружку тоже пришлось как следует попотеть, но в конце концов у пидора мало сказать встал — вознесся до небес! Вставил, шерстит меня по-черному, и в хвост и в гриву. Я криком кричу — а Мариус возьми да усни. Бужу его и требую денег. «А я, — говорит, — ничего ж не видел». — «Не видел, — говорю, — пеняй на себя. Будить мы тебя не договаривались». Самое смешное, что с пидорами я не в первый раз трахаюсь...

— Что-что?

— У меня был период, когда я с мужчинами — настоящими — дела не имела. На самцов ведь положиться нельзя: либо они у тебя деньги отбирают, либо руки распускают — одно из двух. Когда я стриптизершей работала, они, козлы вонючие, достали меня — лезут своими грязными лапами... Если стриптизом промышляешь, от мужчин с души воротит. Я жила с тремя голубыми одновременно — и ничего; надо же вечерок скоротать, когда денег на ресторан нет, по ящику смотреть нечего, на улице дождь. Тоска смертная. Потом, правда, сильно жалеешь: мне, к примеру, почти всегда приходилось после в больницу ложиться.

Тут Никки останавливается: на первый раз с Розы пикантных подробностей, пожалуй, хватит. Для меня же не секрет, каким способом она пытается амортизировать свое доступнейшее из влагалищ: спереди член, сзади член, а «норка» посередке — и нашим, и вашим. В свое время я носила на себе похожий рисунок, и в Гуптской империи он,

надо сказать, имел большой успех. За меня тогда кровь проливали — не успеешь оглянуться, а кругом одни трупы.

— Скажите, а вы... вы... когда-нибудь раньше делали это... за деньги?

Никки сгибает ногу, упирается в коленку подбородком и задумчиво говорит:

— Да, случалось. Но стыдиться тут нечего. Я делала это за деньги, когда мне не хватало на мамину операцию. Главное ведь заработать, а как — не все ли равно. Вам же я об этом не хотела говорить потому, что некоторые, сами знаете, как считают: раз бедная девушка этим занимается, значит, она и колется, и врет напропалую, и ворует...

Перед тем как лечь спать, они затевают игру: кто больше знает сальностей, которые обычно адресуют женщинам представители сильного пола.

Никки: «Всё, что найдешь у меня в ширинке, — твое».

Роза: «У тебя уши раком стоят».

Никки: «К заветному источнику припасть не желаешь?»

Роза: «Мы проводим опрос. Вам нравится, когда вас имеют на автобусной остановке?»

Никки: «Со всеми твоими домочадцами я уже переспал».

Роза: «Может, перекусим?»

Никки не понимает, что тут такого неприличного, и Роза объясняет, что сама она в этот момент находилась в ванной, вопрос же задан был мужчиной, которого она видела первый раз в жизни и который только что проник к ней в квартиру через окно.

Тут я замечаю, что Никки украдкой бросает на меня сердобольные взгляды.

— Ужас, — вздыхает Роза, глядя на пустую бутылку водки, стоящую на столе между ней и Никки. — Я почему-то вспомнила свою первую любовь — мальчика, в которого влюбилась в четырнадцать лет. Кажется, будто это было не со мной. Его лицо стоит у меня перед глазами, но вот черты почти совершенно стерлись.

— Подумаешь! Я не помню, как выглядели парни, с которыми я всего год назад трахалась. — И с этими словами Никки подымает руку и долго, со вкусом чешет у себя под мышкой.

Но от прошлого не скроешься; прошлое Никки — в слове «трахаться», в том, как она его произносит, — «трафаться»; по этому одному можно без труда определить, откуда она родом. Из Лестера — вернее, из деревушки в тридцати милях от Лестера. И Барселона, и Берлин тоже оставили свой след — впрочем, такие подробности, кроме меня, едва ли кто держит в памяти. Даже мне теперь нелегко проследить за всеми превратностями ее судьбы. А ведь лет сто назад я могла бы назвать улицу и дом, где Никки росла.

— Все мы пытаемся отыскать то, что отыскать невозможно... — глубокомысленно замечает Роза; ее, как и всякого смертного, спьяну потянуло на философию. Хотя роль питейных сосудов мне пришлось на протяжении сотен лет исполнять многократно (кем я только не была: и скифом, и ритоном, и оксибафоном, и пентаплоей, и племохоей, и филотесией, и котоном, и канфаром, и элефантом, и дином), к спиртному я отношусь резко отрицательно.

— ...Пытаемся отыскать неотыскиваемую комнату, — бормочет Роза.

Нет, решительно не понимаю, отчего это смерть приводит смертных в такое отчаяние. Ведь все они, в сущности, повторяют друг друга, приходят друг другу на смену. Всё у них одинаковое: одни и те же ухватки, одни и те же прически, один и тот же смех, одни и те же разговоры — бывает даже, и словечки одни и те же. Верно, носы или цвет кожи у них могут быть разные, — но ведут они себя совершенно одинаково. Каждое мгновение миллионы людей заводят одни и те же разговоры, которые, точно комары, перелетают из дома в дом, из страны в страну — и возвращаются обратно. Даже про замороженных игуан говорят в эту минуту самые разные люди в самых разных концах света.

Одилия

Одилия тоже любила поговорить про неотыскиваемую комнату. Это словосочетание она употребила ровно сто девятнадцать раз. «Я знаю, где находятся все ответы, — говорила она. — Что бы ты ни искал, где бы ни был, все ответы собраны в одном месте — в неотыскиваемой комнате».

Эту фразу она повторяла много раз. А вот эту всего один: «Проблема неотыскива-

емой комнаты — как вы, возможно, уже догадались — заключается в том, что отыскать ее невозможно. Скорее она отыщет вас, чем вы ее».

Еще одним одилизмом был «прыгающий мяч». Это словосочетание она — только при мне — повторила двести пятнадцать раз. Выдвинутая Одилией и совершенно недоказуемая теория прыгающего мяча заключалась в том, что если дважды бросить об землю мяч, то второй отскок никогда не совпадет с первым, и происходит это потому, что уже брошенный мяч нельзя перебросить. Двух же идентичных мячей в природе не бывает, и даже если сам Господь создаст два совершенно одинаковых мяча, абсолютного сходства между ними не будет. Чтобы доказать свою теорию, Одилия час-ах-ах-ах-ами бросала об пол мячи и прочие резиновые и кожаные предметы. Она знала: правил на свете не существует, правила придуманы специально, чтобы ввести нас в заблуждение. Верно, природа послушна, как стадо овец, но ведь даже овцы отбиваются от стада.

На свете было не так уж много людей, которым я симпатизировала, ибо на свете не так уж много симпатичных людей. Зато очень многие (порядка четырехсот тысяч) не вызвали у меня сколько-нибудь серьезных нареканий, к ним у меня особых претензий нет. И всего тридцать человек нравились мне по-настоящему — Одилия в том числе; среди коллекционеров, даже самых въедливых, ей не было равных.

«Амфора с высокой ручкой. Форма аттическая. Около 840 г. до н. э.» — таковы были первые слова, с которыми она ко мне обратилась. Описание исчерпывающее, хотя, строго говоря, дизайн мой относится не к 840-му году до нашей эры, а к зиме 843-го. Что ж, для девочки из Таллина, получившей меня в подарок на свое двенадцатилетие, — ошибка, согласитесь, простительная. Было это в 1834 году, когда вновь, по прошествии многих веков, возник интерес к античной керамике, покоившейся в древних этрусских могилах.

Одилия была смышленой не по годам. Смышленой и своенравной. Когда она против родительской воли в возрасте четырнадцати лет отправилась в Лондон, отец настоял, чтобы ее сопровождали две кузины и три гувернантки, которые отличались завидной энергией, выносливостью и физической силой и которым было обещано, если они справятся с ее нравом, баснословное жалованье. Одилия любила трудности. Меня и еще одиннадцать громоздких гончарных изделий отправили вместе с ней — путешествовать налегке она терпеть не могла.

К этому времени Одилия уже бойко говорит по-английски, а прожив в Лондоне год, овладевает языком настолько, что выговором и запасом слов мало чем отличается от самых образованных англичан. Она месяцами бродит по самым бедным и мрачным закоулкам Лондона, вызывая своими вопросами всеобщее изумление и замешательство, и, собрав материал, садится за роман о сироте, который сначала воспитывается в работном доме, а потом, связавшись с карманниками, попадает в лондонский преступный мир. Она рассылает издателям рукопись ровно за неделю до того, как некий мистер Чарльз Диккенс начинает печатать свой роман «Оливер Твист».

После этого мы переезжаем в Манчестер, где Одилия вновь принимается со страстью изучать жизнь бедных слоев общества, активно занимается благотворительностью и размышляет о справедливом общественном строе. Она пишет монографию о прядильных машинах, трикотажных фабриках, гончарных мастерских, о недовесе, фабричных рабочих, кружевах и коленкоре, о горняках, поджогах и работном доме. В тот самый день, когда она, несколько раз собственноручно переписав свой труд, ставит наконец точку, немецкая подруга присылает ей только что опубликованную книгу некоего герра Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии в 1844 году» — Одилия читает по-немецки, и подруга полагает, что такого рода исследование может ее заинтересовать.

Мы пакуем чемоданы и перебираемся в Париж, где Одилия принимает участие в революции, хотя в чем это участие заключается, остается для меня загадкой — меня и другие бьющиеся предметы прячут в безопасное место, сама же Одилия обходит эту тему стороной. Завсегдатаи аристократических салонов как огня боятся ее острого язычка, и некоторые, пасуя перед ней, в страхе покидают Париж навсегда. Даже самые известные литераторы не в состоянии найти ответы на ее коварные вопросы касательно французской грамматики и синтаксиса; сама же Одилия, уединившись в деревне, четыре года пишет роман, героиня которого, юная крестьянка, выходит замуж за врача из Нормандии. После нескольких неудачных любовных связей героиня разочаровывается в жизни и принимает мышьяк, который продает ей местный аптекарь. Из деревни Одилия возвращается в Париж, где

целыми днями трудится над последними главами своего сочинения и принимается искать издателя ровно через неделю после того, как в «Ревю де Пари» появляется первая часть романа некоего мсье Гюстава Флобера под названием «Мадам Бовари».

Литературным амбициям Одилии нанесен, таким образом, сокрушительный удар, однако мы не ропщем и на следующий же день отбываем на Восток. Одилия и раньше проявляла живой интерес к описательной зоологии; отвлекаясь от литературного труда, она частенько запихивала несчастных насекомых в банки со спиртом, ловила собственными руками птиц и рассматривала пауков в увеличительное стекло, которое неизменно носила с собой. Путешествия сулят немало опасностей — мне ли, пережившей на своем веку великое множество самых разнообразных кораблекрушений и засад, этого не знать?

Теперь я стараюсь не лезть на рожон.

К выводу о том, что разумнее всего стоять на полке и помалкивать, я пришла после того, как однажды акушерка затолкала в меня (тогда я еще была кувшином с узким горлышком) только что родившегося младенца, вынудив меня против собственной воли исполнять роль палача. Я, разумеется, немедленно раздалась в диаметре — и в результате громогласно ревущий младенец вырос и превратился в хозяина жизни, многих жизней; самым безжалостным образом истребив тысячи людей на огромной территории, он породил в миллионы раз больше несчастий, чем то, что удалось при его рождении предотвратить мне.

На корабле Одилия пользуется несомненным успехом. Однажды, уже в Тихом океане, несколько матросов воспылали к ней как противоестественными, так и вполне естественными чувствами и как-то вечером направились к ней в каюту. Когда в дверях появился первый матрос, я раздулась до немыслимых размеров и превратилась в самого настоящего бенгальского тигра: полосатого, с блохами — правда, без рычания и запаха. (Не верьте, если вам будут говорить, что кинематограф изобрели французы.) Вследствие этой метаморфозы у бедного матроса произошла полная переоценка ценностей, он в какие-то доли секунды пересмотрел всю свою жизнь, осознал, что жил неправильно, и, немного поостыв, выбросился за борт. Это была моя пятнадцатая попытка попытать счастья в телесном обличье.

В Австралии, ведя постоянное наблюдение за своими заспиртованными паучками и плавучими улитками, Одилия неустанно трудится над книгой, в которой пытается объяснить происхождение всевозможных видов. Свой труд она отсылает в Лондон, где двумя неделями раньше в Линнеевском научном обществе обсуждается работа некоего мистера Чарльза Дарвина, где автор выдвигает теорию естественного отбора, теорию, которой, на мой взгляд, не хватает живости, непосредственности и чувства юмора — всего того, что отличает научные труды Одилии.

В Женеве Одилия решает наконец дать волю своим столь долго сдерживаемым чувствам. Уже немолодая женщина, она давно стремится завоевать сердце одного русского графа, с каковой целью, используя в полной мере свой недюжинный интеллект, предлагает графу самый широкий ассортимент брачных утех. Человек, знающий о соитии не понаслышке, граф тем не менее захвачен врасплох: кто бы мог вообразить, что женщина на такое способна; и в самом деле, кое-какие хитрости оказались неизвестными даже мне — по всей вероятности, испробованы они были впервые двумя неделями раньше в одном парижском борделе. В результате прибор графа становится полигоном для самых рискованных экспериментов, сам же граф в порыве безудержной страсти откусывает деревянную бабочку, вырезанную на спинке кровати, лишается двух передних зубов и предлагает Одилии руку и сердце окровавленным, утыканным занозами языком.

Молодые уединяются в поместье графа под Санкт-Петербургом, где Одилия вновь берется за экономику, живо интересуется работой местных фабрик, делает выписки из всевозможных справочников — и создает шестисотстраничный труд о прибавочной стоимости и первоначальном накоплении. Читается труд на одном дыхании. В тот самый день, когда она наконец ставит точку, ее немецкая подруга, которая теперь живет в Лондоне, присылает ей «Капитал» некоего герра Карла Маркса. Прощай, экономика.

Однако научная мысль Одилии по-прежнему не дремлет. Она собирает говорящий фонограф и с нетерпением ждет возвращения мужа из Санкт-Петербурга, чтобы продемонстрировать ему свое последнее изобретение. Однако из столицы граф привозит журнал, где сообщается о некоем Томасе Эдисоне и его телефонном аппарате. Умирает Оди-

лия в 1890 году, оставив после себя несколько картин, на которых изображены искаженные до неузнаваемости предметы и люди и к которым столичная художественная критика отнеслась с полнейшим равнодушием, а также разрисованную стеклянную посуду и рукопись, которая озаглавлена «Классификация и расшифровка снов в зависимости от соматического состояния пациента» и к которой приложены многочисленные отрицательные отзывы высших научных авторитетов, — рассматривать всерьез работу автора, не имеющего полноценного академического образования, они не сочли возможным.

Однако самое большое удовольствие доставляли Одилии ее коллекции — и прежде всего коллекции старинной керамики и... безумных поэтов.

Одилия открыла у себя в поместье небольшой сумасшедший дом. Почему она решила коллекционировать именно безумных поэтов, сказать не берусь — в конце концов, у каждого собирателя есть своя специализация; что же до безумных поэтов, то пристальное изучение, которому подвергла их Одилия, дало им уникальную возможность поверять свои беспорядочные мысли бумаге. Как высокопарно говорила сама Одилия: «Они — переписчики слова Божьего». Я, разумеется, могла бы кое-что рассказать ей в этой связи — но не будем об этом.

Да, Одилия была истинным коллекционером — таких коллекционеров и коллекционировать приятно. Каждое утро она вставала с рассветом, дабы провести смотр своим безумным бардам, собранным по европейским чердакам, подворотням, жандармериям и бедламам. Она кормила их свежими фруктами и овощами из собственных парников и просматривала стихи, которые они сочиняли за ночь.

Впрочем, собирать полноценный поэтический урожай удавалось далеко не всегда. Один валлийский поэт, к примеру, имел обыкновение спать всю ночь и большую часть дня и просыпался лишь затем, чтобы поесть и отпустить сентенцию вроде: «Хорошие стихи быстро не пишутся». И то сказать, за пятнадцать лет, проведенных в сумасшедшем доме Одилии, валлиец не написал ни единого стихотворения, что, впрочем, нередко случается и со знаменитыми сочинителями, которые в своих странах пользуются устойчивой репутацией людей психически полноценных и здравомыслящих. Валлиец же на любой вопрос или реплику неизменно отвечал: «Хорошие стихи быстро не пишутся», изредка заменяя «быстро» на «скоро».

Был в коллекции Одилии и некий Свен, фамилию которого установить не удалось и который был доставлен нам из какого-то шведского порта. Из всех обитателей сумасшедшего дома Свен был самым плодовитым. Чего он только не писал: сонеты, пиндарические оды, газели, виланели, рондели, сестины, фатры, блазоны, эпиталамы, эпитафии и довольно куцые эпические поэмы, которые в основном состояли из двух строф, воспевающих плотские утехи автора с тринадцатилетними девочками. Одна поэма отличалась от другой лишь числом девичьих имен, самими именами (Бабетта, Сольви или Карен), а также досадными орфографическими ошибками. Подобные излияния являлись частью оригинальной теософской концепции Свена, в соответствии с которой, когда Свен предстанет перед Господом, тот устроит ему допрос с пристрастием. «Ну-ка, Свен, — грозно спросит его Господь, — признавайся, сколько тринадцатилетних девочек ты лишил невинности?» Согласно теории Свена, вся Вселенная представляла собой запутанный лабиринт на пути смертного к спасению — путь же к спасению пролегал через девичьи чары. В этом, по его мнению, и заключалась величайшая тайна, доступная лишь немногим избранным. Неудивительно поэтому, что сумасшедший дом Свен рассматривал как коварную западню, подстроенную силами зла, дабы лишить его, Свена, возможности присоединиться к числу Божьих избранников.

— А как быть женщинам? — поинтересовалась Одилия.

— Это ваша проблема. Тем, кто в прошлой жизни вел себя неподобающе, в этой жизни мужчиной быть не дано.

— А если вы — тринадцатилетняя девочка и сами себя лишили невинности?

— На сей счет в учении ничего определенного не говорится.

Ее самым дорогим приобретением стал пациент из крупнейшего немецкого сумасшедшего дома — случай настолько интересный, что немцы очень долго не хотели его отпускать. Это был поэт, который писал невидимыми чернилами, так как боялся, что другие поэты позаимствуют его образы. Точнее, впрочем, было бы назвать его чернила

не «невидимыми», а «несуществующими», ибо существовали они исключительно в его воображении. Своим абсолютно сухим гусиным пером он водил по страницам с проворством скребущейся собаки. Но вот что любопытно: если у поэта отбирали страницы, «исписанные» таким образом, а вместо них подкладывали совершенно чистые, он тут же распознавал подлог и принимался кричать, что ему подсунули «пустую бумагу»; жаловался он и в том случае, когда исписанные «невидимыми» чернилами страницы возвращали ему не в том порядке.

Были в коллекции Одилии и такие поэты, которые, сильно подозреваю, безумие лишь симулировали: их привлекала заманчивая перспектива иметь крышу над головой и бесплатно столоваться.

— Доброе утро, мадам. Я — поэт, и я безумен, безумен, безумен, — представился однажды Одилии грузин с большими ушами и тут же попытался схватить ее за грудь.

Одилия поправила серьги и приказала двум крепостным привести грузина в чувство.

— Ладно, ладно, — всхлипнул грузин, приходя в чувство и ощупывая сломанный нос. — Вы даже не представляете, чего вы себя лишили.

— Вы — не больной. Вы — плохой, — отчеканила Одилия, возвращая грузину его сочинения.

— Нет, нет, я безумен — иначе бы все это время я не жил в полном согласии с самим собой.

— Обычно сумасшедшие в сумасшедший дом не стремятся.

— Что лишний раз доказывает, что я безнадежен.

И Лопоухий вручил Одилии еще одну подборку витиеватых стихов о том, как женщины продавали семейные драгоценности, лишь бы провести в его обществе несколько часов. Одна виланель была посвящена тому, как в результате бешеной эрекции ему удалось подбросить членом бочонок с солью на двенадцать футов.

— Безумие какое-то, — упрекнула его Одилия.

— О том и речь, — оживился Лопоухий, вновь спуская штаны.

Пришлось приказать крепостным полчаса бить грузина головой об стену.

— Значит, так, — сказала Одилия, когда экзекуция завершилась. — Если уйдешь восвояси и пообещаешь, что никогда больше не будешь писать стихи, получишь тысячу рублей.

— Больше чем за пятьсот не соглашусь ни за что.

— Я же сказала, тысячу.

— Ладно, двести пятьдесят, и по рукам. У меня бабушка тяжело больна.

— Очень сожалею. Тысячу, и ни копейки меньше.

Это был бой равных соперников — бой между жадностью и тщеславием. Одилия взяла верх, Лопоухий взял деньги.

— Если честно, — признался он, — такие фокусы мне уже не по возрасту. Неделю назад я сумел подбросить бочонок с солью всего-то на шесть футов.

— Высыпь из бочонка соль.

— По-вашему, у меня нет чувства собственного достоинства, мадам?

Со временем в доверие к Одилии втерлись еще несколько проходимцев. Например, безумный поэт, который на поверку оказался еще и безумным критиком. Он требовал принести ему произведение какого-нибудь местного пиита, с выражением читал его вирши вслух, а затем во всеуслышание заявлял: «Как неоднозначно! Как небанально! Как незаезженно!» Сидящий за стеной безумный поэт приходил в бешенство: «Как смеешь ты хвалить мое сочинение?! Если б ты прочел его внимательно, то понял бы, что это сущий вздор!» Критик был не только безумен, но и корпулентен и громко храпел, поэтому поэты, когда он спал, собирали ринолиты и загоняли их ему в разинутый рот.

Одилия отослала солидную сумму денег в сумасшедший дом в Неаполе, где ей пообещали японского поэта, который в то время пользовался немалой популярностью. Деньги, объяснили Одилии, пойдут исключительно на транспортные расходы. После этого прошло два года, Одилия уже решила, что ее обманули, но тут в поместье явилось какое-то пугало, покрытое с ног до головы коростой и огромными, напоминающими увесистые булыжники мозолями; в руках пугало держало карту, которую ему вручили в неаполитанском сумасшедшем доме и на которой были изображены лишь Неаполь и, несколько выше, Россия. Это был не японец, а словенец, и не поэт и даже не литератор, а буквопи-

сец. Поначалу буквы были маленькими, и ничего общего с теми письменами, что изображались на этрусских вазах и до сих пор представляются многим ценителям столь загадочными, они не имели. Однако со временем буквы становились все больше, и буквописец стал давать своим картинам названия, например: «Буква А в десятилетнем возрасте», или «Буква С размышляет», или «Буква Т со спины». На последних его полотнах буквы были в халатах, шляпах или в ботфортах; самая же яркая композиция, моя любимая, называлась так: «Буква Б примерила шляпку буквы Л, о чем буква Л даже не подозревает».

Еще одним малоудачным нашим приобретением стал плешивый психопат из Минска — при очевидных литературных амбициях он оказался на поверку не безумным поэтом, а безумным издателем. Минчанин так много ругался, что установить, кто он такой, удалось далеко не сразу, однако в конце концов выяснилось, что он хорошо помнит, кем был в предыдущей жизни, и что во всех своих инкарнациях он был связан с литературой.

— Гомер? Придурок. Трепло. Когда я его подобрал, он мог за корку хлеба часами петь песни у походных костров. Отблагодарил ли он меня?! Я вас умоляю. Гесиод? Дебил. Править приходилось каждую строчку. Софокл? Еще тот зануда. Трепло. «Нельзя ли, — говорю ему, — действие чуток оживить?» Уговаривать бесполезно. Овидий? Трепло. Вечно опаздывал. Данте? Придурок. Двух слов связать не мог. Шекспир? Шекспир, говорите? Тугодум, все идеи и образы — мои. Гёте? Вечно всем недоволен. Лучше мне о нем не напоминайте. Все они трепачи хорошие. Дудят каждый в свою дуду. Представляете: летняя ночь, небо в звездах — а они дудят, сначала тихо, вдалеке, а потом все громче и громче. Чтобы писать, деньги нужны, а у них — ни гроша. У них денег куры не клюют — зачем им писать?! Нет, зачеркните, у них нет ни гроша...

Был только один автор, который доставлял ему истинное наслаждение, — Авар Мммммм. Он уверял, что издавал его книги в Средние века и что лучше, чем Авар, не писал никто. Он постоянно требовал бумаги, чтобы записать произведения Мммммм по памяти. «Мммммм! Аристократ духа! Какое обаяние! Какой ум! Какая страсть! Какая фантастическая эрудиция! Какая доброта! Какое многообразие!» Но так ничего и не записал.

Чего только Одилия не делала, чтобы получить хоть какую-то информацию о таинственном поэте: рылась в энциклопедиях, монографиях и историях литературы, переписывалась с местными специалистами. Никто ничего не знал. Тем не менее в бумаге безумному издателю она не отказывала. «А вдруг он все-таки не безумен?»

Был в ее коллекции и еще один реинкарнатор. Из местных. Этот помнил две тысячи своих прежних жизней. Страны, в которых ему довелось жить, были разные, но он везде, и в нынешней своей жизни тоже, оставался плотником; звали его одинаково: Яков или Якоб, или Джакоббе, или Джейкоб; жену звали Ева или Эва, или Ив, или Эвита, и он постоянно, на завтрак, обед, полдник и ужин, ел одно и то же блюдо — чечевичную похлебку, отчего страдал чрезвычайно и в состоянии крайней подавленности лежал с закрытыми глазами, не испытывая ни малейшего интереса к жизни. «Можете меня не будить», — говорил он, ложась. Даже самые изысканные блюда не могли поднять ему настроение. «Все равно все кончится чечевичной похлебкой, — вздыхал он. — Хоть убейся — ничего не поможет. Представляете, один и тот же стул я сколачивал девяносто тысяч раз».

Одилии пришлось его взять, так как на этом настояли ее соседи — они не желали понимать, что ее сумасшедший дом предназначен лишь для поэтического безумия.

Приобрели мы и самоеда, самого красивого мужика в деревне. Мельника. И в жены самоед тоже взял самую красивую девушку. У них были самые красивые дети в деревне и самый красивый дом в деревне. И вот однажды мельничиха пришла к Одилии за помощью.

— Все началось с его нижней губы, — едва сдерживая слезы, начала свой рассказ бедная женщина. — Губа вдруг исчезла. Он сказал, что откусил ее случайно, когда рубил дрова. Вслед за нижней губой исчезла верхняя, и опять он сказал, что откусил ее за рубкой дров. Потом один за другим стали исчезать пальцы на руках — мизинец попался мне как-то в тушеном мясе, однако тогда я еще ничего дурного не подумала...

— Он что, сам себя ест?

Мельничиха разрыдалась.

За пальцами рук последовали мочки ушей, пальцы ног и левое предплечье. Это можно было бы объяснить катастрофически неудачным стечением обстоятельств — однако отрубленные части тела каждый раз бесследно исчезали. Одилия решила проведать мельника и обнаружила его у плиты; на сковороде, аппетитно шипя, жарился его член, отчего на лицах всех женщин в округе играла презабавная гримаса.

— Это решение далось мне нелегко, — признался мельник. — Но ведь у меня трое малюток — их кормить надо. С удовольствием дал бы и вам кусочек, но боюсь, на всех не хватит.

Его пригласили в усадьбу на званый обед, но он сбежал по дороге. Спустя несколько дней мельник разбудил жену среди ночи. Оказалось, он отрубил себе левую ногу.

— Пожалуйста, поджарь мне ее. Ты же знаешь, повар из меня никудышный.

Когда подвижность мельника заметно поубавилась, он попал в коллекцию сумасшедших поэтов.

— Меня не обманешь, — заявил он Одилии. — Ради себя стараешься. Становиться между человеком и его ногой никто тебе права не давал.

Он был единственным пациентом сумасшедшего дома, кому удалось бежать. Впрочем, далеко он не ушел; его нашли на кухне, а его вторую ногу — в духовке. Отрубая ее, он потерял так много крови, что лишился чувств и сжег ногу почти дотла.

— Почему ты это делаешь? — поинтересовалась Одилия.

— Скажи лучше, почему этого не делаешь ты? Ты просто мне завидуешь, — мне ведь это пришло в голову первому. Нет, ты не знаешь, что такое жизнь.

Деревенский калека, потерявший на войне обе ноги, утопился в пруду, повесив себе на шею вместо булыжников пару увесистых Библий.

Кое-какого успеха Одилия все же добилась. Успех: используя цветовой тест, она сумела со временем отучить безумного издателя от его пылких монологов и помогла ему вспомнить, что на самом деле он никакой не издатель, а учитель французского языка в сельской школе.

Благодарность:

— Ах ты сука, — возмутился издатель, — я, величайший книготорговец в истории, должен теперь по твоей прихоти ехать в какую-то дыру, где надо мной будет смеяться каждая собака. Все, что мне теперь остается, — это попытаться заработать на корку хлеба, вбивая неправильные глаголы в головы двенадцатилетним недоумкам, которые не способны были бы выучить эти глаголы, даже имей я возможность использовать в педагогических целях дыбу или кнут. Но и на это надеяться не приходится. Уверен, даже такой «великолепной» работы мне не дождаться, ведь все знают, что я безумен, а безумие — не самая лучшая рекомендация для школьного учителя, которому родители доверяют своих бесценных крошек. Возможно, уже через два месяца я подохну с голоду. Если же мне не повезет, то протяну еще года два. Да, ты вылечила меня от безумия, но от моей судьбы тебе меня не вылечить.

Прочие неудачи. «Горшки не предают, — любила говорить Одилия. — Ваза не убежит. Амфора никогда не переменит о тебе своего мнения. Не бывает, чтобы кратер изменил тебе с другой. Стамнос никогда не позволит себе отпустить едкое замечание по поводу твоего наряда. Пеликес непременно черкнет тебе из-за границы пару строк. Е́сли оставить арибаллос на комоде, он терпеливо дождется твоего возвращения».

Супруг же ее больше интересовался скотоводством и водкой, чем древними амфорами и безумными поэтами. Он пил круглые сутки, а также безостановочно любил грузинских девушек, которых импортировал из Грузии в товарных количествах.

— У тебя свои увлечения. У меня — свои.

Отдадим графу справедливость. С сединой пришло осознание того, что в жизни он не добился ничего, в пьянстве же и разврате погряз глубже самых праздных и порочных представителей славной русской аристократии.

— Господи, что же с вами будет? — сказала мне Одилия на смертном одре. Она боялась, что мы плохо кончим. Тревожилась за всех — одушевленных и неодушевленных. Одилия, как мало кто, умела смотреть жизни в глаза, ее отличали здоровое любопытство, неизменное чувство юмора и всегдашнее присутствие духа. О чем я ей только не поведала, когда она лежала при смерти; она увидела такое, чего не видел ни один че-

ловек за тысячи лет. Я изобразила ей носорогов на Сене, которых в ее время было днем с огнем не сыскать, — ведь я знала: уж она-то этот спектакль оценит по достоинству.

— Ваза разговаривает со мной, — говорила она слугам, и те, понятное дело, кивали в знак согласия.

Приветы и пожелания скорейшего выздоровления супруг передавал ей исключительно через доктора. За целый месяц, что Одилия пролежала в постели, граф не удосужился навестить ее ни разу: больных и болезни он на дух не переносил. Не присутствовал он и на похоронах — от кладбища и могильщиков у него портилось настроение.

Даже Одилии, носительнице высшей мудрости, светочу разума, создать идеальный брак оказалось, увы, не по силам.

В ресторане

Я — в сумке.

Чего только Роза сегодня со своим лицом не делала: и дергала его, и щипала, и мяла, и массировала; первые полдня она провела в ванной, вторые — перед зеркалом. Серьги были выбраны спиралевидные, олицетворяли они стремление с большим трудом и вся-ческими унижениями выучить за несколько месяцев азы иностранного языка с целью понравиться одному весьма симпатичному человеку, с которым вы познакомились за границей, — он должен в скором времени к вам приехать, но от него до сих пор нет никаких вестей. Ничего этого Роза не знает — но догадывается. Она видит серьги Никки — в таких только в автомобильных гонках участвовать. Надевает их. В самый раз.

Мы сидим за столиком и ждем мужчину. Материализовался он не в результате совета Табаты, а вследствие недавно полученного письма. Любопытно, сможет ли Табата после сегодняшнего вечера выбраться из колодца? Роза пытается выпить воды с видом человека, который только что сбросил безумную тетушку в колодец и при этом отлично себя чувствует, — вид же у нее такой, будто она только что сбросила безумную тетушку в колодец, однако чувствует себя при этом не лучшим образом.

Сумка стоит под столом, у Розиной ноги. Входит мужчина — высокий, интеллигентный, образованный, нос — уточкой. Прическа не модная — то ли он презирает моду и предпочитает свой собственный стиль, то ли просто не понимает, что времена меняются. Улыбка мужчины, по которому сохнут женщины, — должны, во всяком случае. Да, вид заносчивый, но ведь заносчивых женщины любят.

Преподаватель — плохой знак. Мало кто занимается преподаванием по собственному желанию. Как правило, это неудачники — неудачливые грабители банков, дирижеры, летчики, — люди, которые так и не смогли овладеть своей профессией. Преподаватель английского языка как иностранного — еще хуже. Такие имеют работу только потому, что родились в стране, чей язык пользуется спросом. Говорит, как все преподаватели, — в расчете, что его будут слушать. Возникает естественный вопрос: как получилось, что мужчина тридцати двух лет с собственными зубами и волосами и какой-никакой зарплатой до сих пор не обременен семьей?

Роза тоже об этом думает; наверняка она сейчас представляет себе, как во время родов ее привяжут к кровати шелковыми платками, как она будет давать имена своим детям, как он после пятидесяти растолстеет. Разворачивая салфетку, она мысленно несколько раз его переодевает. Роза готовилась к встрече с каким-нибудь неуклюжим болваном и теперь лихорадочно пытается осмыслить ситуацию. Задумалась — и очень вовремя.

— А вино, — говорит он, подымая бокал, — я выбрал недурное, не правда ли?

Роза хмыкает. Она думает, что это шутка. И ошибается. А еще она представляет, как будет ласкать его языком. Он не из тех мужчин, которые приносят женщинам счастье; некоторые с ним кончают, но счастливее от этого не становятся; впрочем, и несчастья — упоительно беспросветного несчастья — он также принести не может: кишка тонка. Вино он выбрал не ахти — мне ли не знать; другое дело, что в любом мало-мальски приличном ресторане совсем плохого вина все равно не подадут. Мистер Инглиш говорит. Без умолку. О себе. Официант уже трижды пытался принять заказ, но мистер Инглиш всякий раз его отсылает, он даже в меню не заглянул — столько слов тратится на саморекламу.

Места работы, небывалый спрос, нескончаемые овации работодателей. Роза начинает понимать, с кем имеет дело. Мистер Инглиш — и это самое смешное — и сам прекрасно понимает, что он олух, на свой счет никаких иллюзий он не питает. И нужен ему вовсе не успех в жизни, а человек, который бы в его успех поверил — хотя бы на несколько часов. В ресторане они сидят уже пятьдесят минут, а Роза произнесла всего тридцать слов, из них пятнадцать были сказаны официанту: сделала заказ и дважды поблагодарила.

За тем, как они едят, я наблюдаю без особого интереса. Поглощение пищи — процедура универсальная. Каждое живое существо на планете стремится отправить себе в брюхо всю остальную планету. Рот гоняется за ртом и в рот попадает. Крысы, лисы и маркизы делают всё, что в их силах, чтобы мир окрысился, облисился, обмаркизился. Один едок идет в пищу другому едоку, другой — третьему, третий — четвертому, и все это происходит очень быстро. А еще говорят, что нет такого понятия, как прогресс.

— Один мой старый приятель предложил мне пост директора школы в Дании, но меня ни в какую не хотели отпускать — Китай же для меня, право, слишком мал.

Почувствовав, что Роза корчится в страшных муках, официант приносит счет по собственной инициативе, не дожидаясь команды мистера Инглиша. Роза испытывает невыразимое облегчение.

— Вам, надо думать, очень приятно в моем обществе, — замечает мистер Инглиш. — Не стесняйтесь, говорите как есть. — И он наконец-то замолкает, приникая к вожделенному стакану воды.

— А меня вы ни о чем не хотите спросить? — осведомляется Роза.

— Хочу. Можно я вас сфотографирую?

Роза демонстрирует белозубую улыбку, тем самым отвечая на вопрос утвердительно. Мистер Инглиш выхватывает «поляроид» и делает снимок.

— Как все же удачно я выбрал этот ресторан, — говорит он, помахивая снимком, чтобы поскорей проступило изображение. Достает альбом. — Признавайтесь, вам ведь хочется сделать запись о том, какой прелестный вечер вы провели.

Лица в альбоме.

Круглолицая блондинка, толстенный слой пудры, улыбается во весь рот, земляничного цвета щечки, держит бокал шампанского, совсем еще молоденькая, пьяненькая, необстрелянная. И подпись: «Салют».

Костлявая француженка, лицо квадратное, уши торчком. Не в силах поверить, что это произошло с ней. «Незабываемо!»

Черноволосая, кареглазая лингвистка, быстро катится вниз по наклонной плоскости, катится — но не сдается. «Какой вечер!»

Улыбчивая бразильянка, радуется жизни, всезнающие губы, неутомимо охотится за иностранными паспортами; то, что он — полный олух, нисколько ее не смущает. «Когда же я увижу твоего маленького друга?!»

Роза пишет: «Невероятно». И все же интересно, чем он руководствуется. Слишком умен, чтобы обманываться на ее счет, альбом же достал раньше времени, потому что знает: больше он ее не увидит. Мистер Инглиш извлекает калькулятор и начинает подсчитывать долю Розы. Роза порывается заплатить за двоих, но он решительно против: «Сделаем все как полагается».

Прощание.

— Расскажите обо мне всем вашим подругам, — просит он.

— Не беспокойтесь.

К чему отчаиваться? К чему ломать голову? Если ваш номер пять тысяч пять, дело ваше не безнадежно, однако попотеть придется. Попотеть на Северном полюсе и померзнуть в Сахаре.

Вернувшись домой, Роза изливает душу Никки, которая встречает ее в одних леггингсах: она делает на полу всевозможные упражнения — чтобы быть еще ловчее и сильнее.

Заочное соревнование

Роза воздает мистеру Обеду-на-двоих по заслугам.

— Не понимаю все-таки, почему было ему не дать? — недоумевает Никки. — По первому разу они мало чем друг от друга отличаются.

— Нет.

— А впрочем, бывает по-всякому. Приведешь его домой, думаешь — дело в шляпе, а у него не стоит, представляешь? Все равно что купить блузку, а потом, уже дома, обнаружить, что на ней дырка или что ее в машине стирать нельзя. Подцепила я раз одного козла, приезжаем к нему, а он на мопедах помешался, часа два мы с ним журналы листали — надо же было его уважить, а потом мне надоело, я и говорю: «Хорошенького, — говорю, — понемножку, не пора ли нам, дружок, в койку?» Раздеваемся, у меня всё на мази, а у него не стоит. «Давай, — говорю, — я тебе помогу, встанет как миленький», а он говорит: «А у меня, — говорит, — и так стоит». Смотрю — а у него пистон хорошо если два дюйма, еле виден. Это я не к тому, чтоб обязательно размером с небоскреб был, многим женщинам, насколько я знаю, маленькие даже нравятся. Просто предупреждать надо. Вручаешь визитку со своими габаритами, и партнер заранее знает, на что идет. Ты парня в койку тащишь, а он тебе визитку: «В вашем распоряжении два дюйма, мисс. Не хотите ли удостовериться?»

— Может, ты и права.

— Кого я только не перевидала, когда за деньги этим делом занималась. Чудик на чудике. Один, например, приходил, расплачивался — а потом Библию вслух читал. И как ты думаешь, что дальше было?

Роза пожимает плечами.

— Ничего не было. В том-то и дело. Пять минут читал, я вначале думала, это он с силами собирается, но нет: расплатится, Священное Писание почитает, пока я ногтями занимаюсь, и отбывает. И никаких тебе проповедей про то, что шлюхам, мол, гореть в вечном пламени.

— Гм-м-м.

— Многих секс совершенно не интересовал. Секс ведь — это самое простое. Гораздо труднее заставить себя над их шуточками смеяться, за жизнь с ними разговоры вести. Не подумай только, что все они — краснорожие клерки из Бирмингема, были среди них и смазливые. Один, например, писаный красавчик, хотел от меня только одного: чтобы я все его команды выполняла. Придет, и начинается: «Встань. Сядь. Перевернись. Дай чаю». Или отвезет меня на Лестер-сквер и велит ползти за ним на коленях и кричать во весь голос: «Ну пожалуйста, Микки, давай еще разок, прошу тебя! Мне с тобой было так хорошо. Ты — единственный мужчина, с которым я кончаю. Побей меня, если хочешь!» Да, чуть не забыла: главный-то его кайф заключался в том, чтобы я кричала все это в присутствии французских туристок, а кто их разберет, француженки они или нет, на них же не написано. Бельгийки и швейцарки не годились — он почему-то именно к француженкам слабость питал. В результате мы с ним крупно повздорили, потому что француженок этих пришлось полчаса ждать — в центре Лондона, и ни одной француженки, представляешь?! Полчаса на холоде простояли, а он, жмот, за простой мне платить отказался.

— Гм-м-м.

— Знаешь, кто превзошел всех? Любитель автостоянок, вот кто. Его я никогда не забуду. Приходит ко мне как-то одна женщина, респектабельная, средних лет. «Черт с тобой, — думаю, — чем женские деньги хуже мужских?» Но она, оказывается, хотела мне своего супруга пристроить. Его уже сколько раз на автостоянках ловили: за машину зайдет, ляжет на асфальт и дрочит в свое удовольствие. Вот что современные мегаполисы с людьми делают! А она плачет, бедняжка: недавно мужа посреди ночи в торговом центре застукали — лежит в одних носках и землю орошает. Как выяснилось, он этим делом уже много лет занимается — с тех пор как за границей работать стал. Где он только не фонтанировал: и на Эйфелевой башне, и во Всемирном торговом центре, и в Прадо. Тадж-Махалу и тому досталось. Откуда только беднягу не депортировали! Однажды вечером застали его за этим делом на автостраде М 25, в крайнем правом ряду. Шутки шутками, а дело-то дрянь: на работу не берут, въездные визы не дают. Не осталось ни одного собора, который бы он не осквернил. Жена держит его взаперти: если выйдет на улицу, на первом же перекрестке «огонь открывает». Чем больше аудитория, тем лучше стоит. Она его к психиатру отправила, а он по пути на стоянку свернул, где онанировал, как выяснилось, уже не раз. Чего она только со своим благоверным не делала и в конце концов обратилась ко мне — решила, что без

профессионала не обойтись. Ей хотелось, чтобы женщина оказывала на него исключительное физическое, а не эмоциональное воздействие. Иными словами, нужна была уличная женщина, а не улица.

— И что же?

— Естественно, ничего не получилось. Я сделала все, что в моих силах. Отличный оказался клиент. Супермен в своем роде. Вот только женской щели он предпочитает щель в асфальте. Ты же знаешь, кое-что я умею, но он заплатил мне и попросил, чтобы я сказала жене, что мы с ним позабавились вволю. Говорят, он даже в Кремле свой след оставил.

— Так кто же был твоим худшим клиентом?

— Худший клиент — это тот, который не объявляется. Своими бы руками удушила. Звонит как-то один черномазый, из Африки, и начинает мне свой член расписывать — давно пора, говорит, такой детородный орган в дело употребить. Начинаем торговаться, полчаса спорим, мы говорим, что цены не снижаем, а он нам — что при его-то статях ему еще и приплатить могли бы. В общем, сразу видно — в нашем деле не фурычит. В назначенное время не приходит, звонит с улицы, снова полчаса торгуемся и еще полчаса пытаемся втолковать ему, как дойти от телефонной будки до нашей квартиры, — без толку. Мы прозвали его Большой Член; если все у него в стране такие же идиоты, я ей не завидую. Один раз я даже спустилась во двор его встретить, но он куда-то подевался — как видно, охотился за местными девицами. Есть и такие горе-клиенты, которые сами тебя вызовут, а когда приезжаешь, они либо уже спать легли, либо передумали. Как-то раз мне целый час пришлось за город по вызову ехать, да еще в два часа ночи, представляешь? Знала ведь, что добром это не кончится, но поехала — без денег сидела. Приезжаю в паб, звоню, звоню — никто не отвечает: видать, хозяин, который меня выписал, уже вырубился. Я так разозлилась, что вызвала сразу и пожарную команду, и «скорую помощь», и полицию, а потом стала соседей будить. «Извините за беспокойство, — говорю, — но я проститутка, приехала из Лондона к мистеру Ховарду, звоню, а он не отвечает — уж не случилось ли с ним чего?» Взломали дверь — а мистер Ховард мирно себе похрапывает; то-то он удивился, когда всех нас вместе увидел...

— Мм-м-м-м-м.

— Не расстраивайся. Когда я за деньги давала, иной раз целый месяц от клиентов отбоя нет, а бывает, полгода без работы сидишь. Главное, очень захотеть. Знаешь что? Надо тебе лестницу попробовать.

— Лестницу?!

— Как-то у меня лампочка перегорела, а со стула я дотянуться не могу. Пошла к соседям лестницу взять, несу ее домой, а тут какой-то тип вызвался помочь. Короче, «помог» он мне в тот вечер неплохо. С тех пор я к этому способу часто прибегаю. Мужчинам это нравится — они могут себя с лучшей стороны показать, да и предлог познакомиться хороший. Попробуй — такую помощь предлагают обычно люди серьезные, благонадежные; ну а если помощник тебе почему-то не покажется, всегда можно будет к чему-то придраться и его отшить.

— Гм-м-м.

Никки наклоняется, касаясь головой пола.

— У-у-у-у-у-у-уф-ф-ф. Шея болит. Вот что значит давно не тренироваться. И все-таки сейчас лучше, чем раньше. Надо соблюдать режим, ничего не поделаешь.

По телевизору новая передача: отношения между женщинами. Дело идет ко сну.

— Послушай, — Никки мнется, — я понимаю, мое предложение может показаться тебе довольно странным... я не обижусь, если ты скажешь «нет»... Мне что-то не по себе, можно я сегодня с тобой лягу?

— Тогда я не засну, — отвечает Роза. Меня она, как обычно, берет с собой в спальню и ставит под одеяло, но в этот вечер почему-то отодвигает тумбочку от кровати и приставляет к дверям. Берет меня в руки. Возвращение в прошлое. Я рассказываю ей историю о коллекционере, который не хотел быть коллекционером, но которому коллекционирование навязали.

За городом

Мы опять выезжаем за город, заходим в коттедж и оттуда идем к колодцу.

— Ну?

— Я отправилась на вечеринку, подошла к самому интересному мужчине, действительно очень интересному, и угадайте, что я ему сказала.

— «Я никого здесь не знаю, можно к вам присоединиться?»

— Совершенно верно. Теперь угадайте, что сказал он.

— Не знаю. «Буду счастлив. У вас совершенно ангельский лик».

— Вот и не угадали. Он сказал: «Такой образине, как вы, здесь не место».

— Ух ты.

Роза опускает ведро.

— Я не хочу жаловаться, но сидеть в этом колодце мне немного надоело. В конце концов, какое право вы имеете распоряжаться моей жизнью?

— Устройте мою судьбу, и будете распоряжаться своей жизнью сами.

— А как насчет ужина в ресторане? Вы ведь должны были с кем-то ужинать?

— Лучше не спрашивайте.

— Невероятно! Знаете, мне все же кажется, вам следует извлекать выгоду из вашего нынешнего положения. Ведь чем больше мы стараемся, тем меньше у нас получается. Вы же стараетесь изо всех сил.

— От меня это не зависит. Ваше дело — давать советы, а не рассуждать.

Несмотря на резкий тон, Роза смягчается. Ведь Табату она посадила в колодец, подражая другим, воспользовавшись чужими приемами точно так же, как она воспользовалась чужими серьгами. Подобно азартному игроку, который, проиграв, меняет номера лотерейных билетов, Роза полагает, что успех в жизни всецело зависит от нашего поведения.

— Я, наверно, не очень точно выражаю свою мысль. Повторяю еще раз, я принесла бы вам куда больше пользы, если б здесь не находилась. Я могла бы вас кое с кем познакомить.

— На тебе, убоже, что нам негоже.

— Если просите помощи, не жалуйтесь, когда ее получаете.

— Когда получу — жаловаться не буду.

— И все же я не вполне понимаю, почему вы пошли по такому сложному пути... Как бы получше выразиться?..

— Я и сама задаю себе тот же вопрос. Не вы ли писали в ответ на одно из писем в журнал: «Не надо менять жизнь — достаточно изменить мировоззрение»?

— Да, но зачем вам менять мое мировоззрение? Вы-то что от этого выиграете?

— Хочу испытать свои силы. Под лежачий камень вода не течет.

— Это вы по поводу письма, которое осталось без ответа?

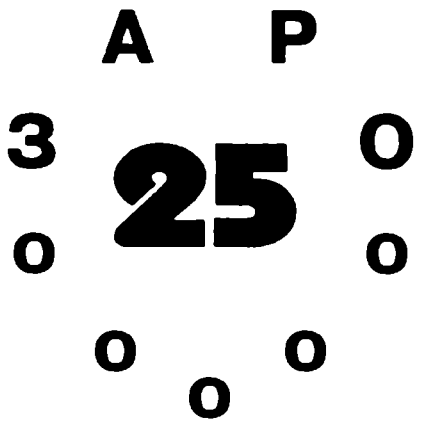
— Нет, это я по поводу письма, которое без ответа не осталось.

Мы возвращаемся домой. Роза вглядывается в статуэтку Луристанова коня, пытаясь угадать его историю. Что такое его история, его тайна по сравнению с моей! Отставляет коня и любовно смотрит на меня.Чтобы меня разглядеть, милая Роза, и шестидесяти лет не хватит.

— Такую вазу я вижу впервые в жизни, — говорит она, по-прежнему не подозревая, насколько это верно. Кладет руки на-а-а меня.

Рассказываю ей историю. Историю про один из самых диковинных брачных союзов, про мужа и жену, которые прожили вместе шестьдесят лет, постоянно оскорбляя друг друга и ухитрившись ни разу ни одного оскорбления не повторить. Людьми они были весьма состоятельными, а потому имели возможность для взаимных поношений заказывать значительные произведения искусства: скульптуры, картины, поэтические и прозаические опусы. Из-за непрекращающихся ссор они тратили огромные средства на художников и писателей, чем внесли весьма существенный, пусть и непризнанный, вклад в историю мирового искусства. Роза пытается вникнуть в суть этой богатейшей коллекции злословия.

Я же хочу еще раз отведать воспоминаний Розы. Вот они.



У нее в руках бутылка шампанского. Она нервничает, она раздражена. Нажимает кнопку звонка против таблички «Марк». В окне на мгновение появляется и тут же исчезает мужское лицо, обрамленное белокурыми волосами. Вскоре, впрочем, белокурые волосы возникают в оконном проеме вновь — словно их обладатель чувствует, что скрыться уже не удастся. На лице — вымученная улыбка. Она Розе почему-то не нравится. Очень не нравится.

— Ты что, не получила мое сообщение? — интересуется Блондинчик.

— Нет. Я прождала час и пошла к тебе. Я волновалась.

— Морковка звонила сказать, что ужин отменяется.

Переминается с ноги на ногу. Не надо обладать моим опытом, чтобы заметить — он волнуется. Но Роза ничего не замечает, она не хочет, чтобы он вошел в ее положение; она хочет, чтобы он вошел в нее. Она влюблена. Она готова ждать Блондинчика сутками, она готова не ужинать никогда. То, что ужин отменился, ей только на руку.

Она начинает раздеваться и раздевается до тех пор, пока раздевается догола. В принципе такое безрассудство ей не свойственно — да и не безрассудство это, а продуманная капитуляция. В постели он не так уж и хорош, но на его стороне ее воображение.

— Что ты делаешь?! — кричит он, порываясь поднять и набросить ей на грудь уже сброшенный на пол лифчик.

Его порывистость еще больше ее заводит, и она надеется, что заведется и он. Блондинчик же в полной растерянности, которую Роза воспринимает как победоносное шествие похоти.

— Давай что-нибудь придумаем, — говорит она.

— Здесь неподалеку отличный китайский ресторан, — отзывается он.

Решив, что он пошутил, она пытается стащить с него тренировочный костюм.

— Я не убежден, что ты права.

Тут только я замечаю на полу журнал, в котором печатается Табата.

Роза стягивает с дивана покрывало.

— Роза, мы ведь еще недостаточно хорошо знаем друг друга.

— Что это ты, как девушка, заговорил? Мужчинам подобные реплики отпускать не пристало.

Она изучает его скрюченный, небоеспособный член — нахохлился, будто злобный карлик, забравшийся в спальный мешок.

— Роза, я сегодня неважно себя чувствую.

— Тем более самое время лечь в постель.

Но главное действующее лицо бездействует по-прежнему. Роза прижимает его к губам, касается языком, выделывает с ним всевозможные фокусы, в том числе «йо-йо» и «мексиканский заключенный», даже хлещет им себя по лицу — однако член в своей податливости тверд и непреклонен. Проходит десять минут, и подобная «податливость» становится вызывающей.

— Я что, тебе не нравлюсь?

— Еще как нравишься.

— Неделю назад ты проявлял гораздо большую заинтересованность.

— Ничего не изменилось. Просто я очень устал.

Роза озадачена: бóльшую часть жизни она испытывала неудобство оттого, что на дансингах и в общественном транспорте постоянно соприкасалась с протуберанцами. Успокоив себя тем, что теперь она, по крайней мере, узнала о мужчинах нечто совершенно новое, Роза идет к холодильнику положить в морозилку бутылку шампанского. Квартира пустовата, вся обстановка — матрац на полу, диван да стул, зато холодильник поистине необъятен — остался, должно быть, в наследство от большой семьи, что юти-

лась здесь раньше. Блондинчик говорит по телефону и замечает, что она подходит к холодильнику, в самый последний момент — увы, слишком поздно!

Холодильник почему-то приоткрыт, повсюду разбросаны, как это принято у холостяков, скоропортящиеся продукты. Роза распахивает дверцу и обнаруживает, что внутри, скорчившись в три погибели, сидит полураздетая женщина. Сразу видно — сидеть в такой позе ей здорово надоело.

— Клянусь, мы наговорили тебе на автоответчик, что ужин отменяется, — информирует она Розу, а затем добавляет: — И всего-то пять раз.

В ее словах, безусловно, есть свой резон: в правой руке она сжимает именно это число презервативов, а в левой — коробку из-под них. На женщине клипсы в виде перьев, которые могла бы надеть шведская журналистка — такие ездят «встряхнуться» на Мальту и не привыкли говорить «нет».

На полу лежит журнал, в котором печатается Табата; раскрыт журнал на странице, где черным по белому написано следующее: «Если вам кажется, что без подруги вашей подруги вы не можете жить — действуйте, и поменьше рассуждайте».

Роза сердится — и не только потому, что ей изменили; судя по выражению его лица, это не измена, а подмена. Она видит, Блондин и сам понимает, что совершил ошибку, — поначалу ему показалось, что в Морковке что-то есть, однако, обследовав ее пять раз, он ничего особенного в ней не обнаружил. Роза знает: долго сердиться на Морковку она не будет, но знает она и другое: позволить себе простить Блондинчика, как бы ей этого ни хотелось, она не сможет тоже.

Покамест она даже не злится на него за то, что в жизни он руководствуется исключительно советами из популярных журналов.

Ее руки по-о-о-одымаются. Ночь о-о-о-пускается.

Морковка

В гостиной сидит Свидетельница Иеговы; назвалась подругой Никки — вернее, «подругой темноволосой девушки, которая здесь живет».

— Вы — ее подруга, а как ее зовут, не знаете?

— Да, — отвечает гостья, совершенно не отдавая себе отчета в том, какую чушь она говорит. Роза и ее подруга Морковка идут на кухню.

— Я так волнуюсь, — говорит Морковка. — Мы ведь не предохранялись.

На Морковке те самые перьеобразные клипсы, которые носят на Мальте шведские журналистки. Главный, на мой взгляд, талант Морковки — это ее беспечность. В данный момент разлучница беспокоится вовсе не из-за той связи, которая имела место год назад и прочно утвердилась в памяти Розы.

— Зачем же тогда ложилась с ним в постель?

— Спать я с ним не собиралась.

— Зачем в таком случае к нему поехала?

— Поговорить.

— «Поговорить»?! Но ты же знала, что его подруга — в Америке.

— Понимаешь, было уже поздно... Мне пришлось остаться ночевать, ну и...

— Понимаю, в темноте он спутал тебя со своей подругой.

— При чем тут... Ну ты же знаешь... Надеюсь, я не...

— Скажи, Морковка, а что было, когда ты ночевала у него в предыдущий раз?

— Когда его подруга была в Исландии?

— Может, и в Исландии. Или я ошибаюсь, и в это время она находилась в Таиланде. Или в Португалии. Порядок стран я могла перепутать, потому что, стоит ей уехать, как ты обязательно его навещаешь, вы занимаетесь этим всю ночь, а потом ты приходишь ко мне и говоришь, что волнуешься...

Морковка изучает содержимое холодильника.

— Хочешь, я тебе приготовлю поесть?

— Нет, спасибо. Так, чего-нибудь погрызу, если не возражаешь. — Она вынимает из холодильника миску с картофельным салатом и, взяв вилку, начинает лениво, с отрешенным видом тыкать ею в салат. — Я ужасно волнуюсь.

— По крайней мере, по этому поводу волноваться нет никаких оснований. Ты же историк, выводы должна делать только на основании фактов. Не ты ли постоянно твердишь мне, что история ничему нас не учит? Если тебе суждено повторять одни и те же ошибки, то хотя бы по этому поводу не волнуйся.

— Между прочим, сегодня утром меня вырвало.

— Тебя вечно рвет. Рвет, потому что ты боишься не сдать экзамен. Рвет, потому что боишься потерять работу. Рвет, потому что боишься потерять мужчину, с которым у тебя многолетняя связь, у которого есть постоянная подруга и с которым ты спишь два раза в году. Тебя рвет, потому что ты постоянно боишься залететь. Рвет, потому что боишься, что тебя вырвет.

— С Терри у меня тоже была длительная связь.

— С Терри? Да, двухмесячная — по твоим меркам, и вправду длительная. И связь эта осуществлялась почему-то не менее чем в пятидесяти милях от Лондона.

— Он же не виноват, что у него постоянно ломалась машина.

— Как тебе сказать? Когда машина ломается каждый день в течение двух недель, виноват ее владелец.

— Не двух недель, а недели. И потом, он хотел повезти своих малышей на море — денег на поезд у нас не было.

— И на бензин, как выяснилось, тоже.

— В жизни бывает всякое. По-твоему, лучше быть такой предусмотрительной, как ты?

— Что верно, то верно, я бы сильно подумала, прежде чем вступить в связь с женатым человеком, который рассчитывает вдобавок, что я буду сидеть с тремя его детьми, давать ему в долг, и который, проведя со мной на шоссе, под колесами его сломавшейся машины, две недели, заявляет, что между нами все кончено, ибо от него забеременела другая женщина. И не будем забывать историю о том, как я нашла кое-кого в холодильнике, принадлежавшем человеку, с которым мне очень хотелось быть вместе.

— Ты же сама сказала, что на эту тему мы больше говорить не будем.

— Ты права. Извини.

— Впрочем, ты немного потеряла — в постели он был не так уж хорош.

— Морковка!

— Но и не так уж плох, заметь.

Морковка понимает, что этой темы лучше не касаться. Она доедает картофельный салат и ностальгически взирает на дно пустой миски.

— А что, если я все-таки залетела? — заводит она старую песню.

— Очень может быть. Но если ты действительно волнуешься, что забеременела, почему бы это не выяснить?

Из холодильника между тем извлекается тарелка с салатом из сырой капусты.

— Давай я тебе что-нибудь приготовлю.

Спаржа отрицательно качает головой.

— Ты права, надо будет сделать анализ.

— Блестящая мысль. И тогда, быть может, наступит долгожданный покой. Для нас обеих.

— Могла бы мне и посочувствовать.

— А ты могла бы быть не такой беспечной. Первые три раза я тебе сочувствовала. Очень даже.

— Все произошло так неожиданно. У тебя есть сыр? Знаешь, мне кажется, у меня стало получаться гораздо лучше, а он ничуть не изменился — фантазии никакой!

Сыр и салат из сырой капусты, а также кекс постепенно исчезают. Некоторое время Морковка сражается с банкой маринованной свеклы — и капитулирует. В отместку нападению подвергается ваза с фруктами.

— На днях звонила твоя матушка, — объявляет Роза.

— Опять?! Чего ей надо?

— Хотела выяснить, где ты. Она не верит, что ты в Камбодже.

— Ты, надеюсь, ей ничего не сказала? А в Сейнсбери бри лучше.

— Нет, я придерживалась твоей версии.

— Господи, покоя от нее нет!

— Она твоя мать, и если б ты разговаривала с ней хотя бы раз в год, она бы не допрашивала с пристрастием твоих подруг.

— Вечно она ноет. Каждый раз, когда я с ней говорю, она жалуется: почему я с ней не общаюсь, почему отец...

— А потом она жалуется на то, что ты жалуешься на то, что она жалуется.

— Ага, — говорит Морковка с набитым абрикосами ртом. Просто удивительно, какой Роза тонкий психолог!

— А потом ты жалуешься на то, что она жалуется на то, что ты жалуешься на то, что жалуется она. Не пойму только, кто из вас начал первой.

— Я могу уйти, — цедит Морковка, в бешенстве сжимая в руке стаканчик йогурта.

— Кто-то стучит в окно, — сообщает Свидетельница Иеговы.

Роза идет в комнату и открывает окно в эркере. Под окном сидит на корточках какой-то тип в бейсбольной шапочке — вероятно, он, как в свое время Борода, принял выступ Розиного дома за общественную уборную.

— Бумажкой не выручишь, сестричка? — осведомляется он.

Роза возвращается на кухню, наливает полное ведро и, подойдя к окну, окатывает испражнившегося ледяной водой с ног до головы.

Тип в бейсбольной шапочке уносится прочь, грозясь вызвать полицию.

— А мне ведь когда-то нравилось здесь жить, — вздыхает Роза. — Что ж это творится? Пора, боюсь, продавать квартиру.

Отчаявшись дождаться Никки, Свидетельница Иеговы уходит восвояси.

В коттедже и у колодца

Роза берет меня с собой за город. Меня и постельное белье. В коттедже она проводит несколько дней. На какое-то время она отлучается, оставив меня на широкой, залитой солнечным светом полке.

Кругом очень тихо, слышно, кажется, как пролетают пылинки.

Роза отсутствует так до-о-олго, что остается только порадоваться, что Никки не знает, где я нахожусь, — иначе бы очередного ограбления не миновать.

Роза возвращается — удручена, раздосадована, и я уношусь с ней в древние времена, повествую о долгих тридцати годах, проведенных мною во чреве белокорого палтуса, — это чтобы она не пожирала меня глазами с такой страстью. Изображаю ей одного хозяина жизни: в момент наивысшего блаженства он строил столь причудливые гримасы (бывало даже, запускал себе язык в правое ухо), что не успевал предавать мучительной казни своих хохочущих наложниц. Роза хмыкает.

На третий день нашего пребывания в коттедже меня несут к колодцу.

— Какие новости? — спрашивает Табата.

— Я решила взяться за дело всерьез и пошла на курсы автосварщиков, поскольку, по моим представлениям, эти курсы должны посещаться исключительно мужчинами, однако в автомастерской я обнаружила еще шестнадцать таких же юных обольстительниц, которые, судя по всему, явились сюда с той же целью — во всяком случае, на сварку они обращали внимания не больше, чем я, и многие ушли раньше времени. Даже инструктором была женщина.

— Ничего страшного. Лягушка ведь тоже не сразу стала принцессой.

— Спасибо за комплимент.

Пребывание в колодце явно пошло Табате на пользу.

— А как насчет ваших предыдущих связей? — интересуется она.

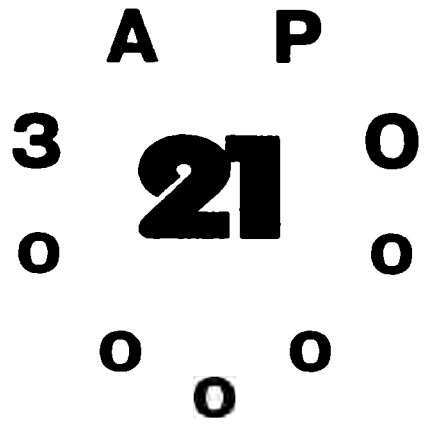
— К вам они никакого отношения не имеют.

Мы возвращаемся в коттедж. Я — наперсница, доверенное лицо. Тревога Розы передается и мне, становится моим уделом.

— Как странно, повсюду, во все времена это ценилось... Расскажи я кому-то, надо мной бы посмеялись, сочли, что у меня не все дома. Может, впрочем, так оно и есть?

Протягивает ко мне пальцы. И вновь у меня такое чувство, будто я заглядываю в нее. Меня захватывают воспоминания, они выбираются из своих щелей на солнечный свет.

Я предоставляю Розе мысленно отправиться в Клуб жестокости, сама же вновь погружаюсь в ее прошлое...



— Я с вами в постель не лягу, — говорит Роза.

— Вот и отлично, — говорит он и ложится к ней в постель.

— Убирайтесь, — шипит Роза. Она зовет своего соседа по квартире, но тот пропьянствовал всю ночь, и теперь его не добудишься.

Он поворачивается к ней спиной:

— Уже поздно. Надо же мне где-то переночевать. Я хочу спать, я вас не трону.

— Вы что, совсем дурой меня считаете? Выкатывайтесь — или я вызову полицию.

— Вперед. — Он зарывается головой в подушку.

— Убирайтесь, слышите! — Она что есть силы колотит его кулаками. Он не обращает на нее никакого внимания. Она сталкивает его ногами с кровати. Он скатывается на пол вместе с одеялом и подушкой и, свернувшись калачиком, погружается в сладкий сон. Она в бешенстве мечется по постели. Он храпит. Спустя три часа, в четыре утра, Розе вдруг приходит в голову, что он и в самом деле спит, а не ждет, пока она задремлет, чтобы вновь попробовать ее соблазнить. Она даже немного сердится оттого, что он спит и не пытается даже ее обнять.

— Сколько всего у вас женщин? — спрашивает она утром, после того как он съел ее поджаренный хлеб и остатки ее мармелада. На камине лежит открытка — поздравление с днем рождения. Сегодня Розе двадцать один.

— Понятия не имею, — отвечает он.

— Что значит — понятия не имеете?

— Не знаю сколько. Я знаю, с кем бы мне хотелось переспать. Я примерно знаю, какие женщины были бы не прочь переспать со мной. Но сами понимаете: сегодня она не прочь, а завтра — гонит прочь. — С этими словами он вносит в Розину комнату три автопокрышки, этажерку и несколько боевых барабанов племени ватузи.

— Скажите, ваши женщины знают о существовании друг друга?

— Кто как. Стеси знает про Алекс, потому что Алекс — ее лучшая подруга, но Алекс про Стеси не знает ровным счетом ничего. Сью ничего не знает ни про Алекс, ни про Стеси, ни про всех остальных — вот что значит жить в Сент-Олбанс! Живущая в Манчестере Джо подозревает, что я сплю с Чарли, что очень смешно, так как с Чарли я как раз не сплю, зато навещаю Стефани и Сару, которые работают с ней в одном турагентстве.

Звонит его мобильный телефон. «Да-а-а, да-а-а, — с придыханием шепчет он, — я только что провел ночь с прелестницей, которая обольщала меня как могла, — но я спас себя для тебя».

— А вот Софи и Николь друг про друга знают, — продолжает он, внося еще один туземный барабан размером в две Розы. — На танцах в Донкастере они даже из-за меня подрались. Уж не знаю почему, но меня на всех хватает.

— И вы всерьез рассчитывали со мной переспать? — допытывается Роза. — Вы, который спит с каждой второй англичанкой и не моется годами. — Роза входит в раж. — Ваше чувство прекрасного умерло не родившись. И почему вы заносите сюда все это барахло?!

Появляется гонг.

— Вы очень меня выручаете.

— Что вы во мне нашли?

— Много чего.

Она хватает его за локоть и старается ущипнуть побольнее. Он вскрикивает.

— Вив и Грейс не дадут мне соврать. Вы — единственная женщина, которая не испытала моих возможностей.

— По-вашему, есть, что испытывать?

— А вы поспрашивайте. Не может же столько женщин ошибаться.

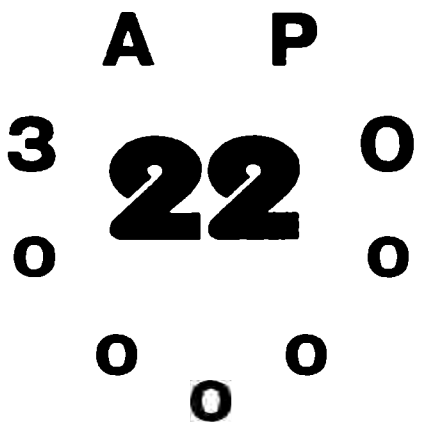
Роза пытается оторвать от пола один из барабанов.

— Неужели они настоящие?

Барабанщик остается ночевать довольно часто. Роза начинает подозревать, что такое положение дел его устраивает, — ведь здесь его столь потребный орган остается невостребованным. Во всяком случае, в общепринятом смысле. Их любимая фаллическая игра: он кладет на кончик своего прибора кусочек сахара и катапультирует его в другой конец комнаты, где Роза ловит сахар ртом. Так они проводят вместе два года, и все убеждены, что Роза давно уже попала в его донжуанский список. Сознавать, что ее имя у всех на устах, доставляет ей удовольствие. Барабанщику звонят по мобильному телефону другие женщины, и он — поразительное дело — отшивает всех до одной. Он не дарит ей любовных наслаждений — но и не изменяет ей. Она многое узнает от него про мужчин и женщин.

Он умирает без звука от неисправности в звуковой системе, о чем я узнаю из ее третьего любимого сна. Ей снится, как он входит, все лицо обожжено; он пришел забрать свой папуасский боевой барабан, видит на столе банку маринованной свеклы и пытается ее открыть. «Хорошо, что ты его не выбросила, — говорит он, поглаживая потертый барабан, — ведь это же никакой не барабан, это символ благопристойности, без которого мир давно бы рухнул. Кто бы мог подумать, что я так буду им дорожить?»

Мыслями Роза по-прежнему в Клубе жестокости. Вот еще один запоминающийся эпизод.



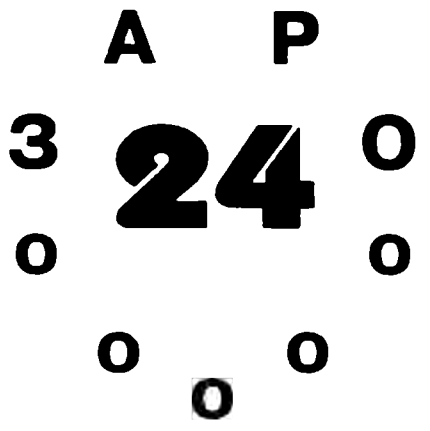
— Собака съела свет, — говорит он.

Сегодня Роза изменила своим принципам. И напилась. А напившись, сняла свои оборонительные редуты. В спальне холодно и шатко — качаешься, как в гамаке. Входя в темную спальню, она видит, как за ней следом ползет из коридора тусклый свет. Свет изжеванной лампы. Всё в доме как-то не так, всё распадается, держится на честном слове. Ступени стонут и уходят из-под ног.

Потолок так низок, что она с трудом выпрямляется. Постель маленькая, убогая — беспостельная. Подходит и неловко на нее падает. Из-под дверей, там, где пути пола и двери расходятся, пробивается огромный клин света. Снимает с себя наиболее существенные предметы туалета... ощущение холода, расслабленности не дает ей раздеться до конца. Эмметт, эколог — надо же было так представиться! — в ванной, чистит перышки. Видит ее и в молчании, от которого закладывает уши, делает шаг назад. Она не настолько пьяна, чтобы не испытывать благодарности за потушенный свет. Она знает: если б она увидела его раздетым, ей пришлось бы пересмотреть свое решение. Теперь-то она сожалеет, что отказалась от услуг молодых и здоровых... И почему здесь так знобко, почему так стыло и уныло?

Он скорее суетлив, чем похотлив. Больная лабораторная мышь, насторожена — как бы чего не вышло, как бы не обидели. Ну, за дело. Набирается мужества и раскованным движением сбрасывает лифчик. Слышит осторожные, неуверенные шажки, потом гулкий стекольно-бутылочный звон и глухой стук. Короткое, звучное «о». Что-то лихорадочно, суетливо шевелится на полу, свет в коридоре вспыхивает вновь — и выхватывает из темноты Эмметта-эколога. Он лежит в луже крови. Его пенис ничуть не больше дефиса в слове, набранном петитом. Роза аккуратно через него переступает. Он наступил на пустую бутылку из-под лимонада и упал на другую, такую же. Незадача. Роза не хочет везти его в больницу; она не настолько бессердечна, чтобы одеться и уйти, но и не настолько сердечна, чтобы оказать ему помощь.

Клуб жестокости Розе еще не надоел. Ощущает ли она, что кто-то другой обрывает плоды ее фантазии? Еще одна история в том же духе.



Роза лежит на спине. На постели. Эта — поудобнее. Сняла лифчик и трусики и приняла как можно более соблазнительную позу. Его прибор вытянулся по стойке «смирно». Уперся в пупок. Ляжки удачливого шоумена. Гладкий, упитанный. Себя любит.

А вот Роза его — нет, хотя, сказать по правде, сегодня она не прочь. Шоумен глядит на Розу, как в зеркало, где видит только себя — единственного и неповторимого. Ласкает — в качестве разминки — свой ратный жезл.

Комната погружена в интимный мрак. Шоумен — в преддверии, в предвкушении, в боевой стойке. Член — как примкнутый штык. Затишье перед боем. Осыпает ее грудь короткими, хищными поцелуями. Мастер своего дела. Она сдавленно вскрикивает. Идея хорошая. Левая грудь Розы заглатывается почти целиком — Шоумен находит ее вполне съедобной. Розу обволакивает победоносный запах мыла и мускуса. Он слегка отодвигается. Говорит: «Может быть больно», — словно предупреждая о вхождении.

Короткое, звучное «о». Еще одна попытка — и еще одно короткое, звучное «о». «Постой», — говорит он и включает свет; долго, вдумчиво смотрит куда-то вниз, после чего подымает руку. На руке кровь. «А ведь больно совсем не было», — думает про себя Роза и тут только замечает, что его прибор в крови.

Лицо Шоумена каменеет. Вызревает решение: никаких необдуманных и поспешных шагов, пока не скажут свое веское слово лучшие в мире врачи. Заворачивает член в бумажные полотенца с таким тщанием, будто это не детородный орган, а новорожденный королевских кровей. «Вызови «скорую», — шепчет он, боясь, как бы от громкого голоса кровотечение не усилилось.

Просмотр эпизодов из серии «Клуб жестокости» близится к завершению. Одна история краше другой. Вникать в прошлое Розы я, пожалуй, больше не буду. А то в следующий раз, когда она прикоснется ко мне пальцами, от ее прошлого ничего не останется.

Трапеция

Мы возвращаемся к Розе.

Никки разыгрывает традиционный спектакль: «А я уже вас заждалась!» Она печет блины. После ужина, когда Роза моет посуду, раздается звонок в дверь, и Никки впускает в квартиру какого-то типа с гигантским кактусом в руке.

— Никки, можешь меня поздравить. Я ушел от жены. Теперь я весь твой.

Эти слова Никки расценивает как нарушение первой заповеди прелюбодеяния.

— Вот что я тебе скажу, дружок, — говорит она, бросая на него злобный взгляд. — Слушай и мотай на ус. Прежде чем уходить от законной жены, да еще уносить из дому комнатные растения, следует поинтересоваться у подруги, что она по этому поводу думает. А то она задаст тебе такой же вопрос, как и я: «Ты что, охренел?!»

Кактус неохотно уходит. Цветы в горшках даются ему лучше, чем женщины. Кого-кого, а Никки не проведешь.

— И тебе не надоело? — спрашивает Роза.

Никки пожимает плечами.

— Ой, чуть не забыла. Как же ее зовут? Да, Элен. Тебя искала Элен. Насчет вазы.

Вот оно что. Значит, Мариус ее торопит.

Утром Роза уходит — на этот раз без меня. Никки, естественно, тут как тут. Через три минуты сорок секунд после того, как Роза отправляется на свидание с каким-то «деятелем», меня крадут в три тысячи двести одиннадцатый раз.

— Чтобы не страдала самооценка, нужен успех, — обращается ко мне Никки. — Вот ты его мне и обеспечишь.

На старьевщиков мы больше времени не тратим и едем прямиком на аукцион, тот самый, с которого все и началось. Никки, впрочем, этого не знает. Она ищет аукционистку, но той нет на месте. Хочется надеяться, что она и Роза вот-вот появятся — тогда даже Никки при всей своей изворотливости выкрутится вряд ли. Мы отбываем.

Меня везут туда, где Никки обычно тренируется. Ей хочется размяться.

Здесь овладевают цирковым ремеслом, искусством смешить — хи-хи-хи — людей. Вспоминаю танцовщиц с Крита. Многие сотни лет цирк притягивает к себе людей — и не искусством циркачей, а распространением небылиц. Тем, что есть, оказывается, и в жизни счастье. Что есть успех. Что есть красота. Что есть отвага, есть начало и конец. Все это имеет место на арене цирка. Бытует мнение, будто цирковая арена, как всякий круг, — это символ отсутствия начала и конца; на самом же деле арена цирка — это символ того, что начало и конец могут наступить в любой момент. Вот почему работать в цирке так тяжело. Циркач должен быть лучом света во мраке жизни, он должен покончить с несчастьями, обуздать страдания.

Несколько часов Никки раскачивается на трапеции. Она выделывает трюки, которые на профессиональном языке называются «драная кошка» и «полуангел». Ее тонкий стан обманчив: она обладает огромной физической силой, она отважна, и все же, в сравнении с красноречием тех, кто зарабатывает этим искусством себе на жизнь, она — заика. В помещении пахнет дешевым кофе и жидким чаем. Никки болтает с униформистами, намекая на отсутствие денег. Но вот арена пустеет и появляется Ятаган.

Предстоит потеха.

Одежда спадает на пол. Никки подходит к Ятагану сзади и выкручивает ему соски — точно переводит стрелки уличных часов. Его мужское начало (оно же — конец) взмывает вверх, как шлагбаум на железнодорожном переезде. С тех пор как я последний раз за ним наблюдала, ему удалось значительно усовершенствовать свой станок; он ввел в уретру тонкий металлический стержень, который закрепил, вогнав в одно из отверстий фиксатор. С потенцией у него проблем нет, и металлический стержень — несомненное излишество, сам он, однако, так не считает, ибо извлекает металлический наконечник в виде головы улитки и насаживает его на стержень.

Они взмывают под купол цирка. Трапеции подвешены ровно под тем углом, который необходим.

Ятаган передвигается с восхитительной легкостью, ни один мускул на его теле не напряжен, впечатление такое, будто всю свою жизнь он прожил на дереве. Такой, дай ему волю, всю Европу может перетрахать. Никки еще вполне бодра, но гибкости, упругости Ятагана недостает, пожалуй, даже ей; время уже наложило на ее тело некоторый отпечаток — партнеры, впрочем, внакладе не остаются.

Раскачиваясь, они понемногу сближаются; Никки забрасывает ноги Ятагану на плечи и, энергично и сноровисто поерзав, насаживает себя на него, после чего они начинают плавно вращаться в воздухе, словно качаются в гамаке.

В таком положении особенно не подвигаешься, однако, извиваясь, помогая себе истошными выкриками и звучными вздохами, они, несмотря ни на что, начинают стучаться во врата рая. Страдания Никки становятся все заметнее, ведь верхняя часть тела при всем ее желании не может соответствовать нижней. Целиком отдавшись удовольствию, поступающему, увы, дозированными порциями, она, разумеется, не замечает, как внизу появляется Туша.

У них нет никакой страховки, предохранительная сетка не натянута. Находятся они на высоте двадцати футов, и если упадут, то многочисленные травмы и повреждения им обеспечены.

Угнетенные постоянным безденежьем, циркачи уныло бродят внизу и на творящиеся под куполом безобразия особого внимания не обращают — то ли оттого, что такое происходит постоянно, то ли потому, что в цирке принято вести себя так, будто такое происходит постоянно.

Одна бритоголовая девица ест попкорн и рассказывает своей подруге, что хочет навестить друга, который сидит в тюрьме на юге Франции; у нее есть машина, но такая старая, что наверняка сломается по дороге, да и денег на бензин нет. Нет у нее и водительского удостоверения, а с французской полицией, говорят, шутки плохи. Ее друг, специалист по вырезыванию бамбуковых австралийских труб, тоже поехал на юг Франции

навестить свою подругу, консультанта по выпечке фисташковых тортов, которую посадили в тюрьму, потому что она поехала на юг Франции без водительского удостоверения навестить своего друга, который по глупости поехал на юг Франции без водительского удостоверения навестить подругу, дизайнера лесных шалашей, которую посадили в тюрьму за то, что у нее не оказалось водительского удостоверения, но которую, пока он до нее доехал — машина постоянно ломалась, да и на бензин не всегда хватало, — успели уже выпустить.

Входит еще одна девица, некоторое время наблюдает за «полетом под куполом цирка», потом открывает сумочку и вынимает оттуда фотоаппарат. Вспышка. Утробные звуки на мгновение смолкают, и Никки в бешенстве кричит: «Не сметь фотографировать!»

От злости и «подвешенности» она не замечает, как Туша извлекает меня из-под ветровки Никки. На Тушу никто внимания не обращает, все думают, что репетируется какой-то номер.

Мы садимся в автофургон и терпеливо ждем, Туша читает одну и ту же (тринадцатую) страницу какого-то словаря, а я думаю о том, как расстраиваются планы, как перевираются новости, какой низкой бывает высокая мораль. Я знаю притягательную силу порядка. Через час и двадцать три минуты из здания цирка вылетает раскаленная от страсти и бешенства Никки, и мы следуем за ней домой.

Туша

Мы входим — оказывается, ключи к Розиной квартире подобраны у Туши давным-давно.

Никки собирает вещи; замечает Тушу и застывает на месте. Первый раз вижу ее растерянной: в глазах неподдельный ужас, не знает, что делать, чем крыть.

— Привет, Никки.

Никки мучительно пытается оценить ситуацию. Заговорить? Попросить прощения? Выпрыгнуть из окна?

— По-моему, ты не ожидала меня увидеть.

Никки бормочет что-то невнятное. У нее дрожат колени. Наконец она обретает дар речи:

— Согласись, трудно рассчитывать на встречу с человеком, в которого я собственноручно выпустила шесть пуль.

Произносит она эти слова с некоторой задумчивостью, подобно школьнице, пытающейся сообразить, сколько времени пройдет, прежде чем двенадцать земляных червей, которые в девять вечера отправились на дискотеку в Боготе, попадут под машину. Она вовсе не притворяется равнодушной, не пытается скрыть подступающее бешенство — она просто демонстрирует образцовое безразличие.

Никки приходит к выводу, что в ближайшие несколько секунд она не умрет, а даже если — ввиду отсутствия режущих предметов — на тот свет и отправится, то сделать все равно ничего не сможет: теперь уж Туша своего не упустит.

— Шесть пуль — в грудь, — уточняет Туша, — а седьмую — в голову. — На ее лице, впрочем, следов седьмой пули не видно — о ранении свидетельствуют разве что два передних золотых зуба.

— А ты хорошо выглядишь, — делает подруге комплимент Никки. — Чаю хочешь?

Ловкий ход: проявить гостеприимство и заодно незаметно переместиться на кухню, где имеется доступ к холодному оружию. Никки обретает уверенность.

По пути на кухню она замечает, что я стою на своем законном месте.

— Так это ты ее принесла?

— Да. Я.

— Никогда б не догадалась. Непривычно видеть тебя с крылышками.

— Я пришла передать тебе послание.

— Послание?!

— Послание оттуда. Для того чтобы тебе его передать, мне пришлось умереть.

— Умереть?!

— Ты ведь убила меня. Я умерла. Шесть выстрелов в грудь и один в голову.

Никки ставит чайник.

— Прости меня, если можешь. Понимаешь, пистолет сам разрядился, вижу — ты ранена, испугалась, что ты меня на части разорвешь, и стала дальше стрелять. Когда опомнилась, обойма уже пустая была...

— Я тебя винить не могу. И потом, сама ты себя все равно уже простила. У меня и впрямь был тяжелый характер. Тебя можно понять.

— Не такой уж и тяжелый.

— В конечном счете ты поступила правильно, ведь твой поступок изменил наши жизни — и твою и мою.

— Так как же было дело? Тебя отвезли в больницу? Прости, что я не вызвала «скорую», просто решила, что тебе она уже не понадобится.

— Нет, в больницу меня не положили. Решили, что я умерла. А я взяла и передумала.

— Как это тебе удалось?

— Санитар в морге уговорил...

— Что-что?

— По-мужски... Вот видишь, даже извращенцы способны на хороший поступок. Странно, что ты ничего не слышала про мое выздоровление. Сенсация!

— Я дала дёру. Бросила пистолет и дала деру. Когда тебя привезли в больницу, я была уже в аэропорту.

— Выходит, ты все это время жила за границей?

— В основном... Какое же послание ты мне привезла?

— Суть этого послания в том, что дальше так жить нельзя.

— И ты специально спустилась с небес на землю, чтобы сообщить мне эту новость? Могла бы и открытку послать.

Уже хамит. Панического страха как не бывало. Теперь она понимает — ей ничего не грозит. Среди людей, умеющих читать чужие мысли, Никки занимает в моей коллекции почетное сто тридцать второе место, в крайнем случае сто тридцать третье.

— Я многое передумала, пока лежала в больнице. Грехов ведь за мной особых не числилось. Верно, избила несколько человек до полусмерти, но ведь в этом состояла моя работа. И потом, они сами виноваты. В молодости приходилось делать кое-что и похуже. Зайдешь, бывало, в паб и гаркнешь этим пивным будкам: «Ребята, вам что, девушка моя приглянулась?» Если скажут «да», я их смертным боем бью, если скажут «нет», говорю: «Ах, нет?! Это почему же?» — и опять же мордую.

— А если б они сказали, что им надо подумать?

— Этого не сказал никто. Им было наплевать — за это я их и невзлюбила.

Что верно, то верно, нет ничего хуже всеядности, благодушия. Нет хуже тех, кто считает, что колодец, в котором сидят они, — самый глубокий.

— Ты в компьютерные игры играешь? — интересуется Туша.

— Случается.

— Жизнь устроена точно так же. Каждая сложная игра сложна по-своему, и в зависимости от сложности может быть различная тактика. Вооружаться разными инструментами. Садовым совком, или атомной бомбой, или африканским муравьедом. Или чем-то еще. Все мы играем в эти игры: и ты, и я, и все остальные.

— Но ведь свою собственную сложность мы оценивать не должны, верно?

— Мы ее не знаем — в этом и состоит игра. Мы знаем только одно: все, что представляет ценность, труднодостижимо.

— Не скажи, многие трудные вещи абсолютно никакой ценности не представляют. Они трудные, и все тут.

— Когда я лежала в больнице, то вовсе не была уверена, что выживу. И когда ждала смерти, не жалела, что у меня было мало денег или что я мало занималась любовью. Если я о чем и жалела, то лишь о том, что сделала мало добра людям.

— И как же, по-твоему, мне следует изменить свою жизнь?

— Перестать воровать, перестать причинять зло, перестать обманывать, перестать стрелять из пистолета, перестать отправлять людей на тот свет.

— А подводным плаваньем заниматься можно? — интересуется Никки. — Ну-ка, покажи мне свои шрамы. — С этими словами она подходит к неподвижно сидящей Туше, расстегивает на ней блузку, берет в руки две ее огромные — каждая величиной со сторо-

жевого пса — груди и сводит их вместе, чтобы один язык мог одновременно лизать два соска. Никки заводится, как гоночный автомобиль, однако после восьмидесяти секунд тяжких охов и вздохов глохнет — Туше совершенно безразлично, лижут ли ей грудь или мусолят языком подоконник в соседней комнате.

— У меня есть для тебя заветное слово. Anhedonia. Я — вне удовольствий.

— Энн Гедония — вот бы меня так называли. Так ты действительно померла, без дураков?

— Поверь, все мирское спадет к твоим ногам, как грязное белье. Твое собственное естество рассыпется, как труха.

Интересно, почему никто не спрашивает труху, как она себя при этом чувствует?

— Ты, стало быть, веришь в существование добра и зла?

Меня, надо сказать, всегда поражала популярность добра и зла, этой неразлучной парочки. Лично мне всегда казалось, что борьба в этом мире идет не между добром и злом, а между злом и злом, а чаще, увы, — между злом и злом и злом. Случалось — между злом и злом и злом и злом. Бывала я свидетелем и того, как сражаются между собой зло и зло и зло и зло и зло и зло и зло.

— Говорю тебе, ты должна перемениться. Когда я лежала в больнице, то дала клятву, что изменю мир. А значит — и тебя.

Туша безмятежно взирает на Никки. Никки задумывается.

— Неужели ты это серьезно? Что ж теперь, на диете сидеть? Один ведь человек Богу молится, а другой — бифштексу.

— Говорю тебе то, что чувствую.

— Будешь, значит, за мной следить?

— Да. Принимать решения будешь ты сама, но если решение примешь неправильное, я появлюсь и дам тебе возможность принять правильное.

— Да ну? — Вместо леденящего ужаса Никки испытывает теперь лишь невыразимую скуку. Сейчас она думает только об одном — как использовать Тушу в своих интересах.

— У тебя много друзей? Кто-нибудь из старых приятелей на горизонте возник? Не иначе, чтобы шею тебе свернуть?

— Как там Вонючка?

— Нормально. Его бизнес прогорел.

— Странно. Такие жулики, как он, обычно не прогорают.

— А ты-то сама как? Ты-то чем можешь похвастаться? Штопаным бельем?

— Что правда, то правда, таких роскошных крыльев, как у тебя, у меня нет. Я на одном месте не сижу. В Маркет-Харборо, когда мне исполнилось четырнадцать, я загадала желание. Я готова была попасть в рабство, в брюхо акулы, стать жертвой насильника в какой-нибудь темной подворотне — лишь бы уехать подальше от этого треклятого Маркет-Харборо, самой вонючей дыры на свете, какую я только могла себе вообразить. Мне же хотелось чего-то невообразимого.

— Мы все творцы своего счастья.

— Чего?

— Я сама тебя выбрала. Кого мне винить, кроме самой себя?

— Вот именно.

— Я вижу, мои слова не произвели на тебя впечатления. Попробуй задаться вопросом: «Зачем мне все это? Зачем мне игла? Зачем секс?»

— То есть как это зачем? Потому что в кайф.

— Ты врешь — и сама это знаешь.

— Когда я была маленькой, мне подарили глобус, и я с ним играла — ты понимаешь, в каком смысле. Я сама не знала, что делала, но было здорово. Может, поэтому мне всегда хотелось засунуть мир себе между ног. Однажды я проткнула глобус вязальной спицей, чтобы отыскать место на другом — противоположном — конце света. В дальнейшем эти места никогда не совпадали. В этом и состоит смысл жизни — постоянно находиться в пути, быть самой собой, девочкой, обвешанной мальчиками.

Вот что значит быть неодушевленным предметом! Чего только с нами — глобусами, вазами — не вытворяли! Взять хотя бы меня. Каким только униженияm меня не

подвергали — казалось бы, их не способен перенести ни один уважающий себя керамический сосуд, а ведь и мы знаем, что такое либидо. Свидетелями того, что мы можем служить связующим звеном между искателем удовольствий и их источником, являются не только мужчины, которые вечно стремятся куда-нибудь погрузить свой стержень — в замочную скважину, в обивку кресла, в арбузную корку или в ароматную мякоть дыни, — но и женщины.

— И что же ты сказала в полиции?

— От тебя я отвела подозрения, — успокоила ее Туша, — так что женщина с твоей тогдашней кличкой может спать спокойно. В качестве подозреваемой я описала им коротко стриженную толстуху лет тридцати пяти. Им и в голову не пришло, что описала я саму себя. Впрочем, в том, что произошло, есть и моя вина. Я ведь преследовала тебя, и если б ты так меня не боялась, то никогда бы не начала стрелять. От ответственности все равно не уйти.

— И не говори, — отозвалась Никки, разливая чай.

— А у тебя разве так не бывает? Совершишь дурной поступок, а потом мучаешься.

— Тоже мне мучения! Жизнь ведь как устроена: если не предашь ты, предадут тебя. Одно из двух.

— Пока живешь, все время кажется, что ты чего-то недобрала. Только и думаешь: «Почему я взяла из кассы сорок фунтов, а не сто? Почему я не побила заодно и Вонючку? Почему я побила одного Фила? Почему я не проломила Вонючке череп? Почему я не потребовала себе больше? Почему не взяла больше?» Когда же отправляешься на тот свет, то рассуждать начинаешь иначе: «Почему я не дала Альме в долг, когда она так нуждалась? Почему было не дать Софи больше? Зачем было ее обманывать? Ради чего я доставила нам обеим столько неприятностей?» Надо понимать, что в данный момент важнее всего. Как-то я попыталась помочь одному парню, который попал в аварию: дверцу его машины заклинило, он оказался в металлическом капкане, я видела, что он обливается кровью. Поделать ничего было нельзя. В этот момент ему не нужны были деньги, он не хотел слушать стихи, любоваться картинами, делать заявления для прессы. В этот момент ему хотелось только одного — чтобы ему протянули руку, все равно кто. Я знаю, о чем говорю.

— Итак, ты пришла сюда, чтобы сделать меня счастливой? — осведомляется Никки.

Туша утвердительно кивает.

— А теперь проваливай.

— Хорошо, я уйду. Свое послание я тебе передала и могу уйти. Но имей в виду, Никки, я ухожу не потому, что ты меня об этом попросила. Сделать тебя счастливой вовсе не значит идти у тебя на поводу. Не забывай, я ведь тебя неплохо изучила.

Туша идет к двери. Достает кошелек.

— Если тебе действительно нужны деньги, можешь взять у меня. Я нашла тебя. Не забывай об этом. Думаю, искала тебя не одна я... Да, вот еще что... Спасибо, что ты меня застрелила.

— На здоровье.

Туша уходит. А ведь они могли с тем же успехом поговорить о ценах на овощи. Насколько я понимаю, Туша и Никки прожили вместе несколько месяцев года три тому назад; чем Туша могла привлечь к себе такую, как Никки, остается загадкой, однако ясно одно: увлечение это относится к разряду тех, которые принято называть пагубными.

Теперь же их решительно ничего не связывает. Если б не семь выпущенных из пистолета пуль, трудно было бы себе представить, что одно время (три раза еженощно) они были близки. И вовсе не близость явилась предметом их размолвки. Никаких улик. Чисто сработано. Люди теряют всё: серьги, зубы, надежды, лютых врагов и закадычных друзей, воспоминания, самих себя; единственно, что они утратить не могут, это утрату. Утрата утраты. Конец конца. Такой коллекции нет ни у кого. Спросите у опытного коллекционера.

Человек, которого вы когда-то любили, может выветриться из вашей памяти без остатка, но вот человек, которого вы застрелили, забывается редко. Спросите у старого солдата.

Змея подколодезная

Роза вновь предъявляет на меня свои права. Вернись она домой десятью минутами позже, меня украли бы в очередной раз.

Мы едем за город. Идем к колодцу. Внутри никто ничего не бормочет — мертвая тишина. Роза освещает дно фонариком — на тот случай, если Табата затаилась и хранит гордое молчание. В колодце пусто.

Пленница исчезла. Роза теряется в догадках.

Она беспокоится за Табату и, естественно, не может не думать о последствиях ее таинственного исчезновения. Никки бы такой поворот событий показался вполне забавным. Никки — но не Розе. Мы возвращаемся домой.

Опустившись в новое кресло, Роза разворачивает газету и просматривает статью о двух специалистах в области СПИДа, которые, приехав на международный конгресс по СПИДу, провели вместе ночь, после чего подали друг на друга в суд за заражение СПИДом.

Появляется Никки:

— У тебя невеселый вид.

— Было много работы на аукционе. Настроение такое, что даже по магазинам пошляться не хочется.

— Плохой знак.

Табата не выходит у Розы из головы. Она принимает решение. Встает. Прогноз: сейчас отправится на ее поиски.

— Если позвонят, скажи, что меня некоторое время не будет дома.

Роза уходит. Никки провожает ее участливой улыбкой.

А как же я? Опять умыкнут. У-ник-нут.

Бессловесный и Невозмутимый

Никки идет к себе в комнату — уложить вещи. Передумывает: идет в ванную и принимает душ — напоследок.

Они входят бесшумно — точно соткались из воздуха; дверной замок ими, как видно, изучен заблаговременно. Терпеливо ждали, пока Роза уйдет.

Одежда в глаза не бросается: дешевые, популярные в народе джинсы, дешевые, популярные в народе майки, дешевые, популярные в народе бейсбольные кепки — все такое просторное, что, как они сложены, и не скажешь. Внешность, словом, самая незапоминающаяся — что они есть, что их нет. Вязаные шлемы они, по всей видимости, напялили уже в дверях — чтобы ничем не отличаться от дешевых заказных убийц. Перчатки. Бритые затылки. Зомби.

Киллеры под номером сорок один. Такие возвращаются после убийства домой и с аппетитом ужинают. Самое смешное, что в вязаных шлемах или без них они везде одинаковы. Никакой суеты, с трудом сдерживают зевоту. Рутина. Хлеб насущный.

Никки — в ванной, слушает музыку. У Бессловесного (в моей коллекции номер сто шестьдесят пять) в руке сумка; раскрывает ее. Невозмутимый (номер девяносто пять) достает оттуда небольшой пистолет с глушителем и, предварительно убедившись, что в квартире никого нет, задергивает на окнах занавески.

Бессловесный извлекает из сумки видеокамеру и миниатюрную цепную пилу. Переглядываются — пора начинать.

В квартиру неожиданно входит Роза — что-то забыла. Уж не меня ли?

В это же самое время из ванной выходит Никки, и все четверо сталкиваются в коридоре. Бессловесный и Невозмутимый делают женщинам знак лечь на пол.

— Ваза там, — информирует налетчиков Роза.

Полное отсутствие интереса.

— О боже! — вскрикивает Роза. — Вас подослала Табата, признавайтесь?

— К тебе это никакого отношения не имеет, — подает голос Никки.

Бессловесный делает ей знак, чтобы она разделась. Никки снимает лифчик. С еще большей готовностью, чем обычно. Но лифчика Бессловесному мало.

— Всё снять? — спрашивает она. Он кивает. Сказано — сделано.

— Вас прислал Самогонщик? — живо интересуется Никки. Никакой реакции.

— Фил? — Никакой реакции.

— Тогда, значит, братья Налом?

Бессловесный опускается на корточки и привязывает ей руки к ножке стола.

— Господи! — Никки вдруг прозревает: методом исключения она догадывается, кто подослал киллеров. Волноваться за свою жизнь у нее теперь есть все основания.

— Я заплачу вдвое больше, чем вам посулили...

Бессловесный как ни в чем не бывало разминает пальцы.

— Здесь у меня этих денег нет, но...

Бессловесный уже включил музыку и прогрел цепную пилу.

— Хотите, я немножко вас побалую?.. Сначала развлечемся, а уж потом за дело, — предлагает Никки. Ее голос — не верю своим ушам! — дрожит от страха. Невозмутимый устанавливает видеокамеру и жестом дает понять Бессловесному, что с камерой что-то не то. Бессловесный, несмотря на вязаный шлем и природную немоту, не скрывает своего гнева.

В этот момент, словно выполняя прыжок в длину, в коридор врывается входная дверь. Бессловесный и Невозмутимый обмениваются выразительными взглядами.

— Это уж слишком, — цедит Бессловесный, чувствуя, что он живет в мире, где профессионализм осмеиваем и наказуем. Перед ними с белыми крылышками за плечами стоит Туша. Вид ничуть не менее внушительный, чем обычно.

— Всего наилучшего, джентльмены, — говорит Туша таким невозмутимым голосом, что кажется, будто она свихнулась окончательно. Бессловесный пятится назад. В руке у него пистолет, но вместо того, чтобы пустить его в ход, он почему-то медлит. Ни с того ни с сего стреляет Туше в ногу, рассчитывая, что она рухнет на пол и забьется в конвульсиях. Если бы Бессловесный прострелил ей колено, он, быть может, и добился бы желаемого, но пуля лишь царапнула по ее пышному бедру, оставив на стене малиновые брызги. В результате вместо того, чтобы пасть к его ногам, она хватает его за руку и вращает ее, точно пропеллер, не обращая ни малейшего внимания на жутковатый хруст.

Членовредительство налицо.

В следующий миг она обрушивает карающую длань на вязаный шлем. Лица как не бывало.

— Хочу, чтобы ты выучил одно слово, — говорит она, но Бессловесный становится по совместительству Безмозглым: пытаться увеличить его запас слов — занятие совершенно бесперспективное. — Только одно — «анальгезия».

В руках у Невозмутимого цепная пила. Компенсацию, и немалую, за физический ущерб пришлось бы выплачивать ему, ибо в поединке один на один цепная пила — оружие серьезное. Однако, то ли считая неспортивным применение цепной пилы в рукопашном бою, то ли желая пустить в ход приемы, за овладение которыми в спортклубе он выложил в свое время солидную сумму, Невозмутимый принимает решение нанести противнику удар ногой в лицо, который, придись он в цель, привел бы к летальному исходу. Недостаток такого приема заключается, пожалуй, лишь в том, что эффективен он только при стопроцентном попадании. Туше удается перехватить ногу противника в шести дюймах от своего лица. В уличной драке, как и на войне, вторых и третьих призов не бывает.

— Это тебе за несдержанность, — говорит Туша, выворачивая Невозмутимому ногу с такой страстью, что почти не слышно, как рвутся сухожилия и ломаются кости.

Прогноз: мощным коленом — в пах.

— А это — сам знаешь за что, — продолжает Туша, хватает Невозмутимого за яйца, отрывает от пола и пробивает его головой потолок. Такого пируэта даже я никогда не видела. Я аплодирую — насколько это в моих силах. Туша отходит в сторону, тело Невозмутимого падает к ее ногам, душа же устремляется в сторону прямо противоположную.

— Жаль, что видеокамера вышла из строя, — с деланным безразличием замечает Никки. — Между прочим, я привязана.

Туша развязывает веревку, а Роза тем временем пытается свыкнуться с мыслью, что в ее квартиру только что ворвались двое наемных убийц, чуть было не отправили ее на тот свет и уже успели получить по заслугам.

— Спасибо, — произносит Никки не совсем привычное для себя слово и одновременно натягивает юбку. — Как ты догадалась?

Туша улыбается. Улыбка эта наводит Никки на тревожные мысли. Ей начинает казаться, что Туша и в самом деле обладает сверхъестественной силой, однако дело тут не столько в сверхъестественной силе, сколько в подслушивающем устройстве, которое она подложила в принесенную назад вазу. Бессловесный тихо постанывает; Никки с остервенением бьет его ногой в живот.

— Я позвоню в полицию, — говорит Туша. — Полагаю, им доставит удовольствие поболтать с нашими друзьями.

— В полицию?! — Никки в ужасе. Никки в бешенстве. — Ты шутишь?

— У тебя есть другие соображения? — Туша — само терпение. Да, у Никки есть другие соображения, однако по здравом размышлении ей приходится от них отказаться. Она замолкает и в ожидании полиции развлекается тем, что время от времени бьет ногами своих жалобно стонущих обидчиков. Когда полиция приезжает, она, по обыкновению, застывает в подобострастной позе подмороженного цветка.

— Вам не больно? — спрашивает у Туши Роза.

— Нет.

Этого Роза постичь не в состоянии.

— Когда-то у меня на кухне поселилась мышь, — говорит она невпопад.

Чаепитие. Двадцатое

Обменявшись с представителями правопорядка мнениями о случившемся, они возвращаются. В их отсутствие меня — без малейшего энтузиазма — охраняют младшие чины Лондонской королевской полиции. Дверь вернули на место, уговорив ее не совершать больше необдуманных действий и выполнять свои привычные функции.

— Теперь если что моей квартире и грозит, так только поджог, — замечает Роза.

— Прости, — говорит Никки почти что искренне. — Я съеду, если хочешь.

— Не стоит. Зачем? Все, что могло произойти, уже произошло. На самом деле настроение у меня неплохое, ведь за последнее время на меня обрушилось больше несчастий, чем отпущено человеку на всю жизнь. Так что теперь, будем надеяться, меня ожидает бесконечная череда удач.

Из дырки в потолке, напоминающей по форме человеческую голову, льется музыка.

Чай заварен.

— И все-таки я не совсем понимаю, почему твоя приятельница Туша вместо того, чтобы уехать, сидела возле дома в машине, — замечает Роза.

— Если честно, я — тоже, — задумчиво говорит Никки. — Таких, как она, можно любить всем сердцем, но заставить уехать невозможно никакими силами.

— А кто такой Самогонщик? — любопытствует Роза. — Как ты назвала этих братьев? Налим?

— А кто такая Табата?

— Видишь ли...

— У Самогонщика... впрочем, не важно. Я-то знаю, кто их подослал. Это Лэл, брат одного моего клиента. Не помню, как его звали, — человек он был незапоминающийся. Зато клиент — первый сорт.

— А что, бывают клиенты второго сорта?

— Еще бы. Некоторые из них — полное дерьмо. Знаешь, сколько этих мазохистов я на своем веку перевидала... Думала по глупости, с ними хлопот меньше. Первым таким клиентом был здоровенный шотландец, болван, каких мало. Достает свой прибор и говорит: «Сделай мне больно». Больно — так больно; беру плетку и хвать ему по члену, не сильно, даже нежно, а он поворачивается и кулаком мне в морду. «Больно же, сука!» — кричит. Думала, он мне челюсть свернул. Поначалу кажется, что с мазохистами проблем не будет. Явится какой-нибудь коммивояжер из Азии, упадет на колени, будет ползать по полу, лизать тебе подошвы и молить: «Накажи меня, повелительница, я — ничтожество. Только захоти — отвезу тебя в Карачи, озолочу». Он тебе и комнату пропылесосит, и окна вымоет, и обувь начистит — дел-то в доме всегда хватает. Со временем я этих мазохистов и к соседям посылать стала: цветы в садике польют, в туалете пол вымоют, в магазин сходят. С соседями ведь, сама знаешь, хорошие отношения не вредно поддерживать. Потом

я иначе развлекаться стала: одного клиента заставляла бардак в доме устраивать, в тарелки испражняться и все прочее, а следующего — порядок наводить. Но мне и это надоело: вечно эти мазохисты за тобой ходят, только и ждут, что ты их либо кнутом огреешь, либо как-нибудь еще обидишь, спасу от них нет: в паб не сходишь, телевизор спокойно не посмотришь, да и проку от них, в общем-то, мало. Велела я как-то одному в ванной убраться, а он — ни в какую. Я его тогда так измочалила, что он мне полсотни накинул.

Но со временем ведь все приедается, вот и я всех несговорчивых отвадила, и тут мне пришла в голову мысль упечь моих мазохистов в тюрьму. Не в настоящую тюрягу, естественно, а в конуру — у нас с ними это тюрьмой называлось. Запрешь их в «тюрьме» — и делаешь что хочешь. И все счастливы: им ведь это даже выгодно — два дня в конуре обходились им дешево; лишнее я с них брала, только если они меня упросят пару раз в день к ним в конуру заглянуть и на них помочиться.

Так вот, брат Лэла был одним из лучших моих клиентов. Работал он клерком в электрической компании и зарабатывал, понятно, гроши, но зато сидел в бухгалтерии, а у меня за электричество за год не плачено было. Чего только со мной не делали: и свет грозились отключить, думали даже улицу вскопать, чтобы меня от сети отрезать, — а он взял и мой счет аннулировал. Я с ним — за скромную мзду — и насчет соседей договорилась: он и их счета аннулировал, и скоро вся улица, почти весь квартал, все местные фирмы и рестораны перестали за электричество платить. Меня весь наш район на руках носил, а мой клиент все выходные в «тюрьме» просиживал.

Сидит однажды мой Электрик в «тюрьме», а в соседней конуре — еще один живчик, из муниципалитета. Воскресенье, лето, жара; в «тюрьме» они с пятницы, ни еды, ни питья, одна ругань да вонь — самое время их на свободу выпустить. А я в тот день отличилась: квартиру убрала, гимнастикой позанималась, надо, думаю, чем-то себя развлечь — заслужила. И решила: пойду-ка навещу своего соседа, наркодельца.

Делец этот, надо сказать, — кретин каких мало. Даром что доктор Смак. Тот еще «смак»! Настоящее его имя было мне неизвестно, он его официально поменял, но могу поручиться — такие имена забываются в следующую секунду. Жил этот Смак в пяти минутах ходьбы от меня, а на улице тепло, солнышко — дай, думаю, до него догуляю, и домой. Прихожу, запасаюсь, как водится, товаром, собираюсь уже уходить, а Смак почему-то вдруг рассиропился, не отпускает, демонстрирует новые «препараты», предлагает водки выпить,.а заодно и кольнуться. Почему бы и нет, думаю. Вижу, Смаку страсть как пообщаться хочется — ему такое счастье не часто выпадает, да и мазохисты мои наверняка рады будут еще на полчасика в «тюрьме» задержаться. Выпиваю рюмку, колюсь. Нездешний кайф. Многое мне в жизни не удавалось, но с наркотиками — полный ажур. Чувствую: сегодня вколола я себе то что надо. Последнее, что я помню: Смак протягивает мне какую-то змею на тарелке, и вид у него при этом немного взволнованный. А потом — провал.

Если б Смак не был таким козлом, я бы решила, что он это все нарочно подстроил. Новое средство на мне испытывал. Что произошло потом, я восстановила уже гораздо позже. Отрубилась я — а вид такой, будто концы отдала. Смак, натурально, в штаны наложил, все свое зелье в туалет быстренько спустил и вызывает «скорую» — делать-то нечего. «Скорая», стало быть, в дороге, я — в отрубе, а Смак лихорадочно соображает, какую бы такую лапшу врачам на уши повесить. А поскольку дело происходит летом, на мне, сама понимаешь, надето не много. Вот Смак и думает: пока «скорая» приедет, надо бы ее по-быстрому трахнуть — не в том она состоянии, чтобы отказываться.

Брюки приспустил — и за работу, и тут — бывают же совпадения! — входит его подружка. А надо тебе сказать, что Смак собирал всякий хлам. Квартира у него — как лавка старьевщика, чего в ней только не было. И водолазный костюм, и чучело казуара...

— Казуара?!

— Да, чучело казуара. Казуар, он вроде страуса. Знаешь, зачем Смак это чучело приобрел? Затем, чтобы все подумали, что это страус, и спросили: «Откуда у тебя чучело страуса?» А он бы тогда ответил: «Нет-нет, это не страус, это казуар». Приобретал он весь этот хлам исключительно для выпендрежа — вот только на какие деньги, не знаю. На наркотиках он бы столько не заработал. И ни на чем другом тоже. Зуб даю. Но все эти заморские чучела обошлись ему недешево — это факт. Понимаешь, если б тебе такое

кто другой рассказал, ты подумала бы: «Интересно, я и не знала», когда же слышишь это от Смака, то думаешь: «Тоже мне, нашел чем хвастаться!» Коллекционировал он и средневековое оружие.

Так вот, хватает его подружка со стены лук и выпускает стрелу прямо Смаку в голую задницу, после чего бьет его для верности по голове счетами. Нокаут. То ли по дурости, то ли потому, что на столе недопитая бутылка водки стоит, подружка решает, что я либо пьяна, либо просто люблю поспать без трусов у Смака на паркете. Лезет она ко мне в сумку, находит там наркотик, колется — и через несколько секунд валится на Смака и тоже отрубается.

Тут появляются еще два наркодельца. Смаку они дают промышлять этим бизнесом только потому, что, во-первых, любят время от времени хорошенько его взгреть и, во-вторых, регулярно собирают с него дань. Что произошло дальше, мне до сих пор не вполне понятно. Дельцы, как видно, между собой повздорили — то ли из-за того, что в тайнике не оказалось наркотиков, то ли потому, что не смогли поделить обнаруженные в кармане у Смака деньги, то ли потому, что поспорили, кто меня первым трахнет. Повздорили и подрались — наверно, все-таки из-за наркотиков, и один огрел другого — нет, ты только представь! — замороженной игуаной, которую Смак в морозилке держал, так как воображал себя таксидермистом. Чучела эти валялись у него повсюду и выглядели так, словно побывали в серьезной аварии, поскольку таксидермист из Смака получился ничуть не лучше, чем наркоделец. По-видимому, удар игуаной достиг цели — во всяком случае, вся квартира была залита кровью. А ведь бедняге пришлось еще и от гепарда отбиваться; гепард, правда, под кайфом был.

— Гепард под кайфом?!

— Ну да, гепард под кайфом. Сама-то я его не видела — Смак гепарда в другой комнате взаперти держал, он ведь в муниципальной квартире на двенадцатом этаже жил. А завел он этого гепарда все по той же причине — чтобы любой ценой внимание к своей особе привлечь. Иногда Смак сажал его на иглу — чтобы можно было спуститься в паб и сказать: «У моего гепарда ужасная привычка, знаете ли!» В потасовке гепард участия не принимал, пока не обнаружил вдруг, что кто-то наматывает его хвост на руку и вращает его над головой.

Тут входит врач «скорой помощи». Входит, поскальзывается на залитом кровью полу, падает, ударяется головой о дверной косяк и вырубается. Не успевает войти второй врач, как второй наркоделец наносит ему страшный удар замороженной игуаной — врача он принял за еще одного переодетого наркодельца, который пришел взять со Смака мзду; принял потому, что Смак, которого несколько раз довольно сильно избивали, пришел в себя и бросился к двери. А может, он просто решил дёру дать; ему так не терпелось поскорей покинуть помещение, что он пулей вылетел за дверь и, перебегая через дорогу, угодил под автобус.

Очнулась я только через два дня, в больнице. Смотрю, передо мной медсестра, а за ней целый выводок фараонов. Сестра вручает мне приз. «Это, — говорит, — вам от сотрудников больницы. Присуждается приз каждый год самому нестандартному пациенту». Обычно награды у них удостаивался тот, кому в задний проход выдра залезет или у кого член в пылесос засосет, но, хотя сейчас еще только август был, да и с передозировкой к ним попадали многие, они сочли, что награда досталась мне по праву — уж больно им мой рассказ понравился.

И тут до меня вдруг дошло, что отсутствовала-то я целых два дня. Два самых жарких дня в году, как потом выяснилось. Вспоминаю про «тюрьму», бегу из больницы и кое-как добираюсь до дому. Смотрю: одна из «тюрем» перекочевала за это время из одного конца комнаты в другой — это Электрик пытался наружу выбраться. Бедолага отдал концы, и теперь ему предстояло уже у небесной повелительницы в ногах валяться. Что же до сотрудника муниципалитета, то этот привык без дела лежать, а потому еще дышал, хоть и находился в коматозном состоянии.

— Повезло ему.

— Ага. А может, он остался жив потому, что перед уходом к Смаку я ему выпить дала. «Ну и жарища!» — только и успел пролепетать он, прежде чем я умчалась в аэропорт. Естественно, я чувствовала себя виноватой, но, с другой стороны, кто не рискует,

тот не пьет шампанское, верно? Мне всегда хотелось в Америку, и все бы обошлось, если б не брат моего Электрика, Лэл этот, — чувство юмора у него напрочь отсутствует. Стоило как-то раз двум-трем семилетним сосункам напасть на улице на Электрика, как Лэл начал в отместку все подряд полицейские машины вскрывать. Близких отношений у него с братом, насколько я знаю, не было, но ему не хотелось, чтобы ребята в пабе шептались у него за спиной: «Слыхал, братан-то его в коробке из-под торта богу душу отдал?»

— Ты еще какое-то имя упомянула. Самогонщик, кажется?

— Лучше не спрашивай. Это уже в Америке было. Не будем о грустном.

— Тебе надо книгу написать.

— Кто ж мне поверит?

Чаепитие. Двадцать девятое

Звонок в дверь. Никки отсутствует — качается на трапеции. Роза дома, в делах. Это Табата. Привыкнув за последнее время к самым большим неожиданностям, Роза впускает Табату с таким видом, будто ждет ее уже очень давно.

— Странно, что вы сразу же не позвонили в полицию, — говорит Роза.

— Собиралась. Что с вашей дверью? С молоком, без сахара. Спасибо.

— Как же вы выбрались из колодца?

— Пыталась вылезти, прижимаясь к стенкам спиной, упираясь ногами и подтягиваясь на локтях, но из-за слабого пресса у меня сначала ничего не выходило, однако я не пала духом и дело постепенно пошло на лад.

— С каждым днем у вас получалось все лучше и лучше?

— Я бы этого не сказала. Больше всего от этой гимнастики пострадало мое платье. В конце концов я все же выбралась наружу, и, если б в коттедже был телефон, я, наверное, действительно прибегла бы к помощи парней в голубой форме, однако пока я добиралась до телефона-автомата, я немного успокоилась. Во-первых, я поняла, что, сидя в колодце, я сильно похудела; кроме того, мне пришло в голову, что у вас и в самом деле имелись некоторые основания меня изолировать: какой смысл в моей профессии, если я не могу оказать реальную помощь? В конечном счете вы же не виноваты, что вам захотелось меня украсть.

В ушах у Табаты агатовые серьги, они напоминают ворчливого старичка, который брюзжит, что надо бы сменить вывеску на его пивной, где пиво отвратительное, разбавленное и где все хозяина ненавидят. Табата ничего этого не знает; такое не может прийти ей в голову.

— Вас никто не искал?

— Нет. Даже обидно. Собираешься на семинар, а попадаешь на две недели на дно колодца. Возвращаешься домой — и обнаруживаешь лишь пару квитанций да несколько сообщений на автоответчике: звонившие вежливо интересуются последним номером журнала. Даже комнатные цветы вполне сносно перенесли мое отсутствие. Все сочли, что я либо уехала по делам, либо устроила себе незапланированный отпуск.

— Я законченная неудачница, — признается Роза.

— На законченную вы не тянете. Послушайте, я хочу пригласить вас на вечеринку. Мы вас пристроим. Несправедливо, что такая хорошенькая молодая женщина, как вы, и не пристроена. — Табата берет со стола банку маринованной свеклы и пытается отвернуть крышку.

— «Пристроиться», как вы выражаетесь, я могу и сама — за пять минут. Для этого достаточно выйти на улицу и остановить первого встречного самца. Вот только самец мне не нужен. Хотелось бы, чтобы это было существо на двух ногах, а не на четырех.

— Вечеринка — это именно то, что надо. Мужчинам мы скажем, что будет очень много женщин, мы пригласим как можно больше незнакомых людей. Чем больше, тем лучше.

— И почему я так устроена? — недоумевает Роза. — Почему я не могу быть просто шлюхой?

Они выпивают по второй чашке чая.

— Доверьтесь мне, — заверяет Розу Табата. — Зачем жить на этом свете, если мы

не в состоянии помочь друг другу? — Она доедает ореховый торт, и Роза провожает ее до двери. Снаружи обильно мочится какой-то тип в бейсбольной кепке. Он застегивает штаны, передергивается и вынимает нож. Ограбление.

— Я вполне вас понимаю, — говорит Табата. — Но я не могу отдать вам деньги, потому что вы сделаетесь преступником и это будет на моей совести.

Кепка выхватывает у Табаты из рук сумку.

— Предупреждаю вас, — говорит Табата, — у меня прекрасная память. Если вы немедленно не вернете мне мою сумку, я опишу вас полиции во всех подробностях.

Кепка неторопливо уходит, рыгая и копаясь в сумке Табаты. На асфальт падают патрончики помады, тюбики с пудрой.

— И все это наших рук дело, — вздыхает Табата.

Зануда номер один

— Не понимаю, отчего люди хотят разбогатеть. Отчего сходят с ума из-за денег, остается для меня загадкой, — говорит Мариус, так нежно улыбаясь Розе, словно он все еще надеется, что она по-прежнему считает его своим добрым дядюшкой. — Детоубийцы. Детоубийцы. Им все помогают, их все жалеют. Этим подонкам хотят угодить тысячи людей, их слушают, за них переживают. Им сочувствуют. Но если вы богаты, если трудитесь людям во благо, если владеете компаниями, которые помогают людям улучшить свою жизнь, — вас ненавидят все. Ночи не спят — думают, как бы вас ограбить либо выкрасть из дома вас или членов вашей семьи. Если б вы знали, как утомительно ни на минуту не сводить глаз со своих денег!

— В таком случае дайте мне пару миллионов, Мариус, — говорит Роза, глядя на хозяина жизни так, будто он с ног до головы покрыт гнойными язвами.

— Я слишком хорошо к вам отношусь, чтобы осложнять вам жизнь, — говорит Мариус проникновеннейшим голосом все того же доброго дядюшки. — Деньги ведь — это сплошные хлопоты. Знаете ли вы, сколько банков, больших банков, в которых работают умные, образованные люди, банков, которые находятся в благополучных странах, где нет войн, разоряются каждый день? Еще вечером они были, а утром — пуф! — и нет. Рушатся банки — рушатся миллионы надежд. И ничего ведь не поделаешь! Я вынужден был даже несколько гор купить. С горой-то уж ничего случиться не может, а? Не украдут же ее, в самом деле?

— Отчего же, при определенной сноровке можно, наверно, и гору украсть. Каждый день — по камешку.

На какую-то долю секунды лик Мариуса омрачается.

— Вы вот шутите, — продолжает он, — но ведь даже горы могут осыпаться. Один эксперт скажет вам, что в горы вкладывать так же безопасно, как и в жилые дома. Другой — что именно эта гора внушает ему опасения, а третий глубокомысленно заметит: «Да, сейчас в эту гору вложить средства можно, но кто знает, сколько она простоит? За дополнительный гонорар могу провести еще одну экспертизу». Может, слыхали? Неделю назад в Индонезии гора рухнула. Кошмар! Доверять нельзя никому и ничему.

Пришел Мариус за мной.

Ему и невдомек, что я спрятана в шкафу. Роза сказала ему, что меня отдали аукционистке, а та, о чем Роза знает, отбыла на две недели в отпуск, и связи с ней, разумеется, нет. Что, кстати, Розу устраивает вдвойне, поскольку и аукционистка тоже мной интересовалась. Держать меня у себя Роза ни под каким предлогом больше не может.

Мариус говорит не переставая. Возможно, он ждет возвращения Никки, чтобы облизать ее с ног до головы. А может, он везде одинаково говорлив — лопочет без умолку, пока его не выставят за дверь. Розе следовало бы начать кашлять ему в лицо или же выпустить в него струю из его же огнетушителя. Его кривая ухмылка напоминает клавиши сброшенного в пропасть пианино.

— Все тебя ненавидят. И те, на кого ты подал в суд. И те, кто на тебя работает. И те, на кого ты не подал в суд. Ненавидят тебя даже те, кто еще не родился на свет Божий. Они еще не знают, что ты существуешь, а уже ненавидят тебя лютой ненавистью. Тебя возненавидят миллионы, сотни миллионов — ведь у бедных мало денег, зато очень много де-

тей. Нет, деньги — это тяжкий крест. Остается утешать себя тем, что мои страдания будут способствовать счастью будущих поколений.

Может, и в самом деле каждый получает именно то, чего заслуживает?

Боюсь, что Мариус всерьез замахнулся на звание «зануды номер один» всех времен и народов. Впрочем, соперники у него есть достойные.

На сегодняшний день я бы все же отдала свой голос беотийцу Агафону, жителю одной миролюбивой деревни, которая благодаря своему миролюбию была исключительно бедна, ибо всякий, живущий на расстоянии ста миль, пользуясь ее миролюбием, мог прийти и присвоить себе все, что ему только придет в голову и что он сможет унести. В конце концов, деревня, где жил Агафон, обеднела настолько, что число желающих поживиться за ее счет существенно уменьшилось. Будучи людьми на редкость миролюбивыми, жители деревни превозносили аскетизм, так как считали, что аскетизм укрепляет здоровье. Однако в пропаганде своей жизненной философии у них возникали определенные сложности, ибо, когда какой-нибудь житель деревни доходил до слов: «Мы верим в мир, потому что...», тот, кому предназначались эти слова, обыкновенно наносил ему удар в челюсть, после чего, дабы прекратить дальнейшие попытки продолжать проповедь, избивал его до потери сознания. Так вот, Агафон ходил по деревне и неустанно повторял фразы типа: «Что ж тогда хорошего в миролюбии?» В любом другом обществе его бы стерли с лица земли или посадили в мешок, насыпали бы туда камней — чтоб не скучно было, и утопили в море. Однако жители деревни были миролюбивы и свято верили в свободный обмен мнениями, к которому незамедлительно и приступили. «Да, и все-таки, что ж тогда хорошего в миролюбии? — настаивал на своем Агафон. — Отсыпьте мне в таком случае фасоли. Или дайте участок земли на вершине горы». Потом он говорил: «Или участок земли у подножия горы». А потом: «Или участок земли на полпути между вершиной горы и подножием». Когда же ему дали участок земли на полпути между вершиной горы и ее подножием, он спустя несколько недель говорил: «Зачем вы мне дали эту землю? Она ни на что не годна».

— Но ведь ты сам ее попросил.

— Не надо было меня слушать.

Жители деревни попытались было от него спрятаться. Не ложились спать всю ночь. Не ложился спать и Агафон. Попытались скрыться в доме на краю деревни. Агафон нашел их и там. Он не спал ни ночью, ни днем и ежеминутно приставал ко всем с самыми непотребными вопросами: «Ты знаешь, что у тебя на носу вскочил огромный прыщ? Что у тебя выпали все зубы?»

Жители деревни, известные своим миролюбием, слабо сопротивлялись:

— Мы провели собрание, Агафон, — сообщили ему они, — и проголосовали за то, что впредь ты не имеешь права задавать вопрос: «Что ж тогда хорошего в миролюбии?»

— Проголосовали, и что дальше?

— Решение было принято единогласно.

— Как же единогласно? Моя фасоль не голосовала.

— Фасоли не положено голосовать, Агафон.

— Почему, собственно?

— Ладно, предположим, фасоли разрешается голосовать. В таком случае наша фасоль проголосовала против твоей.

— Ничего подобного. Вы ее подговорили.

Кончилось тем, что как-то ночью снялась с места вся деревня. Жители скрылись в лесу, легли спать, а когда проснулись, Агафон был тут как тут. «Мне кажется, мы не голосовали, что переберемся на другое место», — заявил он.

Тогда миролюбцы стали распространять слухи о том, что в нескольких сотнях миль на берегу есть некая сказочная деревня, где всех, кого зовут Агафон, будут услаждать и развлекать самые прекрасные женщины на свете. Агафон даже глазом не моргнул. Тогда жители деревни, воспользовавшись тем, что Агафон, разморенный жарой, прилег вздремнуть, разошлись в разных направлениях и, несколько часов проплутав по лесу, встретились вновь. К месту встречи Агафон пришел одним из первых. «Мы, между прочим, за это не голосовали», — заметил он.

Миролюбцы непрерывно меняли место жительства, и наконец, спустя десятилетия невыносимых страданий и унижений, испытав самые невероятные лишения, заплатив за

свое миролюбие расквашенными носами, проломленными черепами, грыжей и кровавым поносом, залитые мочой, которой их обильно поливали местные жители, они решили, что им придется лишить Агафона жизни.

— Тем самым мы изменим нашим принципам, — сказал один из них.

— Нет, нет, нет. Тем самым мы лишь отступим от них на секунду-другую. Надо будет бросить жребий, кому из нас это сделать.

Лишили они Агафона жизни или нет, я так и не узнала, поскольку меня, яйцевидный кувшин, единственное к тому времени достояние миролюбцев, забрал проходивший мимо спартанец, который изо всех сил ударил несшего меня в левое ухо, что повергло того в величайшее уныние, ибо он, страдая мучительной зубной болью, рассчитывал, что удар будет нанесен в челюсть.

— За деньги, — говорит Мариус, — нельзя купить то, что действительно хочется. Когда я был ребенком, у меня не было ничего. Тогда я этого не понимал. Почему-то считается, что иметь значит приобретать. Да, у меня было ощущение, что мы недоедаем и мерзнем, но только теперь, вспоминая нашу холодную, темную комнату, я понимаю, каково нам было. Сколько сейчас ни ешь, за голодные годы все равно не наешься. Былого не вернешь. Ребенком я голодал, потому что у нас ничего не было, а сейчас, в старости, я вынужден голодать, потому что у меня есть все и я растолстел.

Мариус на диете — обхохочешься. Вместо пяти десертов ограничивается четырьмя. Сплошное лицемерие. Бывает, и от золотого слитка пахнет экскрементами — точно так же, как можно уронить золотую пылинку на кучу дерьма. От природы не уйдешь.

Мариус нервничает: он боится, что его люди могут выкрасть у него особняк и скрыться.

— За кирпичи можно ведь получить много денег, уверяю вас.

Роза приходит ко мне.

Кладет на меня руки, и я рассказываю ей, что делает любо-о-овь с предметом любви-и-и-и.

Любовь на расстоянии

Он любил игристое белое вино — но не шампанское. «Каждый раз, когда пьешь шампанское, даешь деньги французу», — говорил он.

Еще он любил, чтобы вино ему наливали молодые женщины — вовсе не обязательно стройные, или грудастые, или высокие, или блондинки. Он был неприхотлив. «И тебе не стыдно?» — спросили однажды его. «Жизнь коротка. Моя в том числе», — отвечал он.

У него была записная книжка с адресами всех женщин, с которыми он переспал (по понятиям сексуальных гигантов, их было не так уж и много), а также с адресами и с описанием многих женщин, с которыми он не спал, но за которыми ухаживал. Он посылал им поздравительные открытки на день рождения и на годовщину знакомства, а также скромные, но трогательные подарки, отвечавшие вкусам каждой в отдельности: тщательно подобранные серьги, роскошные наборы шоколадных конфет, редкие духи. Он очень любил делать покупки и часто приобретал подарок заранее, за полгода до дня рождения своей подруги, чтобы с его подарком не мог сравниться никакой другой.

Мысль о том, что он о ком-то забудет или кем-то будет забыт, была для него совершенно непереносима. «Нам необходима военная дисциплина, — говорил он. — Мы ведем войну против забвения. Всякий раз, когда кто-то нас забывает, умирает частичка нашего бытия».

Его любовь к женщинам была поистине безграничной; ничто не огорчало его больше, чем письмо, которое возвращалось к нему нераспечатанным оттого, что либо его подруга переехала, либо он ей наскучил. Он дарил женщинам цветы, он срывал с них одежды, он помечал в записной книжке дни их рождения, их любимый цвет и любимую музыку. Ложась с ними в постель, он говорил: «Нет тебя прекраснее», и с его стороны это не было славословием.

И, несмотря на все это, разводился он трижды. Когда жена подымалась к нему в комнату и говорила: «Ты загубил мою жизнь!», он приходил в неописуемую ярость.

После третьего развода он решил, что больше не свяжет свою жизнь ни с кем — и не потому, что пожалел себя, а потому, что не мог свыкнуться с мыслью, что женщина с

ним несчастна. Была у него и еще одна слабость — глиняная посуда. У него имелись великолепные сферические арибаллосы с умопомрачительными рельефными изображениями и ваза с головой Горгоны, черепки которой числом двести тридцать шесть были найдены по чистой случайности.

Однажды поздно вечером, выглянув из окна во мрак ночи, столь же непроницаемый, как и мрак в его душе, он обнаружил вдали освещенное окно. А поскольку к чужой жизни он всегда относился с нескрываемым любопытством, он вооружился подзорной трубой, которую вместе с другими вещами оставил ему на хранение один его старинный приятель.

В подзорную трубу он увидел лестницу, ведущую наверх в комнаты, одна из которых, судя по всему, была спальней, а другая — ванной. Он сидел в темноте, без всякого интереса взирал на эту лестницу и раздумывал над тем, можно ли понять, как устроена жизнь других людей, если незаметно наблюдать за ней со стороны. А вдруг тут скрывается некая тайна?

По ступенькам скользнула и скрылась в левой комнате какая-то тень. «Похоже, это женщина», — сказал он себе и просидел у окна еще с полчаса, которые показались ему одним мгновением. Женщина вошла в ванную. Он увидел, как за матовым стеклом зажегся свет. Вероятность того, что она, может статься, в эти секунды раздевается, повергла его в трепет.

Долгое время (а точнее, полтора часа) он просидел не двигаясь и был наконец вознагражден: женщина передвигалась из комнаты в комнату, сколько он мог разобрать, в одном белье. Разумеется, ему ничего не стоило насладиться куда более откровенным зрелищем куда более обнаженных, куда более привлекательных женщин. Однако именно эта женщина вызвала во всем его теле непередаваемую дрожь.

«Докатился», — заметил он сам себе.

С этих пор он занимал свой пост у окна каждый день поздно вечером, дабы стать свидетелем ее омовений. При свете дня видны были лишь опущенные занавески, зато ночной мрак дарил ему свет. Он фиксировал все — ее белье, его цвет, фасон. Время, проведенное в ванной. Время, когда выключался свет в спальне. Его многократно усиленный подзорной трубой глаз разглядывал, покуда не появлялся предмет его желаний, складки на обоях, трещины на лестничных перилах, ворс на ковре. Он чувствовал, как сам превращается в лестницу, в ковер под ее ногами.

И вот настал великий день, когда она, обнаженная, застыла на какое-то мгновение на верхней ступеньке, а затем стала спускаться вниз, и мгновение это заняло в его памяти больше места, чем целые годы жизни. Он был повержен. В возрасте сорока двух лет он вдруг обрел силу и фантазию влюбленного юноши.

Ему было немного стыдно от того, что он делал, но ведь он вторгался в ее жизнь не больше, чем дневной свет; подзорная труба лишь укрупняла картину, доступную каждому обладавшему хорошим зрением. И тратил он на это массу времени. Он раздражался, когда она поздно возвращалась домой, огорчался, когда уезжала отдыхать, недоумевал, к чему она столько времени проводит в ванной.

«Никто внакладе не останется», — говорил он, понимая, что удовольствие, которое он получает, никак не может ей повредить, сказаться на ее жизни.

Дневное время и дневной свет мало что для него значили — только с наступлением темноты в его жилах начинала пульсировать кровь. Ему хотелось извлечь ее из ванной, насладиться сполна ее наготой. Но вот как-то раз в его почтовый ящик по ошибке опустили чужое письмо; изучив имя и адрес на конверте, он подумал, что адресатом вполне могла быть она. Он обошел весь квартал и отыскал нужный дом — дом и в самом деле принадлежал ей. В эту самую минуту она как раз вышла на улицу, и ему представилась отличная возможность с ней познакомиться — в конце концов, исправив ошибку, он любезно принес письмо по нужному адресу. Однако он счел, что подзорная труба лучше личного знакомства, и, дождавшись, пока она уйдет, бросил письмо в ящик.

И все же он незамедлительно бросился в ближайшую телефонную будку и отыскал в справочнике ее имя и номер телефона. Ему пришло в голову, что, если телефон у нее на первом этаже, он мог бы ей позвонить, когда она находится в ванной, и тогда она, решив, что звонят по срочному делу (как это нередко бывает поздно вечером), сбежала бы вниз нагишом.

Мысль эта не давала ему покоя. Он набрал ее номер, чтобы удостовериться, что телефон работает. Он так волновался, что вынужден был пролежать в постели весь день и занял место у окна на несколько часов раньше времени. Уперев локти в стол, он терпеливо дождался, пока она пойдет в ванную, отсчитал несколько минут, дав ей время пустить воду, поглядеться в зеркало, расчесать волосы, смыть косметику, побрить подмышки, выдавить несколько угрей, сбросить с себя одежду, после чего набрал номер и услышал в трубке длинный гудок.

Она спустилась вниз без блузки, зато в новом лифчике. Он чуть с ума не сошел. Мысль о том, что теперь она в его власти, совершенно вывела его из равновесия. Зрелище этой эфемерной наготы было для него не менее ценным эротическим опытом, чем самые пылкие и длительные любовные связи.

Надо сказать, что к телефонным звонкам он прибегал довольно редко. Во-первых, он боялся, как бы она, что-то заподозрив, не переменила номер телефона, а во-вторых, когда она подолгу себя не обнаруживала или же ничего стоящего не демонстрировала, одного только вида нежданно возникшей голой ножки ему было более чем достаточно. Не зря же говорят: если хочешь чего-то добиться, наберись терпения.

Он лелеял любую, самую незначительную мелочь в ее жизни. Ему были ненавистны поздние звонки ее ухажеров — таковые, правда, случались не часто. Он посылал ей шелковые шейные платки и прочие подарки и любил смотреть, как она надевает их и снимает. Он поймал себя на том, что часто насвистывает что-то веселое, а его друзья подмечали, что последнее время он находится в отличном расположении духа.

И вот однажды вечером, набрав заветный номер, он увидел, как она стремглав вылетела из ванной в серьгах, которые он сам же послал ей и которые свидетельствовали о том, что она собирается в компанию, где решительно никого не знает. Он видел, как она устремилась вниз по лестнице, упала и осталась лежать. Она сломала себе шею.

Опять Морковка

— Ты не поверишь! — говорит Морковка. — Сижу в поезде, читаю мемуары о первой мировой войне, и тут эти два идиота начинают драться. Хватают друг друга за грудки и у меня над головой кулаками машут. И что ты думаешь: оба одновременно теряют сознание и, обливаясь кровью, падают на меня. Я — под ними, книжка, которую я читала, — в крови. Из-за того, что я не смогла из-под них выбраться, я даже свою станцию проехала... Ну-ка, признавайся, что там у тебя? — С этими словами она вынимает из сумки консервный нож и набрасывается на банку маринованной свеклы.

— И не спрашивай, — говорит Роза.

— Жду не дождусь того дня, когда мужчин заменит сперма в пробирках. Ни тебе войн, ни тебе преступности. Слушай, почему на улице висит объявление о продаже квартиры? Ты что, переезжаешь?

— Нет, это кто-то сверху. А может, это дело рук подонков, которые по всему городу расклеивают объявления о продаже квартир, чтобы все подумали, что цены падают. На что ты собираешься жаловаться на этот раз?

— С чего ты взяла, что я пришла жаловаться? — вспыхивает Морковка, бросает банку со свеклой и переключается на миску, доверху наполненную салатом из сырой капусты.

— С того, что каждый раз, когда ты меня посещаешь, ты еще в дверях начинаешь жаловаться на жизнь. Бывает, правда, что для разнообразия ты приходишь, чтобы поесть или что-то попросить.

— Ничего подобного, — с обидой в голосе говорит Морковка. — Давай-ка лучше поговорим о тебе, Роза. Как живешь?

— Отлично — если не считать того, что на днях приходил наемный убийца, который ужасно наследил.

— Знаешь, что он сказал мне вчера вечером?

— Пока нет.

— Он сказал: «Угадай, почему я люблю, когда ты мне сосешь. Потому что в это время ты молчишь».

— Ого.

— Согласись, разве можно говорить такое?

— Нельзя. Скажи, Морковка, это тот, с кем ты познакомилась в Кью?

— Он самый.

— Не он ли сказал тебе при знакомстве: «Держись от меня подальше. Я — полный подонок».

— Он.

— Итак, ты знакомишься с человеком, который, по твоим же собственным словам, не хорош собой, сам называет себя подонком, да еще хвастается, что две его подружки свели счеты с жизнью. А теперь — поправь меня, если я ошибаюсь, — ты сидишь и жалуешься, что он был с тобой груб.

— Нет, ты мне лучше скажи, почему все мужчины одинаковы. Вечно они куда-то торопятся. Взять хотя бы этого. Придет, кончит — и убегает. Опять придет, опять кончит — и нет его. Мы с ним больше никуда вместе не ходим.

— Позволь, Морковка, я дам тебе десятку.

— С какой стати?

— Ты можешь мне ее не отдавать, пока в очередной раз не скажешь, что беременна, что предпочитаешь засовывать его себе в рот поглубже, чтобы, когда глотаешь, не чувствовать вкуса, и что мужчины с каждым днем становятся все хуже и хуже.

— Не злись. У кого искать сочувствия, если не у друзей?

— На мое сочувствие можешь рассчитывать в любое время дня и ночи. — Роза обнимает Морковку за плечи. — Но не выпрашивай, чтобы тебя пожалели, — такое сочувствие не помогает.

Тут Морковка замечает картофельный салат.

— Больше всего меня угнетает, что он крутит с кем-то с факультета.

— С исторического, как и ты?

— В том-то и дело, да еще похожа на меня — такие же короткие темные волосы. «И что ты в ней такого нашел? Чем я хуже?» — спрашиваю. «Вообще-то вы похожи, — отвечает. — Это мне в ней и нравится. Но она моложе, и у нее сиськи до полу — не то что у тебя». Откровенно по крайней мере... Как же я тебе завидую, Роза! Нет, правда. У тебя ведь всех этих проблем нет. Хорошо быть одинокой.

— Хочешь, я тебе что-нибудь приготовлю поесть?

— Нет, спасибо, — говорит Морковка, не сводя глаз с пюре. — А хлеб у тебя есть?

— Да, вон он. Нет, что ни говори, а хочется, чтобы жизнь пошла по-другому. Сначала тебя чуть было не убивают, потом ты сама пытаешься — да еще неудачно — похитить человека, и после всего этого приходится вдобавок пол мыть. Ужасно скучно убирать собственную квартиру. Надо бы придумать такую систему, чтобы убирать не у себя, а у соседей, — тогда, по крайней мере, увидишь чужие фотографии и картинки на стене, другие обои и занавески, будет непривычный вид из окна, другие подоконники, двери...

Роза права. Мировую историю можно постичь, выяснив, кто, где и когда вытирал пыль. Сельское хозяйство, медицина, военное дело изменились до неузнаваемости, а вот замены ветхой домработнице, штопающей ветхую сорочку, не предвидится. Туризм, разумеется, тоже не претерпел существенных изменений. Хочешь увидеть мир — вступай в банду мародеров.

— Ты пыталась похитить человека? — интересуется Морковка, доедая пюре.

— Шутка.

— Партнер он, в общем, неплохой, но не первый класс.

— Я тебя, по-моему, об этом не спрашивала.

— Ну и что? Не затыкай мне рот.

— А ты что от него ждала? Он ведь все-таки не полный подонок, как бы он ни хотел им казаться, иначе б он тебя не предупредил, верно? Он относится к категории незаконченных подонков.

— И кто же у нас незаконченный подонок? — вступает в разговор вернувшаяся Никки.

— Очередной дружок Морковки. Но у него есть все шансы стать законченным.

— Мне ли не знать законченных подонков, — обращается к Морковке Никки, не дожидаясь, пока Роза их познакомит. — В четыре минуты укладываются. В постели, я

имею в виду. Цветочками и болтовней женщин не охмуряют. Я как-то с одним таким имела дело — как сейчас помню, в пятницу вечером, в чужой квартире, на другом конце Лондона, в Хорнчерче. В двадцать два тридцать пришли — в двадцать три ноль ноль разошлись. Ничего, кроме траха. Он, помнится, сказал жене, что пошел кружку пива выпить. Только это и умеет — но умеет неплохо, ничего не скажешь. Нет, что ни говори, а законченный подонок лучше всех недоделанных, вместе взятых. Особенно — по второму разу.

— По второму разу? — Морковка недоумевает.

— Ну да, по второму. Если, конечно, на первый все получилось. По второму разу и к партнеру притираешься, и новизну еще чувствуешь. Самое оно. А дальше, как правило, по убывающей идет.

— Может быть. Вино хорошее? — любопытствует Морковка, инспектируя холодильник. Отдает вину должное.

— И почему так трудно найти мужчину? — вздыхает Морковка. — Пока хорошего партнера отыщешь, забудешь, как это делается.

— А может, так было всегда? — делает предположение Роза. — Может быть, еще первобытные женщины жаловались друг другу: мужчин днем с огнем не сыскать, найти такого, чтоб нравился, так же сложно, как избавиться от того, кто не нравится. Жизнь, может, в том и состоит, чтобы мечтам, с которыми мы все родились, не давать ходу. Может, наши мечты — это та оболочка, которая предохраняет нас от жизни, от ее грубых лап, помогает нам дотянуть до конца. Помню, как-то вечером мама мыла посуду, повернулась ко мне и говорит: «Главное, на удочку не попадайся». Если б мы знали, что нам предстоит, никто бы не покинул материнской утробы по собственной воле. Всех бы кесарить пришлось.

— А что, если бывший возлюбленный возьмет и зарежет? — замечает, в ответ на свои мысли о будущем, Морковка.

— Да, в наши дни такое творится... — вносит свою лепту в разговор Никки. — Я с этим бразильским транссексуалом еще до его операции трахалась. Ни слова не понимала из того, что он лопотал. Или она? У него и сиськи были, и член — небольшой, правда, — его ему потом и вовсе лечением вывели. Вообще-то он хотел, чтобы его культурист трахнул — но тут я подвернулась, по ящику в тот вечер ничего не было, нацепила я искусственный член и вдула ему в задницу по полной программе. Я-то, если честно, ничего особенного не почувствовала, зато он визжал как резаный, бубнил что-то непонятное, я сначала думала, это он по-бразильски, а потом сообразила, что он мое тогдашнее имя выкрикивает. Чего только в жизни не бывает!

— Могу себе представить, — говорит Роза. — Между прочим, Туша так до сих пор в машине под окнами и сидит. Ну как, на работу устроилась?

Они пьют вино допоздна. Позвали и Тушу — молча сидит посреди комнаты: туша тушей. Никки интересуется, откуда у Морковки такое имя. Оказывается, Морковка купила другу на свою годовую стипендию машину, а потом вынуждена была целый год по овощным рынкам побираться.

— А что же друг?

— Сел в машину и укатил — только его и видели.

Послушать историю на сон грядущий Роза приходит лишь в четверть четвертого. Я и на этот раз рассказываю ей о превратностях любви...

Трубный глас

Его постоянно видели в компании его любимой свиньи, которую он называл Свиньей. Еще у него была собака по имени Собака, а у его жены кошка — Кошка.

Однажды утром он проснулся и понял, что должен избавиться от своей благоверной во что бы то ни стало. Он решил, что несчастный случай вполне его устраивает, и часто — как правило, в плохую погоду — отправлял жену к сестре, которая жила на другом берегу реки. Паром, тонувший довольно часто, ни разу не утонул, когда на нем плыла жена. Тогда он стал посылать жену к брату, который жил в другом конце графства, но в лапы разбойников она тоже почему-то не попадала.

Он подмешал жене в пищу яд, но сам же и слег, а она заботливо за ним ухаживала. Он отнес ее одежды умирающим от страшных болезней и заставил их эти одежды надеть, однако в результате заболел сам, она же заботливо за ним ходила.

Они совершали прогулки в горы.

— Посмотри, какой внизу прекрасный вид, — говорил он, подталкивая ее к краю пропасти.

— Не стой у самого края, — говорила его благоразумная жена.

— Нет, ты все-таки посмотри — вид совершенно сказочный, — сказал он как-то, заглянул вниз и свалился в ущелье. Ему повезло: он упал на площадку, находившуюся всего в двадцати футах от вершины скалы, и два часа, крича от боли, пролежал со сломанной ногой, пока удалось опустить ему веревку. Жена заботливо за ним ухаживала.

Он пошел к предводителю местной шайки разбойников, прихватив с собой все свои сбережения в золотых слитках.

— Завтра в это самое время по этой самой тропинке пройдет моя жена. Надеюсь, ты примешь от меня это подношение, устроишь засаду и обязательно жену изнасилуешь. Но этого мало — прошу тебя, лиши ее жизни: на ней будут умопомрачительные драгоценности.

— Любопытно, — отозвался разбойник, — но я хотел бы задать тебе один вопрос. Как ты думаешь, что мне помешает взять у тебя золото, посмеяться над тобой, привязать вон к тому дереву и сечь до тех пор, пока с тебя не сойдет вся кожа, а потом держать с друзьями пари, выживешь ты или нет?

— Ровным счетом ничего.

— Вот и я того же мнения.

Вся кожа с него все-таки не сошла, и каким-то чудом ему удалось доползти домой, после чего он несколько месяцев пролежал в постели, мучаясь от нестерпимой боли, на какую бы сторону он ни переворачивался. Жена заботливо за ним ухаживала.

Он ее напоил, уложил в постель и поджег дом. Дождавшись, когда пламя перекинется на второй этаж, он сделал вид, что только что вернулся после долгой прогулки, и поднял крик. Весь дом сгорел дотла — нетронутыми остались лишь кровать, жена — без единого опаленного волоса, ее сундук, доверху набитый самыми любимыми туалетами, и великолепный кувшин из огнестойкой глины. А вот его любимая свинья погибла. После пожара они переехали жить к сестре жены, которая всегда была о нем невысокого мнения.

Однажды он отправился к местному эскулапу и вручил ему солидный подарок, купленный на деньги, которые пришлось взять в долг.

— На что жалуетесь? — поинтересовался эскулап. — У вас нелады с почками, признавайтесь?

— Ни на что я не жалуюсь. Абсолютно ни на что. Просто чувствую, что вас здесь недостаточно ценят, и мне приятно находиться в вашем обществе. А теперь скажите, вы слышали историю о человеке, не помню его имени, который жил в этом городе, не помню точно где... но я слышал, он придумал оригинальный способ убийства жены. Придумал очень, очень хитро — никто ничего не заподозрил, не было обнаружено ни следов насилия, ни яда... очень, очень ловко придумано, но вот беда, никак не могу вспомнить, в чем этот способ состоял. Вы не припоминаете?

— Оригинальный способ, говорите? Да, мне кажется, я знаю, о каком убийстве идет речь. История эта в свое время наделала здесь много шума. Я тоже не помню, как его звали и где он жил, но жену он убил и впрямь оригинальным способом. Он приник ртом к нижним губам своей супруги и начал дуть ей во влагалище, как будто это была труба, фанфара; сжатый воздух вызвал так называемый эмболизм, в результате чего сердце у нее остановилось, как будто в порыве неистовой страсти.

— Он сыграл на ее губах какую-то конкретную мелодию?

— Мелодия никакого значения не имеет. Играй что хочешь, но не забудь: овладение музыкальным мастерством требует регулярных упражнений и терпения. Терпение и труд все перетрут. Да, кстати, у меня через месяц день рождения, а я, знаете ли, очень люблю гуся.

Он пошел в спальню к жене и впился ей между ног с невиданной страстью. Жена была несколько смущена, однако страсть не утихала всю следующую неделю, и каждый раз ей приходилось уговаривать мужа отвлечься и принять пищу. Все это время он с таким рвением играл на ее половых органах, что в конце месяца отдал богу душу.

— Не одна, так другой, — подытожил врач. — Жаль, что мне не достался гусь.

У-у-уф! Руки упали.

Но Роза по-прежнему смотрит на меня. Сон ее не берет — она поистине неутомима. Женщинам сколько ни дай — все мало; то ли дело мужчины... У меня ассортимент историй богатый, но каждый раз, когда Роза вслушивается, она все ближе и ближе к истине, и я начинаю подозревать, что ее любовь к прошлому становится своего рода запоем. Прошлое, будущее — все это туристические забавы; в отличие от них, настоящее — это бедный родственник Времени; за все несчастья в ответе оно одно.

Ее руки ложатся на меня. Вно-о-овь.

Яма

Она была помолвлена с самым крупным парнем в деревне. Он целыми днями избивал парней поменьше, а когда ему это надоедало, подучивал одних парней расправляться с другими: «Хук правой, апперкот левой, а теперь хватай его за яйца и посылай куда подальше, а не то сам приду — ему хуже будет».

Еще он любил во всех, самых красноречивых подробностях демонстрировать, что он сделает со своей невестой, когда они останутся наедине, — так что по поводу первой брачной ночи оснований для беспокойства у жителей деревни не было никаких. Он разгуливал по улицам, виляя бедрами, и звучно чмокал языком, демонстрируя похоть. Смотреть на его невесту не разрешалось никому. «Не хочу даже, чтобы кому-то пришло в голову подумать такое, — говорил он, мучительно соображая, правильно ли он построил фразу. — Не дай бог, если кому-то придет в голову даже подумать о том, чтобы подумать такое». Пустозвон был настолько глуп, что даже когда он говорил: «Полижи мне жопу», слова эти воспринимались собеседником совершенно буквально.

Его невеста была красива. А также благожелательна: она не могла поверить, что будущий ее жених так уж плох; она была слишком благожелательна, чтобы жаловаться на судьбу.

— Ты так красива, — говорил ей парень с членом невиданных размеров. Когда он родился, повивальная бабка заметила: «Этот не женится никогда. С таким, как у него, — не женятся». Все матери до одной уговаривали своих дочерей поиграть с ним — дочки же по молодости лет не могли понять почему.

— Все женщины красивы, но некоторые лишь на несколько минут, — продолжал Невиданный. — Это бывает ночью или когда никого нет поблизости. Тебе же повезло — ты будешь красивой всегда, в любое мгновение своей жизни.

Благожелательная улыбнулась — комплимент ей был сделан очень умелый. А еще она улыбнулась потому, что для такого комплимента нужно было обладать яйцами величиной с гири. Ее улыбка вовсе не являлась приглашением к действию, но была столь благожелательна, что воспринималась именно так.

— Я не могу смотреть на других девушек. А жаль — ведь многие из них очень хороши собой, и потом, это было бы гораздо безопаснее. Видишь пару старых лошадей, запряженных вместе, — и Невиданный показал на двух стоявших рядом тощих кляч. — Видишь, как у них выпирают кости. Они измучены, истощены, обе в шорах — однако друг к другу льнут. Жизнь у них удалась, потому что они неразлучны. Я хочу, чтобы и мы с тобой были такими же, как эти две клячи.

Свою любимую Невиданный мог бы сравнить с простым, но непревзойденным в своей простоте глиняным кувшином, который стоял поблизости. Он мог бы сравнить ее тело с безупречным совершенством его форм, но этого не сделал. Вот она, печальная судьба совершенства.

Благожелательная улыбнулась вновь, что явилось величайшим комплиментом, неслыханным в этих местах за последние сто лет. Тайный воздыхатель был очень мил. В качестве награды она хотела показать ему свои груди, но потом решила, что это было бы несколько преждевременно.

— Я думал принести тебе цветы, но это было бы слишком просто, — сказал Невиданный. (И всем заметно.) — Вместо этого я решил выкопать тебе самую глубокую яму на свете.

Она улыбнулась и спросила, что он имеет в виду, — в виду же он имел именно то, что сказал.

Началась война. Война с теми, кто языком и внешностью был похож на жителей этой деревни. Началась так внезапно, что не было времени торжественно отметить это событие. Пустозвон, будущий хозяин жизни, нацепил военные доспехи, виляя бедрами и недвусмысленно давая всем понять, на какие части тела Благожелательной он обратит по возвращении особое внимание.

А Невиданный между тем каждый день по часу копал засохший, невспаханный, не поддающийся орошению участок земли за деревней. Поначалу никто этого не замечал, но когда он опустился в яму по плечи, вокруг собрался народ.

— Что это ты делаешь? — спросили его.

— Клад ищу, — последовал ответ. Некоторые поверили ему и несколько дней копали с ним вместе — главным же образом для того, чтобы иметь возможность лихо сбрасывать свои куртки в присутствии деревенских девушек.

— А ты уверен, что здесь закопан клад?

— Уверен, — отвечал Невиданный. Вскоре все его покинули, и он продолжал копать свою яму один.

А война между тем продолжалась. Враждующие армии никак не могли встретиться. Они преследовали друг друга в горах, сбивались с пути, путали одну долину с другой, одну реку с другой, обгоняли друг друга, в кромешной тьме не замечали одна другую, атаковали и разбивали наголову другие армии, которые не имели к ним ровным счетом никакого отношения, попадали под снежные заносы и по-прежнему не замечали друг друга; прошел даже слух, что два генерала, возглавлявшие враждующие армии, не торопились вернуться домой, ибо дома их — при полном их попустительстве — пилили жены. Иногда вырезались целые деревни, но делалось это без особой жестокости; случалось даже, пытали до смерти пленных, но лишь когда те слишком много знали; совершались самые невероятные открытия, как, например, жонглирующие горностаи.

И вот наконец состоялось решающее сражение. Все сходились на том, что это было одно из лучших сражений, когда-либо имевших место, гораздо, гораздо лучше тех сражений, которые давали и которыми кичились их отцы, и гораздо лучше тех сражений, которые еще предстоит дать. За свою невиданную жестокость Пустозвон удостоился долгих, продолжительных аплодисментов во вражеском стане.

Возвращаясь домой поздно ночью, шагая по местам, которые он знал с колыбели, мечтая об утехах первой брачной ночи, поигрывая боевой наградой — позолоченным членом в ножнах (на которых было выбито: НА ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ?) — и по-прежнему страдая зубной болью, Пустозвон не заметил вырытой у него на пути двадцатифутовой ямы, рухнул в нее и сломал себе шею.

Жители деревни, конечно, расстроились, но не слишком, поскольку новой войны в ближайшее время не предвиделось. Большей ямы, чем та, которую вырыл Невиданный, никому еще лицезреть не приходилось. Невиданный между тем женился на Благожелательной, и свидетельством их семейного счастья стали громогласные женские крики, которые разносились ночью по деревне и вызывали одинаково бурный восторг у женатых и холостых.

Впрочем, счастье молодоженов было недолгим — однажды ночью на деревню пролился дождь из замороженных игуан и уничтожил все живое.

В яме образовалось небольшое озеро, и в округе еще долго говорили, что, если влюбленные выкупаются в этом озере вместе, они всю жизнь будут жить в счастье и в достатке.

Руки па-а-адают.

Роза засыпает, и ей снится озеро.

Что это такое?

Выспавшись, Роза выпрыгивает из постели, и мы присоединяемся к неким двубортным костюмам, которые с недвусмысленно серьезным видом столпились вокруг неких монет. Роза берет золотые монеты и трет их. Всего монет пятьдесят восемь. Она атрибу-

тирует монеты. Что будет дальше, я знаю заранее. Роза на минуту задумывается — и не потому, что есть над чем, а потому, что набивает себе цену.

— Лидийские?! Не смешите меня, — изрекает она, выдержав длинную паузу, от которой получает немалое удовольствие.

Самый старший двубортный костюм все это время с трудом сдерживает разочарование. У него самый большой нос из всех, что мне доводилось видеть за последние сто семьдесят два года, хотя, когда имеешь дело с носами, их следует, строго говоря, подразделять по весу и объему ноздрей. Каждый из присутствующих удивляется про себя, как это ему удается, с таким-то клювом, стоять с поднятой головой.

— Это вздор. Сущий вздор. Подобная оценка не выдерживает никакой критики.

Дедушка-костюм явно раздражен, но как бы низко ни оценивали собравшиеся уровень Розиной экспертной оценки, дух приобретения уже вылетел в открытое окно. Понемногу в комнате воцаряется сомнение. Роза открывает сумочку и вручает кипящему от негодования дедушке- костюму свою визитную карточку, на которой — для меня это не секрет — значится следующее:

Никакой рекламы.

Никакой суеты.

Оплата наличными.

Экспертиза обсуждению не подлежит.

— Это вам в качестве компенсации. Монеты изготовлены в течение последних двадцати лет, а возможно, и десяти. — Роза роняет слова с уверенностью человека, который знает: по крайней мере одну вещь она делает лучше, чем все остальные жители планеты, вместе взятые.

Костюм помоложе наливается краской и отсчитывает Розе десять двадцатифунтовых кредиток.

Мы возвращаемся домой. В дверях сталкиваемся с парой. Честные труженики, члены спортивного клуба. Выходя, они вежливо нам улыбаются — Никки не сочла нужным нас познакомить.

— Кто это? — интересуется Роза.

— Свидетели Иеговы.

— Что-то, я смотрю, они к тебе зачастили.

— Просто мне их жаль. Все их гонят, захлопывают у них перед носом дверь. Звонила Элен, говорит, что ей нужна ваза.

Приезжает шофер Мариуса с еще одной вазой. Горгонской.

Что-то будет? Так всегда: можно сотни лет прожить, никого не видя, а потом все собираемся в одном месте.

— Эту он уже купил, но хочет, чтобы вы на нее взглянули.

После этого шофер вручает Никки букет цветов:

— Хочу вас поблагодарить. Когда вы назвали его «куском засохшего кала», я нездешний кайф словил. Надеюсь, если еще с ним встретитесь, что-нибудь еще в том же духе отмочите.

Роза задумывается — взгляд устремлен в никуда. Хочет всё послать. Всё и всех. Наступает в жизни минута, когда хочется все бросить — либо потому, что того, чего раньше хотелось, больше не хочется, либо потому, что знаешь: зря стараешься, либо потому, что понимаешь: тебе это обойдется дороже, чем следовало бы, — и, несмотря на все это, ты продолжаешь добиваться своего, и не оттого, что у тебя сильная воля, а оттого, что слабая, оттого, что выхода нет.

Никки выходит в коридор и, встав на цыпочки, пытается вывернуть перегоревшую лампочку — не из альтруистических соображений, а потому, что любит смотреться в висящее в коридоре зеркало. Встает на стул, но она маленького роста, а потолок — высокого.

— Может, ты достанешь? — обращается она к Розе.

— Нет, для меня ведь это повод завести разговор с высокими мужчинами. Недавно я брала стремянку, но уже вернула.

— Интересно, сколько нужно ангелов, чтобы сменить лампочку? — размышляет вслух Никки, выходя на улицу и вызывая Тушу, которая без труда справляется с поручением. — Раз уж ты здесь, могла бы и банку маринованной свеклы открыть.

— Ничего не получится, — заверяет их Роза.

— Еще как получится, — говорит Никки, протягивая Туше банку. Туша применяет силу, способную гнуть монеты и подковы, но крышка не поддается. Зато сама банка — вместе с содержимым — разлетается на мелкие кусочки.

— Я же говорила. Пустое дело. Я ведь приклеила крышку, чтобы Морковка не добралась. Вы бы выпили чаю, Туша, или просто посидели.

— Благодарю, мне и на улице неплохо, — говорит Туша и, повернувшись к Никки, спрашивает: — Ну как, дела пошли на лад?

— Ага. Супер, — отзывается Никки, закрывая за Тушей дверь.

— Почему ты не уговорила ее остаться? — спрашивает Роза, дождавшись, когда Туша уйдет.

— Она свой кайф ловит. Пускай сидит себе в машине, если ей нравится. Такое хобби много денег не стоит.

— Расскажи, как вы познакомились.

— В супермаркете. Мы стояли в очереди в кассу, и мои лимоны случайно попали ей в корзину.

Истинное положение вещей: Никки — по девичьей забывчивости, надо думать, — подложила свои лимоны в корзину к Туше. Украсть ведь можно все — от супермаркета до лимона.

— Мы разговорились...

Истинное положение вещей: вступили в сексуальную связь высшего накала.

— ... и я иногда оставалась у нее ночевать.

Тут я вдруг поняла, что ситуация изменилась: раньше Никки засыпала Розу нескромными вопросами, а теперь нескромные вопросы задает сама Роза. Только камни хранят молчание, несмотря ни на что. К этому диалогу подобное соображение отношения не имеет, однако истинность его очевидна.

— В этом были свои преимущества.

И немалые. Особенно принимая во внимание габариты партнерши.

Туша и Никки

— Однажды — тогда я жила у Туши — возвращаюсь я поздно вечером домой и вижу в метро этого пидора: ищет, какую бы одинокую овечку трахнуть. Возвращаюсь, значит, домой, устала как собака, залезаю в койку, выключаю свет и вырубаюсь. Просыпаюсь, думаю, утро, но еще темно, чувствую, рядом со мной под одеялом кто-то лежит, дышит мне в спину, тяжело дышит, а в комнате мужским одеколоном разит. Щетинистый подбородок мне в шею упирается, пытаюсь прикинуть, кто бы это мог быть. Если Туша нас застукает, думаю, нам обоим несдобровать. И тут гляжу на часы и вижу: спала-то я от силы минут десять — значит, тот, кто ко мне в койку забрался, сделал это по собственному почину. Что делать, ума не приложу: жар от него, как от печки, лежит, не спит и кайф ловит — знает ведь, сучонок, что и я не сплю. Лежим мы так минут десять; если раньше он тяжело дышал, то теперь весь заходится. И вдруг приставляет мне к горлу кухонный нож. Думал, видно, сначала так меня раскочегарить, не получилось — вот и решил припугнуть. Сомневаюсь, правда, что он бы этим ножом воспользовался. Развел мне ноги, только мы за дело собрались взяться, как входит Туша — с работы вернулась.

А он, гаденыш, даже ухом не повел, представляешь? Это-то ее из себя и вывело. Вижу, он пялится на нее, а сам думает: «Такую я еще ни разу не драл». «Раздевайся», — говорит и ножом замахивается. Вот и пришлось Туше сломать ему руку выше локтя — с тех пор, как она вышибалой работала, она так всегда поступала. «Шарахнешь по кумполу, — объясняла она мне, — тебя потом по судам затаскают. А руку сломаешь — и все подумают, что в шутку». А потом решила, что этого мало, и шарахнула его вдобавок головой об стену — да так, что в стене трещина образовалась. Думаю, и во второй бы раз врезала, да стенку, видать, пожалела.

Лежит мой насильник на полу, нюни распустил. «Полицию, — говорит, — вызову». Я уж собиралась было дать ему ногой по голове или по яйцам, но тут Туша хватает моток изоляции, затыкает ему пасть, ставит его раком, достает искусственный член, здоро-

венный, лиловый, с прожилками, как настоящий, только раз в пять больше — такой бы на девичнике ох как пригодился! Достает, надевает и давай ему по полной программе впаивать. Я думала, у него глаза на пол вывалятся. До самого утра его щучила; говорила мне потом, что за эту ночь фунтов пятнадцать сбросила. Когда наутро полиция приехала, на него смотреть было страшно.

Изнасилованный насильник — такая справедливость в природе случается редко. Даже реже, чем замороженные игуаны. В жизни бывает обычно иначе. Оттого-то эта история так поучительна.

Роза берет меня к себе в постель. От меня она хочет не поучения, а экзотики. И я готова развернуть перед ней эпическую пастораль, в которой задействованы самые экзотические пейзажи. Ее руки ложатся на ме-е-еня...

Деревня, которой не было

В эту деревню не приходил никто.

Во всех остальных деревнях было что посмотреть. В одних собирали хороший урожай, в других ткали красивые ковры. Деревня в низовьях реки была известна овощами причудливой формы: морковью, похожей на ослика, пастернаком, который походил на местного хозяина жизни и был ему преподнесен, за что хозяин жизни щедро дарителей отблагодарил (хотя некоторые высказывали предположение, что скорее хозяин жизни походил на пастернак, чем пастернак — на хозяина жизни), луком — вылитой парочкой, сливающейся в любовном экстазе.

В деревне в верховьях реки имелись волк, который ездил верхом, сорока, которая пила пиво; по слухам, были там даже горностаи, которых жители деревни научили жонглировать.

В деревне у подножия горы делали отвратительное вино, зато там жил человек по кличке Зев. Зевом его прозвали потому, что он мог, причем в один присест, выпить любое количество вина. Жители деревни попробовали было ему подражать, однако слегли, наиболее же рьяные подражатели и вовсе расстались с жизнью. Пьяницы из соседних деревень приходили помериться с ним силой, однако и они, выпив два бочонка, отправлялись на тот свет. Люди более благоразумные платили за вино, которое он выпивал в таких количествах, в надежде, что в конце концов он все же умрет. Разумеется, опорожнив три-четыре бочонка подряд, он терял сознание, однако ассистенты укладывали его на спину, вставляли ему в рот воронку и вливали в глотку вино, пока у наблюдавших за этим зрелищем не кончались деньги.

(В качестве кратера или скифоса я немало времени провела в компании запойных пьяниц и должна сказать, что Зев был, вне всяких сомнений, самым неисправимым алкоголиком из всех, кого мне приходилось видеть, — а ведь не забудьте, я жила в то далекое время, когда к винограду и ячменю относились как к самым обыкновенным продуктам питания. Остается только пожалеть, что у такого талантливого исполнителя была такая непритязательная, деревенская публика. Я часто потом задумывалась над тем, был ли Зев человеком, однако в дальнейшем мне были представлены куда более веские доказательства того, что с пятнадцати лет начинают пить отнюдь не только инопланетяне.)

Практически в одиночку Зев потреблял все производившееся в деревне вино, в чем, впрочем, не было ничего дурного, ибо в противном случае потребление вина было бы более чем скромным — ведь о подобной невоздержанности не могут помыслить даже самоубийцы. Кончилось тем, что однажды, в неурожайный год, Зев, метавшийся в поисках выпивки и испытывавший непередаваемые муки абстиненции, скончался по пути в другую деревню. Пока же Зев был в расцвете сил, число посетителей неудержимо росло, что давало деревне немалый доход, и время от времени, когда удавалось установить, что у посетителя нет богатых, влиятельных и мстительных родственников, жители деревни от нечего делать пытали и убивали его, останки же использовали в качестве удобрений.

Жители деревни, где не было ни причудливой формы овощей, ни жонглирующих горностаев, а также самого горького пьяницы в истории виноделия, собирались по вечерам после трудов праведных и, прежде чем отойти ко сну, жаловались друг другу на то,

что о них никто не судачит, что у них совсем не бывает посетителей и — тем более — возможности над посетителями поизмываться.

— Надо что-то предпринять, чтобы стать интереснее.

— Нет, сначала надо стать интересными, а уж потом думать, как стать еще интереснее.

Каждый вечер они вели одни и те же разговоры, и совершенно разные люди твердили одно и то же. И вот однажды вечером уродливая нищенка из соседней деревни, которая вышла замуж за главного тамошнего буяна, ибо считала, что даже нищенствовать веселее в соседней деревне, чем в собственной, предложила собравшимся:

— Может, что-нибудь все-таки предпримем?

Все молчали. Молчали потому, что своих мыслей у жителей деревни никогда не было. Но нищенка этого не знала, а потому продолжала:

— Почему бы нам, например, не начать бодрствовать ночью, а спать днем? Тогда бы мы прославились как люди, живущие во мраке. О нас стали бы говорить, что мы в сговоре с дьяволом.

Все молчали, на этот раз даже дольше обычного, ведь нищенка вмешалась в разговор, который велся из вечера в вечер, и теперь никто не мог вспомнить, о чем же шла речь. На обдумывание этой идеи у жителей деревни ушло полтора месяца, после чего они вдруг сообразили, какое отличное предложение им сделано, ужасно обрадовались и немедленно его приняли.

Десять дней жители деревни спали днем и бодрствовали ночью, однако продолжать подобное существование было невозможно: люди то и дело наносили себе всевозможные травмы, не могли вскопать как следует ни одной борозды; к тому же крестьяне из окрестных сел, не вполне понимая, что происходит, забирались в деревню средь бела дня и уносили все, что только можно было унести. В результате жители деревни вынуждены были вернуться к привычному распорядку, однако их не покидало чувство гордости от того, что о них наконец-то заговорили.

— Что бы нам сделать такого, чтобы стать еще интереснее? — задавались они вопросом, в приливе энтузиазма хлопая друг друга по спине, ведь теперь они были знамениты — и не потому, что живут в темноте, а потому, что иногда живут в темноте, причем недолго и именно тогда, когда этого ждешь от них меньше всего. Успех совершенно вскружил им голову.

— Почему бы нам не поменять название деревни? — предложила нищенка после того, как спустя полгода эйфория постепенно пошла на убыль. Она пришла к выводу, что ее жизнь — коротка и безотрадна, а потому следует перебраться в деревню побольше: там ее жизнь будет, понятно, столь же краткой и безотрадной, зато более веселой и разнообразной. Уехать она решила на следующий же день.

В то время деревня эта называлась просто: «Деревня, которая не находится у подножия горы и которой нет ни в низовьях реки, ни в ее верховьях» или, если еще проще, — «Деревня, которой нет».

— Почему бы не назвать нашу деревню просто «Жопа с ручкой»? — предложила нищенка.

— С чего бы это? — с недоверием переспросили односельчане.

— Потому что это смешно. Неужели вы сами не пошли бы в деревню, которая называется «Жопа с ручкой»? Народ повалит, вот увидите, — будет кому спиртное продавать.

Жители деревни задумались, однако никому не пришло в голову возразить нищенке, что с тем же успехом можно было бы дать деревне какое-нибудь громкое имя, например: «Истина в последней инстанции», или «Колдовские чары», или «Место, лучше которого нет на всем земном шаре», и при этом избежать позора.

На следующий день после того, как деревню назвали по-новому, нищенка уехала. Посетителей и в самом деле заметно прибавилось, они приходили, хихикали, однако надолго не задерживались, да и спиртное приобретали неохотно.

Кончилось, как всегда, тем, что явились мародеры. Начали они с того, что посадили на кол двух переводчиков, которые на вопрос «Остались ли еще деревни, где есть что грабить?» ответили: «Жопа с ручкой». Нищета потрясла мародеров. Они сожгли деревню дотла, заставили жителей целый день бегать по горящим углям, после чего схватили

местного нищего и пообещали, что оставят его в живых, если тот собственными руками перережет глотки своим односельчанам.

— Давайте нож, — сказал нищий.

Ему вручили ложку.

— Что мне с ней делать?

— А ты подумай.

— На это уйдет много времени.

— Мы не торопимся.

Ложка была маленькой, жертвы — большими, криком кричала вся деревня, однако мародеры особого внимания на экзекуцию не обращали: они повсюду искали жонглирующих горностаев.

Табата землю роет

Такое впечатление, что у меня выросли ноги.

Роза всюду таскает меня с собой. Мы идем в гости к Табате, где меня оставляют в спальне, похоронив под куртками, пальто, сумками и всевозможными запахами их владельцев. Общаются гости на другом конце квартиры, так что даже мой острый слух не может уловить в разноголосице подробности разговора, что, впрочем, нисколько меня не волнует: вечером Роза опустит руки в мои мнемонические карманы, и я сделаю то же самое. К несчастью, ничего развратного или непристойного в спальне не происходит, и через несколько часов меня забирают.

Когда мы возвращаемся домой, Роза так счастлива и пьяна, что мне кажется, она сейчас же отправится в царство Морфея, однако она ложится в постель, поворачивает голову ко мне и кладет на меня руки.

Моя сегодняшняя история: «Корейцы, которые пытались съесть Китай, или Три брюха против империи».

А вот ее история, которую, когда она засыпает, я читаю в ее памяти, как по книге.

— А я первым делом беру партнера за яйца, — говорит девица, вокруг которой собралось почти все мужское общество; мужчины делают вид, что такого рода откровения — дело для них привычное. Девица — типаж до боли знакомый. Вокруг таких, как она, всегда толчется много мужчин, это тертые, ушлые люди, у которых хватает денег и досуга на массажные кабинеты и коллекционные вина. Их костюмы изо всех сил стараются выглядеть как можно более неброско, незаметно, однако носят такие костюмы люди, которые имеют дело с шестизначными цифрами, а этого при всем желании не утаишь.

Роза ест авокадо и беседует с юристом в золотых очках. Лицо у юриста одутловатое — и не от обжорства, а от жизни. Тяжелая челюсть свидетельствует о решительности и самодовольстве. Весь вечер они перебрасываются молниеносными репликами, точно пинг-понговым шариком, и, перепробовав все возможные блюда и темы, расстаются с ощущением, будто знают друг друга с колыбели.

Мистер Челюсть (номер сорок тысяч сто девять) издевается над представителями творческой элиты; Роза, в свою очередь, отпускает довольно банальные шуточки по адресу законников. (Помните, пристрелить законника — святое дело.) Сразу видно, Роза ужасно волнуется: а вдруг он сделает что-то непоправимо гнусное или не откликнется на ее предложение?! Когда же он записывает Розин телефон, Табата, которая стоит в другом конце комнаты, расплывается в лучезарной улыбке.

На следующий день Роза не покидает квартиру ни на минуту, что, вообще говоря, довольно странно, ибо есть в доме решительно нечего. Не присев ни на минуту, она ходит взад-вперед по квартире — ждет, надо понимать, телефонного звонка, во всяком случае, каждые сорок минут подымает трубку удостовериться, что телефон работает. И вот после мучительного ожидания, продолжавшегося в общей сложности одиннадцать часов и двадцать шесть минут, телефон, словно одумавшись, наконец-то звонит. Прежде чем поднять трубку, Роза считает до десяти, после чего предлагает абоненту поужинать в одном из четырех самых дорогих лондонских ресторанов.

Однако на следующий день Роза передумывает и, позвонив мистеру Челюсть, приглашает его не в ресторан, а к себе домой, на ужин собственного изготовления. Что, как

мы все знаем, может значить только одно.

— Никки, — говорит Роза, — ты не могла бы со вторника на среду вообще не приходить ночевать?

— Хочешь оттянуться? Он крупный мужчина?

— Да, но полноват.

— Это не важно. Запомни раз и навсегда: лучше, когда маленький у большого, чем большой у маленького.

Накануне Роза весь день стоит у плиты. А также лихорадочно убирает дом: до двух часов ночи драит ванную и пытается вывести невыводимые пятна на полу в кухне. «Все равно уборка назрела», — успокаивает она себя, протирая лампочку в коридоре и подкрашивая уголок ведущей в гостиную двери.

Звонит Табата:

— Не торопи события. Думаю, он воспринял твои слова правильно. Рагу из мяса молодого барашка — аргумент очень сильный.

Звонок в дверь. Роза впускает мистера Челюсть, улыбаясь ему так, как обычно женщины улыбаются мужчинам, собирающимся отвезти их домой. Впрочем, в следующее мгновение улыбка исчезает безвозвратно: мистер Челюсть явился с женщиной.

— Добрый вечер, Роза. Познакомьтесь, это моя жена, Джеки. Надеюсь, вы не против, что мы пришли вместе?

— Нет, конечно, — машинально произносит Роза. — Проходите.

Мистер и миссис Челюсть весело щебечут. Роза угрюмо молчит. Она подает закуску: пирожки с грибами. Гости в восторге. Больше переносить это Роза не в состоянии.

— Послушайте... вы должны меня извинить... но я больше не могу... Я полагала, что Саймон не женат. Простите, но я не вижу смысла...

— А рагу между тем пахнет потрясающе, — вздыхает миссис Челюсть.

— У меня пропал аппетит.

— Право же, Роза, какая, в сущности, разница, женат я или нет? Давайте поужинаем, а потом обговорим условия.

— Условия?!

— Будем же откровенны. Вы находите меня привлекательным. Я нахожу привлекательной вас. Всем нам нужна l'amour. Пусть будет, как будет. А Джеки может нами полюбоваться со стороны.

— Разумеется, — говорит Джеки, — l'amour — это именно то, что нужно нам всем. Должна вам сказать, Роза, что и я нахожу вас весьма привлекательной и готова всячески вам соответствовать.

— Пожалуйста, уходите.

— Может, вы бы хотели посмотреть, как это получается у нас? Товар, так сказать, лицом.

— Нет.

— Признаться, Роза, я не ожидал от вас подобного поведения. Джеки слишком хорошо воспитана, чтобы читать вам мораль, но представьте, каково ей — получить отказ без всяких объяснений.

Роза демонстрирует своим гостям, как открывается входная дверь.

— Вы правы. Мы, видимо, и в самом деле ведем себя излишне настырно. Давайте вот как договоримся. Мы будем в пабе на углу. Запишите мой номер мобильного телефона и, если окажется, что по телевидению сегодня смотреть нечего и вы передумали, обязательно нам позвоните. С вас еще рецепт пирожков с грибами.

Роза опускается на диван и впивается ногтями себе в локти.

Во все времена принято превозносить тех, кому сопутствует успех: богатых, предприимчивых, хозяев жизни, лидеров. Как же это о-о-ошибочно, кто бы знал! Ведь, во-первых, все эти люди совсем не так благополучны, как кажется, а во-вторых, по ним совершенно невозможно судить обо всех остальных.

Властелины, миллионеры, хозяева жизни — исключение, не они должны подавать нам пример. Мы должны подражать не им, а неудачникам: оставшимся без медалей конькобежцам, разорившимся филателистам, изверившимся изобретателям, ожесточившимся государственным чиновникам, всем тем, кто, несмотря на одаренность, образован-

ность, энергию, влачат жалкое существование. Пусть люди не считают, что жизнь им не удалась, пусть знают — они живут, как все. Из тех, кто отбивается от жизни с помощью спиртного и наркотиков, не следует делать национальных героев.

На каждого победителя приходится тысяча проигравших и еще две тысячи тех, кто почему-то забывает явиться, или заболевает гриппом, или переживает ссору с любимой девушкой и поэтому не успевает вовремя подать необходимые бумаги. Если кто-то не понимает в жизни, так это именно победители. Жизнь — это не победа, не первое место, а борьба за третье. И тем не менее люди превозносят победителей, проигравшие же упорно им подражают в надежде хоть что-то у них перенять. Вопрос: чем отличается миллионер от немиллионера? Ответ: миллионами.

Следует уяснить себе не то, как добиться успеха, что по определению является уделом немногих избранных, а как не отвести глаз, глядя в лицо неудаче, как перенести затхлый запах обыденности. Мы должны поднять на пьедестал нищего маляра, который потерял работу и которого забирают в полицию, даже если он попытался вынести из магазина всего-то навсего фляжку дешевого виски; который за тридцать лет работы не нажил ничего, кроме залитого краской комбинезона, и дочь которого, единственную отраду в его безотрадной жизни, неумело насилует в подъезде какой-то жалкий проходимец. Этот нищий маляр, а также многодетная уборщица, у которой, когда она едет усталая домой с работы, крадут в метро единственные серьги, и могут преподать нам важнейший урок жизни. Только у них мы и можем научиться самому главному — искусству проигрывать.

Роза берет почтовую открытку и сначала выводит на обороте адрес сестры, а потом несколько минут грызет ручку, раздумывая, что бы такое написать. Про ее сестру мне известно только то, что Роза сказала Никки во время их четырнадцатого чаепития: «Она вышла замуж за первого, с кем пошла, представляешь?» После шестнадцатиминутного размышления Роза наконец пишет: «Ты поступила правильно».

Написав сестре, Роза решает пораньше лечь спать. Около часа она лежит без сна, потом протягивает ко мне свои ру-у-уки. Чувствуется, что она хочет продлить сегодняшние мучения.

Носатая

— Все они одинаковы, — говорили ей в швейной мастерской. Хуже всех были старухи. Защищать от них собственного мужа было стыдно и глупо.

— С чего ты взяла, что он хоть чем-то отличается от других? — язвили они. — Он у тебя что, с горбом и без прибора? Впрочем, в наше время пристают к чужим женам даже такие.

В женщинах постарше чувствовалась ожесточенность. Мужья им не только изменяли с кем попало, но еще напивались и частенько их избивали; самые же безжалостные иногда, назло им, вдобавок и умирали. Из пятнадцати женщин, работавших в швейной мастерской, только у Родинки был тихий, трезвый, трудолюбивый муж (да и тот умирал от чахотки). И у нее.

— Лишь бы он не делал это прямо у тебя под носом, — шутили швеи.

В свое время муж ухаживал за ней с благородством и страстью. Они совершали длинные прогулки, такие длинные, что, заблудившись, нередко возвращались лишь с наступлением сумерек. Держал он себя с ней почтительно, и лишь взяв ее впервые за руку, почувствовал, как от вожделения весь покрылся мурашками.

Над ней все издевались из-за ее носа — длинного и крючковатого. В первую брачную ночь муж произвел тщательный учет ее достоинств и недостатков.

— Твои пальчики я буду защищать, — говорил он. — Твой пупок я буду лизать. Твои волосы чудесны. Твои груди безупречны. Большего нельзя и желать. Что же до твоего носа, то если б не он, я бы не полюбил тебя и ни за что бы на тебе не женился.

Она закатила ему пощечину, посчитав, что он, как и все остальные, издевается над ее носом. Она плакала до тех пор, пока слезы сами не высохли у нее на щеках. Однако вскоре он доказал ей на деле, что его ринофилия вовсе не шутка, — в ту ночь и во все последующие он делал с ней такое, о чем раньше она не могла и помыслить и что со

временем ей очень даже понравилось.

С ним она всегда ощущала себя в безопасности, и если б не постоянные разговоры в швейной мастерской о его неверности, она никогда бы не усомнилась в его любви.

Однажды она надела на голову платок, который взяла у подруги, и вечером, когда он, как обычно, отправился с друзьями в таверну, пошла за ним следом. Она видела, как к их столику подсела какая-то хорошенькая женщина, все с ней стали заигрывать, и только ее муж не проявил к красотке ни малейшего интереса. Он начал зевать и вскоре встал из-за стола.

По многу часов в день он проводил с детьми, учил их читать и писать. Когда у нее не было времени, он сам относил ее матери пироги. Одежда его совсем истрепалась, но уговорить его купить себе новую она не могла.

— К чему тратить деньги? — говорил он. — Эти вещи служили мне верой и правдой. И потом, зачем мне наряды? Охмурять женщин мне больше незачем.

Жили они скромно — единственной по-настоящему ценной вещью в доме была великолепная фарфоровая ваза, которую им подарил его друг, отличавшийся безупречным вкусом.

И тут она вдруг поняла, что его равнодушие к красотке в трактире, его всегдашняя готовность помочь ей, безразличие к своей внешности могут иметь только одно объяснение: он завел себе любовницу. Она постоянно следовала за ним по пятам и из-за того, что ничего предосудительного не замечала, еще больше убеждалась в его неверности, ибо отсутствие улик означало только одно — он их тщательно скрывает. И то сказать, как мог он отчитаться за каждый грош, если заранее не ждал допроса с пристрастием?

Однажды вечером он вернулся домой на полчаса позже обычного и сказал, что ходил к зубному врачу. Она обвинила его во лжи. Он рассердился и бросил вазу на пол. За все годы, проведенные вместе, он впервые опоздал, впервые на нее рассердился. Но ведь достаточно разозлиться всего один раз, чтобы стать потом злым человеком, точно так же, как достаточно уронить вазу всего один раз, чтобы ее разбить. Трещины на упавшей вазе должны были постоянно напоминать ему о том, что у него есть жена.

У-у-убрала ру-у-уки.

Звонит телефон. Очень некстати — ведь финал моей истории весьма поучителен.

Роза берет трубку. Телефонистка предупреждает, что звонят из Нигерии и что разговор оплачивается абонентом.

— Из Нигерии?! — Роза озадачена: сейчас два часа ночи, да и в Нигерии у нее нет знакомых, однако, боясь, что это что-то важное, она просит телефонистку ее соединить.

— Алло, — слышится в трубке. — У меня к вам деловое предложение.

— Боюсь, вы ошиблись номером.

— Нет-нет, мы познакомились полгода назад.

— Назовите в таком случае мое имя.

— Я вас очень хорошо помню.

— Вы ошиблись номером.

— Нет, позвольте мне в нескольких словах рассказать вам о моем деловом предложении.

— Слушайте внимательно. Я не знаю, кто вы, зато я точно знаю, что вы — жопа с ручкой.

Роза бросает трубку, включает телевизор и долго смотрит на пустой экран. Синева экрана точно ножом рассекает мрак, в который погружен мир. Она выпивает столько виски, что спустя два часа, когда снова ложится спать, с трудом добирается до постели. Терпеть не могу, когда меня прерывают. Если бы Роза тут же не заснула, она бы узнала, чем завершилась моя история. Чтобы подсмотреть, чем в ее отсутствие занимается муж, Носатая подставила лестницу к окну спальни, заглянула внутрь, мужа в спальне не обнаружила и, оступившись, рухнула вниз.

За дело

Следующий день. Я только и думаю о том, как бы рассчитаться с Горгонской вазой. Не будем торопиться. Если ждешь две тысячи лет, то несколько дней погоды не

делают. Нужно придумать что-нибудь такое, чтобы Розу не обвинили в беспечности или в отсутствии профессионализма. Она уже и без того достаточно из-за меня натерпелась.

Появляется Табата. Узнав про чету Челюсть, приходит в неописуемый ужас.

— Мы живем в сложное время. — В этом с ней нельзя не согласиться.

Табата — сама забота. Чай с лимоном и план действий. Сводничество и свод правил поведения. Дергает себя за правую серьгу. (В серьгах по-прежнему ничего не смыслит, а ведь в них заложен вопрос вопросов: «Из какой коллекции попала к коллекционеру эта коллекционная вещица?» Этого она не знает и не понимает — не поняла бы, даже если б ей объяснили.)

— Только не говори мне, что ты не хочешь с ним встречаться. Вспомни, что я тебе говорила.

— Эта схема все равно ничего не даст, — твердит Роза. — Ты делаешь все возможное, и я перед тобой в неоплатном долгу, но это — тупик. Может, счастье подвернется, если я перестану его искать?

— И все же мне кажется, тебе следует с ним познакомиться.

— Почему?

— Потому что у вас много общего.

— Что именно?

— Он говорил то же, что и ты.

Роза не в силах сопротивляться и дает согласие на встречу с очередным претендентом. «Выпьем по коктейлю — и до свидания», — решает она.

— Скажи, с кем это ты так увлеченно беседовала, когда я последний раз у тебя была? — спрашивает Роза, когда Табата уже стоит в дверях. — Мне показалось, что вы отлично ладите. У меня такое чувство, будто я его уже где-то видела.

— Вёрно, видела. Ты просто его не узнала — ведь в этот раз он был без ножа.

— Ты шутишь?!

— Он позвонил сказать, что готов продать мне мою записную книжку, и мы разговорились.

— Фантастика!

— Покамест с такими, как он, отношения у меня складываются, — говорит Табата. — И даже очень.

— Интересно, что было бы, если б они не сложились?

— Он очень общителен. Его друзья постоянно бывают у меня дома.

Меня убирают в сейф, который Роза недавно приобрела.

Сейф старый, уродливый, не очень большой, но зато необыкновенно тяжелый, отчего кража становится делом если и не безнадежным, то крайне хлопотным. В сейф меня запирают вместе с Горгонской вазой, и я испытываю одновременно унижение и искушение, я бы даже сказала, двойное унижение и двойное искушение, ибо меня переворачивают вверх дном да еще кладут поверх Горгоны. Следовало бы заявить протест. Всему же есть предел.

В этом положении я нахожусь два часа. Приходит Никки, с ней несколько человек. Пустая болтовня. Роза возвращается, ложится в постель, меня же оставляет в сейфе, в объятиях Горгоны. По всей видимости, встреча с очередным претендентом принесла ей удовлетворение — на этот раз моим воспоминаниям она предпочитает свои собственные.

На следующее утро она — даже не попрощавшись — отбывает в Амстердам в связи с каким-то фризом и какими-то фигурками из Мали и Заира. Вернуться собирается через три дня. У Никки посетители — пустая болтовня.

Появляется Мариус.

Никки советует ему проверить огнетушитель — в самый ответственный момент огнетушители нередко выходят из строя. Мариус вне себя от ярости. Хочет знать, где прячут меня и Горгону. Никки говорит, что Роза уехала за границу и вроде бы собирается вазу продать. У Мариуса перебои с дыханием. Странно все же, замечает Никки, что Роза ни словом не обмолвилась о цели своего путешествия. Водителя срочно отправляют в аптеку за кислородной подушкой. Когда Мариус с жадностью приникает к подушке, Никки его обнадеживает: за пятьсот фунтов она готова кое-что о проделках Розы сообщить.

Бумажник в действии.

— Ты ничего не понимаешь в людях, Мариус.

После ухода Мариуса Никки пытается взломать сейф. Безуспешно. В это же время я разрабатываю двести один способ уничтожения Горгонской вазы.

Роза возвращается — сразу же хватает телефонную трубку. Многочасовой разговор. Сильный запах духов. Уходит. Под вечер возвращается — не одна. Разговоры.

Сейф открывается.

— Вот чем я занимаюсь, — говорит Роза. Курчавый (под номером три тысячи четыреста семьдесят пять) стоит у Розы за спиной и смотрит на нас исключительно из вежливости, сам же готовится схватить Розу сзади за грудь. Решение разумное: на таких, как Роза, это действует. Не вижу никакой необходимости демонстрировать Курчавому содержимое сейфа, который, разумеется, находится в комнате Розы.

Курчавый ласкает ей грудь с таким рвением, что уже через шестнадцать секунд не остается никаких сомнений в том, где он сегодня проведет ночь.

— Надеюсь, ты ничего не имеешь против, — говорит он, расстегивая рубашку и обнажая мускулистую грудь и правый бицепс, на котором вытатуирована роза и имя Роза. — Может, с моей стороны это звучит самоуверенно, но у меня такое чувство, что все у нас получится очень даже неплохо. Люблю играть, но не люблю проигрывать.

Повидав на своем веку четыреста тысяч девятьсот восемьдесят одно совращение, я не могу не признать, что Курчавый свое дело знает. Его союзники — грубость и нежность, грубая нежность и нежная грубость. Роза падает на кровать — причем без всякого сопротивления. Она снимает серьги (символизирующие одинокого пловца в лазурном бассейне; пловец осторожно плывет вдоль бортика, потому что держит на весу, на правом указательном пальце, промокшего шмеля, которого он вызволил из бездны вод) и кладет их на столик у кровати.

Они тушат свет — как будто в темноте я хуже вижу.

Курчавый проводит пальцем по ее лицу — кажется, что он осторожно бреет ей щеку. Оба молчат. Слышится только тяжелое дыхание и шуршание падающей одежды. Издали Розины соски напоминают бейсбольные биты; он свирепо скалится — вот-вот их откусит.

У Розы побелели глаза, сейчас она вряд ли помнит, как ее зовут. Она предлагает ему свою шею — свою нежную шейку. Незаметно, неслышно, непроницаемо входят в спальню слоны, они утратили всю свою слоноподобность, кроме чудовищной силы; входят и прижимают одно тело к другому.

Он снимает с Розы последний предмет туалета. Помогая ему, Роза, слегка выгибается и падает на спину, прикрыв глаза локтем правой руки. Этот жест на всех языках означает одно и то же: я — твоя.

Прибор у Курчавого на зависть — толстый, как морской угорь с серьгой; о таком, скажу не таясь, мечтают все женщины до одной. Курчавый ныряет Розе между ног и извлекает оттуда максимум удовольствия. Но решающей атаки пока нет. Сначала он переворачивает ее на живот, и его язык плавно скользит взад-вперед между лопатками. Но вот язык спускается все ниже и ниже, и он, раздвинув большим пальцем ее ягодицы с такой легкостью, словно раскрывает книгу, начинает медленно, но уверенно проникать внутрь, вызывая истошные крики Розы и лишний раз свидетельствуя о том, каким расточительным чувством юмора отличается природа (не менее расточительным, чем змея, у которой яда достаточно, чтобы отправить в иной мир целую деревню): ведь источник неземных утех — не самый чистый на свете.

Запускает в заветное отверстие два пальца, которыми перебирает, как пловец — ногами. Роза — сама готовность, Курчавый вздымается над ней — сейчас он вдует ей так, что она заговорит по-шумерски.

Но он медлит, на лице — невыразимая тоска.

Непередаваемая. Он застывает, тоска охватывает все его естество. Встает. Роза поворачивается. Ей кажется, что он что-то ищет в карманах или же задумал еще какой-то сюрприз — на закуску. Она призывно урчит — Курчавый же быстро и как-то незаметно одевается и уходит.

Роза издает целую серию сначала недоумевающих, а затем фальшиво жалобных звуков. Через несколько минут она встает и идет на кухню посмотреть, не спрятался ли он там. Какую-то долю секунды борется с подступившим отчаянием, но затем не выдерживает и начинает вновь издавать жалобные звуки — на этот раз самые настоящие.

Должна признаться, что ничего более игуанистого мне еще видеть не приходилось. Ситуация, прямо скажем, не ахти, и Роза будет мучительно пытаться найти закономерность, тогда как никакой закономерности нет и в помине. Не везет Розе с мужчинами: чем тесней она к ним прижимается, тем меньше у нее шансов.

— Не хочу быть такой. Сомневаюсь, что я лучше всех остальных. Я хочу работать, я хочу сражаться. Я всю жизнь работаю, я всю жизнь сражаюсь, и я готова работать и сражаться дальше — знать бы, ради чего. Есть только два варианта: либо ты настаиваешь на своем и тогда начинаешь ненавидеть всех остальных и остаешься один, либо поддаешься и тогда начинаешь ненавидеть себя самого. Вот уж действительно, «мы живем в сложное время».

Подходит к окну. В темноте дома похожи на светлячков — горящие угли большого города.

— Я знаю, что ты где-то там. Я не настолько самонадеянна, чтобы возомнить себя ни на кого не похожей. Но как мне найти тебя?

Чаепитие. Тридцать первое

— Ничего не понимаю. Пытаюсь сообразить, что я такое сказала или сделала. Лежала себе и благодарно мычала, только и всего.

— Может, мычала не так, как следует, — предположила Морковка, извлекая пакетик с изюмом в шоколаде из-под пачки журналов, куда Роза его предусмотрительно припрятала. Ясно, что эта дружба обходится Розе дорого, но ведь многие дружбы, несмотря на неутешительные прогнозы, обладают поистине тараканьей живучестью.

— А как следует?

— Не знаю. Я совершенно не хотела тебя обидеть. Со мной такого никогда не было. И ни с кем из моих знакомых тоже. Ты уверена, что он не женат? А вдруг он испытал угрызения совести? Бывает ведь и такое. От этого изюма толстеешь, да?

— Нет, он не женат. И подруги у него нет. Он только что вернулся из Антарктиды, где полгода прыгал с айсберга на айсберг. Рассказывал мне, как тяжело пережил разлуку со своей девушкой. В такой ситуации любому бы не терпелось. К тому же у него на руке вытатуировано мое имя. Мы говорили с ним о будущем — ты ведь знаешь, как мужчины мечтательны.

Роза не учла одного: татуировка была далеко не свежей. По моей оценке, ей было никак не меньше семи лет.

— Мало ли... Может, женщины...

— Его пенисом можно было дрова рубить. Он лез на стену от страсти.

— А что, если он просто не имел этого в виду?

— Глубокая мысль. Нет, тут что-то не то. Вот только что? Мы прекрасно ладили, меня не покидало ощущение, что мы знакомы много лет. Нам нравились одни и те же книги. Одни и те же фильмы. Одна и та же музыка. Его любимый ресторан — китайский. Я даже подумала, что Табата его подкупила. Иногда мне казалось, что он играет роль — так он был хорош.

— А вдруг он динамист?

— В смысле? — вступает в разговор Никки, выходя из ванной в чем мать родила и пристально изучая Морковку.

— В том смысле, что голову морочит.

— А, ты вот про что. Тут не угадаешь. — Никки со вкусом чешет левую ягодицу и продолжает: — У меня был случай похуже. Этот грек, повар из ресторана, приклеился ко мне еще в супермаркете и домой за мной увязался. Идет и хвастается: «Вздрючу так, что мозги наружу вылезут, а потом приготовлю тебе такую вкуснятину — пальчики оближешь». Собой он был нехорош, это правда, зато настойчив, да и по телевизору в тот вечер смотреть особенно было нечего, вот я и подумала: «Почему бы и нет? Один раз с любым можно». Ложусь, ноги до потолка задираю, смотрю, а он замер и странно так на меня пялится. «Что-то, видать, не то, — думаю. — Может, я подмышки давно не подбривала?» И тут он, представляешь, достает... пистолет. Оба мы голые, а он в одной руке член держит, а в другой — пушку. Сама знаешь, девушка я без предрассудков, но и мне не по себе — уж больно вид у него чудной. «Спирос, — говорю, — зачем тебе пистолет — я тебе и без пистолета все что хочешь сделаю». А он смотрит на меня, как

будто первый раз видит. Подымает пистолет, подносит ко рту и, не успела я опомниться, — спускает курок.

— Зачем же он это сделал? — недоумевает Морковка.

— Понятия не имею. Я бы с удовольствием задала этот вопрос ему самому, если б он череп себе не разнес. Ты не можешь себе представить, как я пожалела, что не сказала ему «нет» и не пошла вместо этого голову мыть. Думаешь, если кто-то вышиб себе мозги у тебя в квартире, тебе дадут страховку на ремонт? Черта с два. Впрочем, у меня и страховки-то никакой сроду не было. Я тоже хороша: всю квартиру облевала, снизу греческие мозги, сверху блевотина, красота, а? Потом еще с полицией разбираться пришлось. «Нет, — говорю, — понятия не имею, кто он такой, где живет, кем работает. Познакомились мы час назад, пришли ко мне, хотели трахнуться, а он возьми да вышиби себе мозги». Классная история.

Что верно, то верно, Никки, правда мало кому нужна. Разве что философам, ученым, детективам, учителям, матерям. Эти превозносят истину. Пользу же приносит не истина, а ложь. Ложь во спасение. Истина же редко бывает во спасение. Смертник, которого наутро должны повесить, вряд ли обрадуется, если узнает, что петля прочна и намылена. Когда жена навещает его в последний раз, он хочет услышать, что его помилуют, однако объявят о помиловании лишь в самую последнюю секунду, когда на голове у него будет капюшон, а на шее петля. Именно об этом она и спешит ему сообщить, хотя прекрасно знает, что билеты на казнь уже продаются и цены на них растут с каждым часом.

Впервые о пользе лжи я услышала, когда находилась в крытом фургоне, ехавшем по горной дороге в Альпах. Что-то попало под колеса, и фургон полетел в живописнейшую пропасть. Путешественники сидели не шелохнувшись, боясь, что любое движение лишь ускорит стремительное падение на скалы, которые терпеливо поджидали нас далеко внизу. Мальчик с опаской посмотрел вниз.

— Мы летим в пропасть, — сказал он.

— К чему ты это говоришь? — укорил его старик. — Нам такое знать не нужно. Сейчас нам нужна не правда, а ложь. Ложь во спасение.

— Что ты имеешь в виду?

— Я сам не знаю, что это такое. Знаю только, что сейчас нужно выдумывать, а не говорить правду. Скажи же что-нибудь.

Мальчик закрыл глаза.

Фургон разлетелся на мелкие кусочки. И я тоже. На то, чтобы подобрать рассыпавшиеся черепки и обрести прежний вид, у меня ушло немало времени. Когда корабль Швабры терпел кораблекрушение, разговоры, полагаю, были примерно такими же. «Нельзя говорить, что мы идем ко дну. Не мы идем ко дну, а море подымается, подымается повсюду, и опасность грозит не только нам, но всему человечеству».

— Да, все это наводит на грустные размышления, — говорит Морковка, вытряхивая из пакета последнюю изюминку. — На моей памяти счастливо жила только одна пара. Я тогда была еще девчонкой. Он был паромщиком, тогда ему было, должно быть, лет семьдесят, не меньше. На пароме он находился всегда — в шторм, в снегопад, на Рождество. Был он урод уродом, да и жена была ему под стать: лицо у нее было такое, как будто по нему стадо слонов прошло. Они прожили всю жизнь счастливо, потому что уродливее их не было никого. Они были удручающе бедны и невыразимо счастливы. Никто ни разу не видел, чтобы они ссорились или болели. Соседи только о них и судачили: у нее были большие усы, и он говорил, что счастлив с ней, ибо любит в постели жевать ее усы. Все завидовали их счастью.

Когда Роза укладывается в постель и кладет на меня руки, я, естественно, не могу не рассказать ей историю, которая называется...

Жеватели усов и их живописцы

— Он любит жевать их в постели, — сказала натурщица. Лукас кивнул.

Моим коллекционером был художник, собиратель древностей. На древности, впрочем, средств ему не хватало, но трудился он в поте лица. Он любил белый цвет и покупал — задешево — много белой краски. Манера Лукаса не вполне соответствовала венециан-

ской моде 1440 года — тогда предпочтение отдавалось традиционному стилю; вот в Тере его бы носили на руках, наверняка понравились бы его картины и одному египетскому коллекционеру, но тот скончался за две тысячи лет до рождения Лукаса. Теперь-то белая краска в чести. Вот почему говорят, что главное — это родиться в нужное время. Отец Лукаса был пивоваром; человек приземленный, он проработал всю жизнь и никогда не жаловался на судьбу. На то, чтобы научиться зарабатывать на жизнь живописью, он дал Лукасу пять лет.

Однажды, спустя четыре года одиннадцать месяцев, когда Лукас, прибегнув к помощи полногрудой натурщицы (усы не представляли тогда для него никакого интереса), писал картину «Сотворение мира», пришло письмо от его отца, в котором тот требовал, чтобы сын немедленно вернулся домой.

Лукас написал несколько хороших картин (а я знаю, что говорю), однако продать их ему не удавалось: никто ему ничего не заказывал — те же фрески, которые он написал бесплатно, безжалостно стирались. И тем не менее в век, когда люди полагали, что нет такой науки, такого навыка, которым бы они не могли овладеть, Лукас своего добился: ему не удалось разбогатеть, зато удалось расквитаться со своими хулителями.

Аббат монастыря, отказавшийся принять от него в дар картину «Благовещение», умер в страшных муках после того, как Лукас смазал соски его любимой проститутки цианистым калием.

Другого аббата, который раскритиковал его картину «Христос, идущий по морю», Лукас вывез на лодке в Адриатическое море и сбросил в воду.

— И каким же кажется тебе море теперь? Не слишком ли белым? А может, оно такое белое потому, что ты тонешь?

— Да, да, нет, — пролепетал аббат, хотя вряд ли море могло быть белым в первом часу ночи.

— В таком случае расскажи мне, какой белый цвет ты видишь. И не отвечай, не подумав, — ведь я испытываю тебя.

— Замечательный белый цвет, точно такой же, какой был у тебя на картине, которую я (буль-буль-буль) не понял, потому что очень давно не был на море и не смог оценить его истинной красоты.

— Я рад, что ты со мной согласен, — сказал Лукас. — Я знал, что ты не безнадежен. — С этими словами он налег на весла и поплыл к берегу. Его хулитель попытался было последовать за ним, однако когда у тебя руки связаны за спиной толстой, намокшей в воде веревкой, держаться на воде нелегко.

— Ты не бросишь меня! — вскричал аббат. — Ты же сам священник!

— Да, ты прав, это очень нехорошо с моей стороны, — отвечал Лукас, — но если ты внимательно читал отцов Церкви, то не можешь не знать, что Господь милостив, а потому за несколько мгновений до того, как умереть, я мужественно во всем покаюсь и грехи мне отпустятся. Обещаю, что навещу вместо тебя твою любимую проститутку.

Однако финансовая сторона дела не могла Лукаса не беспокоить. И вот в один прекрасный день, бережно прижимая к груди меня и эту никчемную Горгонскую вазу, Лукас поднялся на борт корабля. Затем он исчез и вскоре вернулся с двумя бандитами, которые несли нечто, завернутое в одеяло. Сверток спустили в трюм, где стояла такая вонь, что даже бандитам стало не по себе. Завернутый в одеяло не оказывал особого сопротивления, ибо был усыплен. Когда же он пришел в себя, то сразу же принялся истошно кричать. Лукас спустился в трюм.

— Как самочувствие? Дохлые крысы тебя, надеюсь, не смущают?

— Немедленно меня отпусти. Я мог бы тебя казнить, если б захотел.

— Верно, мог бы, но не забывай: ты находишься в трюме корабля, который в данный момент поднимает паруса, и твоя судьба решительно никого не волнует. Я хотел бы задать тебе вот какой вопрос: ты по-прежнему считаешь, что моя картина «Сонм ангелов» — сущий вздор?

— Да. — Пленник был не робкого десятка.

— Стало быть, ты нисколько не жалеешь, что уронил меня в глазах дожа и погубил мою карьеру?

— Нет.

— Понятно. Тебя не устраивает моя техника письма?

— Да. Именно так. — Рядом с ним, оскалившись, лежала дохлая крыса.

— Что ж, каждый имеет право на свою точку зрения. Равно как и на мученическую смерть в трюме корабля. Между прочим, у меня с собой та самая картина, о которой шла речь. А также холст и краски. Считается, что люди могут прожить без еды несколько недель. Однако я не столь безжалостен, как кажется. Если ты сделаешь безупречную копию с моей картины, что не составит большого труда, раз мастер я никудышный, то сможешь подняться из трюма на палубу и вместе с нами дышать свежим воздухом и есть досыта. Если будешь питаться крысами, то какое-то время продержишься. Впрочем, еще неизвестно, кто кого съест — ты их или они тебя.

— Где капитан?

— У него другие заботы.

— Но ведь здесь кромешный мрак!

— Ну... да.

Первый день он упрямился, но потом, увидев, что матросы спускаются в трюм только для того, чтобы над ним посмеяться, взялся за работу. Когда мы приближались к Гибралтару, копия была почти готова. Впрочем, к этому времени про него уже все забыли. Капитан собрал команду.

— Вы думаете, что мы идем в Бордо сбыть пряности. Ничего подобного. Мы запасаемся провизией и пресной водой и плывем в Китай.

— Как бы не так! — воскликнули в один голос взбунтовавшиеся матросы.

— А как быть с судовладельцем? — спросил один из них.

— Он ничего не узнает, — ответил капитан. — Будет вам, ребята! Подумайте лучше о славе и богатстве.

— Нет.

— Хорошо, — сказал капитан. — Кто из вас самый сильный?

Вперед вышел здоровенный, длинноволосый, похожий на гориллу матрос.

— Я, кто ж еще.

— Так ты не хочешь плыть в Китай?

— Нет.

Капитан берет ружье, которое в то время было еще в диковинку, и стреляет горилле в голову. Горилла сваливается за борт. Усовершенствованное насилие вызывает у многих возгласы одобрения.

— Еще вопросы есть? Если у кого-то возникнет желание на собственном опыте убедиться в совершенстве этого приспособления, я к вашим услугам. Вы ведь знаете Пьетро, — сказал капитан, указывая на громилу, который в каждой руке держал по топору. — Так вот, Пьетро считает, что китайцы замышляют убить его, поэтому в Китай он должен попасть во что бы то ни стало. Ему вряд ли понравится, если кто-то захочет нарушить его планы. И вы знаете священника, он — художник, и наверняка ему захочется запечатлеть новые земли. Имейте в виду, человек он коварный, виртуозный отравитель, да и ножом пользуется отнюдь не только за столом, когда режет хлеб. И он, и мой брат Аржентино хотят увидеть Китай, поэтому давайте прекратим спор. Подумайте лучше о славе, которая вас ждет. Есть здесь хоть один человек, которому не нужна слава?

— Есть, — раздался голос.

— Почему?

— Потому что ни мертвому, ни живому от нее особой пользы нет. Счастья слава не приносит.

— А золото? Золото тебе тоже не нужно?

— Нет.

— Почему, черт возьми?!

— Потому что счастья деньги тоже не приносят. Могу, если хотите, перечислить те вещи, которые приносят счастье.

— Нет. Надеюсь, тебе понравится наше путешествие, а перечислить вещи, которые приносят счастье, ты успеешь и на обратном пути, когда мы все вернемся в Венецию баснословно богатыми и знатными людьми. Когда человек построил первый корабль, все стояли на берегу и говорили: «Какая от него польза? Чем плохо ходить пешком?» Кто-то ведь должен быть первым.

Тем временем узник прожил в трюме еще одну неделю.

— А получается, черт возьми, недурно, — вынужден был признать Лукас. — Особенно контрастные цвета. Надо будет их у него позаимствовать.

По прошествии нескольких недель с командой стали твориться странные вещи. Кок, к примеру, прыгнул за борт, потому что капитан наотрез отказывался есть рыбу без базилика. Базилик на ужин. Базилик на обед. Даже на завтрак базилик. Рыба — все равно какая, но базилик — обязательно.

— Не угодно ли рыбу с лимоном или с чесноком?

— Нет.

— С миндалем невероятно вкусно.

— Нет. С базиликом.

— Соус с перцами так хорош, что в драке из-за него погибло несколько человек.

— С базиликом.

— Рыба с луком и шпинатом считается моим лучшим блюдом.

— Базилик.

Бросился за борт кок ночью, и утром готовить рыбу с базиликом было некому, хотя он и оставил подробные инструкции. Спустя восемь часов в воде обнаружили человека. Это был кок.

— Это кок, капитан.

— Исключается, — заявил капитан, глядя на пловца. — Кок выпрыгнул за борт вчера — не мог же он столько времени плыть вслед за нами. Остается предположить, что это демон в обличье кока или же дракон в обличье демона. Он знает, что я съел много базилика, чтобы спастись от него, и теперь хочет попасть на корабль, чтобы уговорить меня перестать есть базилик.

— Может, и так, — сказал первый помощник капитана, — но ведь мы все знаем, что земля круглая.

— Ну и что?

— Так вот, — продолжал первый помощник капитана, — а раз земля круглая, значит, мы могли — при условии, что мы находимся возле самого полюса, — сделать за это время полный круг и встретиться с коком, который выпрыгнул за борт вчера вечером. — Теория получилась красивая.

Капитан перегнулся за борт.

— Кто ты?

— Я кок. А ты кто?

— Я капитан. Почему ты спрашиваешь?

— А почему ты спрашиваешь, кто я такой?

— Потому что подозреваю, что ты дракон в обличье демона, который хочет подняться на корабль, чтобы уговорить меня перестать есть базилик.

— Что ж, в твоих словах есть логика, — сказал кок, — но если б я и в самом деле был драконом в обличье демона, я занялся бы делами поинтересней, чем плавать вокруг твоей посудины. Я же подозреваю, что все вы — демоны в обличье моих бывших товарищей и что ваша цель — заманить меня на борт и ввести в искушение.

— Что лишний раз доказывает, что ты и есть дракон в обличье демона.

— Либо... — начал кок.

— Либо?

— ...либо вы и в самом деле мои бывшие товарищи, но тогда навигатор из тебя никудышный и корабль описал полный круг.

— Такое может сказать только дракон в обличье демона.

— Подумай сам, какой смысл дракону в обличье демона оскорблять тебя, называя самым никудышным капитаном во всем христианском мире, если он хочет подняться на борт?

— Напротив, дракон в обличье демона станет специально оскорблять меня именно таким образом, чтобы никто не подумал, что он хочет подняться на борт.

— А тебе не кажется, что великая рыба-кит может взять и съесть этого дракона в обличье демона? — поинтересовался Лукас, подходя к борту с этюдником под мышкой. — Мне, например, всегда хотелось написать Иону во чреве китовом.

— А тебе не кажется, что дракон в обличье демона может назвать тебя волосатой обезьяной с бородой, растущей из ушей?

— Возможно.

— Послушайте, мне начинает это надоедать. Либо подымайте меня на борт, либо научите, как утонуть. А то я запамятовал.

— Тебе не терпится поскорей попасть на корабль, вот в чем все дело.

— Ничего подобного. Ладно, увидимся завтра утром, когда вы совершите еще один полный круг.

— Утопите этого дракона в обличье демона, — приказал капитан.

Матросы принялись забрасывать кока святыми мощами, однако мощи были слишком легкими и потопить кока не удалось.

Они плыли еще три недели, но земли видно не было. Вскоре, однако, команде стало ясно, что о бунте нечего и думать, ведь вернуться назад они все равно не смогут и, кроме того, если они будут командовать сами, то им некого будет ненавидеть. Оставалось плыть вперед.

И тут вдруг Лукасу открылось будущее.

— Мне открылось будущее, — сказал он капитану.

— И что ж ты там увидел?

— Море, — сказал Лукас.

— А что еще?

— Больше ничего.

— В таком случае, — заметил капитан, — мне оно тоже открылось. Оно волнистое, мокрое, серое, верно?

— Ты что, мне не веришь? Я знаю, каким будет море завтра в это самое время.

— Отлично, — сказал капитан, — но ведь ровно через двадцать четыре склянки мы все тоже будем это знать, поэтому я не вполне понимаю, как нам использовать твой дар в своих интересах.

— Прекрасно, в таком случае я напишу море, каким оно будет завтра.

И, схватив кисть и краски, Лукас бросился писать волны такими, какими они будут на следующий день, а также тучи, похожие на навозные кучи.

Каково же было удивление матросов, когда на следующий день они увидели, что море и небо именно такие, какими их написал Лукас, сам же Лукас заявил, что тучи удались ему лучше, чем самому Господу Богу. Он сел и написал море, каким оно будет на следующий день — серое море и тучи, похожие на обледеневших рептилий. И на следующий день море и небо в точности соответствовали его картине. Матросы были потрясены.

— Мы достигнем земли? — спросили они Лукаса.

— Да, — ответил он. — Будущее открывается мне все ясней и ясней. Мы увидим сушу через шесть дней. — За это время он много играл в кости и выиграл все деньги, которые матросы предполагали потратить по возвращении.

— Однажды в Португалии я посетил одну мудрую старуху. Она была слепа и беззуба, но, пососав у вас, она могла предсказать вам будущее. О точности ее предсказаний ходили легенды, — припомнил капитан.

— Что она сказала? «Мммммггг, ммггххх, ммммбббггг»? — спросил Лукас.

— Нет, она предсказала мне мое будущее.

— И что же она сказала?

— Не знаю. Я не говорю по-португальски. Я понял только, что мне предстоит долгое путешествие. А впрочем, кому хочется знать свое будущее? Тогда бы мы все сидели на суше. — У него разболелся зуб.

Ровно через шесть дней, как и было предсказано, они увидели на горизонте землю и собрались уже высадиться на берег, но тут сообразили, что обнажены: Пьетро развесил за бортом всю их одежду, надеясь, что она выстирается в волнах, однако плохо закрепил веревку, и одежда свалилась за борт. Будь это не Пьетро, а кто-то другой, ему бы не поздоровилось.

— Мы спасены, — заунывно твердили матросы, прыгая в шлюпку. На корабле остался только Пьетро.

— Вон за тем прибрежным холмом течет река, — предупредил их Лукас. — Там вы увидите аппетитнейшие фруктовые деревья. А сейчас я вынужден с вами расстаться — дела. — С этими словами он углубился в рощу и написал автопортрет: художник висит на

суку, а у него под ногами по упавшей ветке стремглав бежит белочка. Уникальное произведение искусства.

— Так вот, значит, как обстоит дело, — сказал Лукас и повесился. Спустя минуту белочка замертво упала на землю. Таким образом, Лукас не видел, как появились местные жители, которые при виде поглощаемых фруктов не смогли скрыть своего разочарования. Матросы были безоружны — носить оружие капитан им не разрешал. Эти странные дикари, которые настолько примитивны, что ходят нагишом, не разрисовывают себе щеки и не способны даже изобрести оружие, показались местным жителям забавными; обидно было только, что о пощаде они взывали на своем наречии, поэтому о чем именно шла речь, туземцы, к сожалению, понять не могли, хотя истошные крики незваных гостей их даже тронули. За ужином у туземцев возник спор, кто эти голозадые пришельцы — люди или же совершенно новая, доселе неведомая порода обезьян. Из всей команды спасся только один капитан; со мной и с мешком фруктов он сел в лодку и поплыл на корабль, где Пьетро в это время точил свои топоры.

Мы подняли паруса и вновь вышли в море.

В безбрежное море.

И поплыли куда глаза глядят.

Нетерпеливой меня никак не назовешь, но даже я с трудом переносила тяготы нашего бесконечного путешествия. Вскоре капитан и Пьетро перекидывались словом не чаще одного-двух раз в день и не переступали черты, разделявшей корабль на две части. За руль они становились по очереди. Компас вышел из строя. Определить же путь по солнцу, тем более по звездам они были не в состоянии.

На палубе стояли огромные бочки с дождевой водой. Время от времени капитан и Пьетро закидывали в море сеть и ловили рыбу. А также морских птиц, если Господь посылал им птиц. Кусты базилика росли частично во мне, а частично в том, что осталось от Горгонской вазы. Сушеные фрукты, орехи и мед поглощались регулярно и с неизменным аппетитом. Все свободное время капитан и Пьетро ругали друг друга последними словами, заранее договорившись, что больше одного раза в день произносить одно и то же ругательство нельзя, в результате чего последними словами дело обычно не ограничивалось. Кроме того, они подолгу без устали спорили о том, кто из их знакомых был самым большим прохвостом, и в конце концов сочли, что наилучшие шансы занять в этом конкурсе первое место имеет один генуэзский брадобрей.

Так прошло полтора года. За это время мы ни разу не видели землю.

Точнее говоря, не мы, а они. Я-то видела землю в сорока, пятидесяти, шестидесяти милях, однако держала язык за зубами. Несколько раз мы проплывали от земли совсем близко, однако из-за темноты или тумана ее не замечали. Дважды мы не заметили землю потому, что в это время капитан и Пьетро осыпали друг друга ругательствами. Они видели вдалеке корабли, но не могли сообразить, что это. Развитию смекалки длительное путешествие по морю способствует далеко не всегда.

Они не перенесли бы лишений, если бы им дважды не пришла продовольственная помощь. В первый раз — в виде белого медведя, стоявшего на маленькой льдине, которая некогда была, надо думать, гигантским айсбергом; медведь был голоден и раздражен, однако против Пьетро, решившего, что под медвежьей шкурой скрываются коварные китайцы, оказался бессилен и он. Во второй — в виде выдолбленной из дерева пироги, доверху наполненной ананасами. В результате дележа ананасов отношения между путешественниками лучше не стали.

И вот однажды ночью корабль внезапно сел на мель и развалился.

Путешественники, с трудом передвигая ноги, вышли на берег. В поле они увидели пахаря.

— Не убивай его, пока я не задам ему несколько вопросов, — сказал капитан.

— Мы плывем из Венеции, ищем христиан и хотим торговать, — сказал он, стараясь говорить как мо-о-ожно ме-е-едленнее. К моему удивлению, пахарь не бросился бежать, ибо за вежливостью, как это нередко бывает с людьми, не расслышал угрозы.

— Моряк, я — пахарь, а не придурок, и по слогам говорить со мной не обязательно.

— Как тебе удается так хорошо говорить на нашем языке?

— А тебе?..

Больше пахарь ничего не успел сказать, поскольку Пьетро ударил его ногой в живот.

— Одним китаёзой меньше. Надо же, научились говорить на нашем языке — врасплох нас застать хотят, — заметил Пьетро и умер от истощения.

А капитан двинулся дальше и вскоре увидел перед собой город, который показался ему очень похожим на Венецию, ибо Венецией и был. В Венеции они подняли паруса, два года бороздили моря и океаны и вот теперь высадились в двенадцати милях от венецианского порта. Умер капитан не сразу: он еще несколько дней неустанно ходил по городу, спрашивая у прохожих, как добраться до Большого Бельта, или же прося милостыню, чтобы было на что вернуться в Венецию и рассказать соотечественникам о Китае, а также о том, что люди, в сущности, везде одинаковы.

Розе такой финал не нравится, и я вновь погружаюсь в ее прошлое, дабы скрасить себе настоящее.

A P
З 23 О
О О
О О

Роза идет в паб. Она ненавидит пабы, но после карри у нее нестерпимая жажда.

— Я не люблю индийскую кухню, Мариус.

— Настоящей индийской кухни ты не знаешь, — говорит Мариус.

— Нет, все что угодно — только не индийскую.

— Ничего ты не понимаешь.

Еда отвратительная, ресторан дорогой.

— Не плачу за тебя только потому, что боюсь обидеть, — говорит Мариус.

Она заказывает апельсиновый сок — пить хочется ужасно. Середина дня, тихо. Бармен на мгновение исчезает, и в эту самую секунду к ней подходит незнакомый мужчина и спрашивает, нет ли у нее мелочи — ему надо позвонить. Вернувшись, он подсаживается за ее столик и вежливо интересуется, не хочет ли она с ним выпить. Вообще-то ей пора домой, но от карри по-прежнему ужасно хочется пить.

Они беседуют так, словно знают друг друга всю жизнь. Через полчаса ей начинает казаться, что ни с кем еще ей не было так хорошо. Она старается не паниковать — это ведь все равно, что встретить старого знакомого. Незнакомого знакомого. Нового старого. Он шутит, но держится естественно, одеяло на себя не тянет. Вежлив, но настойчив. Она прикидывает, какие у него могут быть минусы. Имеется в наличии подруга? Супруга? Или он убежденный холостяк? Динамист? Смертельно болен? За ним охотятся бандиты? А может, у него член по трагической случайности еще в детстве попал в газонокосилку?

Поэтому когда он говорит: «Я бы с удовольствием пригласил вас в ресторан, но завтра рано утром я уезжаю в Австралию — навсегда», она даже испытывает некоторое облегчение — на этот раз, по крайней мере, все сразу же встает на свои места. Розе (как это ни печально) не понять того, что понятно мне: человек он увлекающийся, попрыгунчик, и сейчас ему надо бы не с девушками знакомиться, а вещи собирать.

Роза готова к такому повороту событий и вида, что пала духом, не подает. Стараясь не замечать, как ее покусывает за пятки злодейка-тоска, Роза широко улыбается и спрашивает, знает ли он уже свой адрес в Австралии, — она подумывает провести там отпуск. Он удивлен, но вынимает ручку и на бумажной салфетке записывает свой адрес.

Он — кинооператор. Снимает «живую природу». Увлеченно рассказывает ей про джинтамунгов и вопилкаров. Роза пытается ему втолковать, что ей давно хочется в Австралию и как было бы славно, если б они там встретились. Она втайне надеется, что он предложит ей уединиться в первом попавшемся укромном местечке. Впрочем, ей давно известно: вся загвоздка в том, что с теми, кто предлагает уединиться в укромном местечке, уединяться, тем более в укромном местечке, почему-то не хочется; те же, с кем уединиться очень бы даже хотелось, никогда вам этого не предложат. «Мне пора — надо собираться», — говорит он. Она чуть было не предложила помочь ему сложить рубаш-

ки, но вовремя сообразила, что это несколько преждевременно. Он идет к двери, она смотрит ему вслед и испытывает непреодолимое желание осыпать поцелуями его мужественное, загорелое лицо, впиться зубами в поджарые ягодицы.

Она попробовала убедить себя, что не так уж он неотразим, однако вскоре поняла, что думать о нем без трепета не в состоянии. Он — именно то, что ей нужно. По дороге домой она дважды достает из сумочки салфетку с адресом, чтобы удостовериться, что ей все это не приснилось, что есть документ, подтверждающий основательность ее видов на будущее. Ей даже приходит в голову переписать этот адрес куда-нибудь еще, но нет с собой ручки. Всю дорогу она размышляет, можно ли купить в Австралии приличное свадебное платье. Наверняка это не просто, но она постарается.

Перед тем как сесть в ванну, она решила изучить адрес еще раз, чтобы спуститься с небес на землю, но сумка куда-то делась. Исчезла. Пропала. Улетучилась. Она одевается и идет в паб той же дорогой, какой возвращалась. Потом идет домой. Проделывает тот же маршрут трижды. Заявляет о пропаже в полицию.

В Мельбурн она тем не менее вылетает. В отеле только ночует — целыми днями просиживает в самых посещаемых общественных местах, помещает объявление в газете. Второе объявление дает через три дня после первого, а третье — от полной безысходности — накануне отъезда. Она побывала во всех местах, имевших отношение к «живой природе», а также в нескольких музеях, где любовалась, чтобы отвлечься, старинными вазами.

Спустя год, в течение которого она сначала сидела без работы, а потом зарабатывала тем, что сдавала кровь, ей позвонили из полиции. Сумочка нашлась, ее выкрал у нее какой-то парагваец и не отдавал потому, что ему, по его словам, «страх как» понравилась Розина фотография. «Пальчики оближешь», — заявил он. Что ж, если это было испытанием ее чувств, то она это испытание выдержала. В кармашке сумки лежала аккуратно сложенная салфетка с адресом.

В Австралию она вылетела через два дня, взяла в аэропорту такси, однако в доме по этому адресу — небольшом, уютном особнячке — располагалось чешское консульство. Она решила, что произошла ошибка и что номер дома не 48, а 148 или 84, однако не нашла его и по этим адресам. Набравшись смелости, Роза дрожащей от огорчения и невезения рукой нажала все-таки на кнопку звонка в консульстве — она ведь понимала, что если не сделает этого сейчас, то все равно придется вызывать такси и ехать сюда специально. Женщине, открывшей ей дверь, она объяснила, кого ищет, и та вызвала полицию.

Тогда она поместила в газету еще одно объявление, поймав себя на том, что, если бы проводилось первенство мира на самые сложные поиски знакомых, она бы, как минимум, вошла в число призеров. Она сидит в кафе «Аргентина» и изучает меню; с интересом читает в газете заметку о женщине, которая ломала себе левую ногу тринадцать раз, причем дважды, когда нога была еще в гипсе. В двенадцатый раз она сломала ногу, когда переходила улицу и ее сбила, неизвестно откуда взявшись, машина. У нее было время повернуться к машине правым боком, однако она этого не сделала. Перелетев через капот, она упала на асфальт и левой ногой угодила под колеса другой машины — бронированного «мерседеса», за рулем которого сидел продавец мороженого. После этого женщина слегла и, клея конверты, чтобы заработать себе на пропитание, больше из дома не выходила — она хорошо запомнила слова цыганки о том, что, судя по тому, как легли карты, ее левая нога опять находится под угрозой и что ей следует избегать футбола любой ценой, а ведь она никогда не играла в футбол, никогда не ходила и не собиралась идти на стадион. Предсказания цыганки не вызвали у нее поэтому ничего, кроме смеха, однако через несколько дней в спальне рухнул потолок, и ей на ногу, опять на левую, переломив пополам берцовую кость, упал ящик, доверху набитый футбольными программками, которые всю жизнь собирал сосед сверху. «Хорошо, — думает Роза, — когда заранее знаешь, что переломов будет не больше тринадцати, — тогда, по крайней мере, можно их считать, утешая себя тем, что четырнадцатый тебе не грозит. Может, и мне посчитать свои неудачи? — а вдруг их число окажется значимым, двадцать три, например, — столько же, сколько мне лет. И тогда в один прекрасный день и в мою постель угодит, может статься, Тот, Кого Я Жду».

К ней подходит официант и рекомендует местное фирменное блюдо — игуану.

— Что, свежую?!

— Нет, замороженную. Но вам понравится.

Ночью, ложась спать, она натягивает на голову одеяло, чтобы спрятаться от жизни. Ее гостиничный номер беден обстановкой и богат тоской: нелюбимая мебель, бесчувственные занавески, постель, которой любовь строго противопоказана. Имя ее невзгодам — легион. Ей до того тоскливо, что она способна только дышать. Лежать и дышать. Она думала провести здесь несколько недель, но ей звонит аукционистка и просит произвести оценку каких-то там серег.

Ру-у-уки па-а-адают. Я вызнала у Розы все, что могла.

— Только ты одна меня понимаешь, — вздыхает она, крепко прижимая меня к себе.

Роза засыпает.

Конец

Роза встает, подходит к зеркалу и обнаруживает там себя.

Возвращается Никки.

— По-моему, у нас новый сосед, — сообщает она. — Супер. — Сверху доносятся тяжелые, глухие звуки. — Либо он не любит свою мебель, либо обожает трахаться. Если будет продолжать в том же духе, то рухнет потолок и он вместе с ним.

Роза задумывается — это ей что-то напоминает.

— Может, выставишь квартиру на продажу. Глядишь, и молодые люди объявятся. — Никки зевает. — Устала как собака. Есть козлы, которые думают, что если баба им дала, то надо всю ночь ей на жизнь жаловаться.

Роза заваривает чай.

— Скажи, Никки, ты счастлива?

На такие темы Никки предпочитает не говорить. Вопрос представляется ей бестактным.

— Ты ведь все время переезжаешь с места на место. Ты что, хочешь что-то найти или, наоборот, потерять?

— Я об этом не думала. И то и другое.

— Ты счастлива?

— Да. Думаю, да. Если только все из рук не валится. Теперь-то я себе уяснила: всего иметь все равно нельзя. А раньше думала, что можно. Когда знаешь, чем можно пожертвовать, становится легче жить. Свободнее. Если, конечно, есть чего ждать от жизни.

Появляется Морковка. Пришла позаимствовать у Розы брючный костюм. Набрасывается на новую банку с маринованной свеклой.

— И кто только такие банки делает?!

— Тебе приготовить что-нибудь поесть? — спрашивает Роза.

— Нет-нет, я сыта.

— А тебе, Никки?

— Я тоже не хочу, — отвечает Никки, с интересом изучая Морковкину грудь. — Чего-то зуб опять разболелся.

Одного не могу понять: почему не полечить зуб героином.

Звонит Мариус. Волнуется за свою коллекцию.

— Это Мариус. Горшки не дают ему покоя.

— Хорошо его понимаю, — отзывается Морковка. — Я тоже по своим мишкам скучаю.

— По каким еще мишкам? — Никки облизывает языком зубы.

— Плюшевым. Я их всю жизнь собирала, с самого детства. Их у меня больше двухсот штук было.

— Двухсот?!

— Некоторые были совсем маленькие — мини-мишки. — Открывает банку с пюре и запускает туда столовую ложку. — Для меня они были лучшими друзьями. Я покупала плюшевых мишек после экзаменов. Я покупала мишек за границей. Я получала мишек на день рождения. Одного мишку мне подарили после аборта. Каких только плюшевых мишек у меня не было: и мишки в автомобиле, и мишки в подводной лодке, и мишки в самолете, и мишки на лыжах, и мишки с сердечками, и мишки на свадьбе, и мишки в парламенте, и мишки в коротких кожаных штанишках, и мишки на летающих тарелках, и мишки с карандашом вместо члена.

— Чего только не придумают, — говорит Никки. — И что же с ними случилось?

— Съехалась я как-то с одним — плюшевых медведей на дух не переносил. — Морковка взялась за фруктовый соус. На этот раз крышка от банки сопротивлялась недолго. — «Чтобы я их больше не видел», — говорит. Я спорить не стала: спрячу их, решила, куда-нибудь, а там посмотрим — но он настоял, чтобы я их в мусорный бак выкинула. В его присутствии.

— И чем же они ему так не угодили?

— Сама не знаю. Не нравились ему плюшевые медведи, и все тут. «Пакость», — говорит. Бросила я мешок с мишками в бак, возвращаемся мы домой, через час выбегаю — думала, заберу, а их уже нет — должно быть, он без меня их из бака достал и куда-то выкинул.

— И сколько же ты с ним прожила?

— Два дня, — говорит Роза.

— Не два, а три! — Морковка обижается — впрочем, ненадолго. Она так разволновалась, что расплескала фруктовый соус по всей кухне. — Я потом целую неделю по городской свалке бродила, а вдруг, думаю, найду их. Мне моих мишек до сих пор не хватает — они ведь меня так поддерживали!

— Поддерживали в смысле — были тебе верны, да?

— Да.

— Надеюсь, он их тебе заменил?

— Я бы не сказала. Он считал, что привычный способ устарел... — Морковка с удивлением смотрит на помидор в парике из фруктового соуса. — Я, наверно, неясно выразилась.

— Куда уж ясней. И каким же способом пользовался он? — Никки не скрывает своего интереса.

— Этого я так и не узнала.

— Вместо женщин он спал с плюшевыми медведями, — подала голос Роза, пряча шоколадные конфеты.

— Это точно, — подхватила Никки. — Весь плюш им спермой залил.

— Не будем излишне доверчивы, — пускается в рассуждения Роза. — Вот вам пример. Когда я училась в последнем классе, кто-то из моих одноклассников предложил съездить на денек в Брайтон. Сами ведь знаете, когда тебе восемнадцать, на другой конец света поедешь, не то что в Брайтон. Да еще с компанией! Ехать решили в пятницу — я это до сих пор помню, потому что по пятницам у нас три химии подряд было. Встаю утром и жду, когда за мной приедут. Жду, жду — не едут. Через пару часов звоню узнать, где они. Думала даже на оставшиеся уроки пойти, но потом решила, что у них, скорее всего, что-то в пути случилось: колесо спустило или еще чего, и что они скоро приедут и будут недовольны, если меня не застанут. Так они и не приехали. И знаете почему? Потому что в школу пошли. А меня разыграли. Мне эта шутка тогда не понравилась. Да и теперь нравится не слишком.

— Ты, я вижу, поддерживаешь связь со школьными друзьями, — говорит Никки.

— Со временем я пришла к выводу, что так устроен мир. Люди тебе врут, а потом от души удивляются, что ты воспринимаешь их слова всерьез.

— Да, и матушка у меня точно такая же, — подхватывает Морковка. — Зачем я, спрашивается, пришла к ней после второго аборта? Расстроенная, в слезах. Чтобы она меня обняла, приласкала, ободрила: «Ладно, доченька, не принимай близко к сердцу, все устроится, вот увидишь», чтобы утешила по-матерински, даже если бы ей и пришлось покривить душой. А она знаете что мне сказала? «Еще б ты не расстраивалась! Есть отчего. Погоди, это еще цветочки... Они вас в школе не тому учат. Битва при Гастингсе никому не нужна. Вот если б они вам разъяснили, что жизнь улыбается богатым, а бедным пинки раздает, — от этого прок был бы».

— Что верно, то верно, — задумчиво говорит Никки. — Самому важному они как раз и не учат. Мне это, помню, первый раз в голову пришло, когда я свою классную руководительницу в постель затащила. В школе нет такого урока, где б тебе доходчиво объяснили, что счастье — это когда твоя голова в чужой промежности находится.

— Ты спала со своей классной руководительницей?! — Морковка не верит своим ушам.

Не исключено, что Никки специально переводит разговор на неприличную тему, ибо руководствуется старой как мир истиной: если хочешь, чтобы гусиная печенка сама влетела тебе в рот, не забудь пошире раскрыть окно.

— А что тут такого? Я тогда уже школу бросила. Встречались мы в клубе. Бывает. Это ведь тоже образование.

Морковка настолько потрясена услышанным, что даже не в состоянии есть Розины горячие булочки.

— Скажите честно, — говорит Роза, — вы знаете хоть одну счастливую пару? Или пару, которая прожила счастливо хотя бы несколько месяцев? Я знаю немало людей, которые живут вместе годами только потому, что им не хочется разъезжаться и они научились мириться с отвратительным характером своего сожителя.

— Почему же, знаю... — говорит Никки, которую лично я никогда бы не заподозрила в защите семейных ценностей. — Более странной работы у меня в жизни не было. Этот тип — в сорок-то лет — умирал от рака и решил подыскать жене нового мужа. Дал объявление в газете: не «требуется новый муж» или что-то в этом роде, а «ищу менеджера» — у него свое дело было. Пересмотрел он несколько десятков мужчин, отсеял безнадежно семейных, зануд, кретинов, оставил всего несколько человек, а потом нанял таких, как я, чтобы испытать кандидатов в деле, проверить, помогают ли они женщине снять пальто или выйти из машины, будут ли из вежливости слушать нашу болтовню и всегда говорить нам правду. Словом, операция получилась крупномасштабная. Мне достался парень из Бирмингема. Вы ведь знаете анекдоты про бирмингемцев, про то, какие они там все ослы? Так оно и оказалось. Осел на осле. Кончилось тем, что из десятка кандидатов он выбрал троих и познакомил их с женой за неделю до смерти.

— И она за кого-то из них вышла замуж? — полюбопытствовала Морковка.

— Чего не знаю — того не знаю.

— Вообще-то я фисташки не люблю, — говорит Морковка, запуская руку в вазочку с орехами. — Когда я работала в турагентстве — кончилось это нервным срывом, — все мужчины только и делали, что на женщин пялились. Все, кроме одного. Этот же целыми днями твердил о том, как ему хочется поскорей вернуться домой к жене. Вечерами они с женой обычно сидели дома и женаты были уже несколько лет. Трогательно, правда?

— Принял, выходит, удар на себя? — уточнила Никки.

— М-м-м? — промычала Морковка, энергично жуя бобовый салат.

— Принял на себя удар, говорю. В этом все дело, — говорит Никки. — Принес себя в жертву. И как только тебе удается оставаться такой худой? — интересуется она у Морковки.

— От чужой пищи не толстеют, — отвечает за подругу Роза. — И все-таки из того, что вы рассказали, вовсе не следует, что эти отношения были прочными. Десятилетний счастливый брак может оборваться так же неожиданно, как трехлетний несчастливый. Тот самый тип, который искал себе замену, искал, быть может, нечто несуществующее — специально чтобы жена его не забыла.

— А мне-то казалось, что ты не такая циничная, как я, — говорит Никки.

— Как вы думаете, почему мужчины в наше время норовят поскорей смыться? — вопрошает Морковка, открывая банку с анчоусами. — Кто-нибудь хочет анчоус? — осведомляется она, как будто открыла банку не для одной себя. — Раньше как было? Перевернется на другой бок, захрапит, а утром ему еще завтрак подавай. Теперь и того нет. Встанет — думаешь, в туалет, а он выйдет в коридор, вызовет по телефону такси — и только его и видели!

— Мы живем не в самое лучшее время, — говорит Роза.

— Мужчины уходят — секс остается, — замечает Никки.

— Не знаю, с кем ни поговоришь — все жалуются, — говорит Морковка. — А журнал откроешь — вообще сплошные стенания!

— А все потому, что счастливые помалкивают — им твои жалобы слушать некогда.

— Не скажи, — говорит Морковка. — Бывает, драишь ванну, поглядишь в окно — и ощущаешь почему-то прилив счастья. Как будто от чужой любви и тебе перепало. — И, подцепив вилкой очередной анчоус, продолжает: — Я собираюсь на курорт — загар сошел, но одной ехать что-то не хочется.

— Не понимаю, какой смысл ехать в отпуск с мужиком? — возражает Никки. — Это все равно что умывальник с собой везти. Разве только заранее знаешь, что в том месте, куда едешь, умывальников нет. Кстати. Могу рассказать, как я на одну парочку работала. Работа тоже — нарочно не придумаешь. Они были женаты лет десять, не меньше, и каждый год ездили на две недели отдыхать. Но — порознь. Договаривались, например, ехать

в Венецию, но она вылетала утренним рейсом, а он — вечерним, поэтому в какой гостинице она остановилась, он не знал. Жила она под другим именем, одевалась по-другому, прическу тоже меняла, и он должен был за две недели ее отыскать. При этом следовало соблюдать множество всяких правил — в отеле, например, отсиживаться днем не разрешалось. Игра отчасти состояла в том, чтобы каким-то образом друг друга приманивать, а в конце надо было выяснить, кто на что клюнул.

— К чему это все?

— Как ты не понимаешь — чтобы отношения оживить. Если он ее не находил, то по возвращении должен был каждый день гулять с собакой; если же находил — с собакой гуляла она.

— Неясно все же, зачем в прятки-то играть?

— Не знаю, ребята они, по-моему, были с приветом, хотя и славные. В прятки же они играли, мне кажется, исключительно чтобы пар выпустить. В общем, сложно.

— Как вы думаете, когда есть проблемы, воспоминания помогают? — спрашивает Роза.

— Это смотря какие проблемы и какие воспоминания, — отзывается Никки.

— Дело не только в сексе, — говорит Морковка. — Я, скажем, очень любила что-нибудь ему покупать. Его любимую еду, например. Это все равно что собаку кормить — он так радовался!

— Главное — это знать, что на них можно положиться, — говорит Роза. — Это ведь важней верности. Знать, что в безвыходной ситуации они тебя не бросят, что, когда в городе пожар, они забудут про служанку-француженку и кинутся искать тебя.

— Неужели ты думаешь, что если трое видных, умных мужиков собрались за столом, то хотя бы один про нас вспомнит? — размышляет вслух Морковка.

— Вряд ли, — говорит Никки. — Скорее всего, они будут говорить о футболе.

— А футбол-то тут при чем? — недоумевает Морковка.

— Абсолютно ни при чем. Тема разговора ничего не имеет общего с круглым кожаным предметом, который пинают ногами, — замечает Роза.

Никки уходит мыть голову (и не только голову), Роза же выпроваживает Морковку.

— Жаль, что я не могу тебе помочь, — говорит она. — Если б можно было нажать кнопку, я бы тут же нажала. И не только кнопку. Но, по правде говоря, я не уверена, что мы чем-то можем помочь друг другу. Да и самим себе тоже. Сегодня я видела белку: она беззаботно прыгала с дерева на дерево, но вот ветка сломалась, и белочка стала, как безумная, карабкаться по ней, думая, что этим поможет делу.

Ее руки ло-о-ожатся на меня, и я рассказываю ей про Город Улиток, которые катались на лыжах.

Терминатор

На следующее утро Роза отправляется в Бирмингем установить подлинность античной сковороды. Перед отъездом думает, взять ли меня с собой, и в конце концов оставляет в сейфе вместе с разным хламом.

Через пятнадцать минут после ее ухода замок в сейфе поворачивается, и появляется улыбающееся лицо Никки. Судя по всему, когда Роза набирала шифр кодового замка, Никки не дремала.

— Возьму тебя с собой на память, — говорит.

Похоже, готовится Генеральная уборка. Горгонскую вазу водружают на камин, меня же Никки ставит на стол, а сама отправляется принять прощальный душ. Пользуясь случаем, дотягиваюсь до Горгонской вазы и пребольно ее пинаю.

Он входит. Новая дверь и новый замок не слишком серьезно относятся к своим обязанностям.

Его оранжевые волосы стоят торчком — кажется, будто он воткнул в голову несколько больших перепуганных оранжевых морских звезд. Темные очки — модная маскировка. Ядовито-зеленый костюм. Перчатки. Надо либо быть совершенно незаметным, либо настолько заметным, чтобы никто тебя не заметил.

В руках небольшая сумка, из которой он достает пистолет. Встречает выходящую из ванной Никки ласковой улыбкой.

— Я по делу. Прости, что свалился тебе на голову.

Никки тут же прикидывает, что будет, если она, как водится, побежит-закричит, однако приходит к выводу, что в данном случае этот испытанный способ не сулит ничего хорошего.

— Садись. Расслабься. — Он пытается растянуть удовольствие. У Никки мокрые волосы и красное белье. — Вашу ручку, мадам. — Достает чернила и бумагу, снимает ее отпечатки пальцев, а затем, вооружившись лупой, сравнивает их с отпечатками на фотографии, которую прихватил с собой.

Вынимает список.

— Итак, Магнета Скотт? Бланш Рикенбауэр? Кандида Джонс? Оливия Фрэмптон? Вайолет Наджент? У вас богатое воображение, юная леди. Каким же именем прикажете вас называть?

— Каким хочешь.

— В данное время ты — Никки, верно? Люблю идти в ногу со временем.

— Прости, не разобрала твоего имени.

— Меня зовут Терминатор.

— Оригинально.

— С таким именем можно двойную цену брать. Клиенты уверены, что их обслужат по первому разряду. Если тебя зовут Фред Блогс, ты на одном имени теряешь несколько тысяч. Не спорю, почти все мои клиенты так глупы, что не знают, что это имя значит, но звучит оно как надо. Некоторые не способны даже его произнести и называют меня «Тер». А ты, я смотрю, девица не промах.

— Чем могу служить, мистер Терминатор?

— Можешь, если захочешь, совершить самоубийство. И учти, если ты веришь во всякий вздор вроде того, что убийцу, мол, следует разговорить и тогда он увидит в своей жертве человека и ему будет труднее совершить убийство, — то я не из таких. Почему ты не спрашиваешь меня, с чего я начинал?

— С чего ты начинал?

— С того, что придушил этого жирного ублюдка. Болельщика «Манчестер юнайтед». Считается, что убивать людей тяжело. Ничего подобного. Я ведь почти ничего с ним не делал. Так... придавил слегка. Ты когда-нибудь замечала, как отвратительны толстяки. Жиру много, а шейка тоненькая. А вообще-то, если тебе не приходится зарабатывать убийствами на жизнь, считай, что тебе повезло.

— Буду иметь в виду.

— Так вот, когда этот ублюдок с тоненькой шейкой перебежал мне дорогу, мне всего-то было шестнадцать лет. Я ничего не хочу сказать, в тюряге было не так уж плохо, лучше секса, чем там, у меня сроду не было, да и судебную медицину я изучил хоть куда. Когда вышел, первым делом пристроил в газету историю своей жизни, возвращаюсь домой, думаю, чем бы заняться, а тут кто-то из соседей интересуется, не могу ли я его делового партнера убрать. Бухгалтера. Убрать так убрать. Я заставил его трахнуть беременную женщину, а потом — оставить предсмертную записку, что, дескать, жить стало невмоготу. Уходя, даже головы не повернул.

Достает целый пук волос.

— Я их собираю, — говорит, раскидывая волосы по всей комнате. — Люблю заставить судмедэкспертов как следует попотеть. Волосы, можно сказать, со всего света. Кровавый след. От игуаны. Им понравится: «Что же здесь, интересно знать, игуана делала?» Придется и твои волосы тоже взять.

Ставит на стол пустую бутылку.

— Нашел ее на помойке за углом. Все равно они ничего не пронюхают, но пускай стоит: если идти у них на поводу, многого не добьешься. На, оставь на стекле отпечатки. Улик оставлять нельзя — каждый знает, но ведь есть еще и улики наоборот, верно? А вот самая моя любимая улика, — говорит он, доставая пивную кружку. — Из нее пьет в моем пабе начальник отдела судмедэкспертизы. Обсудишь с ним последнее убийство, а потом кружку-то и приберешь — у меня их целая коллекция. В один прекрасный день они наверняка в каком-нибудь дельце всплывут... Ну вот, а теперь послушай. — И он вставляет кассету в новый видеомагнитофон.

— Самогонщик? — догадывается Никки.

На экране появляется человек. Минут пять, с каждой минутой багровея все больше, сквернословит; срывается на истошный крик, от которого, хотя Терминатор и приглушает звук, закладывает уши.

— Ты должна ответить, — говорит Терминатор и включает карманный магнитофон.

Никки откашливается.

— Самогонщик, я прикидывалась: с тобой я не кончала ни разу. И потом, меньше пиписьки, чем у тебя, я не видела никогда, а пиписек в своей жизни я повидала немало. — Она замолкает. Такое оскорбление старо как мир, но не устареет никогда. Он вопросительно смотрит на нее, словно хочет убедиться: она говорит именно то, что думает. Затем выключает магнитофон.

— Будет чушь-то нести, — говорит он, убирая магнитофон в сумку. — А рожа у него и впрямь кирпича просит.

— Для него это не секрет. Хочешь, я тебе денег дам?

— А у тебя есть?

— Могу достать.

— Нет, не будем терять время. Я тебе как на духу скажу: даже если б у тебя и была при себе серьезная сумма, я б ее взял, сказал «спасибо» — и продолжал свое дело делать. Поэтому жизнь ты бы продлила себе всего на несколько секунд. Все бухгалтеры ведут себя точно так же. Лезут в кубышку и думают, что я сейчас же уйду. В этом, кстати, минус нашей работы: надеешься познакомиться с интересными людьми, а в результате — одни мужья и жены. Или же деловые партнеры — один из двух хочет все сливки снять. Им про меня все известно — но сдать меня в полицию они не торопятся: в один прекрасный день я и им могу понадобиться. Если в газете написано, что бухгалтер покончил с собой, надев себе на голову полиэтиленовый мешок или засунув в рот какой-нибудь фрукт, так и знай — это я. Не все, конечно, бухгалтеры мои, но много. Полицию иной раз такой смех разберет, что они и расследовать ничего не в состоянии. Однажды я даже убрал старшего констебля по просьбе заместителя старшего констебля. Вдовы не хотят, чтобы шли разговоры: муж сам смертельную дозу принял или ему помогли. За таких, как я, можешь не беспокоиться; беспокойся лучше за таких, как ты.

— Если денег не хочешь, может, хочешь чего другого?

— Нет, пожалуй, воздержусь. Это осложнит дело, и потом, не хочу тебя обидеть, но ты уже не та, что была раньше, — не в соку. Не сомневаюсь, подмахивать и стонать ты не разучилась, но я обойдусь. Кроме того, женщины, оказавшись в твоем положении, вытворяют невесть что. Один мой знакомый, находясь при исполнении, согласился, чтобы его жертва оказала ему сексуальную услугу, — и что ж ты думаешь? Она член ему откусила.

— Что, весь?

— Какая разница? Тем, что осталось, смело можно было пренебречь. И вдобавок ему еще дали шесть лет за покушение на убийство. Представляешь, просидеть за решеткой шесть лет, когда все тебя евнухом называют?! Так почему все-таки Самогонщик подослал меня к тебе? Ты что, его кинула?

— Вроде того. И не с кем-нибудь, а с его собственной супружницей. Этого он пережить не мог. Да и встречались-то мы недолго — а разговаривать и вовсе не разговаривали!

— Не мог пережить, говоришь? Странно, очень многих мужчин такой расклад устраивает. Что ж вы его третьим не позвали?

— Да он не особенно и рвался. Его, как видно, это не заводило, и потом, жена не уставала ему повторять, что со мной у нее получается куда лучше. Но меня, насколько я понимаю, ты навестил не поэтому. Она ведь ему еще на одну вещь глаза раскрыла...

— На что же?

— На то, что я не Никола, а Николас.

Терминатор падает со стула. Смеется до слез. Очень может быть, Никки врет. А возможно, и нет. Сама не знаю.

— Надо же! Если б мои бухгалтеры такое услышали, с ними бы родимчик случился. Да, дела... Давно я так не смеялся. Люблю такие истории слушать. Что ни говори, а общение — дело хорошее, не все это в наше время понимают. Ну ладно, к делу. Через несколько минут ты примешь много-много таблеток снотворного, идет?

— А если я не хочу?

— Тогда я тебя пристрелю. И тебе будет больно. Поверь, таблетки куда лучше.

— И ты полагаешь, что подозрений это не вызовет?

— Ты что, ни разу не бывала на следствии? Встречаются, конечно, очевидные случаи: банкротство, несчастная любовь и все такое прочее, но ведь есть и другие, много других. Про такие случаи родные и близкие обычно говорят: «Мы ж видели ее накануне. Щебетала, как птичка. Весела была, беззаботна!» Вот и про тебя то же самое скажут.

— Неделю назад меня уже приходили убивать.

— Ты же легко сходишься с людьми, верно? Поэтому то, что произойдет с тобой сегодня, покажется еще более убедительным, неужели непонятно? «Будут говорить: «Ирония судьбы! Еще неделю назад чудом избежала смерти от руки наемного убийцы, а сегодня — сама себя порешила». Люди любят о судьбе порассуждать. Несмотря ни на что.

— Должна тебя предупредить, — говорит Никки, немного повышая голос. — У меня есть ангел-хранитель, который не любит, когда меня убивают.

— Что ж он в таком случае молчит, твой ангел-хранитель? — Терминатор прикладывает ладонь к уху, давая понять, что внимательно слушает. Интересно, действует ли еще жучок, который Туша вставила в розетку за кипой лежащих на полу журналов? Да и сама Туша? — Ну что ж, получается, что в матче между ангелом-хранителем и Терминатором победу со счетом один—ноль одержал Терминатор. И куда только смотрит полиция?! Ладно, приступаем к пятиминутке смеха. Снимай штаны, становись на голову, представим себе, что ты ваза, а я вставляю тебе в промежность цветок.

За свою жизнь Никки приходилось принимать и более прихотливые позы, а потому она подчиняется, искусно балансируя на голове и плечах. Терминатор вынимает из дешевой современной вазочки нарцисс и всаживает его Никки между ног.

— Страх как люблю наблюдать за человеком, который готов на все, абсолютно на все, лишь бы прожить на несколько минут дольше. Но я задаюсь вопросом: стоят ли эти минуты того? Ты вот сейчас стоишь вниз головой и пялишься на этот дерьмовый ковер. Это я к тому, что, если б какой-нибудь подонок пришел ко мне и велел встать раком, я бы его послал.

— Рассказывай! Дай-ка мне пистолет — сейчас проверим.

— Ну, как тебе ковер?

— Ковер как ковер. Все лучше, чем жить в Маркет-Харборо.

— Поделилась бы лучше своим уникальным сексуальным опытом, — подзадоривает Никки Терминатор.

Боюсь, как бы Никки не пришлось простоять так весь день, что едва ли обогатит ее и без того уникальный сексуальный опыт.

— Однажды я поимела целую семью. В Тунисе. Сестру. Брата. Мать. Отца. Тетю. Дядю. Двоюродных братьев и сестер. Для полноты картины собиралась вдуть и дедушке — он был еще хоть куда. Но у них в соседнем городе родственники жили. Где-то же надо поставить точку, правильно?

— Недурно. Может, расскажешь в подробностях, чтобы было потом что вспомнить?

— Все они говорили одно и то же: «Только, пожалуйста, никому не рассказывай. Обычно я такими вещами не занимаюсь».

— Любопытно — но не очень неприлично. А как насчет жизни в целом? Ты не приобрела какой-нибудь сверхценный жизненный опыт, которым стоило бы поделиться?

— Сторонитесь оранжеволосых мужчин с пистолетом.

— Что-то ты очень легкомысленно настроена. С чего бы это? Я ведь пытаюсь завести с тобой серьезный разговор. Скажи, ты в чем-нибудь раскаиваешься?

— Нет. Ни в чем. Ошибки были, это верно, но раскаиваться мне не в чем.

— Плохо, когда ни о чем не жалеешь. Когда жалеешь, есть о чем подумать.

— А о чем жалеешь ты?

— Что не пристрелил двух щенков. Иду как-то домой после мокрого дела. Должен был пристрелить одного типа, вхожу и говорю: «Лечь на пол!» А он мне: «У тебя пистолет не настоящий». — «Настоящий», — говорю. Он запускает в меня ананасом — больно. Тогда я его пристреливаю, и вот иду по улице, подходят ко мне эти два щенка и требуют денег. Одному лет пятнадцать. А еще светло, да и полицейская видеокамера, смотрю, на крыше установлена. В кармане у меня пистолет, я спокойно мог их обоих пристрелить, пустить каждому по пуле промеж глаз и дальше идти. «А может, не стоит?» — говорю себе и отдаю им деньги. И что ж ты думаешь? Они отвалили? Черта с два. Щенок номер один достает складной нож, открывает его — сразу видно, впервые — и говорит:

«Лижи мне ботинки». И тут, представляешь, полицейская машина в двух шагах проезжает. «Давно надо было их замочить», — думаю, но, с другой стороны, раз уж линия поведения избрана, надо ее придерживаться. Тут мне приходит в голову, что кто-то, может, в окно сейчас выглянет и увидит нож, а может, полицейская машина снова покажется, я и говорю: «Там, — говорю, — видеокамера на крыше установлена». — «И что дальше?» — «Это ж улики». — «Улики? — недоумевает. — И что твои улики докажут?» Не знаю, чему их только в школе учат. «Лижи ботинки». Меня даже пот прошиб. Расстегиваю пиджак и демонстрирую ему пистолет. «Если не уберешься, — говорю, — мозги тебе вышибу». — «Это у тебя не пистолет, — говорит. — За кого ты меня принимаешь? Лижи мне ботинки, падла, работа у тебя, видать, не фонтан, раз в кармане всего тридцатка». Когда имеешь дело с желторотыми, действовать надо, а не в споры пускаться. Главное же, здравым смыслом не руководствоваться. Будь он профессионалом, он прибрал бы мои денежки и исчез — и на здоровье! Отдал бы и не пикнул. А здесь все наоборот: у него молоко на губах не обсохло, а я десятки людей на тот свет отправил — и под его дудку пляшу. Вести себя тем не менее стараюсь разумно, законопослушно, но тут его дружок, года на два старше, здоровенный амбал, подходит и бьет мне по яйцам. Отбирает пистолет. Лежу, корчусь от боли, вижу — мимо с кошелкой какая-то старушенция ковыляет. «Хоть бы она что сделала!» — думаю. Берет пятнадцатилетний мою пушку и дважды стреляет. «Это ж стартовый пистолет!» — говорит. Ничего себе стартовый — попадает в лобовое стекло полицейской машины, которая в полумиле от нас проезжает. Машина резко тормозит и ныряет в переулок. Потом пятнадцатилетний приставляет дуло к своему виску. Спускает курок. «Есть на свете справедливость», — думаю. Нет, разряжен, пропади он пропадом! Вот и пришлось мне ему ботинки лизать, пока он со своим дружком обсуждал, в какой паб им идти.

— А ты не раскаиваешься в том, что делаешь?

— Не особенно. Я ведь лишь сокращаю путь к смерти. Бессмертия я людей не лишаю. Разве что на несколько лет жизнь им укорачиваю.

— В данном случае больше, чем на несколько.

— Брось ты. Тебе сколько? Тридцать? Тридцать два? Лучшее время, стало быть, позади. Сейчас дорога под горку пойдет. Сиськи отправятся в долгое путешествие на юг. В этом возрасте затащить в постель можно разве что оплывшего жиром бухгалтера — больше с тобой никто не ляжет. Видишь, я спасаю тебя от самой безотрадной части жизни. Если разобраться, я еще тебе одолжение делаю. Ты футболом случайно не интересуешься?

— Нет. А ты?

— Как тебе сказать, болею за «Манчестер юнайтед», а не за футбол.

— В смысле?

— Объясняю. Настоящий футбольный болельщик хочет смотреть футбольный матч — восхищаться мастерством игроков, темпом, интригой. Я же хочу одного — чтобы «Манчестер» выигрывал все матчи до одного со счетом десять—ноль. Даже если команда противника вообще на поле не выйдет, я тоже возражать не буду. Хоть бы ее вообще не было. Мне главное, чтобы «Манчестер» побеждал все команды на свете, побеждал снова и снова. Со счетом десять—ноль. Чтобы приземлилась летающая тарелка, чтобы из нее вышли одиннадцать гребаных инопланетян и чтобы моя команда их обула — десять—ноль. Чтобы «Манчестер» был величайшей футбольной командой в истории космоса. Чтобы успех моей команды затмил всю мировую историю. Чтобы «Манчестер юнайтед» ассоциировался у всех со счетом десять—ноль.

— И ты ходишь на все их матчи?

— Нет. Ни на одной игре не был. Меня даже результат не особенно интересует.

— Почему?

— Потому что, когда они проигрывают, я расстраиваюсь. — Вы не поверите, но его пульс учащается с шестидесяти девяти до ста ударов в минуту. — Да, расстраиваюсь по-настоящему. — Пульс уже сто двадцать. Несколько раз ударяет кулаком в стену с такой силой, что больно должно быть не только руке, но и стене. Разбивает об стену стул. Пульс сто двадцать два. — Ничьи на меня тоже не действуют! — Пульс сто два.

Совершенство. Идеальный идеал. Совершенство, к которому стремишься. Или даже не стремишься.

— Однажды мне пришла даже в голову мысль убрать какого-нибудь игрока из команды противника, но разве бывает, чтобы молодой, богатый, здоровый и знаменитый олух взял и покончил с собой?!

— Исключения всегда бывают.

— Не скажи, в самоубийство все равно бы никто не поверил. И потом, многие совали бы в эту историю нос. Замочишь бухгалтера — и всем до лампочки. Да, кое-какие деньжата у него водились, но кого ж это волнует? Деловые партнеры не принимают случившегося близко к сердцу по той простой причине, что сами же киллера нанимали. Женам тоже по большому счету плевать: деньги теперь выпрашивать не надо, появились виды на будущее, заманчивые планы на отпуск, в доме стало просторнее, да и о том, какой фильм смотреть по телевизору, тоже можно больше не спорить. А попробуй пришей футбольную звезду — шмон пойдет такой, что ног не унесешь. Менеджеры, тренеры, болельщики. Да и дел у меня хватает, но иногда, прости господи, прямо руки чешутся. Особенно когда разрыв в очках минимальный. Тут бы заодно и парочку судей на тот свет отправить.

Терминатор заставляет Никки лечь на спину, поднять ноги, развести их и опускает в нее, как в чашку чая, несколько кусочков сахара.

— Я всегда спрашиваю человека, за кого он болеет, и, если оказывается, что за «Фулэм», спуску ему не даю.

— То есть?

— Ехал я как-то в поезде с болельщиком «Фулэма». Поперек себя шире. Я бы, конечно, все равно с ним разобрался, но фараонов, как назло, было в тот день больше, чем пассажиров. Вот и пришлось мне два часа слушать, как он пьяные песни горланит да похабные анекдоты травит. Слушай, подари мне что-нибудь на память — пару серег, например.

Входит Роза.

— Ты должна была уехать в Бирмингем, — говорит Терминатор, помахивая пистолетом.

— Я заболела. — Розе понадобилось всего несколько секунд, чтобы оценить ситуацию и понять, что посетитель — не очередной партнер Никки, которая всегда отличалась извращенными сексуальными вкусами, а очередной наемный убийца. Если Роза разочарована предсказуемостью увиденного, то Никки еще больше разочарована непредсказуемостью: она ждала Тушу, а никак не Розу.

— Я тебя понимаю, ты действуешь по пословице: «Лучше смерть, чем Бирмингем», но мне ты этим только хлопот прибавляешь. Ладно, раздевайся, — вздыхает он.

Только две команды в истории отношений между мужчиной и женщиной употреблялись чаще этой. Прямо скажем, наемные убийцы дурно воспитаны и в вашем доме им делать нечего.

Смотрит на Никки:

— Ну-с, время идет... у тебя осталось пять минут. Ты знаешь, что делать. — Его пульс учащается — восемьдесят четыре. Наконец-то его усилия будут вознаграждены. Никки впервые получает доступ к интимным прелестям Розы, но, похоже, в данный момент они ее интересуют не слишком. Роза раздевается — тоже без особого азарта: «Только этого еще не хватало». По-моему, Никки надоело тянуть время и она собирается перейти в наступление.

Дверь выпрыгивает на середину комнаты. На пороге — Туша. Она совершенно невозмутима. Терминатор, напротив, нервничает.

— Где ты была? — с упреком говорит ей Никки.

— Уж и чаю выпить нельзя, — отзывается Туша.

— Лучше поздно, чем никогда. Вышиби мозги из этого говноеда.

Терминатор все понял. Направляет дуло пистолета на Тушу, которая по-прежнему совершенно неподвижна.

— Я ведь тебе говорила. А ты мне не верил, — ворчливо говорит Туша.

— Ничего ты мне такого не говорила, толстуха.

— Если в меня выстрелишь, победа будет за мной. Цельсь в голову — увидишь, что там внутри.

Он стреляет ей в грудь, видит, что Туша никак на выстрел не реагирует, и выпускает

еще одну пулю — в голову. За мгновение до того, как Туша валится на пол, в небольшом отверстии, которое проделала во лбу пуля, я замечаю зеленые обои.

Терминатор подходит и наклоняется над ней — ему любопытно, что Туша имела в виду. Теперь, когда цель достигнута, вид у нее еще более отрешенный, чем при жизни. Она добилась успеха? Это зависит от того, в чем заключалась ее цель. Пистолет, насколько я понимаю, разряжен, и сейчас Никки наверняка поведет себя более агрессивно — чтобы не сказать отчаянно.

Терминатор стоит ко мне лицом; Роза и Никки — спиной.

Пришел мой черед. Вообще-то я не люблю вмешиваться. В двадцатые доли секунды я разрастаюсь до восьми футов в высоту и шести в ширину, переливаюсь всеми цветами радуги и демонстрирую Терминатору то, на что не в состоянии взглянуть ни одно живое существо, — его смерть. В результате он полностью теряет контроль над своими телесными функциями: те отправления, которые не должны отправляться, отправляются, и наоборот. Его пульс подскакивает до ста сорока трех, после чего падает безвозвратно, я же уменьшаюсь в размерах и принимаю прежний — сугубо керамический — облик.

Роза опускается на пол и начинает плакать. Никки бросается к трупам.

— Она была права. — Никки пристально смотрит на голову Туши, силясь вникнуть в происшедшее. — Мне нужен отдых. — Она звонит в полицию — не самой же покойников выносить!

В Горгонскую вазу, которая стояла у Туши за спиной, угодили две пули, после чего на нее рухнула сама Туша, поэтому восстановлению ваза, сколько бы клея и терпения на нее ни ушло, не подлежит. Место ей теперь в лучшем случае в каком-нибудь третьесортном провинциальном краеведческом музее. Хруст-хруст. Хруст черепков, на которые наступает Никки, ласкает мой слух. Целых черепков остается все меньше и меньше. А теми, что остались, займусь я. Со временем.

Откровенно говоря, судьба Горгонской вазы меня не сильно заботит, однако я должна уговаривать себя, что это не так. Ведь без тайного недоброжелательства жизнь становится пресной. Если никому не завидовать, не злобствовать, так и простоишь всю жизнь на полке — ваза вазой.

Сюрприз

Роза замечает, что вещей Никки нет.

На этот раз, правда, отсутствуют только вещи Никки — все остальные на месте.

Мы провели неделю в коттедже — приходили в себя. Роза знает — меня пора отдавать. Она даже подумывала меня купить, но Мариусу я так нужна, что с ним наверняка не сторгуешься. Придется теперь ждать, пока он отдаст концы. Десять лет? Двадцать? Ждать, думаю, придется долго: от одной мысли, что его родные и близкие, пока он жив, не получат ни гроша, Мариус будет чувствовать себя молодым и крепким: «Я дурно пахну, еле хожу, все на свете забываю, — а вы вокруг меня пляшете». Но Роза готова ждать — столько, сколько понадобится.

Отъезд Никки, как видно, не удивил и не огорчил Розу. Хуже, по крайней мере, не будет. Пройдет какое-то время, прежде чем она хватится своего красного белья. О причинах пропажи можно лишь догадываться. Не потому ли оно украдено, что всех нас больше всего привлекает не дающееся в руки? Не потому ли, что наше воображение может предложить нам такие лакомства, которых у жизни сроду не было? Никки достаточно умна, чтобы понимать и то и другое.

Приезжает аукционистка, и меня увозят.

— Как дела на любовном фронте? — спрашивает она у Розы уже в дверях.

— Безоговорочная капитуляция.

На улице мы останавливаемся — аукционистка роется в сумочке в поисках ключей от машины, и я — в отличие от нее — слышу, как в Розиной квартире звонит телефон. Вероятно, это Табата, потому что слышно, как Роза говорит: «Я сдаюсь» и «Что ты делаешь в полицейском участке в Баттерси? Берешь его на поруки?»

Рядом паркуется машина. Забита вещами. Кто-то, видимо, переезжает с квартиры

на квартиру.

За задним стеклом книги по зоологии — толстые, дорогие фолианты, предназначенные для узких специалистов. Монографии о джинтамунгах, вопилкарах и прочих представителях животного мира Австралии. Туристский реквизит. Видеокассеты. Из машины с энергией человека, начинающего новую жизнь, выпрыгивает мужчина. Высокий, смуглый — подводное плаванье, блужданья по джунглям. Волосы черные, густые — загляденье! Попрыгунчик.

В этот раз Никки ничего с собой не забрала только по одной причине: она не испытывала недостатка в средствах, ибо продала Розину квартиру.

Никки исчезла. Вместе со своей мечтой. Мечту трудно убить. Проблеск нового старта прекрасен, уверенность, что будущее не повторит прошлого, для большинства несгибаема. Роза владела квартирой единолично, о чем неопровержимо свидетельствовал лежащий в ящике стола документ. Странно, что Никки первой пришло в голову продать чужую квартиру. Почему-то считается, что если продаешь квартиру, то обязательно свою. Часто и подолгу отсутствуя, Роза предоставила Никки отличную возможность стать Розой. Сейчас чек наверняка уже обналичен, и Никки может смело платить по счетам, превращаясь из обманывающей в обманываемую.

Прогноз: она вернется — совершенно неожиданно для себя самой — в Маркет-Харборо и замкнет круг: закончит жизнь там, где ее начала. От въезда в Маркет-Харборо до выезда из Маркет-Харборо — дистанция длиной в жизнь.

Волосы и глаза у попрыгунчика — такие же, как у Швабры, а губы — как у дочки художника. Стало быть, в конце концов они все же соединились. Мне кажется, я видела его лицо в Розиной памяти. Смутно, но видела. Он взлетает вверх по ступенькам и открывает дверь ключом, который раньше принадлежал Никки. Судя по очертаниям его спортивной сумки, в ней — замороженная игуана. Скромных размеров.

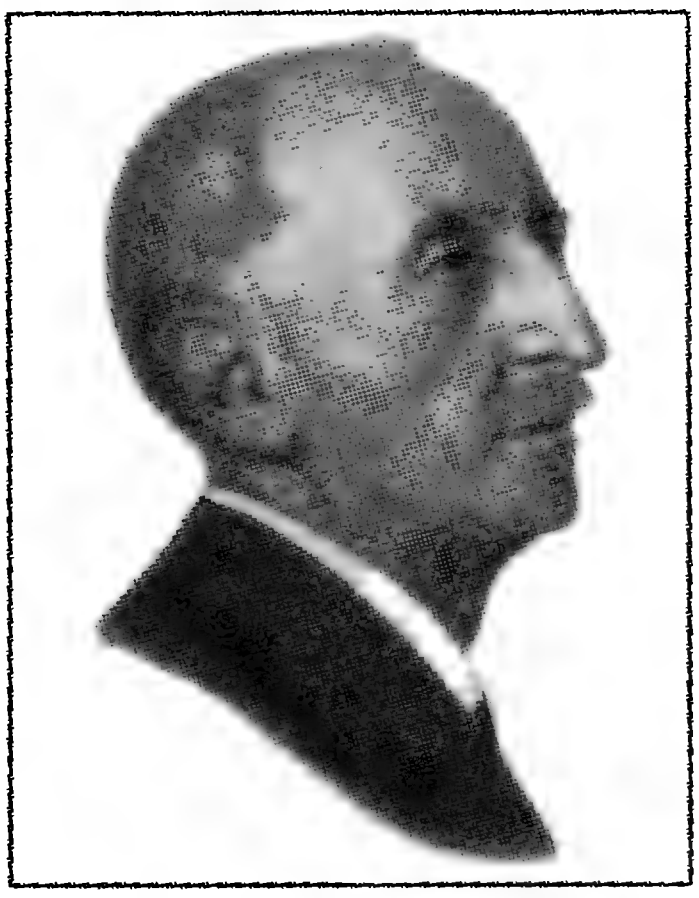
В эту минуту мы садимся в машину, и мне слышно только, как он говорит «привет», не слишком задумываясь над тем, что застает у себя в квартире хорошенькую полураздетую молодую женщину, которую он вроде бы где-то видел. Еще бы он задумывался — ведь у него в руках столько вещей. От произнесенного им слова все ее чувства оживают вновь. Это слово выстреливает ей прямо в сердце, и в первый момент она даже не понимает, что теперь всё позади. Роза молчит: переступающие через порог ее квартиры давно уже перестали вызывать у нее эмоции — как положительные, так и отрицательные.

Прогноз: с этим человеком Роза будет препираться всю оставшуюся жизнь. Со временем они будут говорить о Никки с теплым чувством — ведь только благодаря ей, этой непревзойденной сводне, им есть теперь где вместе жить. И получать умопомрачительное удовольствие друг от друга.

С годами он будет раздражать ее тем, что вечно опаздывает, а потом еще обвиняет в опоздании ее, Розу. Когда они пойдут на свадьбу к Морковке, Роза останется недовольна свадебным подарком, который поручено было купить ему. Он же, в свою очередь, придет в бешенство от того, какие она выбрала подсвечники, а также от того, как непочтительно она обходится с пауками.

Его не переспоришь.

■



БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН

Кукла

СТИХОТВОРЕНИЕ

Перевод с польского А. ГЕЛЕСКУЛА

Я — кукла. Светятся серьги росой нездешнего мира,
И сном по шелковой яви на платье вытканы маки.
Люблю фаянсовый взгляд мой и клейкий запах кармина,
Который смертным румянцем горит на матовом лаке.

Люблю в полуденном солнце лежать на стройном диване,
Где скачут зайчики света и где на выгнутой спинке
Безногий ирис витает у ног задумчивой лани,
А в тихой вечности плюша гнездо свивают пылинки.

Признательна я девчурке за то, что с таким терпеньем
Безжизненностью моею играет, не уставая.
Сама за меня лепечет и светится вдохновеньем —
И кажется временами, что я для нее живая.

И мне по руке гадая, пророчит она, что к маю,
Взяв хлеб и зарю в дорогу, предамся я воле божьей
И побреду, босоногая, по Затудальнему краю,
Чтоб на губах у бродяги поцеловать бездорожье.

Однажды судьба невзлюбит — и вот я собьюсь с дороги,
Останусь одна на свете, гонимая отовсюду,
Уйду от земли и неба и там, на чужом пороге,
Забыта жизнью и смертью, сама себя позабуду.

Подобна я человеку — тому, Который Смеется.
Я книгу эту читала... Премудростям алфавита
Я, словно грехам, училась — и мне иногда сдается,
Что я, как почтовый ящик, словами битком набита.

Хочу написать я повесть, в которой две героини.
И главная — Прадорожка, ведущая в Прадубравье,
Куда схоронилась Кукла, не найденная доныне, —
Сидит и в зеркальце смотрит, а сердце у ней купавье.

Два слова всего и знает, и Смерть называет Мамой,
А Папой могильный холмик. И все для нее потеха...
Голодные сновиденья снуют над пустою ямой,
А кукла себе смеется и вслушивается в эхо...

© А. Гелескул. Перевод, 1999

Конец такой: Прадорожка теряет жизнь на уступе…
Намеки на это были. Смотри начальные главы…
И гибнет кукла-смеялка с четой родителей вкупе.
И под конец остаются лишь зеркальце да купавы.

Писать ли мне эту повесть? Становятся люди суше,
И сказка уже не в моде — смешней париков и мушек…
Цветного стиха не стало… Сереют сады и души.
А мне пора отправляться в лечебницу для игрушек.

Заштопают дыры в бедрах, щербины покроют лаком,
Опять наведут улыбку — такую, что станет тошно, —
И латаные красоты снесут напоказ зевакам
И выставят на витрине, чтоб выглядели роскошно.

Цена моя будет падать, а я — все стоять в окошке,
Пока не воздену горько, налитая мглой до края,
Ладони мои — кривые и вогнутые, как ложки, —
К тому, кто шел на Голгофу, не за меня умирая.

И он, распятые руки раскрыв над смертью и тленом
И зная, что роль игрушки давно мне играть немило,
Меня на пробу бессмертья возьмет по сниженным ценам —
Всего за одну слезинку, дошедшую из могилы!

КЭНДЗИ МАРУЯМА

В небе снова радуга

РАССКАЗ

Перевод с японского ГРИГОРИЯ ЧХАРТИШВИЛИ

От автора

Тот, от чьего лица — иногда страстно, иногда отстраненно — ведется это повествование, не человек, а старый, потрепанный, но высококачественный фотоаппарат с двухлинзовым длиннофокусным объективом, который часто снимает то, что лучше не снимать, а временами и то, что снять вовсе невозможно. Он не только регистрирует тончайшие нюансы света и тени, стиснутые меж бело-черных полюсов дня и ночи, женщины и мужчины, неба и земли, духа и тела, добра и зла, жизни и смерти, но еще и отмеряет щелканьем своего затвора течение времени, а его сверхчувствительная пленка (400T.MAX) способна улавливать сияние, источаемое Вселенной. К сожалению, человек, который вот уже тридцать лет холит и лелеет эту допотопную камеру, то ли дилетант и тупица, то ли просто недотепа: и перевалив за пятьдесят, не понял, пессимист он или оптимист, — знай себе ловит безответным объективом непонятную жизнь других людей; его губы растянуты в самозабвенной улыбке, и на свете он совсем один.

В небе снова повисла беспутная радуга, летнее солнце, встряхнувшись, карабкается все выше,

невесомый дождь, принесенный заполошным южным ветром, с бешеной скоростью мчится дальше, за тучные пастбища, за широкие моря, в дальние страны,

а бесплотная, призрачная дуга наскоро приводит в порядок оцарапанный громовыми раскатами эфир и превращает

переменчивый, залитый сиянием ландшафт в многоцветное, аляповато-пестрое, но впечатляющее, весьма впечатляющее панно.

Прямо передо мной упавшим на землю зеркалом сверкает пруд-отстойник, которым не пользуются уже лет двадцать,

вода в нем такая прозрачная — трудно поверить, что она насквозь пропитана ядохимикатами, и даже комары не откладывают в нее личинок,

а после дождя, отполировавшего поверхность до нестерпимого блеска, пруд источает соблазнительное сияние, но птиц и насекомых блеск не обманет — они не подлетают близко,

хоть идеальная гладь мирно отражает колеблемые ветром стебли бамбука и окрестные холмы, похожие на песчаные дюны, или на древние курганы, и еще на переполненные молоком женские груди,

временами эти слепленные из первоклассной глины полушария хватают за полы дующий с моря ветер и сбивают, смягчают темп его страстных проповедей.

Неистовый свет августа и знойное марево, стиснутые между холмами и прудом, поневоле зависли над маленьким, заброшенным кладбищем,

таким старым, что местным жителям уже нет дела до его покосившихся угрюмых камней,

и оскорбленные духи предков больше не грозят возмездием неблагодарным потомкам,

а меж заросших могил, маня тенистой прохладой, высится одинокий клен, чья крона год от года разрастается все пышней и пышней;

© Maruyama Kenji, 1994
© Г. Чхартишвили. Перевод, 1999

его морщинистый, узловатый ствол лоснится, как лицо старого актера-неудачника,
лоснятся и тела тех двоих, что пристроились меж его жестких, как гранит, корней,
тела мужчины и женщины, которые в этот жаркий день поднялись так высоко в горы не затем, чтобы спрятаться от солнца под сенью клена,
ведь тень можно было найти и ближе;
пока грохотала и бесилась гроза, они сидели тихо-тихо,
зато теперь, когда тучи уплыли прочь, парочка намерена сполна насладиться долгожданным свиданием
и чувствует себя привольно, благо вокруг ни души —
как же мне не запечатлеть такую сцену!

Мужчина достал из сумки-холодильника банку пива, не спеша потягивает и напевает звучным, красивым голосом веселую песенку, которую в здешних краях отродясь не слыхивали,
бог знает, кто ее сочинил, эту песенку,
но ее лишенные всякого смысла слова, разносясь в раскаленном воздухе, чудесным образом исцеляют душевные раны и изгоняют из сердца горе и злобу,
хоть, казалось бы, нет в этой песенке ничего особенного,
и женщина раздевается догола, садится на мужчину сверху, а он все напевает,
женщина двигается быстрее и быстрее, ее волосы закрывают лицо,
ее бедра отлично знают свое дело, ее рука снова и снова откидывает длинные пряди,
с уст срываются бессвязные звуки, полные не то печали, не то радости,
они тоже похожи на песню;
с женщины ручьями льет пот, но жара ей нипочем, ее полуденное празднество в самом разгаре,
ведь нежданный ливень сократил время свидания наполовину,
а эти двое — не супруги, которым суждено быть вместе до гроба, их любовь обречена, греховна, недозволенна, может оборваться в любой момент,
их наслаждение от этого куда острее,
их короткое лето очертя голову несется к концу.

Но эта пара не забавляется извечной игрой полов,
не гонится по скоростному шоссе чувственности за острыми ощущениями,
они как маленькие дети, тянущиеся навстречу распростертым родительским объятьям,
как школьники, азартно соревнующиеся в перетягивании каната;
женщина самозабвенно бьется о тело мужчины, и он тоже забыл обо всем на свете,
не знаю, готовы ли они отдать друг за друга жизнь, но если на свете существует любовь, то это она самая и есть, беспримесная и бескорыстная,
жаль только, что оба они уже не в первом расцвете молодости,
но, с другой стороны, еще и не ссохлись от старости,
пройдет немало лет, прежде чем женщина станет похожа на увядший, утративший аромат цветок,
ее кожа будто искрится и потрескивает от неистовства гормонов,
а мужчина мускулист и поджар,
его сорокалетнее тело налито волшебной силой, его жажда страсти неутолима —
ей-богу, эта черно-белая композиция куда интересней, чем картинка, запечатлевшая любовную возню какой-нибудь юной пары.

Они одурманены друг другом и, конечно, меня не замечают,
но подглядываю за ними не только я; за любовниками неотрывно наблюдают глаза женщины, совсем маленькой женщины, еще ребенка.

Она спряталась за огромным, развалившимся на две половинки надгробьем, прижалась к нему и смотрит, смотрит,

я вижу ее детский профиль, ее широко раскрытый глаз,
и не похоже, чтоб ей было хоть капельку стыдно,
девочка хочет увидеть все с самого начала до самого конца, ничего не упустить,
это зритель, еще более увлеченный, чем я;
она не испугалась грома и змеистых молний, вымокла вся до нитки, но своего наблюдательного поста не покинула,
и теперь жаркое, самое жаркое за все последние десятилетия лето быстро высушивает ее слипшиеся волосы и платьице;
девочка заняла наиболее выгодную позицию, ей все-превсе видно,
даже само сочленение, безостановочное, влажно бликующее,
но мне такой ракурс не годится — слишком близко,
физиологические подробности мне, разумеется, неинтересны,
я хочу запечатлеть не жадное соитие,
а весь этот ландшафт, в котором неотъемлема каждая деталь: и старое кладбище, и пруд, и холмы, и клен, и насыщенный влагой воздух, и подглядывающий ребенок.

За сегодняшний день девочка повзрослеет на несколько лет
или же просто утратит душевную чистоту и детскую невинность, ожесточится — не знаю,
в любом случае хорошо, что она меня не замечает,
хотя, если и заметила бы, то вряд ли бы испугалась — похоже, нервы у нее крепкие;
до чего же мне сегодня везет,
вот если бы только она еще чуть-чуть повернула лицо в мою сторону, кадр вышел бы просто идеальным,
и от предвкушения мой заскучавший, съежившийся объектив наливается силой и блеском.

Легкий ветерок подхватывает ароматы потаенного свидания и относит к пруду,
по лицу женщины видно, что она добра, умеет чувствовать и любить,
по мужчине видно, что он сам себе хозяин, живет на свой вкус и лад,
как посмотришь на них, сразу ясно, что им друг с другом просто и легко, им не из-за чего спорить и ссориться,
происходит то, что и должно было случиться,
тут не из-за чего страдать, впадать в отчаяние, накладывать на себя руки.

Каждая новая встреча сбрасывает с их плеч бремя вины, оживляет обоих лучше любого витамина,
такие не побоятся ни сплетен, ни осуждения,
но и не будут тешиться романтическими мечтами о бегстве,
это взрослые, здравомыслящие люди,
а их исступленная страсть объясняется просто — у женщины закончились месячные.

Оживляя монотонность травы и листьев, весело пляшут пятна света,
над каждым — косой луч, тянущийся от самого солнца,
временами налетает жаркий, закаленный в странствиях над морями и долами ветер,
он неукротимей медведицы, защищающей своих медвежат, бесноватей угодившего в сети сивуча, безумней потерпевшего крах честолюбца,
и любовники тоже все больше входят в раж,
на безымянном пальце у женщины золотое кольцо, оно вспыхивает так победно, так ослепительно, что этот блеск, должно быть, видно
и с моря, где корабль тащит белый след к горизонту,
и с неба, где парит высматривающая спасительную тень птица,
и с дальнего поля, где под линией высоковольтных передач горбатятся крестьяне.

В руке у подглядывающей девочки крепко зажат мягкий и сочный персик,
надкушенный, со следом острых и ровных зубов,
я любуюсь фактурой и цветом плода, а думаю вот о чем:
зачем она это делает —
чтобы найти ответ на мучающие ее вопросы?
или ее отрядил выслеживать кто-то из взрослых?
а может, она, подобно ястребу, стрелой взмывшему из-за ближнего холма, наткнулась на парочку совершенно случайно и стала подглядывать просто из любопытства?
не знаю, ума не приложу;
ястреб лениво чертит круги, волоча по земле черную, четкую тень,
он не высматривает добычу, а бесцеремонно таращится на любовников, можно сказать, вторгается в чужую частную жизнь,
потом все так же неспешно удаляется, пролетает прямо под аркой чудо-моста;
великолепная радуга наверняка отражается и в глазах женщины, которая, изогнувшись, словно натянутый лук, смотрит вверх, в прозрачно-синее небо,
да и само полуденное соитие без радуги выглядело бы совсем иначе.

Акт любви не снижает темпа, становится все стремительней, все напряженней,
пожалуй, он похож на иссушающее, сводящее с ума погружение в сложные философские материи —
та же безоглядность, та же готовность броситься мотыльком на свечу,
а когда цель будет достигнута, наступит просветление, придет покой, появятся силы противостоять ударам судьбы;
все это так, но как быть с подглядывающей?
что будет с ней дальше? не превратится ли она в распутницу, готовую сойтись с кем угодно?
или, наоборот, испугается и устыдится буйства плоти?
мне-то что, я спокоен, я хладнокровнее людей, даже ослепительное семицветье гигантского небесного моста не заставит меня грезить наяву,
но все же, не убоявшись высоких слов, скажу: этот акт любви — наивысшее, чистейшее проявление страсти, той страсти, которая позволяет вкусить подлинности и полноты бытия,
а не жалкий вызов рутине и условностям,
и не сладострастные игрища заправских искателей плотских удовольствий.

Встречаясь, эти двое пугливо не озираются по сторонам, не жалуются на судьбу, не предаются мрачным думам,
встречаясь, эти двое смотрят друг на друга без уныния и печали, им неведомы сомнения или смущение, они просто бросаются друг другу в объятья, самозабвенно и безоглядно,
не тратят времени на ненужные слова.

Я их подстерегаю уже не в первый раз.
Кажется, в четвертый, но накал их страсти не слабеет,
а иначе разве стал бы я совать нос в их дела,
им не по душе автомобильное сиденье, пол или раскладной диван,
они всегда встречаются под открытым небом,
там, где трава, солнце, ветер и простор,
мне приятно смотреть на их обнаженные тела в обрамлении полей, с задником в виде синей череды гор на горизонте,
а каков был кадр, когда шел дождь, и они смеялись, и их лица блестели от капель,
такая картинка — лучшее лекарство для тех, кто устал от жизни и людей,
пусть самим любовникам это невдомек, но для меня они — ценная находка,
превосходный объект для съемки,
я не сомневаюсь, что результат будет первоклассным.

Он разводит пчел, плывет по жизни бродячим облаком, а она живет мерно и монотонно, твердо стоя ногами на земле, но когда эти двое сходятся, они уже не просто пчеловод и домохозяйка,

его больше не гнетет бессмысленность метаний с места на место,

ей больше ни к чему бояться встречи с зеркалом;

конечно, им приходится таиться от людей, но приступы отчаяния, страх осуждения, взаимные подозрения и задние мысли — все это не для них,

их отношения — не пустячная связь, но и не бог весть какая драма,

не знаю, что еще сказать по этому поводу.

Женщина живет на краю городка в маленьком доме, окруженном высокими летними травами,

у нее работящий муж, славная дочурка, размеренная, устоявшаяся жизнь,

это не кокетка и не вертихвостка,

ее мир — купать в тазу хохочущую малышку, напевать возле старенькой стиральной машины, ничем не выделяться, ждать мужа, который после работы принесет чего-нибудь вкусненького, стрекотать в саду газонокосилкой.

Врет она легко и естественно, не моргнув глазом,

но это вовсе не означает, что она всю жизнь прячет истинное лицо под маской — иначе она не умела бы быть такой счастливой;

спросить бы ее: «Зачем ты это делаешь?»

Мужчина, к которому она так жадно льнет, разводит пчел — работает на своей двухтонке один, без помощников,

в фургоне у него перевозная пасека, а спит он в видавшей виды, но крепкой палатке;

веселый человек, залетная птица: разбил лагерь на берегу реки, где густо растут белые акации, и живет здесь все лето, тягучее и монотонное, словно жужжание пчелиного роя;

утром и вечером он слушает тихую речь природы, ночью видит сны и верит им, луна и звезды его давние друзья, его вечная спутница — тишина;

он всегда спокоен: и когда жарит на сковороде свежее мясо (шипит и брызжет кровь, в небо тянется дымная струя), и когда воюет с чужими пчелами (большущими, тигровой окраски), которые напали на его подопечных, и когда, заболев, лязгает зубами в лихорадке, и когда из дому приходит письмо с просьбой вернуться, и когда обнаруживает возле палатки следы медвежьих лап;

он не бывает растерян или взволнован, ни перед кем не гнется, говорит без обиняков, не принимает скоропалительных решений и никогда не перебивает говорящего.

Но даже издалека видно, что это человек сильных страстей;

когда он идет один, освещенный луной, я вижу: он настоящий, он существует на самом деле,

не то что здешние мужчины, они против него — труха, никто с ним не сравнится,

ни старый фронтовик, воевавший за морем,

ни добряк, всю жизнь помогающий людям,

ни ученый умник, поднаторевший в словесных баталиях.

Мужчина встает, когда занимается рассвет, и первым делом смотрит на небо, чтобы понять, какой нынче ждать погоды;

вид у него при этом такой, будто он не дождевые тучи выглядывает, а прозревает судьбы человечества на сто лет вперед;

пчелы, по-моему, рады-радешеньки, что работают на этакого хозяина, и, когда он приближается к ним без защитной сетки, без дымовика, ни одной не взбредет в голову его ужалить, ведь пчелы — твари дисциплинированные и привязчивые, они помнят добро;

так он и живет, этот человек, под солнцем и ветрами со своими медосборщицами,
живется ему куда вольготней и приятней, чем какому-нибудь богачу, унаследовавшему папочкино состояние,
или актеру, гастролирующему с труппой по городам и весям,
или клерку на хорошей должности, с завидной зарплатой,
ведь он не терзается сомнениями, не боится нарушить установленные кем-то правила, не прислушивается к сплетням, никто не запудрит ему мозги,
и он лучше всех знает, что такое труд.

Как только бродячий пчеловод поселился на краю долины, я сразу почувствовал, что в городке будто воздух переменился;
в вечерних сумерках у реки мужчина пишет несколько слов на листке, идет полем под звездами, пересекает нейтральную зону и сует бумажку в выемку меж корней ели, что растет неподалеку от самого крайнего дома, а наутро из дома на велосипеде выезжает женщина, она едет за покупками, но на обратном пути непременно сворачивает к ели, быстро сует руку в ямку, разворачивает листок, и ее щеки розовеют;
от листка исходит аромат скорой радости, и ноги налегают на педали с удвоенной силой,
женщина насвистывает песенку, да так красиво, куда там мастерам художественного свиста;
эти двое не привыкли ни над чем ломать голову,
в них нет алчности, разъедающей ткань жизни;
когда, освещенные солнцем, мужчина и женщина бок о бок идут по долине, то не произносят ни слова, но они ближе и понятней друг другу, чем заядлые любители выяснять отношения;
а когда они сливаются в объятьях, ничто не отравляет им радости — ни мрачные тени, ни мысли о скорой разлуке, ни накопившееся раздражение,
есть только бурное и светлое слияние, только самозабвенный полет двух душ и больше ничего, совсем ничего.

Женщина ликующе вскрикивает, и эти ритмичные звуки пружинят о склон круглого холма и заряжают энергией весь этот августовский день,
в долине кипит обычная работа: солнце вытягивает из земли влагу, и от этого воздух над травой колеблется и поблескивает,
голос неба радостен, но отчаянные полустоны-полувсхлипы его заглушают,
вовсю стрекочет травяная живность, но и ее почти не слышно.

Девочка смотрит во все глаза на невиданное действо, и лицо у нее такое, будто ей явилось Божье Чудо,
полные сладости и муки стоны проникают в каждую клеточку детского тела, убедительнейшим образом поясняя,
что такое — быть женщиной,
что такое — жить;
губы девочки то и дело приоткрываются перламутровыми раковинками, и с них тоже срываются тихие, непроизвольные стоны;
я знаю, в эти минуты она вдруг поняла, почему взрослые,
корча кислые рожи,
сгибаясь под ветром и дождем,
седея от горя,
тем не менее продолжают жить:
а все очень просто — *на свете есть радость*.

Девочка знает, что взрослые постоянно врут,

все, кого она знает — родители, учителя, соседи, — живут так скучно и бездарно, что лучше бы не жили вовсе,
и никуда от этого не денешься, скука и бездарность так же неизбежны, как смерть,
но сейчас перед девочкой приоткрылась тайна жизни:
оказывается, жить все-таки стоит,
даже если судьба забросила тебя в забытую богом дыру,
даже если ты упал и не можешь подняться,
даже если ты нищ и голоден,
даже если тяжкая болезнь выбрала из всех именно тебя,
даже если тебе суждена лихая смерть — рухнуть наземь, выплевывая сгустки черной крови;
девочку научила этому знанию не рано поумневшая подруга и не телесное созревание,
она просто увидела и поняла.

Люблю наблюдать, как пробудившиеся инстинкты окрашивают невинную душу в свою серо-багровую окраску,
меня с души воротит от чистюль, гнушающихся вульгарностью,
я не считаю, что надо стыдиться знойных слов, если их нашептывает подлинная страсть,
а любовь, опасная, побуждающая к безумным поступкам и непоправимым ошибкам, по-моему, достойна восхищения.

Мой объектив вибрирует от волнения, когда ему доводится снимать любовь, подобную огненному фейерверку,
я скрупулезно регистрирую тончайшие нюансы света и тени,
лучше, чем люди, понимаю смысл каждого сказанного слова,
такая любовь — редчайший из моих трофеев, и, наблюдая за ней, я думаю вот что:
пускай с точки зрения большинства она достойна осуждения, пускай даже преступна,
но эти двое, которые беспечно спариваются под радугой, словно не ведающие стыда бабочки или стрекозы, — не прожигатели жизни и не искатели острых ощущений;
мне отчетливо слышен голос этой любви,
отрешившейся от горестных мыслей и безысходного отчаяния,
измельчившей в прах свинцовую тяжесть бытия,
не боящейся ни судьбы, ни небесного суда,
не заботящейся о выгоде;
этот громкий голос таит в себе самую суть бытия,
он гораздо честней, чем пустозвонство брачного обета, который дают перед алтарем жених и невеста (черт знает, что они при этом на самом деле думают);
даже тот, кто, единственный из множества, уцелел в катастрофе, не сможет издать ликующего звука подобной чистоты;
мой мощный объектив, в котором вся моя жизнь и все мои органы чувств, способен ухватить этот голос —
не сам звук, а триумфальный трепет изогнутой женской шеи, сзади покрытой нежным пушком.

Девочка, которой в одночасье открылась сложнейшая из истин, понемногу приходит в себя,
теперь она просто любуется красивым зрелищем,
она и сама красива, гораздо красивей обычных детей, ничего не знающих о мире взрослых;
на тонкой ключице блестят капельки пота,
если в них заглянуть, то наверняка увидишь миниатюрное отражение двух переплетенных фигурок.

А женщина все никак не насытится, не накричится;
у нее звонкая душа юной девушки и такой же звонкий смех,
это самка, живущая в такт месячным циклам,
я знаю, что она обманывает своего мужа, но не для того, чтобы сравнить достоинства двух любовников,
она не думает, кого выбрать, от добра добра не ищет,
с каждым из мужчин ведет себя естественно, как естественна река, несущая свои воды к устью;
оба уверены в ее любви,
она не дура, чтобы подрывать эту уверенность,
хоть не вырабатывает никаких стратегий и тактик.

На земле еще не высохшая лужица мочи — это девочка присела, когда шел дождь;
на лужицу слетелись пестрые бабочки, одна нарядней другой,
их трепещущие крылышки похожи на паруса, и я вспоминаю пожелтевшие сепиевые снимки, сделанные много лет назад:
на них юнцы того чахлого поколения, которое самую малость опоздало на войну, —
если б не атомная бомба, загремели б они на фронт, стали «лепестками хризантемы» по приказу командования и во славу тогдашнего императора,
но бомба их спасла, и они пустились в беспечное, бесцельное плавание на дрянной, кое-как сляпанной яхтенке;
сам не пойму, чем они меня так заинтересовали, но я повсюду таскался за ними и щелкал, щелкал;
давно это было,
смешно они говорили между собой, беспрестанно вставляя американские словечки, к родине у них полагалось относиться с пренебрежением, зато иностранцев они слушали разинув рот и, как слову Божьему, внимали модным песенкам, которые напевала победившая их страна,
а в плавание они пустились, так и не договорившись между собой, куда, собственно, плывут;
поначалу всё пыжились —
тучи им были нипочем, в лютый холод они говорили: «Ну и жарища»,
называли своим отцом солнце, славили полноту жизни и права молодости,
по вечерам непременно упивались в дым
и многое, очень многое презирали:
рыбаков, дожидающихся штиля, чтобы выйти в море,
тех, кто суеверно помечает в календаре удачные и неудачные дни,
своих соотечественников, которые сами затеяли бучу, а потом поджали хвост,
вековые снега, сверкающие на вершине большой горы,
старые обычаи и нравы,
почтение к учителям,
массовую культуру,
беззубую внешнюю политику
и даже автомобили отечественного производства.

Герои той давней суматошной эпохи были изрядными хвастунами, обожали трескучие фразы, но каждый из них был сам по себе и сам за себя,
вся компания состояла из одиночек;
старших они держали за неудачников и слушать их не желали,
над моралью, законами и прочей ерундой посмеивались;
мне удалось сфотографировать отчаяние, просвечивающее сквозь самонадеянность их гримасничающих лиц,
только закончилось все печально:

их детская вера во всемогущество логики не выдержала испытания штормом и волнами,

сколько раз повторяли они, что не сойдут с корабля, пока не постигнут до конца вечную философию течений и светил,

но достаточно им было разок попасть в передрягу,

достаточно было одному из них сгинуть в морской пучине,

и их братство тут же рассыпалось в прах,

катастрофа сначала повергла их в оцепенение, потом они заныли, по-бабьи расхныкались, и пришлось посылать за ними спасателей,

а кончилось тем, что они стали как все — вернулись на берег, образумились и растворились в том самом «феодальном обществе», которое так безжалостно осуждали;

что осталось от них в моей памяти:

мешанина из Востока и Запада, пустая болтовня о свободе да еще их смехотворные повадки.

Какое-то время я еще следовал за ними, хоть мой интерес и поостыл, но никаких путных снимков так и не вышло;

про свою яхту, гниющую у причала, незадачливые мореплаватели забыли,

нет, хуже — сделали вид, что забыли,

и принялись жить-поживать и добра наживать;

раньше, во время плавания, они так любили позировать, а тут стали от меня прятаться,

стали нервничать, чувствуя на себе безумное око моего объектива;

ах, как я ошибся, вообразив, будто они особенные, будто они способны прожить жизнь, какой не бывало прежде;

да, был в моей карьере и такой период,

с тех пор миновало больше тридцати лет, я повидал всяких людей, набрался опыта, и на такую дешевку меня больше не купишь,

это, видно, и называется зрелостью,

уже лет десять, как я научился выбирать действительно стоящие объекты для съемки,

для этого не нужно отправляться за тридевять земель, не нужно мчаться через равнину по скоростной магистрали,

достаточно побродить в окрестностях нашего городка, и обязательно найдешь то, что искал;

никто здесь не взглянет на меня косо, никто не возмутится,

все ко мне привыкли — во всяком случае, так я думаю...

Я наблюдаю за миром людей,

высматриваю и запечатлеваю моменты, когда судьба выхватывает кого-то из череды будней и окунает в жизненный поток, бурлящий горячей кровью,

снимок подбирается к снимку, и вместе они образуют что-то вроде хроники нашего городка,

и не спрашивайте меня, почему она сложилась так, а не иначе,

спросите лучше того, кто днем и ночью высматривает добычу, целясь в нее, словно ружьем, моим объективом,

да-да, спросите его, моего хозяина,

обычно взгляд у него виноватый, погруженный в себя,

но когда щелкает затвор, глаза его сужаются в щелку, зажигаются сумасшедшим пламенем,

он родился на свет только для того, чтобы подсматривать, наблюдать за человечеством,

и, кажется, уже не помнит, что сам принадлежит к этому племени,

а с меня какой спрос, я всего лишь его слуга;

мой хозяин обладает отличным нюхом, он долго учился своему ремеслу, но, когда он смотрит на объект, на его лице смятение и суеверный страх,

такое вот у него хобби,
и ничего особенного, вреда он никому не приносит,
в городке, где почти ничего не происходит, такой человек, по-моему, очень кстати,
и я благодаря ему хорошо узнал эти края,
узнал и полюбил.

Острый взгляд иглой проходит сквозь меня, сквозь празднуемое под палящим солнцем торжество плоти, сквозь тело мужчины, проницательней любого гадальщика читает потаенное в глубинах сердец,
а обратным током на подсматривающих изливается ясная, светлая благодать;
возьмем девочку:
в таком раннем возрасте она уже поняла про жизнь самое главное,
сегодня под сенью умопомрачительной радуги ей выпала удача — увидеть праздник любви,
и она перестала быть обычной школьницей, истомившейся от безделья за долгие каникулы,
медленно, так медленно взрослеющей среди этого скучного, плоского пейзажа,
я-то вижу, как в ее худенькой, еще не развившейся груди вспыхнул огонек, его теперь не загасить,
он будет согревать эту грудь все те семьдесят или восемьдесят лет, которые девочке суждено прожить, по временам разрастаясь до всепоглощающего пожара и ярко освещая кромешную тьму ночи,
а когда неистовство пламени будет спадать, взамен останутся обжигающие воспоминания, навек запечатленные каждой складочкой ее женского естества,
иногда огонек будет подпаливать ей душу, лишать уверенности в себе, но он же станет драгоценным источником жизненной силы и надежды,
он расцветит часть ее дней сводящим с ума многоцветьем,
а в старости защитит от уныния и печали.

Что за крапинки мельтешат над любовниками, обстоятельно занимающимися своим делом,
пчелы, это пчелы,
да не обычные лесные, что собрали пыльцу с полевых цветов и спешат побыстрее нырнуть в мрачное дупло, — скучные, алчные, лишенные воображения,
а отборные представительницы пчелиного рода, вечные странницы, перебирающиеся с места на место, повидавшие на своем веку множество ландшафтов, кроме разве что одного — безжизненного, зимнего,
золотистые царицы, они путешествуют по земле вместе со своим хозяином, который умеет делать женщин счастливыми;
пчелы закончили свою утреннюю работу и вместо того, чтобы снова лететь за пыльцой, устремились по следу мужчины,
на пышные цветы, в которых утопает старое кладбище, они даже не взглянули, а все кружатся, кружатся над двумя людьми, которые никуда не торопятся,
дружное жужжание напоминает причитания родителей, волнующихся из-за единственного сыночка,
звонкий смех юных девушек,
нечленораздельный речитатив молящихся фанатиков.

Может, они и в самом деле пытаются что-то сказать на своем гудящем языке:
женщине — что теперь ее сердце сбежит от нее, переберется в чужие края,
мужчине — чтоб не забывал о доме,
или грозят навсегда покинуть улей,
или распаляются перед тем, как впиться десятком жал в мерно качающийся, круг-

лый, обгоревший до помидорной раскраски зад, подбавить женщине в кровь сладкого яда, чтобы ее страсть взорвалась вспышкой невыразимого наслаждения;

странно они себя сегодня ведут, эти пчелы, хранительницы рутины и порядка,

возможно, их безумные, хаотичные виражи свидетельствуют о готовности перечеркнуть прежнюю жизнь, поломать все ее налаженное устройство;

хотя вряд ли,

даже если они понимают смысл действия, совершающегося перед их никогда не закрывающимися фасеточными глазами,

ни стыда, ни обиды испытывать они не должны —

обычное слияние самца и самки,

если б не было таких радостей, то незачем и жить,

если б не было таких радостей, то не страшно и умереть.

А радуга не тускнеет, мощно изгибается над всеми нами — теми, кто смотрит, и теми, на кого смотрят,

один конец прочной семицветной арки упирается в дальний край долины, где неорошаемая земля суха и бесплодна,

много поколений подряд те угодья принадлежали одному семейству,

самому алчному и себялюбивому во всей округе,

там огромная усадьба с помпезными старинными воротами, и на самом видном месте — давно выцветший бело-красный штандарт с фамильным гербом, эта линялая тряпка до сих пор полощется по ветру,

с давних пор окрестные жители взирали на этот дом, со всех сторон окруженный рощами и пастбищами, с завистью и почтением, словно от старых стен исходило золотистое сияние;

когда-то, не так уж много лет назад, здесь угнездился ядоносный патриотизм, зорко приглядывавший за недовольными,

обитатели усадьбы отлично умели морочить голову доверчивым простакам;

те болтуны, мечтавшие вскарабкаться как можно выше, и ненасытные выжиги исчезли, как по мановению волшебной палочки, сразу после того дня, когда император впервые выступил по радио[1],

интересно, что с ними сталось;

если вышли сухими из воды и жили себе припеваючи,

значит, нет на свете справедливости,

значит, все принципы и законы — куча мусора;

но усадьба за поражение хозяев расплатилась полной мерой — теперь там царство плесени и паутины,

а от богатейшего в здешних местах хозяйства осталось одно воспоминание.

Но ставить на усадьбе крест рано, она еще вполне может возродиться,

этот каменный дом, который кому-то кажется уродливым, а кому-то импозантным, только прикидывается мертвым,

он жив, он строился на века и теперь терпеливо ожидает своего часа;

всегда есть люди, которым хочется повернуть время вспять, хочется быть режиссерами марширующих шествий,

плоскостопые, тонкошеие мальчики ждут не дождутся катастрофы,

когда разразится кризис, деньги превратятся в пустую бумагу и станет непонятно, что делать и кто виноват;

пока же они презирают обывателей, мирно хрупающих травку,

произносят зажигательные речи

и делаются сильнее, когда небо наливается свинцовыми тучами;

---

[1] Имеется в виду радиообращение императора Хирохито к японцам 15 августа 1945 года, в котором сообщалось о безоговорочной капитуляции. *(Прим. перев.)*

до поры до времени никто не боится их трескотни и подросткового позерства,
не обращаю на них внимания и я, как объект для съемки они неинтересны;
даже если они разбухнут в огромные толпы и поднимут оглушительный вой, им не обрести и тысячной доли сияния, которое источают мужчина и женщина под августовским солнцем, под гигантской радугой.

Другим своим концом она упирается в самый центр травянистой равнины, безразличной ко всем видам людского копошения и соседствующей со столь же равнодушным морем,
к которому неторопливо ползет река, ветвисто раскинувшая бесчисленные притоки,
вода покорно отражает насыщенный свет неба,
на длинной дамбе ивы колышут вислыми кронами под горячим ветром, словно недоверчиво внимают любовным уверениям;
по шоссе, отчаянно ввинчиваясь в крутые повороты, на полной скорости несутся машины — они тоже переполнены радостью бытия,
а на окраине городка празднуют завершение строительства нового дома,
старый, спаленный пожаром, торчит обгорелыми балками по соседству, он похож на детский конструктор;
по железной дороге катится длиннющий товарный поезд, с горы бодрым шагом спускается стайка туристок, и каждая машет поезду рукой, словно хочет окликнуть свою уносящуюся прочь молодость;
пыхтит черным дымом труба умирающего заводика — бедняга изо всех сил пытается угнаться за временем,
деревеньки тоже обречены, но не замечают этого, как не замечают своего вырождения дикие звери;
когда в небе такая радуга, весь этот пейзаж вовсе не кажется увядающим.

Из него начисто исчезли
боязливые голоса,
безысходное отчаяние,
унылые силуэты неудачников,
заброшенность и развал,
убогая наследственность,
богатство и бедность,
безнадежные тяжбы с государством,
беспросветность унылой жизни,
причитания бездетных матерей;
все преобразилось благодаря мужчине с крепкими волосатыми руками и женщине с детской (и довольно кривозубой) улыбкой,
это же надо — сохранять достоинство даже во время спаривания,
чтоб к белизне не пристало ни единого черного пятнышка,
чтоб в голову не лезло ни единого похабного слова,
их идеально противоположные органы трутся друг о друга и генерируют невидимые волны,
волны распространяются во все стороны, реабилитируя и очищая мир на десятки километров вокруг.

Ах, какое славное лето,
какой дивный полдень,
тревога уплыла вслед за грозовыми тучами,
всюду спокойствие и довольство,
на свете нет ничего более умиротворенного, чем август, изящно тасующий колоду света и тени,

шепот жары ленив и безмятежен,
корабли скользят по морю, легко огибая скалы и отмели,
ни напряжения, ни стенаний, ни зловещего молчания,
и не нужно забивать себе голову сложными материями — чушь это и морок, отрыжка никчемного философствования,
в такой день каждый смотрит на жизнь светло и просто —
даже начисто лишенный воображения,
даже смертельно больной,
даже смирившийся с деревенской тоской,
даже одряхлевший от старости.

В стонах женщины такая радость, что всякий, кто услышит, очистится душой,
а я почему-то думаю про ее дочурку, пришедшую в мир через то самое отверстие, которое доводит женщину до экстаза;
девочка появилась на свет и стала расти,
растет она и сейчас, когда мать исступленно отдается чужому мужчине.

Хорошая девочка, очень хорошая,
собой не красавица, но это ее не огорчает,
она не дразнит подружек, у которых, в отличие от нее, нет и не было отцов,
растет себе и растет,
слава богу, жива-здорова, уже встречает одиннадцатое лето,
а сейчас, наверное, сидит возле дома в тенистом саду и уплетает оставленный материю завтрак;
личико у нее чистое, сияющее — сразу видно, что ее воспитывают не в строгости,
да и зачем, если ее мать умеет быть счастливой,
ведь кто умеет быть счастливым, тот учит этому и своих детей;
я просто уверен, что у девочки в жизни все будет хорошо.
Мужчина, стиснув зубы, терпит, сколько есть сил,
вся его жизнь проходит под белым солнцем и синим небом, и все встречи с женщинами тоже;
даже пчелы у него, и те положительные:
старательно обрабатывают поля и луга по всей стране, и ни одна не собьется с пути,
и каждая за свою коротенькую жизнь произведет предписанные пол-ложечки меда,
а потом дисциплинированно умрет.

К счастливым любовникам потихоньку подбирается умопомрачительный оргазм, сигнализируя о своем приближении легкими толчками, словно набирающее силу землетрясение;
увы, эта любовь недолговечна, поцвела-поцвела и облетит, как белые лепестки акаций,
когда задуют осенние ветры, женщина снова сделается добродетельной женой, не будет меняться в лице, заслышав жужжание пчел, дни ее станут спокойными, похожими один на другой,
она будет ехать на велосипеде по долине, насвистывая песенку, которой научил ее заезжий пчеловод, будет махать рукой дочке, поджидающей мать у порога,
а ночью, во время звездопада, с удвоенной нежностью будет ласкать своего доброго, чадолюбивого, уломавшегося на тяжкой работе мужа,
они знают друг друга с детства, им есть о чем поговорить долгими вечерами, у них прекрасная семья, которой не страшны ни ураганный ветер, ни яростный ливень, ни ледяная стужа,
муж придет с работы, устало, словно поваленное дерево, рухнет в кресло, будет смотреть в окно, слушать смех жены и дочери и ощущать себя совершенно счастливым человеком,

и осенью в погожий выходной день на городском спортивном празднике муж и жена выступят в соревнованиях «бег на трех ногах» (участвуют супружеские пары, его правая нога привязана к ее левой, обняться покрепче и вперед, кто быстрее),

дочка будет подбадривать их отчаянными криками,

и они побегут легко, азартно —

вперед, навстречу завтрашнему дню, навстречу будущему, навстречу смерти.

Ну а мужчина — запыленный, веселый, с растрепанными ветром волосами — созовет свою армию пчел и, не оглядываясь, покатит на стареньком фургоне к новым лугам, вслед за южным ветром;

есть люди, снедаемые честолюбием,

есть люди, вечно всем недовольные,

есть люди, планирующие свою жизнь на годы вперед,

есть люди, думающие только о семейном счастье и живущие в вечном страхе его потерять,

а он не такой и не этакий, он сам по себе, ни на кого не похож,

его гонит по свету благоуханный весенний ветер и притяжение небесных светил,

у него нет ничего общего с обычными гастролерами —

изможденным коммивояжером, волокущим свой товар от порога к порогу,

хозяином автолавки, бормочущим под нос: «Лучше сдохнуть, чем жить в такой дыре»,

городским учителем, мечтающим возродить деревню, но взирающим на деревенских сверху вниз;

мужчину не вытолкнуло общество, и сам он от общества не отворачивался,

просто такое уж у него ремесло,

ему не надо оттачивать мастерство, вкалывать на конвейере или просиживать в конторе штаны.

Никто не давал ему свободу, он взял ее сам,

захочет — может дрыхнуть хоть до полудня,

захочет — пошлет к такой-то матери любого начальника,

а захочет — и ясным весенним вечером или багровым осенним закатом перестанет жить, его право;

сердце мужчины стучит в такт вселенной, и в дурманящем жужжании пчел он легко читает главную мелодию жизни.

Петляющая по равнине река, раскрывающиеся бутоны полевых цветов, шум ночного дождя, прозрачный ручей, зеленый ковер травы, клубящийся под мостом туман, шелест сосен под ветром, серебристые капли росы на стеблях, одинокий месяц над пустынной дорогой, окрашенные восходом верхушки гор, мерцание звезд на холодном небе —

каждый божий день жить среди всего этого великолепия и не задумываться о нем,

жить одному, естественно и легко,

знать, что, куда бы ты ни прибыл, это и есть осененный благодатью рай;

я уверен, что пчеловод не мечтает о тихой старости и любящих внуках,

ухаживать за домашними растениями и пропускать перед сном стаканчик — это не для него.

Они совсем не думают об опасности, эти двое, приклеившиеся друг к другу меж надгробий старого кладбища,

им и в голову не придет наложить на себя руки, оставив письмо, полное горьких и жалких слов,

и дело тут вовсе не в легкомыслии, просто они из другого теста:

он не дарил ей дорогих подарков и не искал в ней замены мамочке,

она не требовала от него клятв любви и не напрашивалась в жены;
не думаю, чтоб один сознательно искал в партнере то, чего не находит в себе, — но нашел, безусловно нашел,
и все, что нужно знать про мужчин и женщин, эти двое знают.

В здешних северных краях лето кончается рано, миг расставания все ближе,
и будет горек,
но женщина, конечно, не станет рыдать в голос, рвать на себе волосы и кричать, что ей теперь жизнь не мила,
а мужчина не забормочет напоследок, что никак не годится в мужья, и уж тем более не скажет слов, которые способны отравить ей семейное счастье.

Итак, им суждена скорая разлука, но я уверен, что обоих впереди ждут радость и счастье,
их дорога светла и пряма, и ничего плохого с ними не случится;
бог весть, появится ли мужчина вновь в этих местах следующим летом,
он и сам этого, наверное, не знает,
скорее всего, он навсегда исчезнет из ее жизни,
ведь даже если любовники условились о новой встрече, решать, куда мужчине держать путь, все равно будут пчелы,
а пчелы послушны воле полевых цветов, у которых нет памяти о прошлом,
в положенный срок они раскрывают лепестки и берут на себя роль сводников, соединяя бесхитростного молчаливого пчеловода с его женщинами — обычными, добропорядочными, незатейливыми, давно уже дожидавшимися часа любви;
цветущие луга притягивают мужчину, ведут его из края в край,
он, конечно, не ангел, но и не разбиватель сердец из тех, что тешат самолюбие, соблазняя чужих жен.

Ну вот неистовое соитие наконец доходит до высшей точки, и тела любовников сотрясаются в самозабвенном экстазе,
женщина отчаянной амазонкой несется во весь опор невесть куда на взмыленном, неоседланном жеребце, и каждый миг этой головокружительной скачки сбрасывает с ее плеч груз бытия, наполняет все ее существо жизнью,
она судорожно захлебывается солнцем и светом, изгибается назад всем своим упругим телом и сразу же падает лицом вниз, словно сраженная винтовочным залпом,
ее тело дрожит мелкой дрожью,
сейчас она просто самка, женская особь,
ее страсть, выплеснувшись, уносится вдаль и стремительно выгорает на солнце, посверкивая искрами,
а взамен приходит блаженная истома, подобная божьей благодати,
и душа плещется золотой рыбкой в звенящем ручье,
вот она — любовь, ее можно потрогать руками, попробовать на язык,
это из-за нее центр вселенной изменил координаты, мироздание стало вращаться вокруг одурманенных любовников —
такова великая сила любви.

До моего слуха доносится бессвязное, бесстыдное бормотание утоленной жажды,
похоже, что снимки выйдут чересчур откровенными,
но это не в ущерб моей профессиональной репутации,
я превосходно выполнил свою работу: нашел потрясающий объект и сфотографировал его так, что получился настоящий шедевр.

Подглядывающая девочка втянула голову в плечи, растерянно хлопает глазами,

сегодня она получила драгоценный дар судьбы, он поможет ей стать счастливой,
и не думаю, что теперь она съежится, замкнется в себе, станет смотреть на взрослых со страхом,
кто знает, как сложится ее судьба, но она наверняка будет яркой, а в старости богатой воспоминаниями,
никто уже не собьет девочку с толку, не отнимет у нее главное знание о жизни.

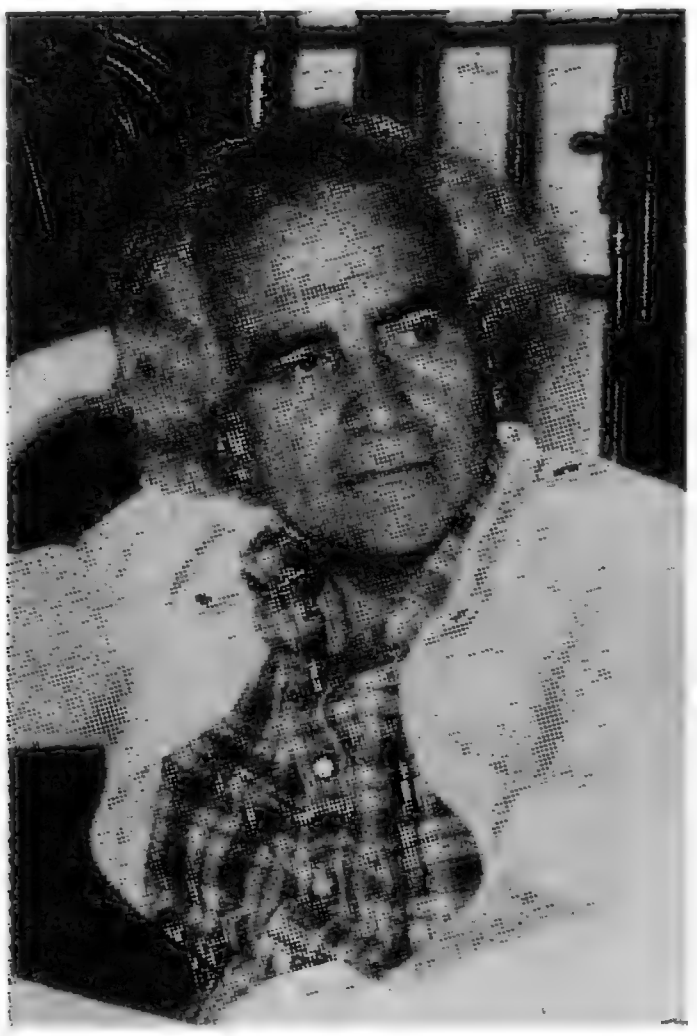
Голые, покрытые потом любовники никак не расцепят объятий,
вот женщина протягивает руку, берет банку пива, отпивает и из губ в губы поит мужчину,
над ними роятся взбудораженные пчелы,
трубят гимн триумфу телесной любви.

Я и не заметил, как исчезла девочка,
на замшелом камне остался недоеденный персик, его мякоть уже начала чернеть,
а девочка будто сквозь землю провалилась,
да нет же, вон она, идет по тропинке, спускающейся в долину,
и только теперь, со спины, я узнаю ее,
я видел ее раньше — она дружит с дочкой женщины,
которая в эту минуту не спеша натирает лоб и щеки горячей беловатой жидкостью, исторгнутой из тела мужчины.

А он снова завел свою песенку, голос у него красивый;
радуга заслушалась, расслабилась и постепенно стала таять.

Пчелы зачем-то потянулись за удаляющейся девочкой,
и мне на ум приходит странная фантазия:
маленькое тельце, утыканное острыми жалами, быстрая смерть от болевого шока,
и никто ни о чем не узнает;
не хотелось бы, чтобы в моей коллекции появился такой снимок.

■



АРТУРО КОРКУЭРА

Стихи

Перевод с испанского П. ГРУШКО

Шелковичный червь в обществе

Я завит в кокон
собственным высокомерьем.

Бутон страшится меня,
нежная пчелка
глядит на меня зверем.

В моем цеху
я пряду стрекозе
бирюзовый
наряд.

В обществе
нет мне равных.
Я — тутовый шелкопряд.

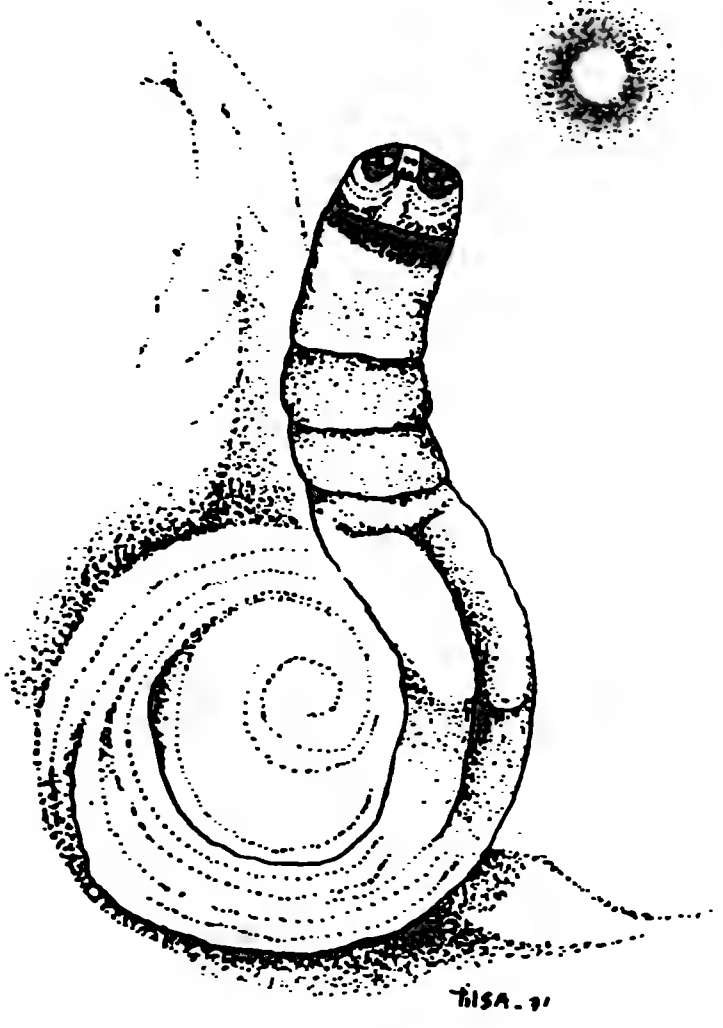


Рисунок Тильсы Цутия

© П. Грушко. Перевод, 1999
Фото П. Грушко

Самокритика ворона

Едва наступает ночь,
даже собственная моя тень
уносится прочь.

Монолог виноградной лозы зимой

Я худая растрепа,
жалок мой вид:
соски высохли,
последний лист
прикрывает мой стыд.

Летом иное дело: люди
не налюбуются на мою шевелюру,
на зеленые пышные груди.

Из цикла «АННА ДАНИЕЛА, ЗАБЛУДИВШАЯСЯ В ДОМЕ ЗЕРКАЛ»

Зеркало-Нарцисс о себе

Я всех красивее,
о, как я себя обожаю
в каждом лице,
которое я отражаю!

Признание зеркала

Каждый раз трушу
отразить людям
их душу.

Зеркало бормочет

В доме безлюдном, втайне,
я храню все его потери,
истаявшее причитанье,
скрип рассохшейся двери,
ставшие дымкой лица,
пожара смутные тени,
а к ночи — скорее забыться
в мреющем сновиденье.

■

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРУГ МНЕНИЙ

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ, писательница

Я начала читать с трехлетнего возраста, то есть так мне говорили родители, а сама я этого, конечно, не помню. Читала все подряд. Иностранным языкам меня начали обучать с пятилетнего возраста — сначала английскому, потом французскому, а после, безуспешно, — немецкому. Мои родители говорили свободно на трех иностранных языках и считали, что и дети (а нас было семеро) тоже должны. Дети же так не считали.

Но от родительского принуждения деваться было некуда. Зимний вечер, темнота, только мы с сестрой наладились играть в куклы (у нас был двухэтажный кукольный домик, с настоящими крошечными электрическими лампочками, с маленькой ванной и уборной, с балкончиком, — чудное сооружение, привезенное кем-то из Германии после войны и доставшееся нам в поломанном, но все еще рабочем виде) — как вдруг звонок в дверь; сердце падает; из прихожей тянет холодом: пришла учительница французского, не заболела ни сапом, ни чумой, благополучно добралась. Вечер испорчен. Спряжения французских глаголов — ненавистную языковую алгебру — помню до сих пор. Примеры из Альфонса Доде, а потом чтение самого Альфонса вызывали удушье. Младшая сестра, быстрая на руку, язвительная, писала на француженку эпиграммы-акростихи:

Шуршит пальто ее в передней.
Вошла, с морщинистым лицом.
Ее эспри, скорее средний,
Для нас считают образцом.
Ее дыханье неприятно,
Рука ее клешне подобна.
Сидеть с ней, право, неудобно:
Как безобразна, как отвратна!
А! Что над рифмами корпеть —
Я не могу ее терпеть!

Стихи преподносились родителям, родители хохотали и просили еще: они поощряли все науки, все искусства, любое творчество и фантазию. Английский язык давался легче, а может быть, учительницы были нам милей, но «Алису в Стране чудес», адаптированное издание, я терпела. «Матушку-Гусыню» читали по-английски, хорошо помню свои чувства: зачем же на иностранном языке, когда по-русски можно лучше, ловчее, понятнее. Даже сами очертания латиницы мне не нравились: нарочно придумано, чтобы мучить человека. Мой отец, видя мое сопротивление и беспросветную лень, придумал заниматься со мной самостоятельно: час в день, летом ли, зимой ли, я должна была читать вслух под его руководством английскую либо французскую книжку. Это был замечательный ход: я должна была читать Агату Кристи (на обоих языках, чередуя их). Он совершенно справедливо рассудил, что если все остальные стимулы и призывы к общей культуре, образованности и расширению горизонтов не действуют, то должно же подействовать примитивное любопытство: кто убил-то? Так я прочитала около 80 романов Агаты Кристи, к большому маминому неудовольствию — она считала, что читать надо Шекспира и всякое такое. Когда я закончила первую дюжину «агатников» — к двенадцатилетнему возрасту, — отец подарил мне наручные часики. В том смысле, что на них тоже двенадцать цифр, и так далее. Я через две недели потеряла их в дачном черничнике и горько рыдала, ползая в кустах до темноты, но так и не нашла. Часы потеряла, но время, как выяснилось, нет.

Так меня мучили с пятилетнего возраста и до поступления в университет. Я читала всегда — за едой, в постели, в автобусе, но по-русски — с удовольствием, а на иностранных языках — с отвращением. В результате для меня зарубеж-

© Т. Толстая, 1999

Предлагаемое вниманию читателей эссе — ответ на вопросы редакции «Анкета «ИЛ». Начало см.: 1998, № 7, 10; 1999, № 2, 6.

ная литература — это то, что написано латиницей, а русская — то, что написано кириллицей. Русскими книжками были в разное время: О.Генри, Эдгар По, Дюма (в первую очередь «Граф Монте-Кристо»), Марк Твен, Жюль Верн, Конан Дойл, Уилки Коллинз («Лунный камень»), Герберт Уэллс, Мэри Мейпс Додж («Серебряные коньки»), «Голубая цапля», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Хитопадеша» (индийские легенды), «Приключения Гулливера» (сокращенные, там где он на обложке тянет за собой корабли на нитках), «Маленький оборвыш»; весь — от и до — Андерсен с лучшими на свете картинками Свешникова (вот помню!), сказки Топелиуса, сказки Кристиана Пино, сказки Шарля Перро, сказки братьев Гримм, сказки Хауфа, туркменские сказки (какие-то три козленка: Алюль, Булюль и Хиштаки Саританур, на обложке — красавица и красавец в обнимку с гранатовым деревом), осетинские мифы («Сослан-богатырь, его друзья и враги», там про какое-то страшное живое колесо, которое отреза́ло Сослану ноги), японские сказки, написанные на смешном деревенском, нянькином языке («пригорюнился заяц, а делать нечего»; «глядь — а это Момомото явился»)... Самой же любимой книгой были «Мифы Древней Греции» Н. А. Куна: в свои пять лет я знала генеалогию всех олимпийских богов, всех героев и всех достойных упоминания смертных. Я и сейчас думаю, что это лучшая книга на свете, в ней есть все: и ручьи, и моря, и корабли, и битвы, и колесницы, и плющ, и мирт, и лавр, и ласточки, и лабиринт, и зубы дракона, и страсти, и слезы, и коварство, и любовь, и мужество, а главное — весь мир шелестит богами и наполнен их незримым, но несомненным присутствием. Все это — русское, а всякие там «has been doing» и «had had», а уж тем более «nous passbmes sous un pont, puis sous un autre» — конечно же, нет.

Потом, позже — Бальзак, Золя, Мопассан, Вальтер Скотт, Сигрид Унсет («Кристин, дочь Лавранса»; кого ни спросишь — никто не читал, а ведь Нобелевская лауреатка), Ромен Роллан, Диккенс, Хемингуэй, Оскар Уайльд, Сомерсет Моэм, Олдос Хаксли. И опять то же самое: «Евгению Гранде» Бальзака меня заставляли читать по-французски, и эту книгу я не буду перечитывать под ружейными выстрелами, хотя «русского» Бальзака я читала с удовольствием. Правда, ничего не запомнила. Бальзак почему-то стоял на полках каждого дома, куда мы ходили в гости, темнел огромным собранием сочинений; обложка у него была зеленая. Моя подруга в свои пятнадцать-шестнадцать лет прочитала Бальзака раньше нас (мы с сестрой были на четыре-пять лет ее младше) и пропиталась его сюжетами и реалиями, а также переводным бальзаковским словарем. Она была сочинительница и любила рассказывать нам придуманные ею самой романтические повести из французской жизни, как Шехерезада: понемножку, оставляя самое интересное на завтра. Летом мы забирались в черничник и собирали ягоды с кустов в бидон, ползая на коленках по колкой от сосновых иголок земле, а она рассказывала, вдохновенно завираясь: «Он распечатал надушенное письмо и побледнел. — Я разорен! — вскричал Гастон. — Все кончено!» Назавтра Гастон снова был богат и ездил в кабриолете, смертельно бледный под широкополой шляпой. «Но как же он выкрутился?» — спрашивали мы. «Очень просто — он перезаложил векселя».

Гастоны, гранатовые деревья, кабриолеты, кринолины, лондонский туман, снега Килиманджаро, живое колесо Сослана и колеса чеховских извозчиков были равно экзотическими, равно волнующими, и никакой разницы между русским и иностранным не было. Книги делились на интересные и неинтересные, и прошло много времени, прежде чем теплившаяся на краю сознания мысль о переводной литературе обрела какую-то плоть. Тот же Золя: написал много, но про бордели и кокоток ведь читать интереснее, чем про шахты и закопченных шахтеров, если только вы не Зигмунд Фрейд, которому про шахты должно быть тоже очень интересно. Кстати о Фрейде (и Юнге, и Вейнингере, и других, чьи имена забылись) — всех их я прочла в пятнадцатилетнем возрасте: у отца была прекрасная библиотека, много десятилетий им собиравшаяся. Фрейд и Юнг (ранний) существовали в виде брошюр на желтой бумаге, в виде кожаных с золотым тиснением томов: какие-то студентки дореволюционных курсов худо-бедно перевели их на русский язык (впрочем, современные переводы хуже и бедней). «Толкование сновидений» было в тысячу раз увлекательнее Виктора Гюго, поэтому Гюго был иностранным, а Фрейд — русским писателем. Когда же навалилась школа, пытаясь накрыть нас с головой ватным матрасом советской и одобренно-революционной литературы — белоглазый Фадеев, подслеповатый Чернышевский, слепой железнодорожный Н. Островский и тихо поднятые щукари, — к тому времени я уже наловчилась быстро схватывать содержание непрочитанного и ловко излагать незапомнившееся, чтобы скорее отделаться, так что Бог миловал, это облако пыли прошло мимо, почти не задев. Впрочем, из «Что делать?» помню, что герой «надел пальто и постучался в спальню к жене», что поразило: герои Мопассана в аналогичной ситуации все с себя «торопливо срывали». Кто после этого

иностранец?

Мой дед, Михаил Леонидович Лозинский, был великим переводчиком, свободно владел шестью языками и перевел на русский, помимо всего бесконечного прочего, «Гамлета» и «Божественную комедию». Я не помню его: он умер, когда мне было четыре года, — горькое горе моей жизни. Но в нашем доме он был как бы жив, о нем говорили каждый день, так что он почти садился с нами за стол или, бесшумно отодвинув стул, вставал и уходил в кабинет — работать — незримой тенью. Говорили, что работал он всегда, весь день, несмотря на адские головные боли, мучившие его много лет, а в перерывах, для отдыха, как вспоминают старшие, читал письма Флобера — естественно, по-французски. Вот такие титаны жили на земле в древности. Мой отец, обожавший своего тестя Лозинского, читал нам вслух его переводы, иногда со слезами на глазах («слезы — лучшая награда певцу», говорит соловей у Андерсена), часто повторяя одну и ту же строку дважды, и трижды, и многажды: тогда в первый раз ты слышишь смысл, во второй — звук, в третий — начинаешь видеть бронзовый блеск слов, твердые их очертания.

Я только дыыыыыышло этой фуууууууууууры,

Я только тееееееень его фигуууууууууууры, —

это воскресным утром отец ходит по квартире в веселом настроении, размахивая рукой с вечной сигаретой, на лице — райский восторг от звуков, и звона, и ритма, и гула, и всего того, что под словом, за словом, всего того — топот, шелест, свет и блеск, — что сопровождает слово, празднично выезжающее на парад на колеснице.

Но слова известны мне, и понятны, и возлюблены мною только русские, переведенные, процеженные сквозь, перевернувшиеся, превращенные. Мой дед Лозинский — в моем детском и подростковом понимании — превращал мутную жесть иностранных языков в прозрачное золото русской речи. Писатели писали что-то там свое комковатое — а он выпрямлял и разглаживал; они тыркались об стену, не находя дверей, — а он распахивал ворота; они водили руками в тумане — а он брал их за руку и выводил на свет. Слово — это смысл, это внутренний луч; но какой же смысл, помилуйте, можно отыскать в иностранном, невнятном, темном слове?..

Как-то раз мне попались в руки две книги Корнея Чуковского: «Живой как жизнь» — о русском языке и «Высокое искусство» — о переводе. Книги гениальные — изрытые оспинами цензуры и самоцензуры, уклончивые, хитрые, недоговаривающие, через положенное число страниц расшаркивающиеся перед издателями-идиотами, перед публикой, занесшей гневное перо для доноса, и — несмотря на все расставленные на пути рогатки, проволоки и прочие тернии — гениальные. Сейчас, «земную жизнь пройдя до середины», я благодарна ему бесконечно за то, что он, как никто, научил меня видеть и слышать слово. Сам он владел им виртуозно и только по всеобщему несправедливому недосмотру недооценен как мастер и вспоминается в первую очередь как «любитель детей» и автор «откуда — от верблюда». Впрочем, недаром же он, в другой своей ипостаси — пленительный детский писатель и первым, в компании трагического колобка и таинственной курочки-рябы, встречает русского ребенка на пороге здешней речи. Я сильно чувствую — во всяком случае, по себе, — что дети — это взрослые, лишенные языка, взрослые с полноценной душой и полноценными чувствами, вынужденные вслепую и втемную, как после ранения в голову или приступа амнезии, заново находить, нащупывать, восстанавливать отнятый, недоданный, забытый язык.

Книги Чуковского меня устыдили и поразили. Помимо понятного мне, любимого, пластичного и, казалось бы, знакомого русского языка и того, что на нем сочинено и написано, передо мной открылись необозримые пространства других языков, тоже кем-то любимых, тоже гибких и сверкающих, — от финского до киргизского, на всех этих наречиях люди пели, плакали, думали и объяснялись друг другу в сложных чувствах, писали сложные и прекрасные стихи, стучались в двери с мыслью, родившейся в чужеземном мозгу, на иностранном языке, — невероятно! Банальное открытие, но оно меня поразило. Вдруг стало стыдно своего невежества, лени, неуважения к «немцам» — всем тем, кто не разговаривает ясно и красиво. Вдруг стало понятно и то, что прекрасные книги, столь любимые мною, кто-то сочинил на своем невнятном для меня, темно бормочущем языке, а некто другой приклонил ухо, разобрал, понял и взял на себя тяжкий труд донести это до меня, перевести, переосмыслить, подобрать слова, сравнить, взвесить, чем-то пожертвовать, устроить и организовать, накрыть пиршественный стол, чтобы самому скромно уйти в тень примечания, отойти в сторонку, слиться с толпой.

Мне открылась вдруг сполна тяжесть каторжного труда переводчика, подвиг его, ничем практически не вознаграждаемый, мало кем ценимый, потаенный. Подобно Адаму, он вынужден вновь и вновь давать имена вещам, предметам, понятиям чужого, тайно и буйно

цветущего за оградой сада. Но сад меняется, отцветает, опадает, зарастает и глохнет, ускользает, превращается, преображается, отплывает кораблем от причала и растворяется в тумане, с нами же остаются лишь смутные очертания парусов да скрип снастей.

А не то, оборванный и исхудалый, переводчик возвращается к нам с мутноватыми отпечатками — фотографиями чужеземных краев, с чемоданом, полным помятых сувениров. Он извлекает из карманов слипшиеся сухофрукты и клянется, божится, что это и есть плоды райского сада; разглаживает на колене мятые бумажки: вот истинные карты Эдема. Что мне с этим делать? Да и правда ли он был там, верить ли ему? А где же ветер чужих морей, где мокрый снег, облепивший силуэты северных стрельчатых колоколен, где тени от качающихся фонарей, где запах камня? Пошел вон, ты ничего не понял, ничего не привез! Оглядываясь назад, на гору прочитанной и забракованной мною иностранной литературы, я с горечью и сожалением осознаю, сколько прекрасных писателей, сколько чудных голосов загубили для меня гугнивые, косноязычные толмачи, криворукие и торопливые халтурщики. Равнодушные к русскому языку, рабы иностранных синтаксисов, они словно бы никогда не брали в руки ни Тургенева, ни Гоголя, ни Бунина, ни Лескова. Больше всего, кажется, пострадали наиболее востребованные литературы: английская и французская. Жесткий порядок слов в английском, неощутимый, естественно, в оригинале, превращается в переводе на русский в прокрустово ложе, а Прокруст, как известно, не только обрубал ноги слишком долговязым жертвам своего гостеприимства, как о нем обычно думают, но и растягивал низкорослых, соединив в своей остроумной кроватке и плаху, и дыбу. Все эти «я положил мою руку в мой карман» и «раньше я ее видел, но теперь я не вижу ее» в переводах с английского, все эти «что до меня, то я...» и «моя шляпа, я нашел ее тесной» в переводах с французского и вечное «не так ли?» в переводах с любого иностранного, подхваченное в конце XVIII века у бежавших от Французской революции парикмахеров, выдававших себя за аристократов.

«Голос баронета вибрировал, и все его члены дрожали как в лихорадке», «О мой Бог! — вскричала молодая женщина, дико озираясь и вращая глазами» — таков образ расхожей зарубежной литературы XIX века, оставшийся с детства в моей памяти, и прошло много лет, прежде чем я осознала, что иностранные писатели ничего подобного не писали, герои их ничем не вращали и не вибрировали, «ландшафты» не расстилались и вообще все было совсем не так, как наврали переводчики. Но в детстве мы всеядны, проглотим и «ландшафты», и «ее мраморное лицо статуи в черной рамке кудрей», хотя впечатлительному воображению отделаться от «статуи в рамке» не так-то просто и все время хочется рамку отодрать.

Зато какое блаженство, когда перо неравнодушного переводчика набрасывает для вас пейзажи живые и дышащие, когда герои, избавившись от паркинсонизма и хронического лупоглазия, плачут, смеются и разговаривают как нормальные люди, и гравий правильно шуршит под колесами, и вьюнок цветет, и какие-то чепчики мелькают в окошке! Из поздних открытий — упоительный перевод Пу Сунлина, сделанный гениальным китаистом Василием Алексеевым («Рассказы Ляо Чжая о чудесах»). Вот где каторжный труд — переводы с китайского! Недопереведешь — ничего не будет понятно читателю; переперевedешь — китайцы превратятся в среднеевропейских иностранцев. Академик Алексеев нашел какой-то особый способ выбора и соединения русских слов, создав особый русский язык, с другой, так сказать, кристаллической решеткой. Состав вещества остался прежним, но приобрел новые свойства. Читаешь — и создается иллюзия, что читаешь по-китайски (не зная ни одного слова), что ты — в Китае, где «все жители — китайцы, и даже сам император — китаец», как писал Андерсен. Более того, еще немного — и сам китайцем станешь. Вообще же средневековая китайская литература, когда она попадала мне в руки, всегда меня завораживала отсутствием точек пересечения с европейской нашей, привычной словесностью. Мнится, что читаешь про Фому, ан нет — про Ерему. Мне было лет десять, когда мне в руки попался номер «Иностранной литературы» за 1955, кажется, год. (Нам ничего читать не запрещали, единственную книжку, которую родители спрятали в чулан, — непристойные турецкие сказки «для взрослых», с ненормально пристальной фиксацией этого народа на фекально-вагинальном дискурсе, — мы с сестрой все же нашли и очень веселились, и после уж турецкой литературой никогда не интересовались.) В «ИЛ» была напечатана увлекательная китайская повесть, XIV, что ли, века, с любовной тематикой[1]. Герой, молодой красавец, полюбил молодую и тоже прекрасную гетеру, а страстное чувство вспыхнуло при следующих обстоятельствах: молодые люди, прежде чем приступить к любовным уте-

[1] Речь идет о повести неизвестного автора «Торговец маслом и фея цветов». Перевод с китайского А. Тишкова («ИЛ», 1957, № 9). (*Прим. ред.*)

хам, пьянствовали в публичном доме (выпили несколько чайников теплого вина). Шепот, робкое дыханье, трели Со Ло-вья. И вот красавице стало плохо, и она начала блевать. Молодой человек почтительно подставил девушке свой шелковый рукав, расшитый фениксами, и она наблевала ему в рукав. После чего отключилась, а он сидел до утра и стерег ее сон — с полным рукавом, естественно. Утром она проснулась и горячо благодарила кавалера за галантность, он же горячо благодарил ее за то, что удостоился, — и так далее. Так вино сближает сердца. Очень понравилось. Еще была замечательная книга — «Троецарствие», любимая, говорят, книга всех китайцев, их «Война и мир». На европейский вкус, прелесть ее в том, что ее можно раскрыть в любом месте — на любой странице описывается все то же самое. (Тут смутно вспоминается Борхес.) Но есть и подробности: так, некий генерал возвращается домой и сообщает жене, что все кончено: он проиграл битву, и теперь будут казнены он сам, она, вся их многочисленная семья, чада и домочадцы, а также дальняя родня, слуги и однофамильцы. Реакция жены такова: «Так о чем же тут долго рассуждать?! — с возмущением вскричала она и разбила себе голову о потолочный столб». Так же прекрасна и средневековая японская литература. «Записки у изголовья» Сёй-Сенагон — моя настольная книга. Я отдаю себе отчет, что японец читает ее другими глазами, но тут уж ничего не поделаешь.

Совсем другое дело — помянутый не всуе Борхес, которого мне все равно на каком языке читать. Говорят, что у него прекрасный испанский язык; верю; но испанского не знаю. На русском же и на английском для меня возникает одинаковый эффект, может быть, потому, что Борхес одинаково хорошо переведен на оба языка, а может быть, по другой причине. Он пишет коротко, сжато и точно — хочется сказать, эргономично, — а в результате получается изумительно красивая ментальная конструкция, которая трансцендирует слово. Для меня это тот редкий случай, когда содержание и структура текста заставляют едва ли не забыть о тех словах, с помощью которых достигается эффект. Борхес нужен мне постоянно, я все время его перечитываю и таскаю за собой по всем странам и континентам, чтобы море человеческой глупости, прагматичности, сиюминутности, кое-какности и спустярукавашности не захлестнуло меня. Когда я преподавала в Америке курс литературы (это было что-то вроде «всемирной литературы», то есть столько лучших текстов, сколько можно было вместить в три с половиной месяца, или 26 занятий), Борхес одновременно был для меня и спасательным кругом в волнах американского студенческого менталитета, и пробным камнем. (Можно ли быть и кругом и камнем одновременно? — вопрос тоже вполне борхесовский. — Можно.) Чистое умственное усилие, которое необходимо сделать, чтобы прочесть, усвоить и осмысленно пересказать кратчайший рассказ Борхеса, не смог произвести за шесть лет ни один из 330 студентов, с которыми мне пришлось иметь дело, а ведь среди них были и умные, и способные. В чем тут дело, почему именно Борхес не дается американским молодым людям (возраст — от 18 до 22 лет) — разговор особый. Рассказ «Алеф», такой кристально ясный, такой стройный, такой остроумный и глубокий, подарок для ума, — нет, ни в какую не читается. Про что рассказ? — неделя на размышление. «Ну, вот это, ну, он ходит в гости к этому, забыл имя». — «Кто ходит?» — «Не знаю. Я не понял». — «От чьего лица написан рассказ?» — «От лица?..» — недоумение. — «Как рассказ написан, от первого лица или от третьего, кто рассказчик?» — «Я не знаю». — «А зачем «он» ходит?» — «Зачем? Я не знаю. Там не сказано... А! Он торт принес!» — «Он приходит, чтобы съесть торт?» — «Нет... Ну да, там эта женщина умерла, забыл имя, и он ходит». — «Может быть, он ходит из-за этой женщины?» — «Но она же умерла, чего ходить...» — «Если умерла, то и ходить незачем?» — «Да!!! — Студента внезапно прорывает. — Мне не понравилось. Не понравился рассказ. Зачем он ходит, когда она умерла? Он должен жить своей жизнью. Должен смотреть вперед. А он смотрит назад. Это негативно. Ничему меня не учит. Мне это не нравится. Вот. Я поэтому не стал запоминать. Я такое обычно не читаю».

У нас дома была замечательная американская детская энциклопедия двадцатых годов, называлась «Book of Knowledge», томов десять. Плотная пожелтевшая бумага, черно-белые картинки, каждая страница в прихотливой рамке: модерн. Картинки там были прелестные: американские хорошенькие детки, в шляпках и кушачках с бантами, сидели на лавочке, разглядывая научные книжки, кормили стерильно чистых курочек и незасранных овечек, смотрели в микроскоп, помогали мамочке (или прислуге?) накрывать на стол в просторных, чистых кухнях — небывалое зрелище. В городах ввысь тянулись небоскребы, по улицам бегали деловитые господа в котелках, из автомобилей выглядывали дамы умопомрачительной сдержанной элегантности. А лучше всего был паровоз, мчавшийся среди высоких елей в таких оглушительно непролазных сугробах, что пришлось приделать к нему особый снегоотбрасыватель, из-под которого снег летел как две стены, на обе

стороны. Техника сама по себе меня никогда не завораживала, но вот эта первозданная природа, сквозь которую не всякий паровоз пропашет, этот снег, эти ели, эти чистые дома и воспитанные детки — без соплей, матерщины и свинства — поразили на всю жизнь, создали ложный образ Америки (которую они потеряли) — умненькой, черно-белой, занесенной снегом. Эх, ребята, всё не так, всё не так, ребята... К тому времени, когда я туда попала, почти все железные дороги уже были разобраны, и только иногда в маленьких пенсильванских городках или же в Новой Англии видишь старые рельсы, заросшие ностальгической травой. А все детки, и все дамы, да и все господа одеты в униформу: штаны мешком, футболка мешком, бейсбольная кепочка задом наперед. Уж не говорю про Микки-Мауса. Ивлин Во всё сказал («Незабвенная»). Может быть, той Америки, которая мне так нравилась в детстве, никогда не существовало, но в американской литературе я ищу ее следы. Слабое дуновение той придуманной первозданности слышится мне в рассказах Юдоры Уэлти (если она сегодня жива, то совсем уже старушка), но это — Юг, а мне бы Севера. Фланнери О'Коннор — гениальная писательница, тоже Юг. Сэлинджер, увы, больше не пишет, заперся в доме и, кажется, сошел с ума, какая жалость. Из старых писателей замечателен Мелвилл, которого сами американцы долго не ценили, а теперь обнаружили, что проспали гения. «Моби Дик» — одна из вершин мировой литературы. О.Генри тоже гений, но американцы об этом не знают. Им кажется, что слишком простенько. Ну, спите дальше, дорогие товарищи. Читайте своего Апдайка, который хорош только на растопку.

В общем и целом, жизнь моя сложилась так, что знание иностранных языков отбило у меня охоту к чтению иностранной литературы. Это не парадокс, а следствие всего того, о чем я сейчас только что сказала: когда видишь убогие, сляпанные на скорую руку переводы, дощатый забор, сквозь который слишком явственно просвечивает стройное, недоступное здание оригинала, то возмущаешься переводчиком, оскорбляешься и за русский, и за английский-французский, с которого переводили. Думаешь: не буду тратить время на это безобразие, прочту в оригинале. А когда берешь в руки оригинал, то, если он достаточно изысканно написан, часто не хватает знания того же английского-французского. Ведь языки эти бездонны, как и всякий язык, и перед их словесной пучиной чувствуешь себя утлой лодочкой. Я читала в оригинале Сэлинджера, О. Генри, Хемингуэя, Мопассана: на вкус они совсем не таковы, как в переводе, хотя переводы хороши. Читала еще три-четыре десятка писателей. Но много ли прочтешь, глубоко ли проникнешь, если, конечно, не скользить глазами по строчкам в нетерпении узнать, что будет дальше; я и так знаю, что будет дальше. Не «про что», а «как», а точнее, «как про то, что» — все же было и остается основным удовольствием и смыслом словесного искусства. Американский английский полегче, если не считать обильного, модного, все время обновляющегося сленга, совершенно для меня недоступного, а вот британский английский, с его емкими кратчайшими словами, труден. Мне сейчас жаль, что я, ленивая и нелюбопытная, бессмысленная и беспощадная, упустила время в юности, поздно спохватилась и не усвоила того, что мне так щедро, четырьмя руками преподносилось, того, что казалось неисчерпаемым. Рог изобилия пуст, деда нет, отца нет, и некому стоять укоризненным Командором за моей спиной, некому смотреть на меня поверх очков с комическим гневом по поводу невыученного урока. Я только дышло этой фуры, я только тень его фигуры... Дай Бог успеть хоть русский освоить.

Оттого что я долго делила литературу не на русскую и иностранную, а на интересную и неинтересную, мне нужно и сейчас делать некоторое усилие, чтобы сообразить, какие авторы — иностранные. Ведь когда — как в детстве — читаешь все подряд, то в голову не приходит поинтересоваться национальной принадлежностью автора. Так, я читала в свое время англичанина А. Кронина, уверенная в том, что это — русский писатель, какой-нибудь Анатолий Иваныч. Его герои носят иностранные имена, но это еще ни о чем не говорит. «Война и мир» тоже ведь начинается с нескольких страниц французского текста, а у нас дома стояло издание дореволюционное, с ятями, набранное каким-то волосатым неудобочитаемым шрифтом, и я долго избегала Льва Николаича, держа его за иностранца и зануду. С другой же стороны, если иностранное — это другое, это экзотика, это то, чего здесь нет, то иностранным можно было считать все несоветское, все непривычное, несегодняшнее. Был ли русским писателем Набоков, которого привозил, а вернее, провозил из-за границы мой отец — спрятав провозимое на животе, под брючным ремнем? Брючная литература стояла на особой полке, во втором ряду. Напечатан Набоков был, как и все брючники, на очень белой бумаге, так что читать его в метро или в дачном поезде не рекомендовалось; ветераны труда любили заглянуть через плечо: что читаешь, сволочь очкастая? — а этого нам не надо. (Как вспомнишь все эти правила поведения, Боже правый! Белое в

транспорте не читай, ксероксы не читай, иностранный журнал не читай, а иностранную книгу почему-то — пожалуйста, только газеткой оберни.) Этот надменный холодок, витающий над каждой набоковской строчкой, эта интонация полной неподотчетности никому и ничему, этот привкус внутренней свободы, так естественно, природно ему давшейся, этот явственный коварный огонек во взгляде: ах, ты думал, что прочитал мою книгу и все понял? — подумай-ка еще раз... где спрятан зайчик? — а зайчик, как положено, висит вниз головой в кривоватой листве развесистого дерева над головами двух ни о чем не подозревающих удильщиков, и пока они выуживают никому, и им в том числе, не нужную рыбу из бумажной речки, над их панамками, в зените, сошедшая с ума фауна в сговоре с уступчивой флорой застыли в странном симбиозе... и фокус в том, что читатели, отвлекшиеся на поиски зайчика, радостно догадавшиеся о его местонахождении, не задаются вопросом: а как он, собственно, там оказался? а возможно ли зайчику быть в ветвях-то? — и проваливаются, к удовольствию писателя, в очередную расставленную им ловушку; таков Набоков; пятясь назад из этой далеко забравшейся фразы, кинем взгляд окрест: на вечерние берлинские огни, на тюльпаны обоев, опрокидывающие кирпичную стену в прозрачную степную даль, — та улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит, — и спросим себя, какая это литература: русская, эмигрантская, иностранная? А то, что он писал на трех языках, а то, что «Лолита» написана сначала не для нас, а уж потом для нас, а то, что поздние его романы надо, чертыхаясь, переводить назад на русский! Причем и тут рассованы зайчики: в одном из этих романов, как говорила мне американская славистка (передаю с чужих слов, так что не помню, в каком именно), есть, например, фраза, имеющая мало смысла по-английски. Машинально, задумчиво славистка перевела ее на русский и увидела, что все слова в ней начинаются на букву «к»... (Так в одном старом английском фильме умирает дядюшка-шутник, всю жизнь развлекавшийся тем, что устраивал родственникам pranks и practical jokes[1]; в последний миг перед смертью он успевает поджечь зажигалкой уголок газеты, которую читает у его одра ни о чем не подозревающая сиделка. Через три секунды газета вспыхивает ярким пламенем, визг!!! — но дядюшка уже умер, довольный.) То, что Набоков не получил Нобелевскую премию, только лишний раз говорит о человеческой тупости и политической трусости Нобелевского комитета, хоть это и не новость; на Страшном Литературном Суде то-то мук будет для них приготовлено! то-то скрежета зубовного! до скончания веков будут они читать бухгалтерские отчеты и передовицы провинциальных газет.

По существу, мне все равно, что читать: художественную литературу, мемуары, книги о путешествиях или труды по психиатрии и психологии: там тоже есть свои пригорки и ручейки. Одной из любимых книг в детстве были «Рассказы о врачах» (книжка потерялась, и автора я не помню). Там были чу́дные старинные гравюры: Амбруаз Паре, в шекспировском гофрированном воротнике, ручной пилой отпиливает ногу страдальцу в камзоле; слуга подносит больному кубок с вином, чтобы тот «забылся». Изобретатель хлороформа испытывает новое средство на себе и, впав в бесчувствие, чуть не умирает под марлевой маской; его спасает вбежавшая квартирная хозяйка, толстая, в чепцах и лентах, вся вихрь и тревога. Средневековые врачи, в плащах, со шпагами, ночью несут покойника, снятого с виселицы, в анатомический театр, чтобы вскрыть его во славу науки... Глава Британского королевского научного общества категорически отрицает кровообращение... Лежа в постели со свинкой или корью, я читала обо всем этом с понятным сердцебиением и мечтала стать медсестрой — не врачом, а именно медсестрой, не чтобы самой, ужас какой, что-нибудь отпиливать, а, в лентах и чепцах, сострадательно склоняться над болящим, поднося ему двуручную чашу церковного кагора или же позаимствованной из других книг мальвазии. Про медицину читать так же волнующе, как и про путешествия, да, собственно, это одно и то же. В том же детстве я было радостно схватила книгу под многообещающим названием «Чума», предвкушая вер-блюдов, пыльные и опустевшие азиатские города, ковры, чинары, воронье, белые чалмы, минареты и героических врачей, смело вступающих на ступеньки глинобитных домов, где притаилась невидимая зараза; но это оказался всего лишь зануда Камю.

А медицинские энциклопедии с медальнозвучными тройчатками имен, прицепленными к каждому синдрому! А приложения на пластинках: «Голоса сумасшедших»! А «Учебник по психиатрии для средних медицинских заведений» с фотографиями, с подписями: «Больной З. прислушивается к голосам, требующим, чтобы он выпил бутылку портвейна»! Требующим! Кафка, где ты?.. Последние несколько лет я читаю книги Оливера Сакса, американского (а прежде английского) нейропсихолога (или психоневролога?), совершенно замечательного писателя и нестандартно мыслящего врача.

[1] Подвохи, розыгрыши (*англ.*).

Одна из первых книг — «Человек, который принял свою жену за шляпу» («The Man who Mistook his Wife for a Hat»). Другие его книги — «Seeing Voices», «A Leg to Stand On», «Anthropologist on Mars». Жанр — документальные медицинские новеллы и романы, повествующие о невероятных свойствах человеческого мозга, его фантастических (во всех смыслах) возможностях и способностях, которые проявляются не тогда, когда человек здоров или, лучше сказать, находится в норме, но тогда, когда его психика отклоняется от нормы из-за ранения или болезни. Один из примеров, наверно, всем знаком по фильму «The Rainman» («Человек дождя»), где Дастин Хофман играет аутистического шизофреника с ненормальной памятью и странными математическими способностями: когда на пол падает коробок спичек, он может сразу же назвать их число. Это действительный случай, и Сакс описывает близнецов, обладавших теми же способностями. Другие странности напоминают рассказы фантастов: например, случай с итальянским художником, который, живя в Калифорнии, видит перед собой (глазами видит, а не воображает) родную деревню, из которой он уехал десятилетия назад, и воспроизводит ее в мельчайших деталях десятки раз подряд, при этом ничего другого он нарисовать не может. Похожий рассказ о видении на расстоянии есть у Уэллса. Некоторые случаи невозможно и вообразить: музыкант, художник (!) и педагог, пытающийся, уходя из гостей, надеть на голову вместо шляпы собственную жену, так как он не видит, не понимает разницы... Человек, испугавшийся собственной ноги и пытающийся оторвать ее от себя, как чужеродный предмет. Женщина, страдающая аутизмом и поэтому неспособная испытать никаких эмоций: она ищет в словаре определение слова «любовь», но все равно это чувство для нее загадочно; женщина эта строит для себя машину-обнималку: ложишься в нее, и машина стискивает тебя со всех сторон. Лишь тогда что-то слабо брезжит на горизонте ее чувств... А люди с синдромом Туретта, живущие с немыслимой скоростью: они пляшут, дергаются, высовывают язык со скоростью хамелеона, ловящего муху, будто передразнивают окружающих, — десятки тиков в секунду! — тараторят, матерятся и не могут ни на миг остановиться! А те, наоборот, кому надо несколько часов, чтобы донести руку с колен до носа, чтобы почесать его, а для них, в их сознании, проходит лишь одно мгновение! А кататоники с болезнью Паркинсона, которые не способны пошевелить ни ногой, ни рукой, так что, если их поставить на гладкий пол, они могут простоять так сутками, в нелепой, искаженной позе, молча: язык их тоже скован. Но если подвести их к лестнице или горке и подтолкнуть, то они побегут как молодые, болтая и радостно смеясь. Все это — про людей, все это — правда. А последняя его книга, которую я прочитала, счастливо соединяет в себе медицину с путешествиями: Сакс описывает свою поездку на крошечный, как крупица соли, остров Понпей в Тихом океане: не на каждой карте он и обозначен. Там, в силу исторических обстоятельств, большая часть населения цветослепые (это не то же, что дальтоники). Когда-то, несколько веков назад, из-за страшных ураганов погибло почти все население острова, а вождь племени, от которого родилось новое многочисленное потомство, передал несчастным свой мутировавший ген цветослепоты. Люди эти не только не различают цвета, они плохо видят, не выносят солнечных лучей, днем вынуждены прятаться в хижинах. Из-за сильной близорукости дети не могут читать, плохо учатся в школе и считаются глуповатыми, хотя это и не так: обычные дети. Зато ночью наступает их час: в темноте они видят как кошки, плавают в море с открытыми глазами и ловят рыбу голыми руками. Сакс приехал на Понпей не только как любопытный исследователь. Изучив проблему, подготовившись, он привез простое лекарство: солнечные очки, сотни солнечных очков, но не обычных, а плотно прилегающих к лицу, не пропускающих ни лучика тропического солнца. Вообразите эту картину: сотни мгновенно прозревших детей, с радостными воплями разбежавшихся по всему острову! Но прекращаю дозволенные речи; книги эти надо переводить и печатать, а не пересказывать.

Из европейских писателей я люблю Исак Динесен (она же Карен Бликсен), знаменитую датчанку, баронессу, половину жизни прожившую в Африке, начавшую писать лет в пятьдесят, причем по-английски. Прекрасный писатель — англичанин Малькольм Брэдбери. На короткое время понравился Пол Теру, а потом быстро-быстро разонравился: самодовольство и эгоизм перешибают любые достоинства этой прозы. Он пишет романы о путешествиях, это особый жанр, вроде «что я видел», но видел он в основном себя любимого, а остальной мир вызывает у него брезгливую скуку. Любит писать про то, как любая женщина, неважно где — в Европе, в Африке, в Азии, — едва завидев его, кидается к нему в объятия и страстно его домогается: подай ей его вот прямо тут и сейчас. Ну, какое-то время он снисходит к обезумевшей менаде, а потом смотрит, нет, чего-то не то: и сама не тянет, и семья у нее скучная: папа там, дядя. Пшла вон. А тут уж новая бежит, торопится,

все с себя срывает. А па-а-азвольте вам не поверить. Wishful thinking[1]. Отличный писатель — Исигуро, японец, пишет по-английски, потому что американец. Чу́дная американская негритянка — Зора Нил Херстон, ее переводить должно быть очень трудно, потому что она воспроизводит «negro talk» — особый говор, особые интонации, а у нас соответствия этому нет и быть не может. Кундера, на мой вкус, перехвален. Но вообще, как я уже говорила, иностранную литературу я знаю плохо: ведь это океан. Кроме того, есть писатели очень неровные: так, у Джойс Кэрол Оутс есть великолепные рассказы, но она пишет со скоростью пулемета и написала массу плохих романов. Она, как говорят, рассчитывала получить Нобелевскую премию, но — «не числом, а уменьем», и премию дали ее чернокожей сопернице Тони Моррисон, которую я не стала читать, послушавшись Бродского, называвшего ее «уёбищем», и, может быть, напрасно: Бродский был на редкость прихотлив и несправедлив в оценках. Впрочем, претензии к ней у меня идеологические: она преподает литературу в Принстонском университете и учит студентов, что все белые писатели, а также носители белого английского языка находятся в заговоре против черной расы: нарочно вводят в свой поганый язык выражения вроде «черная овца», «мрак» и так далее, намекая сами понимаете на что. Это может не помешать ей быть хорошей писательницей. Мои американские коллеги, профессора и писатели, чьим вкусам я доверяю, называют имена многих хороших современных писателей, которые мне ничего не говорят, писателей, которые, возможно, не пользуются большим массовым спросом, как раз потому что хорошие. При этом, говорят они, первый и, скажем, третий романы Такого-то — великолепны, неплох и восьмой, а остальные ужасны. Надо сказать, мне это непривычно: у нас если писатель хороший и мы его полюбили, то мы склонны хвалить все, что он ни напишет (любовь, она такая), а уж если не полюбили — держись. У американской же интеллигенции есть хорошая привычка быть честными во вкусах и оценках, даже если это порой приводит к личной ссоре. А не всегда и приводит: там умеют отделять личность от плодов творчества. Это то, чему мне хотелось бы научиться.

О классиках XX века стоит ли говорить всуе? Кафку я обожаю, Пруста осилила, но перечитывать скучно, Джойса знаю плохо. Фолкнера — тоже. Сартр — не сошлись характерами. Гессе очень любила. Генриха Манна дома у нас не водилось, брала дважды в библиотеке, один раз была в восторге, второй раз — не могла прочитать двух страниц. Думала, что сошла с ума, ан нет, оказалось — переводы разные. Отсюда все та же мораль. Остальных пропустим, все не расскажешь.

Из древней литературы я люблю «Гильгамеша» (и вообще эпосы мне не скучны, даже «Калевала», правда прочитанная в детстве, адаптированная до полной обструганности, мне нравилась), волнует меня и древнеегипетская литература, о качестве перевода которой, естественно, не смею иметь своего мнения, но на всю жизнь запомнился мрачный юмор, с которым древний египтянин описывал тяготы какой-то паршивой и опасной профессии: «и спокойно ему так, как спокойно кому-нибудь под крокодилом»; думаю, что и в наше время так сказать о себе может каждый, от парламентария до ларечника. Да и вообще, на мой вкус, чем древнее, тем интереснее: там, под густой пылью эонов, все такие же живые люди! Когда расшифровали кносские таблички (около XV века до Р.Х.), то прочли хозяйственную запись, образчик бухучета: «Плотник Тириэй не вышел на работу». Ох, знакомо. Потом, конечно, Геродот (самый любимый), Аристофан, Платон, Тацит, Теофраст (этот особенно), Диоген Лаэртий, Марциал, Катулл, Ювенал, Овидий, Гораций — но поэты, опять-таки, сильно зависят от переводчика; хотя на русском им повезло. Вообще о поэзии я не хочу говорить по той же причине. Знаю ли я Байрона? Я знаю Щепкину-Куперник. Шота Руставели? — знаю Заболоцкого. Хороший поэт. Из Ветхого Завета я больше всего люблю Книгу Екклесиаста, из Нового — Апокалипсис (очевидное предпочтение).

А вопрос о том, что делать, «если завтра война, если завтра в потоп», — традиционный, но нечестный. Во-первых, если подходить к упаковке багажа с оглядкой на традицию, придется брать с собой семь пар нечистых, а это в условия задачи, кажется, не входит. Во-вторых, вопрос не учитывает, на какой срок рассчитан потоп — на сорок дней, что ли? Тогда разумно было бы взять отрывной календарь, сборник кроссвордов и колоду пасьянсных карт. В-третьих и самых простых, когда безвылазно сидишь в ковчеге, хочется прочитать что-то новое, а не перечитывать известное. В-четвертых, вопрос жесток: значит, эти книги я спасу, а остальные пусть потонут? У кого же рука поднимется? Кого сбрасывать с «корабля современности»? Вот есть у меня книга на языке коми, называется «Вояс пыр, би пыр». Чудесная. Вот строки из стихотворения «Порысь мам»:

[1] Размечтался (*англ.*).

Эз вештыв мӧвпсӧ письмӧ вылысь.
Ӧд письмӧ воис ылысь-ылысь,
Кӧн Краснӧй Армияын пи,
Кӧн выльӧн мунлис война би...

и далее:

Японскӧй звермӧм самурай,
Кыт порок тшыныс ветліс гыӧн,
Сэн Петыр воклысь шуйга сой
Эн косьын бытшйӧдлӧма шыӧн...

(Примечание: «Шы — пурт сяма японской штык».)

Так как же: брать или не брать эту книгу с собой в ковчег? Да я ее первую, прижав к груди, внесу по трапу! В-пятых: ох, — не дай Бог накаркать — в наших нищих библиотеках и так то пожар, то потоп, то «тати подкопываются и крадут». В-шестых и последующих, и брошу счет, а то я сейчас запутаюсь, — неподъемный ужас этой задачи я уже переживала в том же колледже, где 330 здоровых американских коблов не могли осилить маленького, слепенького аргентинского старичка. Колледж там у нас, что называется, liberal arts — держите меня, liberal, — и вот встала задача, каким образом, лавируя между Сциллой и Харибдой (Харибда в данном случае — политкорректность, и такая прожорливая, господа, что спутникам Одиссея и не снилось), — как вместить в четыре семестра «канон» западной литературы, который, ясное дело, и в десять семестров не вмещается. Нам-то тут в России хорошо, живем пока что без Харибды и не ценим, твари неблагодарные; берем Шекспира и читаем. А там проблема: «Отелло» включать или нет? Вроде бы он негр, так что реверанс сделан, но ведь убивец же? Дальше: «Илиаду» и «Одиссею» обязательно надо включить, но они такие длинные, займут весь семестр! Надо резать. «Я список кораблей прочел до середины...» Мандельштам прочел, а наши студенты не прочтут и о существовании списка не узнают. Немножко из первой песни, потом в серединочке почитают, потом в конце — узнать, чем дело кончилось, пала ли Троя, или доплыл ли, скажем, Одиссей до дома или съел его Полифем. Кусочек Еврипида в суп кинули. Новый Завет тоже нарезали на кусочки: основу взяли от Матфея, пунктиром, — получилось, что Христос быстренько зачался, родился, распялся и воскрес, с бешеной скоростью, мультфильм «Том и Джерри», — и еще немножечко от Иоанна добавили, для стилистического контраста и идеологической полноты. На Евангелиях я не выдержала и возопила: побойтесь сами знаете кого, книжечка-то тоненькая, можно за вечер осилить, хоть одно целиком оставьте, а лучше бы все четыре! «Что ты, — говорят печальные профессора, — не знаешь ты наших студентов? Не будут они четыре раза подряд читать одну и ту же историю». — «Но может, они лучше запомнят, а то они не опознают ни одного евангельского сюжета, а вся европейская литература так или иначе ими пропитана». — «Да не то слово, это страшная проблема, мы сами мучаемся». — «А нельзя ли, — говорю, — сделать Новый Завет обязательным чтением — потом все остальное быстрее усвоится?» — «Ха-ха, — говорят они, — в том-то и фокус, что это будет считаться религиозным принуждением, а это запрещено! Студенты имеют право отказываться от чтения любого текста под тем предлогом, что это оскорбляет их нравственность, или навязывает чуждые взгляды, или пропагандирует чужую веру». Так, по крошке, был составлен весь двухлетний канон. Печален был этот ковчег, но — «пригорюнился заяц, а делать нечего», таковы все ковчеги. Нет, не в моих силах выбирать и отсеивать: все в литературе, как ни поглядишь, цепляется одно за другое, и какую книгу ни возьми — и без нее канон неполный. А вот страстно хочется, чтобы появилась книга совершенно новая, бесконечно интересная, замечательно написанная, странная и ни на что не похожая, но для этого надо угадать, распознать, забрать с собой в ковчег и благополучно провезти через пенные пучины Писателя.

■

У книжной витрины

ДОРИС ЛЕССИНГ
Мара и Данн
Doris Lessing. Mara and Dann
Harper-Flamingo, 1999

Известная английская писательница Дорис Лессинг на сей раз выступает в несколько неожиданном для нее жанре: действие в ее новом, футуристическом романе разворачивается через несколько тысяч лет в стране Ифрик, разоренной войной и экологической катастрофой. Семилетнюю Мару и ее младшего брата Данна похищают и поселяют у развалин погибших городов. Оторванные от своего прошлого, дети сталкиваются с опасными приключениями, им приходится бороться с врагами, голодать, буквально на ходу расти, взрослеть и познавать мир. Их окружает суровая, жестокая действительность, но взаимная любовь и преданность преображают ее и помогают им выжить. На первый взгляд эта книга представляет собой лишь мастерски рассказанную приключенческую историю, но за внешней увлекательностью стоит желание автора показать всепобеждающую силу подлинных чувств, родственных уз и пытливого ума.

РОМЕШ ГУНЕСЕКЕРА
Песочные часы
Romesh Gunesekera. The Sandglass
Doubleday, 1999

Живущий в Англии уроженец Шри-Ланки Ромеш Гунесекера в своем творчестве неизменно обращается к проблемам родного острова, раздираемого этническими конфликтами и гражданскими войнами. Этой теме был посвящен его дебютный роман «Риф», выдвигавшийся на премию «Букер» в 1994 году, и новый роман — «Песочные часы». В центре повествования — многолетняя вражда двух семейств из-за усадьбы, начавшаяся еще в 50-е годы, когда один из героев разбогател и купил дом на земле своего соперника. Тот стремится любой ценой вернуть поместье и фактически объявляет маленькую войну новоявленному хозяину. Устав от напряженной обстановки, жена одного из соперников (а следом и трое их детей) уезжает в Лондон, где предается ностальгическим воспоминаниям о «жемчужине Востока», ставшей «Северной Ирландией в Индийском океане». Она рассказывает эту полную поэзии и лиризма семейную сагу соотечественнику Чипу, который, в свою очередь, делится ею с читателем.

АЛЕКС ГАРЛАНД
Кубик мозаики
Alex Garland. The Tesseract
Riverhead, 1999

28-летний английский писатель Алекс Гарланд стал широко известен в 1996 году после выхода в свет романа «Пляж», действие в котором разворачивалось в Таиланде. Его новый остросюжетный роман «Кубик мозаики» также переносит читателя далеко от Европы — на Филиппины. Напряженное повествование представляет собой переплетение трех историй: английский моряк предает своего могущественного хозяина, чьи подручные гоняются за предателем по улицам Манилы; благополучная женщина, мать семейства из пригорода, вспоминает о своем тяжелом прошлом; двое колоритных уличных детей за плату рассказывают свои сны психологу. Все эти истории сливаются в неожиданном и умело сотканном финале. В философском плане писателя больше всего волнует проблема трагичности человеческих судеб, он много размышляет над причинами этих трагедий.

ДЭВИД МЭНИКОМ
Потомки призраков
David Manicom. Progeny of Ghosts
Oolichan, 1998

Квебекский поэт, романист и дипломат Дэвид Мэником три года (1991—1994) проработал в канадском посольстве в Москве. Свои впечатления о России и республиках бывшего СССР он излагает в книге «Потомки призраков», снабженной подзаголовком «Путешествия по России и бывшей империи».

Этот коллаж дневниковых записей, размышлений и путевых заметок (автор посещает Украину, Грузию, Казахстан, Беларусь, Литву, Армению, Сахалин) проникнут поэтичностью и симпатией к огромной, «суровой, но прекрасной стране». Как отмечают критики, именно такой путешественник, сочувственно относящийся к меньшинствам, к тем, кому трудно, мог увидеть и описать страну в период серьезных перемен. Книга выдвигалась на премию Канадского писательского фонда «Виаком Кэнада» по разделу нехудожественной литературы.

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Плавание в челноке, или Пьеса о фильме про войну

Peter Handke. Die Fahrt im Einbaum, oder Das Stűck zum Film vom Krieg

Suhrkamp, 1999

Эта пьеса была опубликована почти одновременно с ее постановкой на венской сцене. Действие происходит в зале гостиницы в маленьком балканском городке через десять лет после окончания отшумевшей здесь войны. Задумав снять фильм об этой войне, два режиссера — американец и испанец — приезжают сюда с целью подобрать непрофессиональных исполнителей ролей в будущей киноленте. То соглашаясь, то ссорясь друг с другом, они наконец находят подходящие кандидатуры: это гид, историк и три журналиста. Однако в ходе проб будущие герои экрана высказывают свои точки зрения на происходившее на Балканах, и перед режиссерами открывается противоречивая картина событий. Таков уж этот край, край контрастов: «...горные луга, бук и береза; горные потоки и бесшумная река, на берегах которой разбросаны одинокие поселения, а у берега стоит челн — местный объект поклонения». И у обоих режиссеров — а вместе с ними у читателей и зрителей — также появляется возможность по-своему взглянуть на балканскую историю.

КАЭТАНО ВЕЛОЗО

Тропическая правда

Caetano Veloso. Verdade Tropical

Companhia das Letras, 1998

Вторая книга популярного бразильского певца и композитора Каэтано Велозо стала событием в культурной жизни страны. Эта книга написана на основе статьи, заказанной газетой «Нью-Йорк таймс» еще в начале 90-х годов. Поняв, что газетная публикация может лишь в самых общих чертах наметить проблему, требующую более глубокого раскрытия, редактор предложил Велозо продолжить работу. Тот согласился, увидев шанс представить миру бразильскую музыку. Но в итоге этой теме отведены лишь начало и конец книги, где сравниваются два американских «кипящих котла»: США — страна без имени, Бразилия — имя без страны. В основной части представлены историко-философские, автобиографические, литературо- и музыковедческие эссе, в которых объяснена подоплека противоречивых явлений и идей. Так, говоря о влиянии северного соседа на родную страну, автор утверждает: подражая американцам с их пресловутыми джинсами, рок-н-роллом и жевательной резинкой, бразильская молодежь просто бросала вызов конформизму. На самом деле в Бразилии гораздо более сильным было влияние европейской культуры. Годар, Росселини, Брехт — вот кто скорее определял социально-культурный облик страны в 60—70-е годы.

ДУРС ГРЮНБАЙН

После сатиры

Durs Grűnbein. Nach den Satiren

Suhrkamp, 1999

Подведение итогов на пороге магического 2000 года — так определяют критики новый сборник стихов немецкого поэта Дурса Грюнбайна. Похоже, он не торопился с выводами, ибо целых пять лет минуло с момента публикации его предыдущего сборника «Тайники и ловушки», выдержавшего, однако, уже семь переизданий. В новой работе автор не только проявил энциклопедическую любознательность, характерную для его творчества, но и раздвинул поэтические горизонты. Он погружается в древний мир, а оттуда — сразу в современность; устремляется из родного Дрездена ввысь, в космос — к Сатурну и Венере; переносится из микромира в макромир и обратно, мастерски описывая свои ощущения. И, говоря его словами, «за всем стоит Любовь к Сущему, Любовь к Бренному...». На рубеже тысячелетий в творчестве поэта преобладают тревожные нотки.

ЭУЖЕНИО ДЕ АНДРАДЕ

Те места, где свет

Eugénio de Andrade. Os Lugares do Lume

Fundacao Eugénio de Andrade, 1998

Сначала увидеть — затем написать. Такой девиз мог бы избрать себе крупнейший современный португальский поэт Эуженио де Андраде. Увиденное и запомнившееся становится движущей силой его творчества. Стихи из нового сборника навеяны воспоминаниями о светлых днях детства — на этой благодатной почве развилась поэтическая натура мальчика. Критики особо отмечают стихотворение «Жертвоприношение», где воскрешается облик печальной матери: она обращается к утренней звезде с песней-мольбой, просит указать путь истинный молодому солдату, который отправляется в дальние края, — ведь он еще не сталкивался не только со смертью, но и с жизнью. Сам поэт смотрит на мир оптимистично и считает своим призванием открывать перед человеком светлые дали несмотря на безнадежность, царящую вокруг. Символическое значение в творчестве Э. де Андраде приобретает улыбка: она может предвещать и насмешку, и искренние дружеские отношения. Критики сравнивают творчество поэта с трудом водоискателей: подобно им, поэт вскрывает живительный источник в глубинах человеческих душ.

АНЖЕЛА КАРТЕР

Покачивая ногой. Составитель — Дженни Аглоу

Angela Carter. Shaking a Leg. Edited by Jenny Uglow

Penguin Books, 1998

Известная писательница Анжела Картер, представительница «магического реализма по-английски», не чуждалась журналистики. Данный сборник статей и заметок содержит вещи, появлявшиеся в печати с 60-х годов до самой смерти Картер. Ее деятельность пришлась на ту историческую эпоху, когда — цитируя рецензента — «женщины впервые смогли заняться созданием собственного образа, исследуя богатейшие коды женской семиотики: язык моды, сказок, секса, домашнего хозяйства, — обреченные до сих пор на упрощенное толкование мужчинами». Высоко оценивая смелость и непредсказуемое мышление Анжелы Картер, критики подчеркивают, что за ее эпатажным, экстравагантным, капризным стилем стоят блестящий интеллект и недюжинная проницательность. Смех чосеровской героини, которая, «переспав со своим избранником, получила удовольствие и при этом не утратила ни самоуважения, ни уважения автора-мужчины», Анжела Картер ставит наравне с улыбкой Будды.

admin@rinet.ru
www.rinet.ru
232-17-30
238-39-22

RiNet

1-й Хвостов переулок, 11а
Метро «Полянка»,
«Октябрьская»

Подключение к сети Интернет
Электронная почта
Хостинг

ON-LINE ALL TIME

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АНГЛИЧАНИН — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Такое впечатление оставляет обстоятельный (более трехсот страниц с примечаниями и указателем) рассказ об «англичанстве», который ведет известный в Великобритании теле — и радиокомментатор Джереми Паксман в книге «Англичане» (издательство «Майкл Джозеф»). Она сразу же привлекла внимание читателей; и дело тут, пожалуй, не только в извечном стремлении как отдельного человека, так и целого народа познать самое себя. Важно, что автор делает это по-английски элегантно и дипломатично: с большим умом и тонким юмором, с искренней любовью к родине, но без ура-патриотического или, напротив, критиканского угара.

Многое в национальном характере англичан связано с их островной культурой; автор отмечает, что его соотечественники настороженно, высокомерно, но с любопытством относятся к иностранцам. Иностранцы -- это особая статья в их жизни, и в отдельной главе «Непонятные иностранцы» главное внимание уделяется, конечно же, извечным соперникам — французам. Неприязнь двух народов общеизвестна, однако у французов она менее обострена, ведь им приходится беречь силы для континентальных соседей. Впрочем, неприятие французских обычаев и образа жизни не мешает англичанам всей душой тянуться к французской кухне, винам и климату. Девять миллионов туристов из Великобритании ежегодно устремляются во Францию.

В делении на «мы и они» англичане зашли довольно далеко: «ими» стали не только все остальные европейцы и жители бывших колоний, но и потомки кельтов. Эта характерная надменность проявляется даже у весьма образованных людей. Вот, например, отклик одного выпускника престижного университета на замечание о том, что перед Шотландией открываются светлые перспективы: «Да, конечно. Но самая светлая даль, которая открывается перед шотландцами, — это дорога в Англию».

На протяжении десяти глав — а они охватывают британскую историю от времен друидов до современности — Джереми Паксман отслеживал признаки англичанства, отделяющие Англию от Великобритании. Последняя глава книги, «Старая страна, Новый мир», посвящена неожиданному виражу на историческом пути горделивого обособления «туманного Альбиона»: он пытается вписаться в европейскую экономику, не утратив, однако, национального характера — хваленого чувства собственного достоинства. Сделать это непросто, хотя прецеденты имеются. Но англичане к другим странам за советом ходить не станут — ведь они англичане.

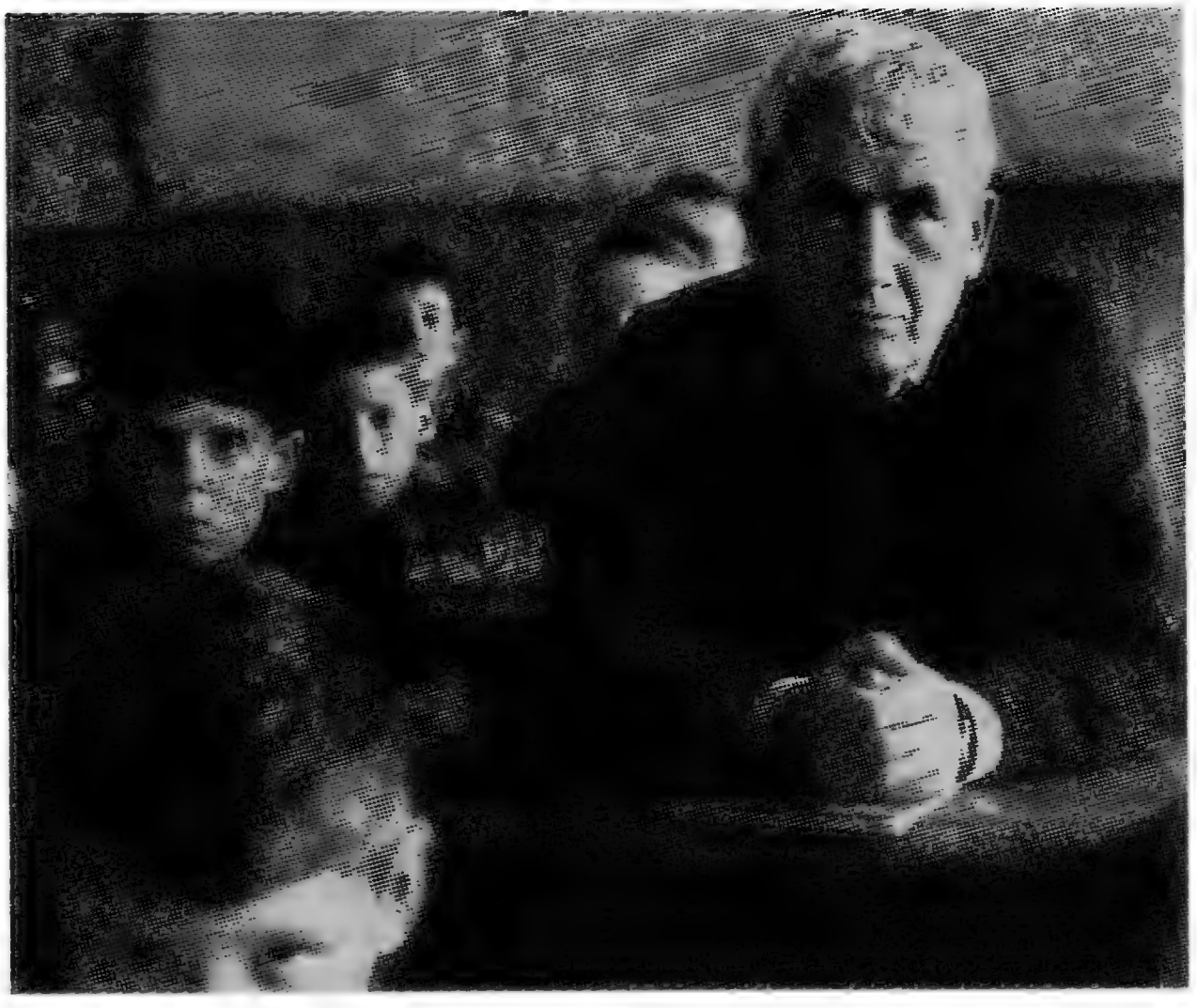
■ ИРЛАНДИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР СТАНОВИТСЯ ФИЛЬМОМ

В 1996 году для скромного преподавателя английского языка Фрэнка Маккорта закончилась спокойная жизнь, он внезапно стал знаменит и богат. Его мемуары «Прах Анжелы»[1] имели оглушительный успех: книга стала бестселлером во многих странах, разошлась миллионными тиражами, была переведена на несколько языков, получила Пулицеровскую премию. Естественным продолжением этого успеха стала экранизация книги, которую при участии самого автора осуществляет в Ирландии известный режиссер Алан Паркер.

История несчастного католического детства Фрэнка Маккорта в Лимерике в 30-е и 40-е годы, его многострадальной матери, алкоголика-отца, братьев и сестер (в семье умерли трое из шести детей) оказалась прекрасным материалом для экранизации. Од-

[1] Рецензия Т. Венедиктовой была опубликована в «ИЛ», 1999, №3.



Писатель Фрэнк Маккорт и маленький актер Джо Брин (Фрэнк в детстве) на съемках фильма «Прах Анжелы».

нако кинематографисты столкнулись с неожиданными трудностями: во всей Ирландии они не нашли трущоб, необходимых для съемок, и пришлось строить их специально. Одной из лучших декораций, по словам режиссера, стал заброшенный монастырь в прибрежной деревушке Арклоу, к югу от Дублина. В нетопленых, сырых помещениях актеры, кутаясь в теплые вещи, естественнее вживались в образы.

С актерами тоже возникли проблемы: главного героя, как и остальных детей, играют несколько разновозрастных мальчишек, они занимают в фильме важное место, а управлять ими, особенно самыми младшими, невероятно трудно. Анжелу, мать Фрэнка, играет известная актриса Эмили Уотсон, только что вторично номинированная на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Хилари и Джеки». Уотсон признается, что обилие детей на съемочной площадке немного выводит ее из равновесия: «У меня такое ощущение, будто я попала на «Улицу Сезам». Актриса стала больше курить. Может быть, это просто помогает ей успокоиться, но, по словам Уотсон, речь идет о «вживании в образ» — ведь настоящая Анжела выкуривала по 40 сигарет в день.

Что касается настоящего Фрэнка Маккорта, то большую часть времени он сознательно не присутствовал на съемках, увидев, что режиссеру удалось создать на площадке обстановку, слишком приближенную к реальности. «Меня сразу охватил вихрь чувств, — говорит писатель. — Печаль, ностальгия, удивление, ощущение потери. Я вдруг очутился в прошлом и тут же — в своем преуспевающем настоящем... Даже судя по немногим отснятым материалам, этот фильм не просто похож на мою жизнь — он и есть моя жизнь». Едва ли кто-то решится поспорить с автором.

■ КАНАДА

ОТ ЧЕРНИКИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ — К СТИХАМ

Поэт и литературный обозреватель крупнейшей канадской газеты «Глоб энд мейл оф Кэнада» Фрейзер Сазерленд анализирует 56 поэтических сборников и антологий, опубликованных в последнее время в Канаде. Анализ этот демонстрирует некоторые любопытные тенденции, которыми Ф. Сазерленд делится с читателями газеты.

Прежде всего поэзия — увы, по-прежнему издательская падчерица: ни одна из книг не была выпущена в свет каким-либо крупным издательством. По-прежнему мало исчерпывающих антологий или избранных произведений известных авторов; относительно широкая панорама представлена лишь в антологии «Невиновны» саскатунского издательства «Фислдаун», но и она ориентируется в основном на авторов Западной Канады.

Примечательно, что, вопреки наметившемуся отказу от перевода произведений квебекских поэтов на английский язык и англоязычных канадских стихов на французский, поэтический журнал «Эллипс» посвятил параллельным переводам уже 60 номеров, и последний из них был посвящен Франсуа Эберу и Дону Макею. Среди других ярких примеров: свои сборники в переводах выпустили Клод Босолей и Пьер Невю, а Э. Д. Блоджетт и Ж. Бро осуществили двуязычный проект.

Канада — страна многонациональная, и если в прозе весьма заметны успехи канадцев неевропейского происхождения, то в поэзии они представлены скромнее: всего четыре автора, выходцы из Малайзии, Индии, Китая и Филиппин. Зато почти половина индивидуальных сборников написана женщинами, а антология «Порог» под редакцией Роны Мюррей имеет подзаголовок «Шесть женщин, шесть поэтов».

Один из показателей литературного здоровья нации — количество поэтических книг, опубликованных за рубежом. Здесь порадовали Норм Сайбем (уже вторая его книга опубликована в Великобритании престижным манчестерским издательством «Карканет») и плодовитый поэт и психиатр Рон Чарек (его стихи вошли в американскую антологию «Кровь и кость. Стихи врачей», опубликованную университетом Айовы).

Рон Чарек -— единственный современный канадский поэт, зарабатывающий на жизнь литературным трудом. Джо Блейдс, глава издательства «Брокен джо пресс» из Фредериктона, представляет целый ряд поэтов, владеющих иными профессиями: Аллан Купер — гитарист и певец блюзового трио; Эдвард Гейтс — фермер, выращивающий чернику; сам Джо Блейдс — мастер визуальных искусств. Стихи пишут Монти Рид, заместитель директора Тирреллского палеонтологического музея и гитарист группы «кантри», а также Пол Бенза, сотрудник соляной компании «Кэнадиэн солт» из Виндзора, провинция Онтарио.

Еще одна особенность канадских поэтических книг -— некоторое улучшение их оформления: обложки украшают оригинальные рисунки (например, в издательстве «Кото пресс» их создает поэт Бернис Фризен) или репродукции гравюр (как в издательстве «Коуч хаус пресс»). И наконец, расширяется круг тем, традиционно сводившихся к погоде, несчастному детству и жестокому обращению с животными. Теперь на страницах канадских поэтических сборников читатель встретит литературные аллюзии и символы, стихотворения о любви и поэтические рассказы о путешествиях по миру.

■ КОЛУМБИЯ

НОВАЯ РОЛЬ ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА

Габриэль Гарсиа Маркес решил попробовать себя на новом поприще: недавно он приобрел 50% акций издательства колумбийского еженедельника «Камбио» и стал его главным редактором. Выступая перед сотрудниками издательства, несколько смущенными близостью живого классика, Гарсиа Маркес признался: «Я решил осуществить мечту, которую вынашивал уже давно. Когда я получил Нобелевскую премию, я подумал, что теперь надо заняться журналистикой. Эта профессия меня всегда привлекала». Средний возраст редакторского коллектива еженедельника — 25 лет, но 70-летнего Маркеса это нисколько не смущает, он уверен, что сумеет найти общий язык с молодежью. Новый главный редактор заявил, что теперь в «Камбио» будет много репортажей на самые злободневные темы, особое внимание будет уделяться образованию и другим животрепещущим проблемам Колумбии — борьбе с нищетой, насилием и массовой безработицей.

■ США

РАРИТЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Мы привыкли считать, что древние рукописи и старинные книги могут интересовать лишь ученых мужей и одержимых коллекционеров. Однако небольшая компьютерная фирма «Октаво» из Калифорнии придерживается совершенно иного мнения. Ее программисты заняты созданием интернетовского сайта (его адрес www.oc-tavo.com), зайдя на который, любой человек сможет ознакомиться с шедеврами средневековой литературы и живописи. За последний год коллектив фирмы, состоящий всего из шести человек, подготовил также «собрание сочинений» на 14 компакт-дисках. Современная аппаратура, имеющаяся сегодня почти в каждой семье, позволяет вывести на экран компьютера отличные по качеству тексты и иллюстрации. Среди раритетов, подвергнутых такой модернизации, — «Эксперименты и наблюдения за электричеством» Бенджамина Франклина, впервые увидевшие свет в 1751 году, изданные в 1640 году «Поэмы» Уильяма Шекспира, а также альбом рисунков Луи Ренара «Рыбы» (год издания — 1754).

Страница из «Поэм» Шекспира

По материалам газеты «Глоб энд мейл оф Кэнада» (Канада), журналов «Ньюсуик» (США), «Пари-матч» (Франция)

10 наиболее популярных произведений художественной литературы (согласно опросу магазина «Англия» в июне 1999 года)

1. **Ruth Rendell.** THE KEYS TO THE STREET
2. **Helen Fielding.** BRIDGET JONE'S DIARY
3. **Steven King.** BAG OF BONES
4. **John Grisham.** THE STREET LAWYER
5. **Ian McEwan.** AMSTERDAM
6. **Michael Ondaatje.** THE ENGLISH PATIENT
7. **Arundhati Roy.** THE GOD OF SMALL THINGS
8. **Irwin Welsh.** THE FILTH
9. **Roald Dahl.** UNEXPECTED TALES
10. **Colin Dexter.** INSPECTOR MORSE OMNIBUS

«АНГЛИЯ» Британские книги

Москва, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: пн., вт., ср., пт. с 10 до 19, чт. с 10 до 20, сб. с 10 до 18, вс. с 11 до 17. Без перерыва

Регулярно в культурно-информационном центре:

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературам
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое.

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить ***по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03.***

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США.

Специальное предложение:
БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ШАНДОР ТАР (TAR SÁNDOR; род. в 1941 г.) — венгерский писатель. Печатается с 1970 г. Автор сборников рассказов «Пассажирский поезд 6714» («A 6714-es személy», 1981); «Царствие твое» («A te országod», 1993), «Наша улица» («A mi utcánk», 1995); его перу принадлежит также детективный роман «Серый голубь» («Szürke galamb», 1996).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Медленный товарняк» («Lassú teher». Budapest, Magvető, 1998).

ЯНОШ ПИЛИНСКИ (PILINSZKY JÁNOS; 1921—1981) — венгерский поэт, автор девяти сборников стихов, нескольких пьес, эссе и романа-диалога «Беседы с Шерил Саттон» («Beszélgetések Sherill Suttonnal»), лауреат премии Лайоша Кошута. Стихи Я. Пилински переводились в Англии, Франции, на русском языке опубликована подборка стихотворений в антологии «Венгерская поэзия XX века» (М., 1982). Публикуемые стихи взяты из книги «Кратер» («Kráter». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1976).

ЖАК РУБО (JACQUES ROUBAUD; род. в 1932 г.) — французский поэт и эссеист, математик, создатель так называемой «математической поэзии». Его первая книга стихов «Вечернее путешествие» («Voyage de soir») появилась в 1952 году, затем вышли сборники «Эпсилон» («Epsilon», 1967), «Чувство вещей» («Le sentiment des choses», 1970), «Тридцать один в кубе» («Trente et un au cube», 1973), «Что-то черное» («Quelque chose noir», 1986) и др. Автор теоретических книг о поэзии. Лауреат нескольких литературных премий. В «ИЛ» (1979, № 8) публиковались стихи из сборников «Эпсилон» и «Тридцать один в кубе».
Стихотворение «Осел» взято из сборника «Звери всего света» («Les animaux de tout le monde». Paris, Éditions Seghers, 1990).

КЛЕХ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1952 г.) — прозаик, эссеист, член СРП и Русского ПЕН-клуба. Печатается с конца 80-х годов. В журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь» публиковались его повести «Хутор во Вселенной», «Зимания. Герма», «Диглоссия», «Крокодилы не видят снов», «Смерть лесничего». В 1998 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла его книга прозы и эссе «Инцидент с классиком».

ШАРЛЬ НОДЬЕ (CHARLES NODIER; 1780—1844) — французский писатель, лексикограф, библиофил, энтомолог, с 1833 г. — член Французской академии. Автор многочисленных романов, повестей, статей и эссе. Его произведения неоднократно переводились на русский язык; в частности, были опубликованы «Избранные произведения» (М.-Л., 1960), собрание статей «Читайте старые книги: новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении» (М., 1989), фантастические повести «Фея хлебных крошек» («Feé aux miettes»; М., 1996) и «Смарра» («Smarra») — в сборнике «Infernaliana: французская готическая проза 18—19 веков» (М., 1999).
Рассказ «Записки Жирафы из зоологического сада» («Tablettes de la girafe du Jardin des plantes») взят из сборника «Частная и общественная жизнь животных» («Scénes de la vie privée et publique des animaux»); печатается по изданию Paris, Hetzel, 1842.

ТИБОР ФИШЕР (TIBOR FISCHER; род. в 1959 г.) — английский писатель. Его первый роман «Под лягушкой» («Under the Frog», 1993) был удостоен премии Бетти Траск, выдвигался на Букеровскую премию. Второй роман, «Грабители-интеллектуалы» («The Thought Gang»), вышел в свет в 1994 году. В «ИЛ» (1995, № 10) напечатан рассказ Т. Фишера «Злоумышленники» («The Getaway Lunch»). Роман «Коллекционная вещь» («The Collector Collector») печатается по изданию New York, Henry Holt and Company, 1997.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН (BOLESLAW LEŚMIAN; 1877—1937) — польский поэт, автор книг стихов «Сад на распутье» («Sad na rozstaju», 1912), «Луг» («Łąka, 1920), «Студеное питье» («Napòj cienisty», 1936) и др. В молодости, будучи студентом Киевского университета, писал стихи по-русски и публиковал их в журналах «Золотое руно» и «Весы» (1906—1907 гг.)
Стихотворение «Кукла» («Lalka») взято из сборника «Студеное питье»; печатается по изданию Warszawa, PIW, 1965.

КЭНДЗИ МАРУЯМА (род. в 1943 г.) — японский писатель. Живет в маленьком городке, в горах префектуры Нагано. В двадцать три года за повесть «Течение лета» получил премию Акутагавы и стал самым молодым лауреатом этой высшей в Японии литературной награды. Автор многих романов, повестей, рассказов. Наиболее известны романы «Источник планет» (1986), «Упавшая в поле звезда» (1990). В «ИЛ» напечатаны его повести «Сердцебиение» (1991, № 5) и «Плач по Луне» (1993, № 5).
Публикуемый рассказ «В небе снова радуга» взят из книги «Тринадцать черно-белых новелл» (Токио, Бунгэй сюндзю, 1994).

АРТУРО КОРКУЭРА (ARTURO CORCUERA; род. в 1935 г.) — перуанский поэт, автор поэтических сборников «Сирены и вехи времени» («Las sirenas y las estaciones», 1967), «Классовая поэзия» («Poesía de clase», 1968), «О духах» («De los duendes», 1977) и др. Лауреат Национальной премии по поэзии (1963). На русском языке его стихи (в переводе П. Грушко) печатались в сборнике «Поэты Перу» (М., 1982) и в «Газете Поэзия» (1998, № 7).
Публикуемые стихи взяты из книги «Ной в бреду» («Noé delirante». Lima, Igracio Pradî Postor, 1986).

ТОЛСТАЯ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА — писательница, журналист. Родилась в Ленинграде, по образованию филолог-классик. Автор книг «На золотом крыльце сидели» (1987), «Любишь не любишь» (1997), сборника «Сестры» (1998, Н. Толстая и Т. Толстая). Постоянный сотрудник американских изданий «The New York Review of Books», «The New Republic». В «ИЛ» (1995, № 9) напечатана ее статья «Не спи, не спи, художник...». Произведения Т. Толстой переведены на многие языки.

■ Переводчики:

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — литературовед, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, переводчик с венгерского. В его переводе изданы романы «Пядь земли» П. Сабо, «Вина» и «Милосердие» Л. Немета, «Старомодная история» М. Сабо, «Пророк на час» Ш. Шомоди Тота; повести «Тяжелый день» Д. Конрада («ИЛ», 1991, № 4), «Безымянная могила» С. Эрдега («ИЛ», 1998, № 5). В «ИЛ» напечатаны также «Дневники» Ш. Мараи (1993, № 12), фрагменты книги «Кино Жамбоки» И. Манди (1995, № 4), рассказы М. Корниша (1995, № 3), Л. Дарваши (1997, № 2).

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА — поэт-переводчик. В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко («ИЛ», 1972, № 4), Х. А. Гойтисоло («ИЛ», 1975, № 11), Р. Богранда («ИЛ», 1980, № 4), Ш. Каняди (совместно с Т. Бек, «ИЛ», 1991, № 6), Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа («ИЛ», 1991, № 5) и др.

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА — литературовед, переводчик с венгерского и английского языков, автор многих статей к изданиям произведений венгерских писателей на русском языке. В ее переводе изданы: роман «Загадка Прометея» Л. Мештерхази («ИЛ», 1976, № 4, 5), роман «Ответ» Т. Дери, его же повести «Исполин», «Ники», «Милый бо-пэр!..» («ИЛ», 1979, № 7), новелла «Две женщины» и фрагменты тюремной переписки («ИЛ», 1996, № 3); а также повести «Старый доктор» Д. Фекета («ИЛ», 1965, № 9), «20 часов» Ф. Шанты, «Французская ферма» К. Сакони («ИЛ», 1988, № 10) и др. Лауреат премии «Инолиттл» (1996).

МИЛЬЧИНА ВЕРА АРКАДЬЕВНА — переводчик с французского, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. В ее переводе изданы книги «Урсула Мируэ» и «Физиология брака» О. де Бальзака, «О литературе» Ж. де Сталь, «Фея хлебных крошек» Ш. Нодье, «Социальная диорама Парижа» П. Б. Козловского, «Короли-чудотворцы» М. Блока. Соавтор перевода книг «Замогильные записки» Ф. де Шатобриана и «Россия в 1839 году» А. де Кюстина. Лауреат премий им. Анатоля Леруа-Больё (1995, в составе редакционного коллектива журнала «Новое литературное обозрение», и 1997) и Французской академии.

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. В его переводе издавались романы «Черная беда» И. Во («ИЛ», 1991, № 6), «Высокое окно» и «Вечный сон» Р. Чандлера, «Красная жатва» Д. Хэммета, «Пасынки судьбы» У. Тревора, «Улики» Дж. Бэнвилла («ИЛ», 1995, № 2); повести «Жертвы» Ю. Маккейба («ИЛ», 1995, № 2), «Стеклянный город» П. Остера («ИЛ», 1997, № 6), рассказы Д. Кольера, Г. Миллера («ИЛ», 1995, № 7), Дж. Тэрбера, Ш. О'Фаолейна, И. Б. Зингера, У. Тревора («ИЛ», 1996, № 8), Дж. Апдайка («ИЛ», 1996, № 10), «Размышления, навеянные гибелью «Титаника» Дж. Конрада («ИЛ», 1998, № 8), дневники С. Пипса, письма Дж. Свифта, отрывки из книги «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Дж. Босуэлла, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — литературный критик, переводчик с японского и английского языков. В его переводе публиковались романы «Золотой храм» Ю. Мисимы («ИЛ», 1989, № 5), «Восток есть Восток» Т. Корагессана Бойла («ИЛ», 1994, № 8, совместно с И. Бернштейн и Л. Мотылевым), «Профессор Криминале» М. Брэдбери («ИЛ», 1995, № 1, совместно с Б. Кузьминским и Н. Ставровской), роман-притча «Старик и мистер Смит» П. Устинова («ИЛ», 1996, № 7), повести «Сердцебиение» («ИЛ», 1991, № 5) и «Плач по Луне» («ИЛ», 1993, № 5) К. Маруямы и др. Автор многих статей о японской литературе, в том числе «Мученичество св. Себастьяна, или Завороженный смертью. О творчестве писателя Юкио Мисимы» («ИЛ», 1988, № 10), «Невыносимая тяжесть легкости. Японская проза в конце века» («ИЛ», 1993, № 5) и др.

ГРУШКО ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ (род. в 1931 г.) — поэт, переводчик, драматург. Вице-президент Ассоциации испанистов России. Лауреат литературной премии «Brianza Inedito. 1994» (Италия). Автор стихотворных пьес-либретто «Было или не было...» (по мотивам М. Булгакова), «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (по П. Неруде), «Монарх, Блудница и Монах» (по Т. Манну) и др. В его переводе с испанского издавались произведения Л. Гонгоры, Ф. Кеведо, Г. А. Беккера, Ф. Гарсиа Лорки, М. Эрнандеса, Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, О. Паса, П. Неруды и др.; с каталанского — Ж. Карнэ, К. Риба, Ж. Сальвата Папассейта, с английского — У. Х. Одена, А. Гейма, Дж. К. Рэнсома, Х. Немерова, Р. Уилбера, У. Снодграсса и др.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

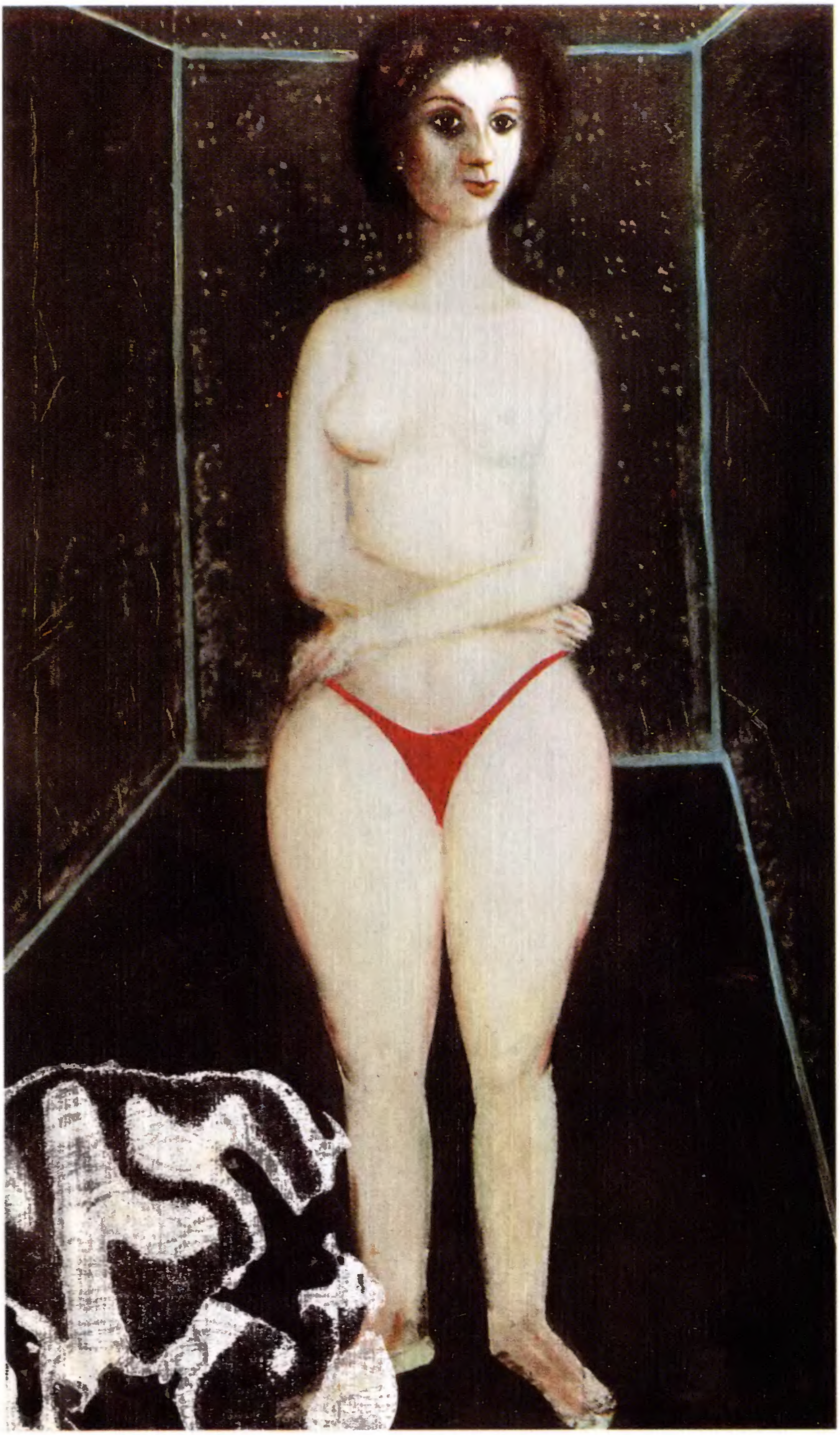
галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №8, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394